НОВЫЙ ЖУРНАЛ

VI

НЬЮ-ЙОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

THE NEW REVIEW

RUSSIAN QUARTERLY

под редакціей

М. М. КАРПОВИЧА и М. О. ЦЕТЛИНА

VI

40 экземпляров VI книги «Новаго Журнала» напечатаны на особой бумагѣ.

Экз. №

НЬЮ-ЙОРК

1943

Copyright 1943 by the New Review
(«Новый Журнал»)
All Rights reserved.

Printed by
GRENICH PRINTING CORP.
151 W. 25th St., N. Y. C.
16d

ОГЛАВЛЕНІЕ

М. А. Осоргин. — Субботній поѣзд 5

М. А. Алданов. — Истоки 11

Г. Д. Гребенщиков. — Страшнѣе смерти 122

В. С. Яновскій. — Портативное безсмертіе 133

М. О. Цетлин. — Глинка 156

СТИХИ:

К. П. Кротковой, Леонида Опалова, Юрія Софіева, Ю. К. Терапіано, М. А. Толстой 181

ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА:

П. Н. Милюков. — Положеніе наканунѣ войны 186

Н. С. Тимашев. — О цѣлях войны 203

А. А. Гольденвейзер. — Три программы американской внѣшней политики 215

Б. И. Николаевскій. — Революція в Китаѣ, Японія и Сталин .. 229

Д. Ю. Далин. — Совѣтская сфера безопасности 258

ВОПРОСЫ ДНЯ:

М. В. Вишняк. — Американскія затрудненія 276

Г. П. Федотов. — Как бороться с фашизмом? 291

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

М. В. Добужинскій. — О творчествѣ Фокина 307

С. Л. Бертенсон. — На стражѣ искусства старины 317

І. С. Яссер. — Прогрессивныя тенденціи в творчествѣ Рахманинова 325

РОССІЯ И ВОЙНА:

В. А. Александрова. — Командиры Красной Арміи ... 341

Г. Я. Аронсон. — В совѣтском тылу ... 356

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

М. М. Карпович. — П. Н. Милюков, как историк ... 362

Н. П. Вакар. — П. Н. Милюков в изгнаньи ... 369

С. В. Панина. — Памяти д-ра И. Н. Альтшулера ... 379

М. О. Цетлин. — Н. А. Теффи ... 384

М. М. Карпович. — І. В. Гессен ... 386

Ред. — Памяти М. С. Кефали ... 388

Г. П. Федотов. — Ирина Кнорринг ... 389

В. И. Коварская. — Замѣтки о выставках ... 391

Ред. — О Московской Конференціи ... 395

Обложка работы худ. **А. Н. Прегель.**

По недостатку мѣста, доставленные редакціи позже других разсказ Вѣры Жигаловой, воспоминанія М. А. Чехова и А. В. Баулер, некролог Н. Л. Аронсона и статьи В. С. Войтинскаго, Б. И. Николаевскаго и проф. П. Сорокина будут, как и рецензіи, помѣщены в слѣдующей книгѣ «Новаго Журнала».

СУББОТНІЙ ПОѢЗД

От других времен года весна отличается тѣм, что она не просто наступает, а приходит, не смотря ни на что, вопреки всѣм препятствіям видимым и невидимым. Каждый ея шаг — бурное завоеваніе, каждое проявленіе — чудо.

Обитатель пробует голос на темѣ спокойной и примиряющей. Такой темой может быть, напримѣр, простота жизни, как естественная мечта усталых людей. Мы живем в необычайной сложности бытія и быта, в такой сложности, что личную безвыходность умѣряем только сознаніем безвыходности общей: на міру и смерть красна. Но если общим стоном мой стон и заглушается, — мнѣ то он не менѣе слышен; утѣшенье, значит, плохое. И мы стараемся каждый перекричать другого, чтобы обратить вниманіе на свою боль — вѣдь она всѣх важнѣе. Такова музыка нашего времени, все еще повторяющая стон раненых, карканье воронов и вой шакалов на полѣ недавняго сраженія.

Тут и рождается тоска по простой жизни — двигатель субботних пригородных поѣздов. В одном из переполненных вагонов третьяго класса (класса тоскующих) вы увидите Обитателя, сплюснутаго на скамейкѣ правым бедром отличной, но слишком об'емистой женщины и лѣвым плечом сѣдоусаго безрукаго комбатанта; у него недостает руки правой, а так как он прижат к стѣнѣ вагона, то кажется, будто рука его прошла насквозь и болтается снаружи. На скамейкѣ уют и сплоченность общих интересов. Проскакав километров двадцать, поѣзд

---

*) Нам доставлен сохранившійся в рукописи очерк покойнаго М. А. Осоргина, написанный им незадолго до нынѣшней войны. М. А., иногда пользовавшійся псевдонимом «Обитатель», жил в ту пору в окрестностях Парижа. **Редакція.**

начинает на остановках плеваться людьми, которых он предварительно еще раз сплющивает в дверях, а потом вышвыривает пачками и кучками. Лица выкинутых оживлены и почти счастливы: перед ними ночь и день **простой жизни.**

В преддверіи этой жизни прежде всего обнаруживается то, что как то не замѣчалось в городѣ. Напримѣр, что бѣлый накрахмаленный хомуток, которым мужчины стягивают шею (да еще подтягивают галстуком), душит человѣка и стѣсняет его движенія. Совсѣм не нужна и шляпа, закрывающая половину неба. Невыносимы не только пиджак и жилет, но и длинныя рукава рубашки: их приходится подвертывать. Новые городскіе ботинки уступают мѣсто старым, отлично разношенным с прохлаждающими ногу прорѣхами, или полотняным туфлям, или же деревянным сабо. Вмѣстѣ с пиджаком сбрасывается с плеч извѣстное число лѣт (по потребности), а под условной дѣловой маской оказывается простодушное выраженіе человѣка, который, в сущности говоря, очень любит жизнь и не питает к ближнему никаких враждебных чувств. Вѣроятно и у женщин есть свои пріемы освобожденія от условностей в одеждѣ и в жестах, — я просто не вхожу в подробности и догадки. В общем мысль, конечно, понятна.

Затѣм оказывается, что климат Парижа и окрестностей, называемый в путеводителях «прекрасным и мягким» (но мы-то знаем о нем кое-что), — что этот климат за предѣлами города дѣйствительно прекрасен, даже если моросит холодный дождик. Правда, без дождика лучше, гораздо лучше, но и он здѣсь не угнетает душу, как то терпим. Жалѣя и утѣшая друг-друга, мы говорим: «дождик нужен весной, увидите, как все зазеленѣет!» И вообще придумываем разныя соображенія, чтобы оправдать пригнавшій нас сюда оптимизм. Говорим: «в городѣ-то сейчас как отвратительно, а тут у нас — благодать! Вон сирень лиловыя кисточки выпускает! — Да не может быть? — Глядите! И земляника скоро зацвѣтет. — Вот это уж дѣйствительно прелесть!» И все нам любо, и все нам нравится, даже земляной червяк, голый и розовый, извивающійся преизящными кольцами.

Очень трудно подавить в себѣ желаніе разсказать о маленьких радостях, которых городской житель не понимает: что горох и бобы не склеваны, а взошли ровно и жирными росточками, как по ниткѣ, или что рѣдька не затянулась коркой, а проросла, — сѣмена то получены в письмѣ издалека, из страны с длиннѣйшим названіем: союз совѣтских соціалистических республик. Можно было достать такія же и тут, но как то не вѣрится, чтобы могла быть здѣсь такая горечь, какая произрастает на россійских огородах. Наша горечь всѣх горчѣе! С нашей горечью ничто не сравнится! Она у нас сочная! прочная, гонит слезу из глаз ѣдока, а это в рѣдькѣ очень цѣнится. Ѣшь рѣдьку — и вспоминаешь письмо.

Опять — о своей и только о своей боли — такова сила привычки! А вѣдь поѣзд вытряхнул нас всѣх равно, и всѣх одинаково тянет к простой жизни, то есть по необходимости — к прошлому, потому что нѣт ея в настоящем и не предвидится в недалеком будущем. Взыскующій покоя — неизбѣжный ретроград и человѣк воспоминаній; к ним и перейдем.

***

Было, приблизительно, так. Утром, вставая, знали, что придет вечер, а ложась к ночи, не сомнѣвались в завтрашнем днѣ. Пактов о ненападеніи не заключали, но за то частныя лица подписывали договоры сроком на девяносто девять лѣт, в полной увѣренности, что их дѣти и внуки условій договора не нарушат. С полной серьезностью добрый хозяин сажал в землю дубовый жолудь, с разсчетом лѣт через пятьдесят имѣть хорошій и тѣнистый угол. Писал чинуша входящія и исходящія, соображая, какая пенсія выйдет ему через тридцать лѣт. Жаднюга и скопидом совал в кубышку кредитки наравнѣ с золотом, и при том — в собственной валютѣ, не думая о девальваціи. Винодѣл набивал погреб бочками и бутылками, каждая с отмѣтиной, и к столу ему подавали бутылку обомшалую, пролежавшую полвѣка и вѣк. Строили дома не из пыли и мусора — на год, а из камня и строевого лѣса — на вѣчность. Даже платья шили из матеріи добротной, которая пригодится и

внучкѣ, если тут распустить, там подобрать, да пригнать к росту. И присматривали мужья жен и жены мужей на цѣлую жизнь, — чего только не было на свѣтѣ, даже не вѣрится!

Вот это, приблизительно, и считалось простой и хорошей жизнью, пока не оказалось, что такая жизнь никуда не годится. По землѣ побѣжали рельсы — и пришлось спилить дуб, снести дом, отвести русло рѣчки, гдѣ в заводи гуляла трехсотлѣтняя щука. Устарѣли кредитки в кубышкѣ жаднюги, просчитался чиновник, купив на всю свою пенсію коробку спичек, половина без головок. Открылась фабрика столѣтних коньяков, другая — осколков старинной скульптуры. Книги старыя на полках цѣлехоньки, только слегка пожелтѣли; книги новыя желтѣют через год, умирают на третьем десяткѣ: тлѣет бумага, тлѣют много скорѣе мысли. И, подписывая новый договор на девяносто девять дней, спорят не об основной цѣнѣ, а о неустойкѣ. В пятницу барыня надѣла новое платье — но в чем ей выйти в воскресенье, если это уже вышло из моды? А бабушку от внучки под штукатуркой не отличишь.

Немыслимой стала прежняя простая и хорошая жизнь — нужно изобрѣтать новую. Никто не покупает на толкучкѣ нянькин сундук, и даже трамваи устарѣли. На брюзжаньях и воспоминаніях жизнь не строится, и не отвѣтствуют ритму дня «Дунайскія волны».

***

Создавать новыя цѣнности совершенно необходимо, но для этого нужны молодая энергія и любовь к грядущим поколѣніям, к тѣм самым, из за блага которых чорт знает что приходится испытывать нынѣ живущим. И вообще — разрѣшите пожить и нам, современникам, самим для себя и во имя себя! В такой надеждѣ, вмѣсто цѣнностей новых, мы пытаемся отыскать и охранить вѣчныя.

Именно поэтому прибывшіе с субботним поѣздом торжественно обходят свои карликовыя владѣнія, копают гряды новыя и осматривают ранѣе засѣянныя. Цѣнность вѣчная является им зеленым побѣгом, все равно розы или моркови,

для услады глаз или для радости желудка. Их очаровывает закономѣрность явленій природы, — без этой закономѣрности простая жизнь неосуществима. Здоровое зерно, правильно посаженное в подходящую почву, непремѣнно рождает растеніе опредѣленнаго рода и вида, и воспрепятствовать этому могут только столь же закономѣрныя явленія, которыя можно устранить предусмотрительностью и заботой. Полная противоположность той, непростой, городской, придуманной жизни, в которой даже «пассаж клутэ» и поочередное озираніе налѣво и направо не спасают от необ'яснимых случайностей, потому что грузовик может в'ѣхать и на троттуар. Но любопытнѣе всего, что счастливчик, мотающійся весь воскресный день между вишневым деревом и прошлогодней капустной кочерыжкой, к веснѣ помолодѣвшей, совсѣм и не сознает своего пребыванія между вѣчными цѣнностями, да и времени не имѣет об этом размышлять. Он просто доволен, что дышит хорошим воздухом. Он уже забыл, что еще вчера играл роль начинки слоенаго каменнаго и цементнаго пирога: ходил по чужим головам, и по его головѣ ходили верхніе сосѣди. Он считает себя ловким и изобрѣтательным, — не подозрѣвая, что в том то и все дѣло, что он отказался на нѣсколько часов от изобрѣтательности многих вѣков и вернулся к первобытному состоянію человѣка, почти ко второй главѣ книгѣ Бытія:

«И взял Господь Бог человѣка, и поселил его в саду Едемском, чтобы воздѣлывать его и хранить его».

Надо было в свое время разбить Едемскій сад на участки, в каждом свое древо жизни, а древо познанія добра и зла выкорчевать. Тогда не было бы нужды изгонять человѣка с насиженнаго мѣста.

***

Но может быть эта **простая** жизнь так пуста и ничтожна содержаніем, что не стоит ради нея тревожить страницы книги Бытія и увлекаться воспоминаніями о кубышках и трехсотлѣтних щуках?

Меньше всего хочется вступать в спор, больше всего —

смотрѣть и слушать. Смотрѣть, как на смѣну уже отцвѣтшим крокусам распускаются в молодой красѣ гіацинты; слушать, как среди червячков и листьев, выпущенных березой, гомонят пичуги. Пожалуй их крик напоминает отдаленно шум голосов на парижской биржѣ, своеобразную музыку непростой жизни. Выбор свободен — по вкусам и запросам. Впрочем — как во всем: в жизни, в искусствѣ, в литературѣ. Но не бѣлый ли цвѣт — самый сложный, не простота ли — труднѣйшее в искусствѣ?

Хоть по весеннему то времени да будет позволено сказать, что против тревоги, охватившей мір — не впервые и не в послѣдній раз — нѣт противоядія, лучшаго, чѣм субботній поѣзд, увозящій людей совсѣм недалеко, до какой нибудь станціи со смѣшным названіем, и в то же время — в страну вѣчных цѣнностей и незыблемых законов, пожалуй — в страну чудес, во всяком случаѣ — легкаго дыханія и временнаго возврата к тому, что всего нужнѣе и всего цѣннѣе: простой жизни простого человѣка.

Мих. Осоргин.

ИСТОКИ

Часть третья*).

I.

Юрій Павлович вернулся со службы на извозчикѣ раньше обычнаго часа, что с ним случалось чрезвычайно рѣдко. В министерствѣ он вдруг почувствовал себя плохо: сильно разболѣлась голова, как будто был и жар. У себя дома Дюммлер с трудом поднялся по лѣстницѣ и даже остановился передохнуть, держась рукой за перила. «Надо было бы перенести спальную вниз», — подумал он. Юрій Павлович вошел в свою любимую, самую теплую в домѣ, комнату, которая без особых основаній называлась диванной, и там опустился, почти упал, в первое же кресло. «Уж не позвать ли врача?»

В послѣднее время он говорил, что не вѣрит в медицину. Это в Петербургѣ было с нѣкоторых пор модно, послѣ огромнаго успѣха романов графа Льва Толстого. Но к Юрію Павловичу мода пришла кружным путем: он вообще романов не читал и только перелистывал в «Русском Вѣстникѣ» главы «Анны Карениной»: о ней теперь говорили в каждом дворцѣ и домѣ столицы. «Нѣт, кое-что врачи все-же умѣют лѣчить... Зубы, напримѣр, это безспорно»...

Узнав, что у мужа болит голова и что он рѣшил вечером остаться дома, Софья Яковлевна насторожилась. Она знала, что Юрій Павлович без серьезной причины не отказался бы от бала у германскаго посла.

— В чем дѣло? Только от того, что голова болит?... Конечно, теперь не очень удобно отказываться. Но если ты нездоров... Кажется, у тебя жар! — сказала она вглядываясь

---

*) См. «Новый Журнал», кн. 4.

в усталое блѣдное, с воспаленными глазами, лицо Юрія Павловича. — Сколько раз я тебѣ говорила, что при нашем гнилом климатѣ нельзя в апрѣлѣ так сразу переходить от шубы к пальто!

— К сожалѣнію, промежуточныя формы между шубой и пальто еще не изобрѣтены господами портными, — отвѣтил со слабой улыбкой Юрій Павлович и вдруг, схватившись за грудь, стал кашлять непріятным сухим кашлем.

— Ты простужен и очень простужен! — сказала Софья Яковлевна, приложив руку к его лбу. — Вот что значит ходить без фуфайки в такую погоду! Ты отлично знаешь, что у тебя хроническіе катарры! Я сейчас же посылаю за Дмитріем Ивановичем.

— Ни за что. Я просто выпью чаю с лимоном и завтра буду совершенно здоров. А тебя я рѣшительно прошу, Софи, отправиться на бал.

— Ты «ни за что», и я «ни за что», — отвѣтила Софья Яковлевна. Оба «ни за что» были без восклицательнаго знака. Юрій Павлович знал, что его женѣ очень хочется быть на балу, а Софья Яковлевна понимала, что ея муж согласится вызвать врача. — Эти балы вообще начинают становиться невозможными, надо положить конец этому безумію: ни одного вечера нельзя спокойно провести дома.

Дюммлер устало-болѣзненно зѣвнул. Ему было извѣстно, что в тѣ, дѣйствительно рѣдкіе, вечера, когда они оставались одни дома, Софья Яковлевна, уложив Колю, очень скучала. Послѣ недолгаго спора был достигнут компромисс. Вмѣсто двадцатипятирублеваго профессора Академіи был вызван скромный молодой трехрублевый врач, введенный в их дом Черняковым и приглашавшійся тогда, когда у Коли «слегка подскакивала температура», или, рѣже, в случаѣ болѣзни слуг. Дѣло было впрочем отнюдь не в расходѣ, а в том, что появленіе профессора создавало тревожное впечатлѣніе в домѣ и внѣ дома. Почему-то Дюммлеры тщательно скрывали свои болѣзни, точно в них было нѣчто постыдное или могущее повредить им в общественном мнѣніи.

Трехрублевый врач Петр Алексѣевич никакой тревоги не вызывал. Из за его имени-отчества и крошечнаго роста всѣ называли его Петром Великим; хотя эта вѣчная шутка казалась ему в высшей степени неумѣстной, он, по своему благодушію, не сердился. Петр Алексѣевич принадлежал к давно обѣднѣвшей, но старой дворянской семьѣ. Быть может, поэтому к нему благоволил Дюммлер, много занимавшійся генеалогіей (он имѣл большую генеалогическую библіотеку и состоял членом общества геральдики; в Россіи Юрій Павлович особенно цѣнил балтійскую аристократію и в душѣ только ее признавал самой настоящей). Ему было жалко Петра Алексѣевича, который, принадлежа к родовитой семьѣ, был врачем, да еще трехрублевым. Иногда Дюммлер снисходил до разговоров с Петром Алексѣевичем на философскія и политическія темы. В философіи оба были матеріалистами; Юрій Павлович, впрочем, свои философскіе взгляды держал про себя. Но из матеріализма Дюммлер в политикѣ выводил ретроградныя воззрѣнія, а Петр Алексѣевич — весьма передовыя.

Был достигнут компромисс и по вопросу о балѣ: Софья Яковлевна обѣщала поѣхать, если Петр Алексѣевич признает нездоровье мужа несерьезным. По ея настоянію, Дюммлер надѣл халат и прилег на диван. Ему дали чаю с лимоном. Лампу замѣнили свѣчой с абажуром. Колѣ велѣно было не шумѣть. Для больного заказаны были бульон и куриная котлета, хотя он устало заявил, что просто не может думать о ѣдѣ. В домѣ установился дух любви и общей готовности к жертвам, — «поэзія болѣзни», — подумала Софья Яковлевна с нѣкоторой нервностью.

— Пустяки, конечно, — увѣренно сказал Софьѣ Яковлевнѣ доктор по пути в диванную, откуда слышался кашель. — Сейчас в городѣ у всѣх инфлюэнца или, по крайней мѣрѣ, насморк.

— Вы думаете, он может нынче выйти? Только, ради Бога, не пугайте его. Юрій Павлович говорит, что он совершенно не мнителен, но я не знаю человѣка мнительнѣе, чѣм он.

— Всѣ мнительные люди увѣряют, что они и не думают о своем здоровьи, — сказал Петр Алексѣевич и, войдя в полутемную диванную, остановился. Он все боялся раздавить, опрокинуть, разбить что-либо дорогое в этом богатом домѣ.

— Здравствуйте, ваше высокопревосходительство, что же это вы? — спросил шутливо доктор, всегда называвшій Дюммлера по имени-отчеству.

Когда в комнату внесли лампу, шутливость с Петра Алексѣевича соскочила; да и Софья Яковлевна теперь впервые с тревогой подумала, что, кажется, ея муж заболѣл по настоящему. Доктор тоже приложил руку ко лбу больного, сдѣлав над собой нѣкоторое усиліе: этот материнскій жест выходил не совсѣм естественным в отношеніи пожилого человѣка, вдобавок тайнаго совѣтника.

— Да, конечно, нѣкоторый жар, — сказал Петр Алексѣевич, понемногу безсознательно стирая улыбку на лицѣ. Он пощупал пульс, измѣрил температуру и, поспѣшно встряхнув термометр, об'явил, что тридцать восемь с хвостиком.

— С каким именно хвостиком? Хвостики бывают разные, — попробовал опять пошутить Дюммлер. Тон шутки звучал у него неестественно. Доктор сдѣлал вид, будто не слышит, вынул из футляра старой формы цилиндрическій стетоскоп, выслушал больного и нехотя об'явил, что ничего опаснаго нѣт.

— Обостреніе вашего застарѣлаго катарра. Придется, Юрій Павлович, полежать... Служба? Нѣт, на недѣлю-другую вам надо о службѣ забыть! Служба не убѣжит.

Поговорив еще о Бисмаркѣ, Петр Алексѣевич вышел и в гостиной, уже без улыбки, об'явил Софьѣ Яковлевнѣ, что у Юрія Павловича, повидимому, крупозное воспаленіе легких. Он тут же сам предложил устроить консиліум, понимая, что в этом домѣ, при крупозном воспаленіи легких, поднимут на ноги всю Академію.

— Не могу скрыть от вас, что температура 39,5. Вѣроятно, еще повысится к ночи, — сказал он и, увидѣв ужас, проскользнувшій по лицу Софьи Яковлевны, поспѣшил добавить: — Большой опасности я не вижу. Само по себѣ воспаленіе

легких не страшная вещь. Лишь бы не было осложнений, особенно в области сердца... Если хотите, я сам сейчас с'ѣзжу за Кошлаковым? Может, на счастье застану дома.

— Умоляю вас, доктор, привезите его тотчас. Вы поѣдете в нашем экипажѣ.

— Вы думаете, его так легко найти!? Вѣдь ваш человѣк и меня застал случайно: опоздай он на пять минут, не нашли бы до самой ночи.

Пріѣхавшій поздно вечером профессор подтвердил діагноз Петра Алексѣевича. Температура была 40,1. Больного била дрожь. Он учащенно дышал и жаловался на боль в груди. Врачи, вполголоса даже в гостиной, говорили о возможности гнойнаго плеврита, перикардита и эндокардита. Софья Яковлевна с ужасом старалась понять значеніе этих слов, не обѣщавших ничего хорошаго. Самым тревожным признаком было то, что профессор, человѣк вполнѣ безкорыстный и обладавшій громадной практикой, первый, не дожидаясь приглашенія, сказал, что заѣдет на слѣдующій же день.

— Но все-таки, профессор, это опасно или нѣт?

— При общем состояніи организма Юрія Павловича, это довольно опасно, — отвѣтил, немного подумав, профессор.

На слѣдующій же день в том обществѣ, в котором проходила жизнь Дюммлеров, пронесся слух, что Юрій Павлович очень, очень болен. А еще дня через два или три стали шопотом говорить, что он умирает. Дюммлер имѣл множество знакомых и сослуживцев, и среди них волненіе было велико. Как почти всегда, болѣзнь поразила всѣх своей неожиданностью. Люди вспоминали, что видѣли Юрія Павловича чуть ли не наканунѣ болѣзни: «Он был вот как сейчас мы с вами! Шутил и был весел». — «Ну, весельчаком он никогда не был»... Разговоры сводились к безсмысленному удивленію: был здоров — пока не заболѣл.

К общему облегченію, стало извѣстно, что Софья Яковлевна никого не принимает. Знакомые оставляли карточки и поспѣшно уѣзжали, как бы опасаясь: вдруг все-таки примут.

По утрам первым дѣлом заглядывали в траурныя об'явленія газет. Об'явленіе, котораго ждали, не появлялось.

Через недѣлю стали приходить болѣе успокоительныя свѣдѣнія. Новый консиліум признал улучшеніе, сердце выдержало, кризис миновал. Почему-то сообщалось это чуть ли не с нѣкоторым разочарованіем, хотя всѣ поспѣшно добавляли: «Слава Богу!» Непонятное разочарованіе чувствовалось даже у людей, которые не только не желали зла Дюммлерам, но всячески им сочувствовали. Точно послѣ прежняго полнозвучнаго шопота: «Слышали, умирает Юрій Павлович Дюммлер!» — новыя сообщенія не удовлетворяли человѣческой потребности в драматизмѣ.

Сам больной не догадывался, что его положеніе так опасно. Врачи и Софья Яковлевна бодро говорили ему о нѣкотором обостреніи его катарра. Мысль о смерти просто не доходила до сознанія Юрія Павловича, то ли вслѣдствіе крайней непривычности этой мысли или из за полной внезапности болѣзни. Неизмѣнно веселая улыбка жены, ея шутливые упреки, успокоительный тон врачей дѣйствовали на Дюммлера, хотя, как всѣ, он отлично знал, что тяжело больных людей всегда обманно успокаивают врачи и родные. Софья Яковлевна обманывала его искусно (она находила безсознательное удовлетвореніе в этой своей актерской игрѣ). Однако по тому, что врачи пріѣзжали два раза в день, что нѣсколько раз устраивали консиліум, что примѣнялись общеизвѣстныя средства, при помощи которых поддерживается дѣятельность сердца у умирающих, Дюммлер мог бы догадаться о правдѣ.

Впрочем, он большую часть дня и ночи был в полузабытьи. Острых болей у него не было, страдал он главным образом от затрудненнаго дыханья, от частаго сухого кашля, от озноба, от слабости и безпомощности. Ему все хотѣлось перемѣнить положеніе: лечь повыше, лечь пониже — и все было худо, хотя смѣнявшіяся при нем сидѣлки постоянно перекладывали, взбивали подушки. Эти сидѣлки особенно раздражали Юрія Павловича, отчасти своей глупостью, сказы-

вавшейся и в том тонѣ, в котором онѣ с ним говорили, отчасти самой своей работой: в ней отсутствовала элементарная стыдливость, — как на бѣду, это были молодыя миловидныя женщины. Одна из них, самая глупая из трех, проводила ночи в спальной, на диванѣ, поставленном вмѣсто кровати Софьи Яковлевны. Дюммлер не мог привыкнуть к тому, что в комнатѣ, куда и днем рѣдко допускались люди, теперь ночевала чужая, неизвѣстная ему даже по имени женщина. Измѣрив температуру, сидѣлка радостно об'являла «Ну, вот как хорошо, ваше высокопревосходительство! Всего каких-нибудь 38. Молодцом!» Этот полушутливый тон, точно он был ребенком, сочетаніе «вашего высокопревосходительства» с «молодцом», казались ему идіотскими. Угнетали его и непривычная ему бездѣятельность, и полная неопредѣленность положенія, — он постоянно спрашивал врачей, сколько оно может продолжаться; они отвѣчали уклончиво или шутливо.

Кромѣ докторов, жены и сидѣлок, Юрій Павлович никого не видѣл. В тѣ часы, когда ему ненадолго становилось лучше, Софья Павловна сообщала мужу, кто присылал справиться, кто заѣзжал. К этому он проявлял интерес, спрашивал, переспрашивал. Среди пріѣзжавших были его недоброжелатели и даже враги. Их вниманіе его трогало, и, когда он бывал способен думать о чем-либо связно, Юрій Павлович думал, что по выздоровленіи пересмотрит свои отношенія с этими людьми. «Что такое мелкіе — да пусть и не мелкіе! — счеты по сравненію со здоровьем!... А Василій Петрович, я знаю, сам больной человѣк, и тяжело, не то что я»... Дюммлер теперь особенно интересовался больными. Физически он очень измѣнился за нѣсколько дней болѣзни. Между бакенбардами у него появилась сѣдая щетина, старившая его лѣт на десять, и на ней теперь особенно непріятно обозначилось Адамово яблоко. Около ноздрей появилась легкая сыпь. Глаза были воспалены. Его все время била дрожь, в которой он впрочем находил и что-то вродѣ удовольствія. Софья Яковлевна говорила Чернякову, что Юрій Павлович измѣнился и морально, — «размяк». Она впрочем и сама подобрѣла.

На пятый день болѣзни наслѣдник престола прислал ад'ютанта справиться о здоровьи Юрія Павловича (государь был заграницей). Софья Яковлевна тотчас сообщила об этом больному, хотя и знала, что это его взволнует (сама она скрыла удовольствіе, тѣм болѣе, что не сочувствовала политическому направленію наслѣдника). Юрій Павлович неожиданно прослезился и долго разспрашивал, какой именно ад'ютант пріѣзжал и что он сказал и что ему отвѣтили. «Надо было его пустить ко мнѣ!» — взволнованно прошептал он. Этот знак вниманія тоже мог бы навести Юрія Павловича на предположеніе, что он очень плох, — и тоже не навел.

Под вечер, послѣ третьяго консиліума, сидѣлка, измѣрив температуру больного, вышла из спальной, забыв на столикѣ термометр. Юрій Павлович с трудом поднялся на кровати, дрожащими руками вынул из футляра очки и, придвинув свѣчу, выслѣдил кончик ртутнаго столбика: 40,2! Он выронил термометр и, задыхаясь, кашляя, повалился на подушки. Только теперь он понял, что его все время обманывают. «Что же это? Неужели смерть? Ist das moeglich?» — с ужасом спросил он себя. Он подумал, что не успѣл оформить нѣкоторыя измѣненія в завѣщаніи. Вдруг оно окажется недѣйствительным? Юрій Павлович старался и, к своему изумленію, не мог вспомнить, кому по закону пошло бы его состояніе: все сыну? нѣт, часть женѣ, но какая именно? И то, что он не мог вспомнить законов, извѣстных каждому юристу, еще усиливало его ужас. «Не может быть, чтобы это было правдой! Смерть от того, что не надѣл фуфайки?!» Подумал, не продиктовать ли письмо к государю, как дѣлали перед смертью нѣкоторые сановники. «Нѣт, не может быть! Ausgeschlossen!» — прошептал он.

— В чем дѣло? Отчего ты в очках? — тревожно спросила Софья Яковлевна, войдя в спальную. Она быстро подошла к кровати. — Что это? Ах, я раздавила термометр! Вѣрно, та дура уронила?

— Я видѣл: 40 с половиной! — прохрипѣл Дюммлер. — Все обманывали! Зачѣм обманывали?... Я умираю, да?...

Софья Яковлевна дала ему честное слово, что у него никогда 40 с половиной не было, что он просто не разглядѣл, что ртуть, быть может, поднялась из за тепла свѣчи на столикѣ. Он сначала не повѣрил, потом почти повѣрил, мысли его смѣшались, он стал бредить, хриплым шопотом произносил мало понятныя нѣмецкія и русскія фразы. Ночью опять вызвали профессоров. Они не скрыли от Софьи Яковлевны, что есть непосредственная опасность, что не исключен неблагопріятный исход. Эти слова, благозвучно означавшія смерть, привели ее в ужас. В эту ночь она почти не выходила из спальной. Дежурил в домѣ и Петр Алексѣевич, упорно говорившій, что он был и остается оптимистом.

Мнѣніе Петра Алексѣевича оказалось вѣрным. На слѣдующій день больной проснулся, обливаясь потом. Софья Яковлевна сама измѣрила температуру и не повѣрила глазам. Новый термометр показывал 36,8! Петр Алексѣевич, немного вздремнувшій в диванной, радостно об'явил, что произошел кризис, кончившійся благополучно. Его заявленіе подтвердил и пріѣхавшій профессор.

— Сердце вчера особенно пошаливало, но теперь все обойдется, — сказал он (это выраженіе, казавшееся Софьѣ Яковлевнѣ игривым и почему-то семинарским, прежде ее раздражало). Получив от профессора подтвержденіе того, что непосредственной опасности больше нѣт, Софья Яковлевна вошла в спальную.

— Ну, вот, кончено! Теперь ты перестал быть интересным! Больше ни малѣйшей опасности нѣт. Температура 36,8, ты сам видѣл. А сорока с половиной никогда и не было, — весело оказала она. «Мысленная резервація» заключалась в том, что выше 40,2 температура дѣйствительно не поднималась; Софья Яковлевна не любила лгать на честное слово, даже для успокоенія больного. Преодолѣвая нѣкоторую брезгливость, она поцѣловала мужа в мокрый лоб и об'явила, что теперь сама хочет отдохнуть. Дѣйствительно, она была измучена и волненіем, и безсонными ночами, и всего больше той необычной жизнью,

которую вела в послѣдніе десять дней. Ей хотѣлось и выспаться, и подумать о б о в с е м по настоящему. О чем именно, — это ей самой было не вполнѣ ясно.

В домѣ перестали ходить на цыпочках. В гостиных все увеличивалось количество цвѣтов, а на серебряной тарелкѣ в передней — число визитных карточек. Посѣтителей, неосторожно спрашивавших, принимают ли, теперь принимали. Впрочем, очень скоро дом Дюммлеров стал опять почти таким же пріятным, каким был всегда, — и только вначалѣ гости еще говорили испуганным сочувствующим шопотом. Визиты утомляли, но и развлекали Софью Яковлевну. Она даже не очень тяготилась тѣм, что каждому пріѣзжавшему гостю надо было все разсказывать сначала: когда именно заболѣл Юрій Павлович, что сказали врачи в первый день, что они говорят сейчас. Уже почти не мѣняя выраженій, лишь нѣсколько ускорив темп, Софья Яковлевна послушно все разсказывала. Гости сообщали, как они узнали о болѣзни Юрія Павловича, выражали свои чувства и давали совѣты. Потом начинался обычный разговор, теперь, из за пропущеннаго времени, особенно интересный Софьѣ Яковлевнѣ. Она постоянно ругала петербургскую жизнь и иронически относилась к обществу, в котором жила, но в эти дни особенно ясно почувствовала, что любит это общество и никакого другого не желает.

Черняков бывал теперь в домѣ сестры каждый день. В прежнія времена Михаил Яковлевич лишь изрѣдка з а б ѣ г а л к Дюммлерам. Теперь это слово к нему больше не подходило. Общественное положеніе Чернякова очень поднялось в послѣдній год. Его работа о вѣчевых собраніях была лестно отмѣчена в нѣмецкой научной печати; он готовил новый большой труд и считался на вакансіи экстраординарнаго профессора: должность ему даже была почти обѣщана, — потребовались, правда, не совсѣм пріятные для его достоинства ходы и просьбы, но он утѣшал себя тѣм, что без таких ходов нельзя стать профессором и вообще ничѣм стать нельзя. Имя Чернякова не менѣе двух раз в мѣсяц появлялось и в ежедневных

газетах. Михаил Яковлевич теперь стал еще самоувѣреннѣе. Софья Яковлевна не стыдилась брата; она даже старалась вводить его в такіе дома, которые могли быть ему полезными. Черняков вдобавок был тактичен, в политическіе споры с ретроградами не вступал, а от особенно важных гостей уходил в библіотеку, гдѣ любовался прекрасно переплетенными книгами (среди них преобладали политическіе, историческіе и генеалогическіе труды на нѣмецком языкѣ). Михаил Яковлевич был страстным библіофилом. Он не был завистлив, но вздыхал, глядя на библіотеку Дюммлера. Книги в ней стояли плотными ровными рядами, как стоят книги у людей, которые их не читают.

Четвертый консиліум признал, что опасность миновала совершенно, и что больному необходим продолжительный отдых: надо через нѣкоторое время отправиться на воды в Германію, лучше всего в Швальбах, а то в Эмс, — не столько из за миновавшаго воспаленія легких, сколько из за застарѣлых катарров. Затѣм рекомендовалось поѣхать до сентября в Швейцарію, а на осень на французскую или итальянскую Ривьеру. Врачи не стѣснялись в предписаніях, зная, что денег у больного больше, чѣм нужно. Юрій Павлович, уже очень оживившійся, заявил, что не имѣет никакой возможности оставить службу на столь продолжительное время. Профессор-генерал слегка развел руками, показывая, что это не его дѣло: вдобавок, он недовѣрчиво относился к значенію и пользѣ службы фон Дюммлера.

— Ты отлично знаешь, что тебѣ дадут какой угодно отпуск, — сказала Софья Яковлевна так сердито, что врачи посмотрѣли на нее с удивленіем, а муж с робостью.

В заключеніе консиліум себя распустил, разрѣшив больному читать, — по возможности легкія, не утомительныя книги, — и ѣсть что угодно, кромѣ тяжелой пищи. Профессор Академіи признал излишними и свои дальнѣйшіе визиты:

— Я всецѣло полагаюсь на Петра Алексѣевича, — сказал он. Молодой врач радостно вспыхнул. Все-же, уступая просьбѣ

Софьи Яковлевны, профессор согласился заѣхать еще раз, через нѣсколько дней. И в самой неопредѣленности этих слов «денька через три» было тоже нѣчто весьма успокоительное.

Профессора уѣхали. Петр Алексѣевич, ставшій, особенно в послѣдніе дни, своим человѣком в домѣ, пошел пить чай в сѣрую гостиную. Софья Яковлевна направилась было в спальную, но по дорогѣ, в диванной, силы ее оставили, она опустилась в кресло, только теперь вполнѣ ясно поняв, как ее измучила болѣзнь мужа. Все кончилось благополучно. Тѣм не менѣе рѣшеніе консиліума совершенно ломало ея жизнь. «Швальбах! Потом Швейцарія, потом что-то еще!»... До сих пор она держалась нервным под'емом, зная, что на ней лежит все. Теперь оставалась только скука, — та, большей частью уютная, скука, которую она испытывала в обществѣ Юрія Павловича.

Софья Яковлевна никогда не была влюблена в мужа. Юрій Павлович смутно подозрѣвал, что у его жены были у в л е ч е н і я . Другого слова он мысленно не употреблял и гнал от себя мысли болѣе опредѣленныя. По своим матеріалистическим взглядам он не придавал чрезмѣрнаго значенія супружеской вѣрности. Сам впрочем был женѣ вѣрен, частью из за переобремененности работой, частью потому, что нѣжно ее любил. Любовью — пожалуй больше, чѣм своим положеніем в обществѣ и богатством — он ее в свое время и подкупил. За четырнадцать лѣт у Дюммлеров создались ровныя, спокойныя дружескія отношенія, которым способствовало и то, что оба они были так заняты: он службой, она жизнью в свѣтѣ и воспитаніем сына. Для Софьи Яковлевны муж давно был в с е т а к и свой и самый близкій человѣк.

«Полгода быть сидѣлкой при больном!» — подумала она. В этом было новое проявленіе того, чего Софья Яковлевна боялась больше всего на свѣтѣ: ей в послѣдній год казалось, что жизнь ея в сущности кончилась, что впереди остается лишь болѣе или менѣе сносное д о ж и в а н і е. «Да, немного же мнѣ было дано. Другим гораздо больше... За что это?... Ничего не подѣлаешь: буду сидѣлкой... Но как быть с Колей?

Отдать его в Лицей? Эти ужасные мальчишескіе интернаты... Взять к нему гувернера и повезти с нами? Да, так, очевидно, придется сдѣлать»... У Коли давно не было воспитателей. Софья Яковлевна безсознательно ревновала его к гувернанткам и даже к гувернерам. «Лѣт через пять-шесть он все равно перестанет обращать на меня вниманіе!» — с ужасом сказала себѣ она.

В диванной на столѣ лежал «Русскій Вѣстник» с «Анной Карениной». «Вот это ему и дать»,—подумала она с непріятным чувством. Ей при чтеніи казалось, что есть какое-то внѣшнее сходство между их домом и домом Анны. Софья Яковлевна находила, что в их обществѣ теперь чуть не всѣ немного поддѣлываются под этот вызывавшій небывалый фурор роман. «Недаром спорят, кто с кого писан... Ну, я на Анну никак не похожа, и уж сейчас-то менѣе всего думаю о Вронских!» — с улыбкой сказала она себѣ и, вздохнув, отправилась к мужу.

— Вот, ты хотѣл читать. Все-таки надо же тебѣ прочесть «Анну Каренину», — сказала она. Юрій Павлович сам понимал, что надо. Ему было и скучно, и нѣсколько неловко за автора: совѣстно, что пустяками занимается и заставляет заниматься других почтенный, повидимому, человѣк, помѣщик, принадлежащій к хорошей титулованной семьѣ, — русской, но через Остен-Сакенов породнившейся с Брюлями, Мантейфелями, Унгерн-Штернбергами и даже косвенно с Кеттлерами, — вдобавок, кажется, дальній родственник графа Дмитрія Андреевича.

В спальной уже горѣла лампа. У Дюммлера подбородок еще не был выбрит, бакенбарды не нафабрены и запущены. Это было одной из причин, по которым он никого не принимал. От жены давно туалетных секретов не было.

— Спасибо, моя милая, — сказал Юрій Павлович, рѣдко в здоровом состояніи так обращавшійся к женѣ.

— Ну, что-ж, ты очень огорчен? Нѣсколько мѣсяцев наединѣ с женой, это ужасно, правда? — спросила она, наливая в ложку лекарства. — Выпей, пора.

Он с трудом приподнялся с подушек, проглотил, морщась, лекарство, и поцѣловал руку женѣ.

— Нѣсколько мѣсяцев? Да ты шутишь, — сказал Юрій Павлович слабым голосом.

— Не я: доктора так шутят.

— Но нѣсколько недѣль провести с тобой и с Колей на водах, это может быть, в самом дѣлѣ стоит, а? Мы с тобой мало пользовались отдыхом: десять мѣсяцев в году ужасной петербургской жизни и два мѣсяца в деревнѣ или на морѣ, это было неблагоразумно. Вот и приходится расплачиваться.

— Это даже нельзя считать расплатой: нам заграницей навѣрное будет очень пріятно, — так же весело сказала Софья Яковлевна. — А сейчас, ради Бога, постарайся заснуть. Они сказали, что это самое главное. Я тушу лампу.

— Да, пожалуйста. Кажется, Швальбах очень милое мѣсто... Ты знаешь, Софи, мое завѣщаніе находится у нашего нотаріуса... И позволь сказать тебѣ: я хотѣл бы лежать на Смоленском Евангелическом кладбищѣ, рядом с графом Канкриным...

— Хорошо, хорошо, — вполнѣ равнодушно сказала Софья Яковлевна, знавшая, что ея муж очень любит говорить о своих похоронах, когда чувствует себя недурно.

— Извини меня, но я должен обо всем подумать. Тебѣ извѣстно, что я совершенно не боюсь смерти, но...

— Да, да.

— Государь наслѣдник больше не освѣдомлялся?

— Нѣт, больше не освѣдомлялся, — отвѣтила Софья Яковлевна, подавляя раздраженіе. Юрій Павлович всегда говорил: «государь императоръ», «государь наслѣдник».

— А кто это пріѣхал во время консиліума? Я слышал звоиок.

— Это Миша. Я его оставлю к обѣду.

— И сердечно поблагодари его за вниманіе. Я очень оцѣнил и тронут, — сказал Дюммлер еле слышно. Она поцѣловала его в голову и вышла. «Да, именно, поэзія болѣзни»...

* * *

В сѣрой гостиной Михаил Яковлевич и молодой доктор говорили тоже об «Аннѣ Карениной».

— Я сегодня был в редакціи «Голоса», — сказал, потягивая портвейн, Черняков. — Там говорят, что Левин женится на Кити и что у Каренина будет дуэль с графом Вронским.

— На здоровье, — отвѣтил доктор, с любопытством и осторожностью гладившій ящичек из слоновой кости. — Поразительно, что люди так интересуются какими-то великосвѣтскими хлыщами, вдобавок никогда не существовавшими. Пусть Каренин и Вронскій смертельно друг друга ранят пониже брюха и умрут, не обратившись к врачам: вѣдь граф Толстой врачей не признает, — саркастически добавил он. — Меня этот роман с графьями весьма мало интересует.

— Что вы, Петр Великій, это замѣчательная вещь, — сказал Михаил Яковлевич. Он всегда с нѣкоторым испугом и без увѣренности в голосѣ хвалил «Анну Каренину», но в душѣ недоумѣвал: чѣм собственно восхищаются люди?

Доктор осторожно поставил ящичек на мѣсто и закурил папиросу.

— Какое, собственно, назначеніе этого страннаго предмета?

— Соня, милая, сердечно поздравляю, — обратился Михаил Яковлевич к вошедшей сестрѣ. — Петр Великій сказал, что, по общему мнѣнію всего синклита, больше ни малѣйшей опасности нѣт. Слава Богу! Но я всегда говорил, что этот ваш Кошлаков любит пугать людей.

— Так вам теперь кажется. Могу вас увѣрить, что в началѣ положеніе казалось чрезвычайно серьезным нам всѣм. Но и сейчас, хотя опасности нѣт, надо, господа, соблюдать осторожность, я прямо вам говорю, Софья Яковлевна.

— Когда же нам ѣхать, Петр Алексѣевич?

— Я думаю, числа десятаго мая уже можно будет.

— В Швальбах?

— Непремѣнно в Швальбах. Эмскія воды почти такія же, но все-таки не совсѣм то. И главное, уж очень в Эмсѣ шумно: это теперь самое модное мѣсто в мірѣ.

— Фактическая поправка, почтеннѣйшій. Эмскія воды были в модѣ еще у древних римлян. Кромѣ того...

— Миша, не мѣшай. Вы говорите, в Эмсѣ шумно, доктор?

— По слухам, с'ѣзд там невѣроятный, особенно из за того, что туда ѣздит государь. В Эмс бросились франты со всѣх концов міра.

— Да, правда, вѣдь государь в Эмсѣ! — сказала Софья Яковлевна. — Я и забыла. А воды почти такого же дѣйствія, как в Швальбахѣ?

— Болѣе или менѣе: углекислый натр, углекислый литій. Дѣйствіе почти одно и то же. Затѣм, разумѣется, надо будет поѣхать на Nachkur — замѣтил доктор, произнося нѣмецкое слово особенно значительным тоном. Он вдруг поймал взгляд Софьи Яковлевны, направленный на его папиросу с покрившимся кончиком. Петр Алексѣевич поспѣшно пододвинул к себѣ пепельницу, но пепел упал на ковер.

— Господи, как я задержался! Еще в два мѣста нужно, — сказал смущенно доктор. — Значит, завтра, часов в одиннадцать?

— Да, пожалуйста. До свиданья, Петр Алексѣевич, и спасибо. Миша, проводи доктора, будь так добр.

Софья Яковлевна взяла со стола газету, но и не заглянула в нее. «Какого же гувернера можно найти так быстро? Имѣть на шеѣ чужого скучнаго человѣка... Неужели так придется прожить полгода? Конечно, я люблю Юрія... Да, правда, люблю, и мнѣ его очень жаль. Однако за что же мнѣ послано это наказаніе? Впрочем, стыдно так думать»...

— Практика прямо изводит нашего Петра Великаго! — сказал Черняков, возвращаясь в гостиную. — Он еще не может прійти в себя: на равных правах участвовал в консиліумах со знаменитостями!... Впрочем, он отличнѣйшій врач! Вот и у Юрія Павловича сразу поставил правильный діагноз. Ну, еще раз сердечно тебя, Соня, поздравляю. Мнѣ без вас будет скучно... Жаль, что вы ѣдете в Швальбах. Ты знаешь, в Эмсѣ будет не только государь, но и сам Мамонтов! Я вчера удостоился полученія от него письма. Кажется, это второе за год с лишним!

— Николай Сергѣевич? Ему-то что дѣлать в Эмсѣ?

— Вѣроятно, cherchez la femme... Представь, он продал «Стеньку» и получил какіе-то заказы на портреты!

— Почему ты думаешь: «cherchez la femme»?

— Я т а к говорю, зная нашего Леонардо... Теперь к тебѣ небольшая обычная просьба, — сказал Михаил Яковлевич, вынимая из кармана конверт. — Билеты на концерт в пользу недостаточных студентов. Дай на радостях двадцать пять цѣлковых.

— Я дам пятьдесят.

— Вот это очень мило. Не говорю тебѣ: приходи, так как, во первых, вы будете в Швальбахѣ, а во вторых, ты никогда на этих концертах не бываешь.

— Не сердись: это всегда очень скучно. Вперед знаю: Сначала будет хор студентов-медиков под руководством профессора химіи Бородина, затѣм Платонова или Леонова споет какую-нибудь «Ночь» или «Вечер» или «Утро» под аккомпанимент пьяненькаго Мусоргскаго, и, pour la bonne bouche, Достоевскій прорычит Пушкинскаго «Пророка». Благодарю покорно.

— Достоевскаго, пожалуйста, не ругай. Мы с ним, может быть, осенью выступим вмѣстѣ на одном вечерѣ.

— Ты, Мишенька, с Достоевским?

— Да, я, Мишенька, с Достоевским... Он Достоевскій, а я Черняков.

— Я ничего не хотѣла сказать... Развѣ ты его знаешь?

— Я хочу предложить ему совмѣстное выступленіе. Может, еще кого-нибудь пригласим, хотя мы и вдвоем соберем полный зал. Это в пользу голодающих.

— Да, я читала в газетѣ, что ты избран в Комитет. Представь, вижу «профессор М. Я. Черняков» и не сразу догадалась, что это ты! — сказала Софъя Яковлевна с улыбкой. Она любила своего брата, но знала его слабости и с неудовольствіем думала, что именно слабостями он похож на нее, «хотя в другом родѣ». — Теперь вот что: ты остаешься обѣдать. Надѣюсь, ты свободен?

— Как птичка Божія. Мой университетскій курс позавчера

кончился, так что и к лекціям не надо готовиться.

— Твой курс кончился?... Постой, дай подумать минуту. Кажется, у меня блестящая мысль... Значит, до осени тебѣ нечего дѣлать в Петербургѣ?

— Как нечего? Я всегда работаю для себя.

— Да, разумѣется, но для себя ты можешь работать гдѣ угодно... Послушай, Миша, что еслиб ты поѣхал с нами?... Это прекрасная мысль! Знаешь что? Ты вѣдь на меня не обидишься, правда? Ты очень любишь Колю, и он тебя очень любит. Теперь Юрій Павлович болен, и я должна буду находиться часть дня при нем. Еслиб ты поѣхал с нами, я была бы гораздо спокойнѣе!

— Ты, что же, хочешь, чтобы я был гувернером при Колѣ? — обиженно спросил Михаил Яковлевич.

— Да нѣт же! Какой ты странный! Нам гувернер при Колѣ и не нужен, он отлично себя ведет. Но, вдруг, напримѣр, нужно Колю увезти назад в Петербург, а я должна буду остаться с Юріем Павловичем? Вѣроятно, это будет именно так. Вот он с тобой бы и вернулся. Ну, а если ты, не как «гувернер», а как дядя, захочешь имѣть общій надзор за его образованіем, я была бы тебѣ вообще чрезвычайно благодарна. До сих пор этим занимался Юрій Павлович, теперь он болен, а я, как ты знаешь, совершенно невѣжественна... Может быть, тебѣ и самому было бы полезно отдохнуть на курортѣ? Ты вѣдь тоже устал за год! А весь день у тебя оставался бы для работы, — говорила Софья Яковлевна, не слишком заботясь о противорѣчіях в своих словах.

— Я право не знаю... Я собственно предполагал лѣтом уѣхать недѣльки на три в Сестрорѣцк.

— Ну, вот видишь: «недѣльки на три». А так ты уѣдешь на самые жаркіе мѣсяцы года, будешь жить в хороших условіях. И, разумѣется, еслиб ты согласился оказать мнѣ эту громадную услугу, то я потребовала бы, чтобы ты взял деньги на свои личные расходы.

— Как тебѣ не стыдно, Соня!

— Нисколько не стыдно. Иначе это для м е н я непріем-

лемо. Что такое? — обратилась она к лакею, остановившемуся на порогѣ гостиной. Узнав, что Юрій Павлович просит ее к себѣ, Софья Яковлевна поспѣшно вышла из комнаты.

— Отчего же ты не спишь? — спросила она мужа. — Вѣдь они сказали, что первое и главное это отдых.

— Не могу уснуть... Я хотѣл узнать: ты спросила у Дмитрія Ивановича, к какому доктору в Швальбахѣ обратиться? Это очень важно.

— Он дал письмо к Фрерихсу. Это берлинская знаменитость. А Фрерихс тебя направит к Эмскому врачу.

— Как к Эмскому? Вѣдь они велѣли ѣхать в Швальбах?

— Они велѣли в Швальбах или в Эмс. Я думаю, что надо выбрать Эмс.

— Почему?

— Почему?... Колѣ, говорят, в Эмсѣ будет гораздо лучше... Кромѣ того, Петр Алексѣевич и мнѣ давно велит пить Эмскую воду с молоком. Если так и если тебѣ, как они говорят, одинаково хорошо то и другое, то я предпочла бы Эмс. Ты против этого?

— Нисколько! Если так, то я всячески за это! — горячо сказал Юрій Павлович.

II.

Дог князя Бисмарка околѣл поздно вечером. Очевидцы передавали, что князь, сидя на полу у трупа собаки и держа ея голову обѣими руками, не то истерически рыдал, не то просто плакал, не то чуть не плакал. Очевидцы несомнѣнно привирали, соблазненные эффектностью разсказа: «желѣзный канцлер рыдает над тѣлом своего вѣрнаго пса» (Бисмарка уже называли «желѣзным канцлером»; почему-то это прозвище понравилось и привилось). Весь вечер князь просидѣл у себя в кабинетѣ, никого не принимал, ни с кѣм из семьи не разговаривал и пил очень много — «даже для него»: старые знакомые Бисмарка увѣряли, что он теперь пьет гораздо меньше, чѣм прежде, в молодости; но это лишь вызывало нодоумѣніе: сколько же он пил прежде?

Утром в служебных комнатах канцлерскаго дворца всѣ говорили о случившемся несчастьи. Высшія должностныя лица были очень довольны: за рѣдкими исключеніями, они ненавидѣли князя. Ближайшіе его сотрудники вполголоса (хоть и в своем кругу) обмѣнивались шуточками: надо ли выражать князю сочувствіе? и не называть ли собаку «покойницей»? Врали, будто в кабинет за вечер было принесено двѣ бутылки шампанскаго и двѣ бутылки Дюркгеймера, — это было в послѣднее время любимое вино Бисмарка. Врали, будто княгиня, очень обезпокоенная состояніем мужа, спѣшно вызвала Блейхредера, «чтобы утѣшить скорбящаго, как его предки утѣшали Іова»: банкир Герзон фон Блейхредер, управлявшій, к большому возмущенію антисемитов, особенно антисемитов-банкиров, имущественными дѣлами канцлера, был одним из близких к нему людей и будто бы обладал способностью дѣйствовать на него успокоительно. Врали, будто фельдмаршал фон Мольтке уклонился от пріѣзда к князю, так как очень занят: с утра пишет стихи. Врали, будто о смерти собаки и об отчаяніи канцлера сообщено императору, который только вздохнул и развел руками; это толковалось и как выраженіе покорности волѣ Божьей, и как легкій намек на мысль: «что-ж дѣлать, связался навсегда с сумасшедшим!»... Престарѣлый император считался близким другом князя, но в том же тѣсном кругу говорили, что нельзя сдѣлать большаго удовольствія его величеству, как показав ему остроумную каррикатуру на Бисмарка или ехидную статью о нем в газетѣ.

В это утро в канцлерском дворцѣ, в ожиданіи появленія князя (он вставал не раньше двѣнадцати), болтали о нем больше обычнаго. Незадолго до полудня пришло и серьезное сообщеніе: ссылаясь на нездоровье, Бисмарк об'явил, что не поѣдет на вокзал встрѣчать царя. Улыбки исчезли, радостное оживленіе улеглось; начался обмѣн мнѣніями о политическом положеніи, которое считалось очень серьезным. Были всѣ основанія думать, что канцлер рѣшился на новую войну с Франціей. Поэтому очень многое, если не все, зависѣло от позиціи Александра II: обѣщает ли он, что Россія сохранит

нейтралитет? Один высокій чиновник сказал, что в нынѣшних обстоятельствах лучше не раздражать царя, хотя бы в мелочах. Другія должностныя лица осторожно промолчали. Критиковать дѣйствія Бисмарка не полагалось, да было и небезопасно, как показал опыт графа Арнима. К тому же, и ненавидѣвшіе канцлера люди про себя ситали его никогда не ошибающимся, геніальным человѣком.

Бисмарк заснул только под утро. Он называл собаку своим единственным другом и едва ли очень в этом ошибался. Канцлер прекрасно знал, что в обществѣ его ненавидят, относился к окружавшей его ненависти равнодушно, признавал ее естественной, но почему-то приписывал, главным образом, своему богатству, — он считал нѣмцев завистливым народом. Богатство его очень преувеличивалось сплетнями. Весьма преувеличены были и слухи о том, будто он, при помощи и посредствѣ Блейхредера, успѣшно играет на биржѣ. Блейхредер никогда не позволял себѣ справляться у канцлера об его планах, да и знал, что канцлер ему их не сообщит. Однако, часто бесѣдуя с Бисмарком о политикѣ, он старался у г а д ы в а т ь планы князя, и его отличное угадыванье очень благопріятно отзывалось на дѣлах обоих: Блейхредер оставил своим наслѣдникам сто милліонов марок, Бисмарк же богатѣл умѣренно и солидно, — столько же благодаря государственным наградам и подношеніям от признательнаго народа, сколько благодаря мудрому, безотчетному, самодержавному веденію Блейхредером его имущественных дѣл. Канцлер, не вѣрившій в политическую геніальность, был твердо убѣжден в финансовом геніи евреев вообще и Блейхредера в частности. Этот бывшій служащій франкфуртских Ротшильдов, присланный ими в Берлин, в качествѣ совѣтчика, по просьбѣ Бисмарка (поставившаго непремѣнным условіем, чтобы совѣтчик был еврей), в пору войны с Австріей, когда ни сам Бисмарк, ни Вильгельм, ни министры не знали, гдѣ достать на войну деньги, дал полезный совѣт, послѣ котораго они долго изумленно переглядывались. Тѣм не менѣе, слухи о том, будто Блейх-

редер пользуется большим расположеніем князя и имѣет вліяніе на его политику, были совершенно невѣрны: за исключеніем своей семьи, да еще двух-трех человѣк, Бисмарк никого не любил; вліянія же на него не имѣл никто.

Здоровье князя все ухудшалось. У него были невралгія лица, тик, подагра, воспаленіе вен, мигрени, геморрой, несвареніе желудка, сильнѣйшія боли в лѣвой ногѣ. Врачи вдобавок подозрѣвали у него рак печени, в результатѣ злоупотребленія спиртными напитками, — и продолжали подозрѣвать еще двадцать пять лѣт, до самой кончины князя. Нѣкоторые же из близких к нему людей смутно предполагали, что Бисмарк болен тяжким нервным разстройством. Это противорѣчило рѣшительно всему: и его прозвищу, и его богатырской фигурѣ, и его общепризнанной геніальности. Преданныя князю газеты считали геніальным все, что он дѣлал.

Сам он этого никак не думал. С собой Бисмарк был правдив безпощадно; с другими, пересиливая себя, старался скрывать свои мысли, — иначе было бы трудно управлять государством, — но изрѣдка, за третьей бутылкой шампанскаго (вторая еще не очень дѣйствовала), доходил до той степени откровенности, которую очень честные или очень лицемѣрные люди называли циничной. Канцлер признавал за собой ум, настойчивость и волю, да еще то, что называл способностью угадывать ход исторіи. Он и опредѣлял политику, как умѣнье в нужную минуту «услышать в исторіи поступь Бога, подпрыгнуть изо всѣх сил и вцѣпиться в фалды Его сюртука». Бездарные и самодовольные государственные дѣятели, по его долгим наблюденіям, всегда вѣрили в собственную и н т у и ц і ю. Бисмарк не знал, что такое интуиція, и обычно старался выяснять ход исторіи логически. Теперь, весной 1875 года, он собирался начать новую войну с Франціей. Однако увѣренности в том, что такова Божья поступь, у Бисмарка не было.

Доводов против войны оказывалось больше, чѣм доводов за нее. Бисмарк собирался провозгласить новую войну «превентивной»; однако он знал, что превентивными были всѣ

войны во всѣ времена. Могущество Франціи несомнѣнно возстанавливалось, но он не имѣл основаній думать, что оно ростет быстрѣе германскаго. «Так ли велика опасность нападенія со стороны французов? И что, если Франція уже сейчас достаточно могущественна для отпора? Что если Россія, обѣщав нейтралитет, не сохранит его? Что, если все кончится крахом? Тогда, послѣ всей славы, я перейду в исторію с репутаціей залитаго кровью неудачника, и тѣ самые люди, которые передо мной пресмыкаются и называют меня геніем, будут кричать, что с перваго дня разгадали во мнѣ бездарность. Так было и с Наполеоном III», — думал в безсонныя ночи канцлер. Он презирал чужія сужденія (хотя они часто крайне его раздражали), но, в противорѣчіе с этим, очень заботился об исторіи и почти наивно вѣрил в славу. Исторія и была тѣм логическим, лишь изрѣдка полусознательным, мостом, по которому от интересов Германіи он переходил к своим собственным интересам. Свои интересы Бисмарк забывал не часто. Однако новая война не могла ему дать п о ч т и ничего: он и так был первым государственным человѣком Европы, имѣл княжескій титул, прочно обезпеченное мѣсто канцлера и, главное, полноту власти: парламент ограничивал ее не слишком, а императ рѣдко ему мѣшал, только отнимал время. Новая война была нужна ему не больше, чѣм тѣ безчисленныя дуэли, которыя у него были в молодости, и требовали войны не столько его интересы, сколько натура бреттера. Ему и на старости лѣт еще хотѣлось волновать мір и себя самого; мелкія волненія повседневной политической жизни больше его не удовлетворяли.

В эту ночь невралгія лѣвой части лица мучила его еще сильнѣе обычнаго. Он до разсвѣта ворочался в скрипѣвшей под его огромным тѣлом старой и безобразной деревяной кровати. Все в его квартирѣ было грубо и некрасиво. В спальной, слабо освѣщенной стоявшей на столикѣ свѣчой, ничего не было, кромѣ кровати, вѣсов, переносной ванны и старых стульев; по стѣнам висѣло нѣсколько больших фотографій: императора, жены, дѣтей и дога. Фотографія собаки ви-

сѣла слѣва в полосѣ свѣта, и всякій раз, как его взгляд на нее падал, усиливалось его горе. «Да, вот кто был настоящим товарищем по несчастью: по жизни», — думал он и опять, точно мстя кому-то за что-то, сердито возвращался к своим планам, от которых зависѣли судьбы міра и жизнь милліона людей.

В сотый раз обдумывая все связанное с новой войною, он видѣл, что трудно не только довести до конца, но даже начать это дѣло. Народ, разумѣется, войны не хотѣл, как не хотѣл ея и в 1866-м и в 1870-м году. Это большого значенія не имѣло: доведеніе народа до бѣлаго каленья было просто вопросом техники, хорошо ему извѣстной. Нѣсколько хуже было то, что о новой войнѣ не хотѣл слышать престарѣлый император: он все еще не мог опомниться от радостей, выпавших на его долю в концѣ долгой жизни, от своей военной славы и от того, что он, почти вопреки собственному желанію стал неожиданно главой германской имперіи; кромѣ того, по своей богобоязненности, Вильгельм I не хотѣл больше проливать кровь. Не слишком желал войны и другой старик, фельдмаршал Мольтке, по тѣм же причинам, что и император. «Отяжелѣл, дряхлѣет, дай Бог, чтобы совсѣм не выжил из ума»... В военную геніальность Бисмарк вѣрил еще много меньше, чѣм в политическую: потерял эту вѣру именно с тѣх пор, как геніем стал Мольтке, дѣятельность котораго он наблюдал в пору прославивших фельдмаршала войн. Зато хотѣли войны почти всѣ офицеры: для них война была лучшим, единственным быстрым способом сдѣлать карьеру, что и было во всѣ времена главной причиной войн. «Ну, стариков можно будет переубѣдить», — думал Бисмарк, заранѣе подготовляя доводы и историческія фразы.

Эти вырывавшіяся у него историческія восклицанія он обычно придумывал в безсонныя ночи — готовил их заранѣе, впрок, еще точно не зная, гдѣ, как и когда он воскликнет. Дѣло было не очень трудное, но и нелегкое; изрѣдка он кое-что подновлял из стараго запаса. На случай новой войны можно было бы подать в измѣненном

видѣ: «Gesta Dei per Germanos». Канцлер не вѣрил в этой фразѣ ни одному слову: какія «gesta Dei»? все это было е г о дѣлом. И почему бы Бог избрал орудіем своей воли свѣтло-волосый, круглоголовый, во многих областях малоодаренный, а в политикѣ совершенно тупой народ? Под утро ему пришла в голову еще одна фраза, тоже с именем Божьим: «Мы, нѣмцы, никого не боимся, кромѣ Бога», затѣм небольшое дополненіе к ней, особенно удобное на случай, еслиб он от войны отказался: «Лишь страх Божій запрещает нам воевать». В этой фразѣ тоже не было ни слова правды: он очень многаго боялся (особенно франко-русскаго союза), никогда в своей политикѣ страхом Божіим не руководился и в Бога вѣрил больше по традиціи своей семьи, по затверженным в дѣтствѣ правилам, по общему для всѣх нѣмцев высочайшему повелѣнію; духовенство всѣх исповѣданій он ненавидѣл (говорил, что наиболѣе непріятные ему люди — священники и бюрократы). Собственно, правда для исторических восклицаній не требовалась: всѣ они, как он знал по своему опыту, были лживы, вымучены, заранѣе придуманы для райка, когда не просто присочинены историками или услужливыми людьми. Однако, по правдивости своей натуры, Бисмарк предпочел бы доводить народ до бѣлаго каленія такими фразами, в которых была бы хотя малая доля правды.

Свой народ он любил, также по усвоенной с дѣтства привычкѣ, но ни малѣйшаго уваженія к нему не чувствовал. Он знал, что представляется нѣмцам воплощеніем любви к родинѣ, и поддерживал эту свою репутацію, не смѣшивая своего патріотизма с особенной любовью к нѣмцам. Уж если существовали люди, которые ему нравились, то они скорѣе попадались среди русских или американцев. Русской была и единственная женщина, к которой он в зрѣлые годы испытывал нѣчто похожее на влюбленность; княгиня Екатерина Орлова теперь была тяжело больна, и ея болѣзнь его волновала. Бисмарк был не влюбчив и за шампанским с усмѣшкой говорил, что служить можно либо Вакху, либо Венерѣ, и, что сам он предпочитает Вакха.

Из болей, которыя, точно смѣняясь, мучили его почти безпрерывно, особенно сильны были дергающая боль лѣвой щеки и тупая, сводящая — в области печени. Он разыскал коробочку с пилюлями, проглотил насухо одну; она оставила шероховатость во рту, Бисмарк запил ее огромным, в полстакана, глотком коньяку. Сначала стало легче — от коньяку или от пилюли? — потом боль возобновилась, смѣшавшись с какой-то другой, и усилилась легкая, за работой забывавшаяся, но рѣдко оставлявшая его надолго мысль об опухоли, быть может, злокачественной (врачи успокоительно улыбались, когда князь их об этом спрашивал, но улыбались не вполнѣ естественно). «Все равно один конец!» — сердито пробормотал он и взглянул в угол комнаты, гдѣ вчера на коврикѣ спала собака. Воспоминаніе о том, как дог просыпался, потягивался, подходил к нему и лизал ему руку, когда он слишком долго ворочался в постели или в мягких туфлях тяжело ходил по спальной, было непереносимо. Бисмарк потянул со стола лежавшую на нем толстую книгу. Упала салфеточка грубаго кружева с какой-то склянкой. Он пробормотал ругательство и допил коньяк, на зло печени и врачам. Постарался представить себѣ опухоль, рост ея от проходящаго по ней спирта, но не мог себѣ представить печень — вѣроятно, грязный сѣрый мѣшечек? — и даже не мог вспомнить, проходит ли через нее питье.

Он попробовал другіе способы борьбы с безсонницей. Тихо бормотал слова своей любимой пѣсенки, которой когда-то его научил американскій друг юности. Пѣсенка начиналась словами: "God made bees, bees made honey; God made men, men made money," но всего текста князь вспомнить не мог, и напряженіе памяти скорѣе мѣшало сну. Попробовал считать по порядку цифры, от единицы до десяти, затѣм назад, от десяти до единицы. Способ скоро показался ему идіотским, он бросил считать. Раскрыл книгу, — в послѣдніе годы канцлер мало читал, больше подновляя оставшіеся в памяти немалые запасы: pour ne pas voir petit, Бисмарк предпочитал книги называемыя вѣчными, и на столикѣ у него лежал Шекспир.

«Ну, хорошо, Ричард кого-то убил, и Макбет кого-то убил, и они всѣ кого-то убивали, кто одного, кто по нѣскольку людей», — думал он, бѣгло соображая, сколько людей погибло из за него; по приблизительному подсчету, выходило не менѣе восьмисот тысяч. «Правда, я об'единил Германію. Однако, что-ж теперь скрывать, — это не Рейхстаг, — Германія, по всей вѣроятности, об'единилась бы и без меня. Было, вѣрно, десять способов об'единить Германію, и как ни глупы были либеральные профессора и адвокаты 1848 года, их способ тоже мог привести к об'единенію, без трех войн, которыми впрочем теперь восторгаются тѣ из них, что еще живы и не впали в старческое слабоуміе. С другой стороны, мой способ мог не дать результатов, мог повлечь за собой для нас катастрофу, еслиб австрійцы и французы были немного умнѣе и их офицеры немного лучше (солдаты приблизительно стоят друг друга во всѣх странах). Да и была ли строгая логика в моих собственных дѣйствіях? Развѣ она в политикѣ возможна? Развѣ есть страна, политика которой была бы логична и послѣдовательна? Основой нашей политики в теченіе ста лѣт была дружба с Россіей. Однако в 1854 году мы едва на Россію не напали в союзѣ с Австріей и с Франціей, на которых напали немного позднѣе при дружеском нейтралитетѣ Россіи. Правда, то была не моя политика, надо мной тогда всѣ смѣялись», — с ненавистью вспомнил он, — «сам с т а р и к (он разумѣл Вильгельма) называл меня политическим школьником. Я был, проницательнѣе других, но это только значит, что в мірѣ слѣпых я был одноглазым: сам я тогда носился с планом вѣчнаго союза между Пруссіей, Россіей и Франціей. Позднѣе, в 1863 году, я очень колебался: помогать ли Россіи усмирять польское возстаніе или, обманув и поляков, и русских, присоединить к Пруссіи Варшаву? И нѣт страны, которая в своей внѣшней политикѣ руководилась бы какими-либо принципами. Англія? Англичане серьезно увѣряют, что у них принципы есть: не то поддержка свободы в мірѣ, не то борьба с наиболѣе могущественной континентальной державой. Но это совершенно разныя вещи, да и то, и другое вздор, они уже лѣт

тридцать не могут сообразить, кто именно их историческій врагъ: Франція, Германія или Россія; они мѣняют своих исторических врагов каждое десятилѣтіе, и вовсе не потому, что та или иная страна стала слишком могущественной: в 1853 году Франція и Россія были приблизительно равны по могуществу, теперь приблизительно равны по могуществу Россія и Германія, и у каждаго из знаменитых англичан, сейчас у Гладстона и у Дизраэли, есть свой «историческій врагъ Англіи». Что до свободы, то главный ея проповѣдник — тартюфф Гладстон, который еще не так давно защищал торговлю рабами», — думал он с ненавистью (Гладстона он особенно ненавидѣл и усердно собирал о нем дурные слухи). "...Methought I heard a voice cry "sleep no more!—Macbeth doth murder sleep, the innocent sleep,—sleep that knits up the ravell'd sleave of care,—the death of each day's life, sore labour's bath..." — разсѣянно, почти безсознательно, разыскал он знаменитые стихи. «Почему же он, бѣдный, потерял сон? Макбет, старый полководец, конечно, десятками, если не сотнями, в походах вѣшал, колесовал, четвертовал людей, с его попустительства, если не по его приказу, солдаты послѣ штурмов насиловали женщин и разбивали головы дѣтям, а вот от этого убійства и он, и мадам потеряли сон! Сон теряют не от угрызеній совѣсти, иначе кто из политических дѣятелей не страдал бы хронической безсонницей? Вот невралгія другое дѣло»...

Один из болѣе глупых врачей совѣтовал ему при безсонницѣ «думать о пріятном», «будить в себѣ радостныя воспоминанія». Потирая рукой щеку, князь старался вспомнить, что было особенно пріятнаго в жизни. Кое-что радостное было как будто в молодости, в пору его чудачеств и скандалов, в ту пору, когда его называли «der tolle Bismark», — про себя он думал, что почти не измѣнился с того времени, так сумасшедшим Бисмарком и остался, измѣнились только характер и размѣр скандалов. В зрѣлые годы радостнаго было немного. «Сцена в Galerie des Glaces? Да, я поднес старику императорскую корону. Это, конечно, было большое дѣло, но на сколько времени? Во Франціи за год до революціи ни один человѣк

не предполагал, что монархія может кончиться, и даже ни один человѣк этого не желал (чего о Германіи сказать нельзя). Что же: великое дѣло на десятилѣтія? Великій человѣк до противоположнаго великаго человѣка? Вдруг Евгеній Рихтер или Виндгорст окажутся великими людьми германской республики! Германію Рихтеров мнѣ совершенно не стоило об'единять», — с отвращеніем подумал князь, ненавидѣвшій и презиравшій Рихтера.

Несмотря на свой живой ум и живой характер, он понемногу деревенѣл с годами. Бисмарк насмѣхался над людьми, которых либеральныя газеты называли «юнкерами», и, встрѣчая их безпрестанно при дворѣ, в арміи, в обществѣ, дивился их тупости, самодовольной ограниченности, неспособности понять что бы то ни было не разжеванное им и не усвоенное ими в дѣтскіе годы. Но, как люди, они были неизмѣримо ближе ему, чѣм образованные Рихтеры, Виндхорсты, Вирховы, чѣм либеральные адвокаты и соціал-демократическіе токари. Он до конца своих дней чувствовал, что прусскій офицер в нем самом сидит очень глубоко и очень прочно, гораздо глубже и прочнѣе, чѣм все иное. Канцлер знал цѣну своему монарху и за третьей бутылкой шампанскаго, не стѣсняясь, об'яснял разницу между Вильгельмом I и померанским волом: «Если померанскому волу прокричать «Хью!», то он знает, что надо идти направо, а если ему прокричать «Хет!», то он понимает, что надо повернуть налѣво. Между тѣм Его Величество еще в этом не разбирается, я за всю жизнь не мог научить его и этому». Однако не только Вильгельм I, но самый мелкій монарх был для него не совсѣм таким человѣком, как обыкновенные люди. В этом, да и во многом другом, он почти не отличался от юнкеров, как далеко ни превосходил их умом, опытом, образованіем, чувством юмора, злым, колким, находчивым остроуміем.

Как почти всѣ старые нѣмцы, он в дѣтствѣ благоговѣл перед Александром I, в юности благоговѣл перед Николаем. Преклоненіе перед русскими царями было до зрѣлых лѣт основой его міропониманія; их имперія внушала ему особенное

уваженіе своими неимовѣрными размѣрами, размахом, огромными, еще нетронутыми богатствами. Это была настоящая страна, и цари были настоящіе монархи, не связанные парламентами из говорливых дураков. В бытность его послом в Россіи, к политическому обаянію прибавилось еще бытовое: очень бѣдно было по сравненію с Петербургом все, что он видѣл у себя на родинѣ. Его удивляло великолѣпіе русских дворцов, богатство русских вельмож, их безумная жизнь с ежедневными балами, рѣкой лившееся шампанское, боченки с икрой, французскій театр только для с в о и х, кутежи у цыган, охота на медвѣдей. Нравился ему и сам Александр II: он был б о л ь ш о й б а р и н, — черта, которую Бисмарк, вышедшій из небогатой семьи, особенно цѣнил в людях. Его собственный с т а р и к, котораго он искренне любил, был тоже барин, но не такой большой. «В нем хорошо хоть то, что ему ничего не нужно, так как у него все есть, и в этом одно из безчисленных преимуществ монархическаго строя... Как жаль, что он приближает к себѣ карьеристов и интриганов».

Эти ругательныя слова князь употреблял безпрестанно, хотя ему было и неясно, можно ли вложить в них такой смысл, при котором они не относились бы к нему самому. Он смутно думал, что тут все зависит от размѣров: очень большой карьерист уже не карьерист, очень большой интриган уже не интриган. Мелкіе люди, окружавшіе императора и особенно императрицу и наслѣднаго принца, отравляли канцлеру жизнь, и без того тяжелую и мрачную. Бисмарк никогда не забывал обид, иногда мстил за них через много лѣт. К интриганам он причислял и князя Горчакова, котораго, в виду его глубокой старости, нельзя было причислить к карьеристам. Почему-то русскаго канцлера, несмотря на внѣшне-дружескія отношенія, Бисмарк особенно ненавидѣл, еще больше, чѣм Гладстона (Рихтер был все-таки никто: член Рейхстага). И он не мог от себя скрыть, что иногда, в своих политических планах, хоть немного, хоть отчасти, руководится желаніем сдѣлать непріятность князю Горчакову.

Мысли о войнѣ, о собакѣ, об опухоли мучили его всю

ночь, сплетаясь все тѣснѣе. Он больше не знал, гдѣ кончается одно, гдѣ начинается другое. Сам порою с усмѣшкой думал, что, кажется, смерть его дога увеличивает вѣроятность войны, но тотчас отгонял от себя эту вздорную мысль и логически провѣрял Божью поступь. К утру он окончательно склонился к войнѣ: Франція может стать слишком могущественной, а теперь побѣда почти обезпечена и с ней не пятимилліардная, а десятимилліардная контрибуція (других Эльзасов и Лотарингій у Франціи больше не было). Себѣ он намѣтил герцогскій титул. Впрочем титул этот не очень его привлекал, не ласкал его слуха, как недавно ласкал княжескій, как еще больше когда-то графскій. На первом мѣстѣ были интересы Германіи. Теперь все зависѣло от завтрашней бесѣды с царем. К утру, приняв во второй раз снотворное, он задремал тяжелым сном.

В одиннадцать часов, раньше обычнаго, он проснулся с еще усилившейся в лѣвой щекѣ болью. Чтобы не переодѣваться к завтраку, канцлер, вмѣсто своего обычнаго чернаго сюртука при черном жилетѣ и брюках, надѣл генеральскій кирасирскій мундир. В этом мундирѣ, с крестом под третьей пуговицей, громадный, грузный, тяжелый, он медленно прошел в свой кабинет, наводя как всегда страх на вытягивавшихся служащих, холодно и хмуро кивая им головой. В кабинетѣ он тяжело опустился в кресло, — и опять ему вспомнился дог, который обычно, положив морду на колѣни хозяина, бѣгло лизнув его, затѣм удобно свернувшись, устраивался под письменным столом. Князь Бисмарк, мотая головой, незамѣтно смахнул слезу, взял свой всѣм извѣстный по фотографіям карандаш в фут с лишним длиной. Секретарь подал ему груду бумаг и почтительно освѣдомился об его здоровьи.

— О, оно превосходно! — беззаботно сказал канцлер. — Но все-таки первое шестидесятилѣтіе в жизни человѣка обыкновенно бывает наиболѣе пріятным.

III.

Поѣзд императора Александра пришел в Берлин в понедѣльник, очень точно по росписанію в 12 час. 30 минут. Визит был не офиціальный: Александр II отправлялся на воды в Эмс и по дорогѣ останавливался ненадолго в германской столицѣ, чтобы повидать родных. Тѣм не менѣе встрѣчали его на вокзалѣ император Вильгельм, принцы, фельдмаршалы Мольтке и Мантейфель и множество других людей, нагонявших на царя скуку, самое нестерпимое для него чувство.

В этот день в «Норддойтше Алльгемайне Цайтунг» появилась статья о пріѣздѣ русскаго императора, удивившая освѣдомленных во внѣшней политикѣ людей своим восторженным и даже подобострастным тоном. Царь назывался в правительственной газетѣ лучшим другом, чуть ли не благодѣтелем Германіи, ему выражалась глубокая сердечная признательность, восхвалялась вѣчная историческая дружба русскаго и нѣмецкаго народов. «Эта испытанная дружба», — писала газета, — дѣлает для нас Его Величество императора Александра еще болѣе драгоцѣнным. Вмѣстѣ с остальным міром мы изумляемся его мудрости и энергіи. Но и в дальнѣйшем право на дружбу Россіи принадлежит одним нѣмцам. Неблагодарность никогда не была пороком германскаго народа».

Статья, переданная по телеграфу во всѣ концы Европы, вызвала переполох в министерствах иностранных дѣл. Дипломатам было ясно, что она либо написана самим Бисмарком, либо им и н с п и р и р о в а н а, и склонялись к тому, что все-таки скорѣе инспирирована. «Уж слишком для него лизоблюдскій тон. Вѣрно, перестарался редактор», — говорили русскіе дипломаты. Тон статьи был, очевидно, связан с надеждой на нейтралитет Россіи в предстоявшей новой франко-германской войнѣ.

Царь внимательно прочел статью еще в поѣздѣ: она была ему привезена на одну из близких к Берлину станцій. Александр II недолюбливал газеты, не любил читать по печатному

тексту (в нѣмецких газетах почему-то всегда казавшемуся липко-грязноватым) и терпѣть не мог готическій шрифт. Похвалы и тон статьи доставили ему удовлетвореніе; однако, хотя было непріятно разочаровывать автора, он еще в Петербургѣ твердо рѣшил, что войны быть не должно и что Россія не останется нейтральной в случаѣ новаго нападенія на Францію: чрезмѣрное усиленіе Германіи нарушило бы европейское равновѣсіе. В Берлинѣ предстояли непріятные разговоры. Александр II имѣл давнюю репутацію charmeur'a и дѣйствительно о ч а р о в ы в а л на своем вѣку множество самых разнообразных людей; однако он чувствовал, что князя Бисмарка не очаруешь.

Прочитав статью, царь отдал ее Горчакову д л я и з у ч е н і я. Изучать в статьѣ было собственно нечего, но это был лучшій способ ненадолго освободиться от говорливаго 77-лѣтняго князя, тоже обладавшаго способностью нагонять на него смертельную скуку. Канцлер с озабоченным видом унес газету в свой вагон.

Императоp выѣхал из Петербурга в самом лучшем настроеніи духа. Лѣтняя поѣздка на воды всегда бывала ему пріятна. Заграницей забот, огорченій, безпокойства бывало гораздо меньше. Гораздо меньше было и дѣла. Хотя царь, как Людовик XIV, любил son délicieux métier de Roy, он чрезмѣрно работой не увлекался и, в отличіе от того, что о себѣ говорили другіе монархи и государственные люди, вполнѣ чувствовал себя способным провести нѣсколько недѣль без всякой работы.

Как всегда, дурное настроеніе на него нагнала Варшава, по которой он в коляскѣ переѣхал с одного вокзала на другой. Царь догадывался, что этот город (непріятный ему тѣм, что он был как будто свой и вмѣстѣ с тѣм совершенно не свой) для него почистили и прибрали. Тѣм болѣе тягостна была, до моста через Вислу, скучная жалкая бѣдность улиц, домов, людей. Он помнил, что это предмѣстье называется Прагой, что здѣсь когда-то происходили кровопролитные бои между на-

ступавшими русскими и защищавшимися поляками. Сидѣвшій с ним в коляскѣ генерал давал какія-то об'ясненія, но царь чувствовал, что генерал в этой части города никогда не бывает, что люди, кричащіе «ура!», согнаны сюда полиціей, и что даже это сдѣлано не очень хорошо: «ура» звучало довольно жидко и нисколько не походило на тот бѣшеный, восторженный рев, который неизмѣнно, особенно в прежніе годы, вызывало его появленіе в русских городах. За цѣпью солдат, в боковых улицах, виднѣлись люди, изумленно смотрѣвшіе на царскіе экипажи (впереди императора всѣ должностныя лица ѣхали стоя, повернувшись лицом к его коляскѣ и неловко держась сзади за козлы). Эти люди, срывавшіе с себя шапки еще при появленіи передовых казаков конвоя, были одѣты очень бѣдно. Особенно тягостное впечатлѣніе производили бородатые старики в черных длинных до земли, не то смѣшных, не то страшных одеждах. Царю было извѣстно, что это евреи; он помнил, что уже лѣт двадцать безуспѣшно предписывает сдѣлать что-либо для улучшенія положенія этих людей. За Вислой город стал нарядным, но из за пасмурной ли погоды или от того, что в воскресенье магазины были закрыты, оживленія было мало. Генерал бодро докладывал о своей работѣ по поднятію благосостоянія края. Бодрый тон обычно бывал пріятен царю, но на этот раз ему казалось, что генерал говорит вздор, тот же вздор, какой ему тѣм же бодрым, радостным тоном докладывают здѣсь уже двадцать лѣт. Александр II слушал молча, очень хмуро, и чувствовал, что с ним может случиться новый припадок дикаго бѣшенства. Таким припадкам он был изрѣдка подвержен, сам их смертельно боялся и послѣ нѣкоторых из них плакал от стыда и раскаянья. На вокзалѣ Варшавско-Бромбергской дороги царь сухо простился с генералом, не пригласив его в поѣзд, и поспѣшил войти в свой вагон.

Вскорѣ послѣ того, как поѣзд тронулся, показалось солнце. Александр II, очень чувствительный к погодѣ, стал успокаиваться. Он подумал, что его впечатлѣнія от Варшавы поверхностны, что поляки сами во всем виноваты, что, вѣроятно, населеніе живет не так плохо и, что генерал, хотя и

туповатый человѣк, заботится об его благосостояніи. Все же, когда у царя бывало предчувствіе припадка ярости, он обычно старался пробыть нѣкоторое время в одиночествѣ (котораго вообще не любил). Сопровождавшіе его свитскіе генералы и флигель-ад'ютанты (генерал-ад'ютантов он в послѣдніе годы по возможности не брал с собой, инстинктивно избѣгая общества старых людей) разошлись по своим вагонам, чтобы не попасться ему на глаза: они хорошо его знали и им было извѣстно, что в состояніи бѣшенства он очень страшен: хуже отца, — Николай рѣдко терял самообладаніе; должно быть, таков бывал дѣд Павел. Однако именно то, что припадка ярости с ним не случилось, что он не сдѣлал и не сказал ничего лишняго, скоро привело царя в его обычное хорошее настроеніе духа: по природѣ Александр II отличался необычайной жизнерадостностью и по убѣжденіям был оптимистом.

Он достал из футляра записную книжку. Для него спеціально, по его любви к красивым вещам, печатались такія книжки на золотообрѣзной бумагѣ, в необыкновенных переплетах с двуглавым орлом и с короной, с прекрасными гравюрами, в дорогих футлярах. Александр II всегда носил с собой очередную книжку и своим изящным почерком заносил туда событія дня. Частью из предосторожности, частью от нетерпѣливости характера, он писал так сокращенно, что разобрать его записи было очень трудно; иногда царь и сам не разбирал того, что написал год-два тому назад: слова обычно обозначались лишь первыми буквами, а то и одной буквой. Так и теперь он закончил запись своих впечатлѣній от Варшавы строчкой: «непр. н. ч-н. сд». Это означало: «непремѣнно надо что-нибудь сдѣлать».

Записи в книжкѣ всегда его успокаивали, хотя по опыту он мог бы знать, что за ними рѣдко, особенно в послѣднее время, слѣдовали какія-либо важныя дѣйствія. Царь спрятал книжку, — в том, как мягко и ровно книжка, точно по бархату, вошла в футляр, было тоже нѣчто успокоительное. Он вынул из несессера каллиграфически переписанный роман Тургенева. Почему-то Александр II неохотно читал по печатному тексту,

и для него переписывались книги, которыя он желал прочесть. Тургенев был его любимым писателем; когда-то он читал «Записки Охотника» со слезами (вообще легко проливал слезы). Этот роман Тургенева «Дым» был старый, но по случайности царь его не читал. Наканунѣ его от'ѣзда в Эмс кто-то из великих князей сообщил ему, что в «Дымѣ» изображена княжна N., одна из прежних его любовниц. Царь изумленно приказал переписать «Дым». Работавшіе на императора лучшіе писаря Россіи в теченіе суток переписали роман.

Не останавливаясь пока на первых страницах, Александр II разыскал и с любопытством прочел главу о княжнѣ Иринѣ Осининой. Царя и раздражила безцеремонность писателя, осмѣлившагося хотя бы отдаленно намекать на его частныя дѣла, и позабавила его неосвѣдомленность. Нѣкоторое сходство у Ирины с княжной N. было, но очень небольшое. «То, да не то. Совсѣм она не такая б ы л а», — улыбаясь думал царь, давно бросившій княжну, но сохранившій к ней ласковый сочувственный интерес, как ко всѣм безчисленным женщинам, которых он любил. В других главах романа ничего связаннаго с его частной жизнью не было, и тѣм не менѣе, он чувствовал, косвенно весь роман был направлен против него. У Тургенева описывался «молодой, но уже тучный генерал с неподвижными, точно в воздух уставленными глазами и густыми шелковыми бакенбардами, в которыя он медленно погружал свои бѣлоснѣжные пальцы», другой «подслѣповатый и желтый генерал с выраженіем постояннаго раздраженія на лицѣ, точно он сам себѣ не мог простить свою наружност», — и царь догадывался, что Тургенев именно на него возлагает отвѣтственность за обоих генералов, за подслѣповатость и желтизну одного, за шелковистые бакенбарды и бѣлоснѣжные пальцы другого. Были в романѣ еще «несравненный граф X», «восхитительный барон Z», «княгиня Бабетт», «княгиня Пашетт», «смѣшливая княжна Зизи», «слезливая княжна Зозо», и царь чувствовал, что он отвѣчает за всѣх этих людей, и не понимал, почему именно. «Может быть, это остроумно и смѣшно, но, право, «Помолвка в Галерной Гавани» остроумнѣе и смѣшнѣе,

и там уж я по крайней мѣрѣ ни за что не отвѣчаю», — с недоумѣніем думал он. «Что ему нужно? Почему он пристает? Чего они всѣ от меня хотят?» Ему впрочем казалось, что варшавскій генерал как будто в самом дѣлѣ чуть-чуть похож на одного из генералов Тургенева. «Ну, хорошо, вот пусть Тургенев и даст мнѣ других. Или пусть сам Тургенев управляет Польшей, тогда все пойдет отлично. Пусть бы о н и отвѣчали за эту бѣдность, за нищету, за лачуги, за тѣх жалких людей в черных хламидах», — с усмѣшкой думал он. Его успокоило описаніе радикалов и нигилистов в романѣ. Нигилисты и радикалы были, очевидно, еще противнѣе Тургеневу, чѣм смѣшливая княжна Зизи и слезливая княжна Зозо. «Это уж у него вышло гораздо остроумнѣе. А может, он просто страдает катарром печени, и ему надо лечиться. Вот и любовь у него всегда не любовь, а черная меланхолія», — удивленно думал Александр II, плохо понимавшій, как что-то меланхолическое, неудачливое может связываться с лучшей вещью в мірѣ. У него никогда неудач в любви не было. — «И что он нашел в своей Віардо? На нее давно смотрѣть гадко» ...

Царь отлично знал, чего о н и от него хотят. «Да, они убѣждены, что конституція все разрѣшит, накормит голодных, одѣнет голых», — думал он. — «Кромѣ того, им хочется править, носить мундиры, имѣть почет и власть. Что-ж, я их понимаю: я сам люблю все это. Отчего же они не идут на службу, эти господа Тургеневы? Я ничего против них не имѣю, они могли бы имѣть все это и без конституціи ... А что, если в самом дѣлѣ дать им конституцію и раз навсегда от них отдѣлаться ?» Ему впрочем казалось, что в Россіи есть гораздо больше противников конституціи, чѣм сторонников ея. Вдо-бавок, всѣ противники принадлежали к кругу, который он знал и любил с дѣтских лѣт. Требовала же конституціи мало извѣстная ему часть общества, недавно кѣм-то названная интеллигенціей. Царь не то чтобы ненавидѣл эту группу, но у него было к ней наслѣдственное, профессіональное, смѣшанное с нерасположеніем и с ироніей недовѣріе, которое он замѣчал и у конституціонных монархов: у австрійскаго, у герман-

ских, даже у Викторіи. В его собственном тѣсном кругу о конституціи почти всѣ говорили не иначе, как с насмѣшкой, ужасом или ненавистью. Сам он не чувствовал в себѣ ни прежних сил, ни прежняго задора, и введеніе конституціи казалось ему менѣе спѣшным и гораздо менѣе безспорным дѣлом, чѣм в свое время освобожденіе крестьян. Кромѣ того, царь смутно понимал, что он понизится в чинѣ, если из самодержавнаго императора превратится в одного из многочисленных конституціонных монархов. И хотя он не был чрезмѣрно властолюбив, это соображеніе, которым он ни с кѣм никогда не дѣлился, имѣло большое значеніе. Он знал и то, что его нѣмецкіе родные раболѣпно преклоняются перед ним именно как перед самодержцем. Многіе из них, и больше всего сам Вильгельм, молили его не давать Россіи конституціи; тон их при этом был такой, точно они, в свое время попавшись, теперь хотѣли его уберечь от выпавшаго на их долю несчастья. «А может быть, я им нужен, как repoussoir, пусть нѣмецкіе либералы не слишком ворчат: в Россіи еще хуже! Но я власть принял от батюшки самодержавной и такой же должен передать ее Александру. Что, если при них все пойдет к чорту? Вѣдь я помазанник Божій, а не они!» — рѣшительно сказал себѣ он. Ему, как и всѣм его предкам (за исключеніем Екатерины II), никогда и в голову не приходило усомниться в том, что они помазанники Божьи.

Он положил рукопись «Дыма» на стол и стал думать о княжнѣ, тоже отправившейся в Эмс, в другом поѣздѣ, с их трехлѣтним сыном, с компаньонкой Шебеко, с няней Боровиковой, еще с какими-то людьми. И тотчас от его дурного настроенія не осталось ни слѣда. «Не устал ли только Гого в дорогѣ? Не плакал ли? И хорошо ли спала княжна?» У него опять зашевелились неосуществимыя, несбыточныя мысли о том, как можно было бы соединить, совершенно соединить, их жизнь с его жизнью: «Чтобы княжнѣ не надо было ни прятаться, ни путешествовать отдѣльно, ни искать чьего-то снисхожденія. Вот тогда я счастлив был бы дать им конституцію!»

— сдѣлал он вывод, который ему был ясен, хоть другіе логической связи тут никак понять не могли бы.

Спал он отлично и на слѣдующее утро вышел в десятом часу завтракать к своей свитѣ, тотчас оживившейся от его прекраснаго настроенія. За завтраком он просмотрѣл программу двух берлинских дней. Несмотря на неофиціальный характер визита, она была длинная и торжественная. Предстоял большой военный парад, — император Вильгельм собирался лично провести перед племянником первый гвардейскій полк. Предстоял придворный спектакль: Théatre paré. Предстояли завтрак у Вильгельма и обѣд у прусской гвардіи, за которым оба императора должны были произнести тосты, а затѣм о б л о б ы з а т ь с я в порывѣ дружбы. Горчаков пока составил только предварительный текст тоста: окончательный текст зависѣл от бесѣд обоих императоров и от его разговора с Бисмарком.

— Но непремѣнно, Александр Михайлович, намекни, что на войну мы ни при каких обстоятельствах согласія не дадим, ты это умѣешь, — сказал царь и вздохнул. — Ѣда будет скверная, шампанское отвратительное, и спектакль невыносимый.

С вокзала он ѣхал в коляскѣ вдвоем с Вильгельмом Великим. Как всегда, престарѣлый император был уютно скучен и достойно-туповат. На этот раз он поглядывал на племянника не без робости: в Петербургѣ уже знали о планах князя Бисмарка. Собственно наединѣ в коляскѣ было бы всего удобнѣе поговорить о важных дѣлах. Но царю не хотѣлось начинать этот разговор: он очень неохотно говорил «нѣт», любил дядю, был у него в гостях и цѣнил оказанное ему чрезвычайное вниманіе. Вильгельм, старѣйшій в мірѣ Георгіевскій кавалер, получившій орден четвертой степени больше шестидесяти лѣт тому назад за сраженіе с Наполеоном I, недавно расплакавшійся от радости при полученіи первой степени («глубоко тронутый, со слезами, обнимаю, благодарю за честь, на которую я не смѣл разсчитывать», — телеграфировал он Алек-

сандру II), пріѣхал на вокзал в черно-желтой лентѣ через правое плечо и без других орденов. Наслѣдный принц и граф Мольтке были на вокзалѣ в русских фельдмаршальских мундирах. Сам царь нѣмецкаго мундира не надѣл и был в синей венгеркѣ лейб-гусарскаго полка и в красной фуражкѣ.

Говорили почти исключительно о родных и о здоровьи. Вильгельм Великій вздыхал и жаловался на болѣзни. Из сочувствія царь сообщил, что тоже по временам испытывает необыкновенную усталость. Это была неправда, он ни малѣйшей усталости никогда не испытывал и чувствовал себя, особенно теперь, в обществѣ дяди, чуть ли не молодым человѣком. Поговорили о предстоящих водах, об Эмсѣ, о Гаштейнѣ, куда уѣзжал Вильгельм Великій, выразили надежду, что воды обоим очень помогут, и сказали, что непремѣнно надо будет свидѣться еще раз лѣтом: либо в Гаштейнѣ, либо в Эмсѣ. Когда их экипаж, в сопровожденіи других колясок и конвоя, выѣхал на Унтер ден Линден, Вильгельм Великій нерѣшительно, почему-то вполголоса, спросил, хорошо ли себя чувствует княжна Долгорукая. Как всѣ в Европѣ, он знал о послѣдней любви Александра II; он даже говорил о ней с царем и был знаком с княжной. И царь, и княжна очень обидѣлись бы, еслиб император не спросил о ней. Но, как солидному старому нѣмцу, Вильгельму было неловко спрашивать царя о княжнѣ: вѣдь только что говорили об императрицѣ. — «Княжна? Она вчера должна была пріѣхать в Берлин», — беззаботно отвѣтил Александр II, тоже не без неловкаго чувства. — «Вот как! Я не знал», — робко сказал старик: он не любил лгать, между тѣм ему было отлично извѣстно, что княжна Долгорукая пріѣхала наканунѣ, остановилась в «Petersburger Hof» и одновременно с царем выѣдет в Эмс. Вильгельм Великій спросил и о Гого; но оттого ли, что царю не понравился смущенный тон дяди, или потому, что германскій император сказал «Gogo» с удареніем на первом слогѣ, Александр II, вопреки своему первоначальному намѣренію, сам перевел разговор на политику. Он сказал, что слышал о воинственных планах князя Бисмарка.

— Ты догадываешься, что я им не сочувствую. Увѣрен, что не сочувствуешь и ты!

На лицѣ Вильгельма Великаго появилось виноватое выраженіе: в душѣ он был совершенно согласен с племянником и никаких войн больше не желал.

— Князю часто приписывают планы, которых он не имѣет, — отвѣтил он сконфуженно, почти так же, как говорил о княжнѣ Долгорукой. — Все это очень преувеличено.

— Я чрезвычайно рад это слышать, — сказал царь с облегченіем, хотя слово «преувеличено» было неясно. — Я впрочем и сам так думал, зная тебя. Надѣюсь, ты мнѣ разрѣшишь поговорить об этом и с князем.

— Я буду очень этому рад, — отвѣтил Вильгельм Великій. В душѣ он дѣйствительно был почти рад тому, что нашел опору в своей глухой борьбѣ с канцлером. Но, как почти всегда, он опасался, не сказал ли чего-либо лишняго и не придет ли Бисмарк в ярость.

— Просто изумительно, как ростет твой Берлин. За год его не узнать! — сказал царь, чтобы загладить не совсѣм хорошее впечатлѣніе от разговора. Он часто бывал в Берлинѣ, и ему было не слишком пріятно, что этот провинціальный, скучноватый, не историческій город вдруг стал столицей могущественной имперіи. Впрочем, это немного и веселило его, как его веселило то, что дядя, очень хорошій и достойный человѣк, стал на старости лѣт Вильгельмом Великим. Александр II с дѣтских лѣт привык считать бѣдными родственниками нѣмецких монархов, вѣчно кланявшихся и угождавших его отцу, дядѣ и дѣду. Теперь Вильгельм был по положенію равный, а по могуществу — кто знает? — быть может, и высшій.

Разговор с Бисмарком сошел, если не хорошо, то, по крайней мѣрѣ, быстро. Это была единственная непріятность, которой ждал царь, отправляясь заграницу. Он очень не любил германскаго канцлера и, как всѣ, его боялся. Так и теперь, послѣ завтрака, удалившись с канцлером в небольшую гостиную (всѣ тотчас их оставили), он чувствовал смущеніе. Было

что-то тяжелое и напористое в этой огромной фигурѣ, в бульдожьем лицѣ, в манерах князя; ясно чувствовалось, что уж он-то не только умѣет, но любит говорить «нѣт»: отвѣтить «нѣт» обычно было его первым инстинктивным побужденіем; ему требовалось скорѣе усиліе над собой, чтобы согласиться с собесѣдником. Бисмарк был еще мрачнѣе, чѣм утром. Невралгическія боли у него усилились и его раздражил длинный, скучный, плохой завтрак, нѣмецкое шампанское, которое из экономіи подавалось во дворцѣ (старый император, вздыхая, говорил, что, имѣя большую семью, должен беречь деньги). Александр II закурил папиросу, не зная, как начать разговор, и придавая себѣ храбрости.

— Хотите настоящую турецкую папиросу, дорогой князь? — спросил он. — А знаете, вам очень идет, что вы сбрили бороду.

— Я было отпустил ее, Ваше Величество, потому, что терпѣть не могу бриться. А о своей красотѣ мнѣ уже безпокоиться не приходится, — сказал с усмѣшкой Бисмарк. Это было не слишком любезно: царь был всего тремя годами моложе его.

— Меня сегодня, князь, очень обрадовал император. Он сообщил мнѣ, что слухи о вашем намѣреньи об'явить войну Франціи рѣшительно ни на чем не основаны. Повидимому, вы опять стали жертвой клеветы, которую так часто распускают о вас ваши враги. Я так и думал, что вы никакой войны не хотите, как не хотѣли ея и в 1870 году, — сказал царь, улыбаясь чрезвычайно мягко. У Бисмарка лицо передернулось от злобы. Он тяжелым взглядом уставился на Александра II, не отвѣчая и ожидая продолженія. — И это мнѣ тѣм болѣе пріятно, что, при всей моей испытанной любви к императору и к Германіи, Россія не могла бы остаться равнодушной в случаѣ новаго нападенія на Францію. Русское общественное мнѣніе этого не потерпѣло бы, — с силой сказал царь. В бесѣдах с иностранцами о внѣшней политикѣ он часто ссылался на русское общественное мнѣніе. Теперь самое непріятное уже было сказано. Он бросил в пепельницу недокуренную папиросу

и закурил новую, больше для того, чтобы отвести глаза от так непріятно молчавшаго, уставившагося на него человѣка.

Бисмарк, с лицом перекосившимся от злобы и невралгіи, помолчал еще с полминуты. Он и раньше допускал возможность такого отвѣта царя, но считал ее маловѣроятной. Теперь ему стало ясно, что в Петербургѣ принято окончательное рѣшеніе: иначе царь, котораго он хорошо знал, говорил бы не столь твердо. «Если так, то дѣло сорвалось! Старики не согласятся на войну на два фронта, да и в самом дѣлѣ это слишком опасно. Невозможно!» — с бѣшенством подумал он и занес в память жестокую обиду. От нѣкотораго его расположенія к самодержавному Александру II сразу не осталось ничего. Но к крушенію своих планов Бисмарк привык: из доброй половины их обычно ничего не выходило (хоть об этом лучше было не говорить: это вредило его репутаціи генія). Как ни хотѣлось ему высказать царю все, что он думал о русской политикѣ и о князѣ Горчаковѣ, — доводы, колкости, обидныя слова были безполезны, даже вредны. В политикѣ имѣли значеніе только выводы. «Конечно, надо faire bonne mine...». На лицѣ его появилось подобіе улыбки.

— О, это в Парижѣ распространяют слухи, будто мы собираемся напасть на Францію, — любезным тоном сказал он, — И я догадываюсь, что князю Горчакову было бы очень пріятно выступить в роли ангела мира с бѣлыми крылышками за спиной.

Царь слабо засмѣялся, понимая, что Бисмарк говорит не только о Горчаковѣ, но и о нем самом.

— Повторяю, я чрезвычайно рад тому, что распускаемые французами слухи оказались клеветой на вас, князь. Вы знаете мое глубокое уваженіе к вам и к вашему генію.

— У меня нѣт никакого генія, Ваше Величество, — холодно сказал канцлер. — У меня есть развѣ только одно достоинство: я друг моих друзей и враг моих врагов. — Против его воли, в голосѣ Бисмарка прозвучала угроза. Хотя он принял рѣшеніе faire bonne mine, справиться со своей природой, с ду-

шившим его бѣшенством, ему было трудно. Александр II раздраженно улыбнулся.

— Ваша вѣрность друзьям, дорогой князь, извѣстна всему міру... Мнѣ было чрезвычайно пріятно увидѣть вас в добром здоровьи и побесѣдовать с вами, — сказал он и поднялся, опасаясь своего припадка гнѣва. Оба знали, что для приличія слѣдовало бы поговорить дольше: никто не ждал их выхода из маленькой гостиной раньше, чѣм через полчаса или даже через час; столь короткій разговор мог бы вызвать нежелательные толки. Но им больше разговаривать не хотѣлось. Царь чувствовал нѣкоторое облегченіе, какое, разставаясь с Бисмарком, испытывали почти всѣ люди, даже его горячіе поклонники. «Все-таки главное сказано и подѣйствовало», — рѣшил Александр II, с удовлетвореніем думая о том, как сообщит Горчакову о проявленной им твердости; он безсознательно собирался даже немного ее преувеличить.

Начальник полиціи был предупрежден, что русскій царь совершит инкогнито прогулку по городу и что охрана его должна быть совершенно незамѣтной. Такія предписанія начальник полиціи получал нерѣдко и они всегда приводили его в унынiе: несмотря на свой опыт, он совершенно не знал, как можно от нормальнаго и не-слѣпого человѣка скрыть, что его охраняют. Он вздохнул и почтительно спросил, куда именно м о ж е т о т п р а в и т ь с я его величество. Узнав, что императоръ, по всей вѣроятности, пойдет в «Петерсбургер Гоф», начальник полиціи увеличил в пять раз число городовых между дворцом и гостинницей и приказал им н е з а м ѣ ч а т ь царя, не сводя с него, разумѣется, глаз, пока он будет находиться на их участкѣ пути. Кромѣ того, по улицам с трех часов дня н е з а м ѣ т н о шныряли агенты полиціи в штатских костюмах. И, наконец, одному из наиболѣе опытных сыщиков велѣно было незамѣтно идти впереди царя.

В свѣтлом костюмѣ, в мягкой шляпѣ, с модной тросточкой, без пальто, царь вышел на Унтер-ден-Линден. В отличіе от большинства военных, он любил и умѣл носить штатское

платье, но привыкал к нему каждый год лишь через нѣсколько дней пребыванія заграницей. Теперь, в первый день, он испытывал такое чувство, будто находился на маскарадѣ. Лишь только Александр II снял свой мундир, ему показалось, что он стал свободным человѣком, точно его самого давила та нечеловѣческая власть, которую он имѣл в Россіи. «Здѣсь я никто, и, право, это очень пріятно! В самом дѣлѣ, уж не дать ли им конституцію? Пусть они правят!» — подумал он. В душѣ в этот прекрасный солнечный день царь не сомнѣвался, что, с конституціей или без конституціи, все будет отлично.

Он с перваго взгляда признал сыщика в человѣкѣ, который, не вытянувшись при его появленіи, но как-то внутренно подтянувшись и чуть измѣнившись в лицѣ, пошел впереди него. Царь всякій раз заграницей просил не приставлять к нему охраны, однако понимал, что хозяева правы и иначе поступать не могут. Прохожіе на улицах его не узнавали. Дамы искоса с любопытством окидывали взглядом высокаго элегантнаго человѣка и отводили глаза; он на большом разстояніи замѣчал красивых женщин, замедлял шаги и провожал их ласковым взглядом. Хотя Александр II был страстно влюблен в княжну Долгорукую, мнѣніе Софьи Яковлевны, будто другія женщины для него не существуют, было невѣрно. Сама княжна нерѣдко устраивала ему сцены ревности. Он смущенно оправдывался, как-то что-то об'яснял (был очень изобрѣтателен), но чувствовал, что передѣлать себя не может, да и не собирался себя передѣлывать. В женщинах был главный интерес его жизни, и он чувствовал, что ему не вредит прочно установившаяся за ним в мірѣ репутація. Иногда ему даже казалось (быть может, не без основанія), что едва ли не вся Россія гордится ходившими о нем легендами (число его побѣд, дѣйствительно очень большое, еще преувеличивалось молвою). На Унтер-ден-Линден красивых женщин было не так много. Проходившая старая дама вдруг, взглянув на него, остолбенѣла. Он ускорил шаги с чувством и непріятным, и не совсѣм непріятным. Впереди его ускорил шаги сыщик. Огромный городовой на перекресткѣ вытянулся вопреки приказу и своей

волѣ, поспѣшно принял нормальный человѣческій вид, но отвернуться все-таки не мог. Царь подумал, что этот городовой похож на Бисмарка. «На него, впрочем, кажется, похожи всѣ нѣмецкіе городовые... Почему он не может жить как другіе люди? Говорят, женщины его совершенно не интересуют, да и никогда особенно не интересовали!» — изумленно думал царь. — «Чего ему еще нужно? Зачѣм война? Зачѣм проливать кровь, когда так хорошо жить?... Этого зданія, кажется, прежде не было? Да, они прямо выходят в люди. И магазины появились совсѣм хорошіе!»...

Он вспомнил, что надо купить подарок нянѣ Гого, Вѣрѣ Боровиковой, которую очень любил и которая, как всѣ слуги, его обожала (самой княжнѣ покупать подарки в Берлинѣ было бы невозможно: все выписывалось из Парижа). Царь подошел к магазину, увидѣв какія-то дамскія вещи. «Кажется, княжна сказала, что ей надо купить сумку?... Да, вот у них есть сумки». Сыщик впереди замедлил шаги: его инструкція не предусматривала такого происшествія. Он нашел выход в том, что остановился у витрины сосѣдняго магазина. Царь вопросительно-весело на него взглянул, как будто спрашивая, можно ли войти, и вошел. Сыщик торопливо подошел к двери.

В магазинах на товарах были написаны цѣны. Александр II в них не разбирался, совершенно не зная покупательной способности денег: он никогда ничего не покупал. В дамских вещах он однако знал толк и безошибочно выбрал самую красивую сумку. — «Geben Sie mir bitte diese»... — вѣжливо сказал он, забыв, как по нѣмецки называется сумка. Нѣмецкій язык всегда его забавлял. Он довольно хорошо знал этот язык, но, еще в дѣтствѣ, несмотря на наставленія Жуковскаго, не мог к нему относиться серьезно. Теперь с нѣмецкой рѣчью у него тягостно связывалось воспоминаніе об императрицѣ Маріи Александровнѣ (императрица, в которую он тоже был когда-то страстно влюблен, была рѣшительно во всем перед ним права, он был рѣшительно во всем перед нею виноват и поэтому, да еще вслѣдствіе ея весьма замѣтной кротости и ея болѣзни, мысли о ней всегда бывали ему тяжелы). С Вильгельмом, с

принцами, с Бисмарком царь всегда говорил по-французски, частью по привычкѣ, частью из полусознательнаго разсчета: чтобы оставить за собой преимущество лучшаго знанія языка. «Ja wohl, mein Herr», — почтительно отвѣтил приказчик, с безотчетной тревогой глядя на этого иностранца. Двѣ покупательницы с любопытством смотрѣли на царя. Александр II вдруг вспомнил, что у него нѣт денег: никогда не носил при себѣ ни бумажника, ни кошелька.

— Нѣт, без денег мы дать не можем, но мы можем послать... Куда прикажете? — вѣжливо и твердо сказал приказчик. Сыщик поспѣшно вошел в магазин и, наклонившись над прилавком, что-то прошептал приказчику, свирѣпо на него глядя. На лицѣ приказчика выразились ужас и благоговѣніе. Он низко поклонился, что-то пробормотал, с необыкновенной быстротой завернул сумку, выбѣжал с ней из за прилавка и широко растворил дверь. Царь вышел очень довольный и привѣтливо кивнул сыщику: оба раскрыли свое инкогнито. Позади них у дверей на тротуарѣ стояли, восторженно вытаращив глаза, приказчик и обѣ покупательницы. На них грозно смотрѣл с мостовой очередной Бисмарк.

Хозяин гостинницы был предупрежден о посѣтителѣ и с трех часов дня нервно прогуливался в холлѣ. Ему очень хотѣлось послать мальчика за женой, которая жила недалеко; но он не знал, будет ли это соотвѣтствовать закону и пожеланіям властей. Кромѣ того, ему было неясно, надо ли говорить «Фрау Боровикова» или «Фрау фон Боровикова» (княжна Долгорукая вездѣ снимала комнаты на имя няни). Но как он ни готовился к посѣтителю, появленіе высокаго господина в сѣром костюмѣ все-же оказалось точно внезапным и вызвало у хозяина растерянность. Он не выдержал и низко поклонился.

— Ja wohl!... Frau von Borovikova... Ja wohl! Nummer 108... Bitte... Da ist es»... — прерывающимся голосом говорил он, усиленно борясь с желаніем вставить слово «Majestaet» хотя бы один раз.

IV.

Эмс в семидесятых годах, из за ежегодных пріѣздов императора Александра и навѣщавших его там германских родных, стал одним из самых модных европейских курортов. В крошечном городкѣ уже было все что требовалось: приличный вокзал с особой комнатой для «Allerhoechste Kurgaeste», лечебныя заведенія и ванны, устроенныя по новѣйшим предписаніям науки, хорошія гостинницы и, главное, Курзал с мраморными колоннами, с толстыми мягкими коврами, с «Fresko malerei» и с залами в помпейском стилѣ. Воды источников вытекали в сталактитовых гротах и мраморных нишах из посеребренных трубок, и у них бѣло-желто-красныя дѣвицы с жизнерадостными улыбками протягивали больным их стаканчики, превращаясь в столбы при видѣ германскаго или русскаго императора. Каким-то чудом они помнили лица и фамиліи всѣх больных и твердо знали, кому надо говорить «Ja wohl, Durchlaucht», кому «Guten Morgen, Herr Doctor», а кому «Wie geht's, Herr Mueller?». Коронованным особам они ничего не говорили, так как у них всякій раз ненадолго отнимался язык.

Дюммлеры еще из Петербурга снеслись с агентством, получили планы Эмса, об'яснительныя брошюры, фотографіи домов и сняли на лѣто виллу на лѣвом берегу Лана, в отдаленной старой части города. Через агентство были наняты горничная и кухарка, так что к пріѣзду Дюммлеров все было готово и даже стоял на столѣ холодный завтрак. Появившаяся тотчас владѣлица виллы почтительно, но с твердым сознаніем своих прав, заставила «Фрау Баронин» принять по описи всѣ вещи, бѣлье, посуду, добросовѣстно и горестно отмѣчая чуть поврежденныя тарелки или чашки, которых, впрочем, оказалось очень мало. Это продолжалось долго, утомило Софью Яковлевну и раздражило ее. Кое-что в обстановкѣ виллы непріятно-каррикатурно напомнило ей обстановку их петербургскаго дома. Здѣсь, разумѣется, все было гораздо бѣднѣе, хуже и

дешевле, но также было множество ящичков, рѣзных шкатулок, огромных фарфоровых ваз, бронзовых пастушек с козочками, замысловатых пепельниц, домиков с автоматически выскакивавшими на крышѣ папиросами; так же, хоть в гораздо меньшем числѣ, военным строем стояли в книжном шкафу по ниточкѣ выровненные раззолоченные «Saemmtliche Werke», и даже, вмѣсто генерала в Александровском мундирѣ, висѣл против Сикстинской Мадонны в золоченой рамочкѣ пожилой прусскій офицер, очень похожій на Фридриха-Вильгельма IV до его окончательнаго сумасшествія. В виллѣ, стоявшей довольно глубоко в прекрасном саду с грядками цвѣтов, с посыпанными желтым песком дорожками, с подстриженными по версальски деревьями, были большая угловая гостиная, отдѣленная от нея раздвижной дверью столовая и четыре спальныя комнаты. Лучшую из них отвели Юрію Павловичу, который прилег отдохнуть, как только его комната была сдана хозяйкой по описи.

— Ах, она меня просто замучила! — сказала Софья Яковлевна вернувшемуся с прогулки брату. — Но все-таки я очень рада, что мы сняли виллу. В гостинницѣ и Юрію Павловичу, и Колѣ было бы хуже. Жаль, что нѣт веранды, по плану мнѣ казалось, будто веранда есть. Вилла недурна, и если хочешь, в этом нѣмецком безвкусіи есть свой charme.

— Отличная вилла! — подтвердил Черняков, настраивавшій себя по курортному бодро и благодушно. — И городок просто прелестный.

— Да, вѣдь вы с Колей уже успѣли погулять. Вам понравилось?

— Чудесный городок, — сказал Михаил Яковлевич. — Я уже все здѣсь знаю. Государь живет в «Hôtel des quatre Tours», а княжна Долгорукая на нашем берегу. Ея вилла называется: «La Petite Illusion», и, представь, она в двух шагах от нас.

— Да? — разсѣянно переспросила Софья Яковлевна. Чернякову показалось однако, что это для его сестры новостью не было. Он еще не понимал, зачѣм им требовалось поселиться

по близости от княжны Долгорукой, но твердо вѣрил в практическую геніальность Софьи Яковлевны. «Если она признала нужным, значит нужно».

— Государь бывает на водах каждое утро, днем он не появляется. Княжна вод не пьет... Кстати — или некстати, — здѣсь получаются русскія газеты. Но послѣдніе номера еще от четверга! Я в Петербургѣ читал от пятницы... Что же завтрак? Я голоден как звѣрь. Или в ресторан пойдем на первый случай? — спросил Михаил Яковлевич, недовѣрчиво поглядывая на накрытый стол. На нем были только «Kalter Aufschnit», масло, булочки и какой-то нѣмецкій сыр. Но все было подано так уютно, с таким изобиліем вазочек, сѣточек, колпачков, войлочных кружков, полотняных и бумажных салфеточек, что рѣшено было позавтракать дома. Юрій Павлович не любил ресторанов, а на людей, ходящих в кофейни без крайней необходимости, смотрѣл как на развратников.

Дюммлер вышел к завтраку в самом лучшем настроеніи. Он по настоящему оживился, оказавшись заграницей. В Берлинѣ они пробыли один день. Профессор Фрерих поставил сдержанный діагноз, впрочем, скорѣе успокоительный и близкій к діагнозу петербургских врачей, о которых говорил с корректной, снисходительной улыбкой. Он дал письмо к Эмскому врачу и велѣл пить Кессельбруннен с молоком, для начала по три стакана в день, — «разумѣется, если доктор Краус не предпишет другого режима», — добавил он так же корректно, но, очевидно, никак не предполагая, что доктор Краус измѣнит его предписаніе.

Послѣ успокоительнаго діагноза Юрій Павлович стал еще больше восхищаться всѣм, от геніальности Фрериха до чистоты берлинских улиц. Теперь, за завтраком Дюммлер восхищался виллой, воздухом, булочками, ветчиной, маслом и услужливостью горничной, на лицѣ которой, как и на лицѣ владѣлицы виллы, было написано сознаніе не только своих обязанностей, но и своих прав (из них главным было ея право с т а р ш е й горничной говорить хозяевам «Sehr wohl» вмѣсто «Ja wohl»). Дюммлера она почтительно и с достоинством называла «Ex-

cellenz», — это слово чуть рѣзало слух Юрію Павловичу, хотя он знал, что на нѣмецком языкѣ — совершенно непостижимым образом — нѣт особаго слова для «Высокопревосходительства»; тут было нѣчто в родѣ разжалованія из тайных совѣтников в дѣйствительные статскіе.

В тот же день они побывали на водах и встрѣтили знакомых: проф. Муравьева с дочерьми. Это были впрочем пріятели Михаила Яковлевича; Дюммлеры их почти не знали и в другом мѣстѣ едва ли поддержали бы такое знакомство. Профессор считался либералом, чуть ли даже не радикалом. Но тут на водах Софья Яковлевна скорѣе обрадовалась встрѣчѣ: младшая дочь профессора, немного постарше Коли, играла в Эмсѣ в теннис, знала других дѣтей и могла свести с ними Колю (позднѣе, впрочем, Софья Яковлевна встревожилась: так ли полезно Колѣ бывать в обществѣ четырнадцатилѣтней дѣвочки, хотя бы и не очень хорошенькой?). Сам профессор был любезный пожилой человѣк, видимо нимало не искавшій общества тайных совѣтников, но и не считавшій себя обязанным избѣгать их. Старшая дочь его, красивая, прекрасно одѣтая барышня лѣт девятнадцати, поздоровалась с Софьей Яковлевной холодно и тотчас с ними разсталась, даже не постаравшись выдумать для этого предлог. Михаил Яковлевич проводил ее взглядом.

— Я знаю ея платье, это модель Ворта. Развѣ профессор богат? — спросила брата Софья Яковлевна, когда Муравьевы отошли.

— Не то удивительно, что я не могу тебѣ отвѣтить, но не может навѣрное отвѣтить и он сам. Это самая безалаберная семья в Петербургѣ. Едва ли милѣйшій Павел Васильевич имѣет понятіе о том, сколько у него дохода и сколько он проживает. Он знает только, что свободных денег у него почти никогда нѣт и что проживают они очень много, неизвѣстно как и неизвѣстно зачѣм. Правда, у него только милліонеры и святые не берут взаймы...

— Ты, Миша, не святой и не милліонер, а навѣрное никогда не брал.

— Ты отлично знаешь, что я принципіально ни у кого не беру взаймы денег, да мнѣ и не нужно, я достаточно зарабатываю, — сказал Михаил Яковлевич. С той поры, как сестра заставила его принять плату за надзор за Колей, он при разговорах о деньгах всегда чувствовал неловкость, хотя и Софья Яковлевна и ея муж считали эту плату совершенно естественным, само собой разумѣющимся дѣлом. — Вѣрно и то, что в их домѣ каждый день и цѣлый день толкутся люди тоже неизвѣстно зачѣм и почему. Однако и при его широком хлѣбосольствѣ они навѣрное могли бы проживать вдвое меньше, еслибы он хоть в малой степени обладал способностью считать деньги. Павел Васильевич у нас в университетѣ признается выдающимся физиком, и я ему говорил, что он, вѣроятно, интегральное исчисленіе знает лучше, чѣм арифметику.

— Гдѣ же он все-таки берет средства, чтобы так жить? Я никогда не вѣрила легендам, будто можно роскошно жить ниначто.

— У него прекрасное родовое имѣніе в московской губерніи, должно быть заложенное и перезаложенное... Это пріятно, что они здѣсь, я очень люблю их семью. Знал еще его жену, она умерла года три тому назад. Ея смерть была для него ужасным ударом. С тѣх пор у него пошли какіе-то катарры.

— Он из московских Муравьевых? Довольно родовитая семья. Они происходят от боярскаго сына Муравья из рода Алаповских.

— Не знаю, Юрій Павлович. Как тебѣ извѣстно, это не по моей части... Так ея платье модель Ворта? Она пугает, будто уйдет в народ. Очевидно, уйдет в платьѣ от Ворта. Но никуда она не уйдет, вздор! А правда, очень хорошенькая?

— Хорошенькая.

— Что такое значит «уйти в народ»? — с тревожным изумленіем спросил Юрій Павлович.

— По совѣсти, я и сам не знаю, что это собственно значит.

В спискѣ курортных гостей оказались и другіе знакомые, однако тоже малоинтересные. Дюммлеры побывали у врача, который благоговѣйно подтвердил предписаніе Фрериха, купили градуированные стаканчики и записались в Курзалѣ. Черняков попробовал наудачу воду одного из источников и, не допив, сдѣлал гримасу. — «Гадость невообразимая!» — сказал он сестрѣ вполголоса, чтобы не слышал Юрій Павлович. Музыка жалобно играла что-то веселое. Они вернулись домой к ужину и очень рано легли спать. Михаил Яковлевич пріуныл. Он вообще не любил уѣзжать из Петербурга, да еще в такія мѣста, куда петербургскія газеты приходят на четвертый или пятый день.

На слѣдующее утро Дюммлеры встрѣтили на водах государя. Он был с ними очень любезен и прошелся с Софьей Яковлевной по Unter Allee, что необычайно подняло их престиж в городкѣ, гдѣ всѣ тотчас узнавали все. Однако об их адресѣ государь не спросил и ничего не сказал о княжнѣ. Софья Яковлевна тщательно скрыла разочарованіе.

— Для нас всѣх главное отдохнуть и возможно меньше видѣть людей, — говорила она убѣдительно.

Жизнь скоро наладилась. Юрій Павлович пил воду очень рано утром, тотчас возвращался домой и проводил большую часть дня у себя в саду, в парусиновом креслѣ у стола, читая «Норддойтше Алльгемайне Цайтунг», мѣстную Кобленцскую газету, а также книги, теперь преимущественно по медицинѣ, в частности главы о катаррах и о дѣйствіи вод. Черняков, как всѣ, вставал рано, подчиняясь распорядку дня в Эмсѣ. Он немного занимался с Колей, затѣм уводил его к Муравьевым под предлогом тенниса, гулял по Колоннадѣ. В восемь приходили русскія газеты. Их для него оставлял книгопродавец, с которым, как вездѣ со всѣми книгопродавцами, у Михаила Яковлевича установились пріятельскія отношенія. С газетами он возвращался домой, проходил в саду к столу не по дорожкѣ, а через траву под неодобрительным взглядом Юрія Павловича, и тоже надолго устраивался в парусиновом креслѣ. Дюммлер

в Эмсѣ русских газет не читал, — говорил, что отдыхает от них душою: для одного этого стоило уѣхать заграницу. Черняков, очень уважавшій зятя и не любившій заниматься изысканіями ни в своей, ни тѣм менѣе в чужой душѣ, все-же находил, что Юрій Павлович расцвѣл, оказавшись в Германіи. «Конечно, он вѣрноподданный, но, ей Богу, в душѣ ему гдѣ-то и как-то Вильгельм ближе, чѣм наш государь, тѣм болѣе, что он государя считает либералом», — думал Черняков, искоса поглядывая на Юрія Павловича. По давнему молчаливому соглашенію, они рѣдко говорили о политикѣ.

Послѣ нѣмецкаго діэтетическаго завтрака, Дюммлер уходил в спальную отдыхать, а Михаил Яковлевич зѣвал все в том же креслѣ. В четыре часа они снова отправлялись на воды, слушали музыку, обмѣнивались со знакомыми новыми сообщеніями о коронованных особах и о княжнѣ Долгорукой. Дня через четыре Дюммлеры опять встрѣтили государя; на этот раз он спросил, гдѣ они остановились. Софьѣ Яковлевнѣ было извѣстно, что государь послѣ завтрака уѣзжает верхом к княжнѣ и обычно проводит у нея весь остаток дня. Как-то встрѣтились они и с княжной на лѣвом берегу Лана. Бесѣда была пріятная, но краткая; с обѣих сторон была выражена радость по случаю сосѣдства, однако о дальнѣйших встрѣчах ничего опредѣленнаго сказано не было, — только неясно говорилось, как пріятно было бы встрѣчаться почаще: в Эмсѣ так скучно.

Скучно дѣйствительно было невообразимо, особенно Чернякову. Занятія с Колей отнимали у него не болѣе часа в день. Работа не шла. Без библіотеки Михаил Яковлевич сразу терял большую часть своего ученаго дара. И он чрезвычайно обрадовался, когда получил из Берлина слѣдующую телеграмму: «Priesjaiu sevodnia 7 vechera prochu sniat komnatu spasibo privet mamontov».

— Узнаю нашего Леонардо! «Прошю сніат комнатю», — благодушно сказал сестрѣ Черняков, точно Николай Сергѣевич так и произносил эти слова. — Это не разговор. На сколько времени «сніат комнатю»? В какую цѣну? В гостинницѣ или

в приватном домѣ? С табль-д-отом или без табль-д-ота? Обо всем этом ни слова!

— Во всяком случаѣ возьми без табль-д-ота: он, надѣюсь, будет часто приходить завтракать и обѣдать к нам.

— В приватном домѣ без табль-д-ота, пожалуй, не сдадут. На зло ему, я сниму комнату в «Энглишер Гоф», пусть тратится!

— Почему однако он ѣдет из Берлина? Вѣдь между Эмсом и Парижем прямое сообщеніе.

— Вот увидишь: cherchez la femme.

Михаил Яковлевич отправился встрѣчать Мамонтова на вокзал и к обѣду не вернулся. Дюммлер освѣдомился о нем у жены.

— Мамонтов?... Ах, да, тот первой гильдіи купеческій сын. Но развѣ поѣзд еще не пришел?

— Вѣроятно, они куда-нибудь пошли вмѣстѣ обѣдать. Они большіе друзья и давно не видались. Я тоже очень рада Николаю Сергѣевичу и через Мишу просила его бывать у нас возможно чаще, — сухо сказала Софья Яковлевна, раздраженная «купеческим сыном».

— Очень рад. Я рѣшительно ничего против него не имѣю, — поспѣшил добавить Юрій Павлович.

Черняков вернулся лишь в одиннадцать часов. Вопреки установившемуся порядку, гостинная виллы еще была освѣщена. Софья Яковлевна сидѣла у лампы, как всегда, затянутая в корсет и тоже как всегда (к изумленію ея брата) на стулѣ, хотя в комнатѣ были диван и покойныя кресла; она читала «La Curée» Зола. Ей показалось, что Михаил Яковлевич очень весел.

— Ну что? Пріѣхал? Гдѣ же вы были? — спросила она вполголоса: Юрій Павлович уже спал, и его спальная была рядом с гостиной.

— Пріѣхал, — так же тихо отвѣтил Черняков и засмѣялся. — И не один! Что я тебѣ говорил? Конечно, cherchez la femme!

— В чем дѣло?

— Ларчик просто открывался! Эта та самая питерская цирковая артистка! Помнишь, я тебѣ разсказывал? Это он к ней ѣздил в Берлин! И привез оттуда цѣлую труппу... Ее зовут Катилина! Но, должен сказать, мила, очень мила!

— Да? Ты успѣл познакомиться?

— На вокзалѣ имѣл честь быть оной Катилинѣ представлен. Слава Богу, они живут в фургонах, а то наш Леонардо вѣрно их бы притащил со слонами в «Энглишер Гоф»!... Мы с ним там пообѣдали и выпили бутылочку-другую очень недурного рейнвейнцу.

— Я вижу. Что-ж, он измѣнился, твой Мамонтов?

— Измѣнился. И ломается немного больше прежняго. Вѣроятно, от продажи «Стеньки». Но я его все-таки очень люблю. Мы в ресторанѣ встрѣтили...

— Утром увидим его на водах?

— Он сказал, что органически не способен встать раньше десяти... Встрѣтили Павла Васильевича, я их познакомил.

— Значит, он у нас завтра завтракает?

— Завтракать не может, занят. Врет, конечно: пойдет к Катилинѣ. Но соизволил принять приглашеніе на обѣд. Так что ты во всяком случаѣ увидишь его вечером.

— Да я не так жажду его видѣть, — сказала с досадой Софья Яковлевна.

V.

Мамонтов весной получил в Парижѣ от Кати письмо. Она сообщала, что Карло в Варшавѣ продѣлал тройное сальтомортале, и не разбился, и стал знаменитостью, и получил приглашеніе в какой-то знаменитый цирк, раз'ѣзжающій по всему міру. Заодно взяли ее и Алексѣя Ивановича, — «без нас Карло, конечно, не принял бы», — с гордостью писала Катя. Она умоляла Николая Сергѣевича встрѣтиться с ними гдѣнибудь перед их от'ѣздом за море. «А то, ей Богу, ѣдем с нами в Америку, я и забыла сказать, что вѣдь мы ѣдем в Америку, ей Богу правда!... А вы все говорили, что любите меня и нас всѣх. Так как же, милый, не пріѣхать хоть про-

ститься, вѣдь когда же мы вернемся в Россію!... А я вас так люблю!... Вы опять скажете, что это надо доказать, видите как я все помню, голубчик, но, накажи меня Бог, я говорю правду, вѣдь я и не умею врать, вы сами говорили... И я так рада за Карло, хоть берет страх, просто ужас и ночью не сплю, впрочем вру: сплю»...

Все письмо было нѣжное, счастливое, безсвязное, безтолковое и безграмотное (почему-то Катя безпрестанно употребляла многоточія, видимо приписывая им какое-то особое значеніе). Мамонтов с улыбкой прочел и перечел письмо.

Полученіе этого письма совпало у него с неудачами и разочарованіями. Он почувствовал сильное желаніе пристать к цирку. Ему стало совѣстно, что в послѣдній год он почти забыл о Катѣ, — только изрѣдка обмѣнивался с ней письмами. «Все эта глупѣйшая исторія с Ивонн»... У Николая Сергѣевича был роман с натурщицей, закончившійся прозаическим денежным разсчетом, о котором ему и теперь, через мѣсяц, было больно и стыдно вспоминать.

Он долго ходил по своей мастерской, останавливаясь, улыбаясь и пожимая плечами. Думал, что, быть может, цирк пригодился бы ему и как художнику новизной впечатлѣній и сюжетов. «Вот это тема почти не использованная. А уж если в самом дѣлѣ п о д т в е р д и т с я, что большого таланта к живописи нѣт, если в самом дѣлѣ переходить на карьеру журналиста, то, пожалуй, поѣздка в Соединенные Штаты подходит, как нельзя лучше?»... Ему казалось, что это мысленное слово «подтвердится» уже в сущности предрѣшало дѣло, и теперь, впервые, эта мысль не вызывала у него тревоги. «Ну, допустим, что я писал не так, как нужно, допустим, большого таланта не оказалось, — это, вдобавок, пока неизвѣстно, — все-таки еще два-три года можно выбирать жизнь заново... И как прелестно-безграмотно она пишет! Что, если в самом дѣлѣ поѣхать с цирком? Я не подрядился прожить жизнь так, как это угодно мѣщанам»... Он думал и о том, что в присоединеніи к цирку было бы нѣчто устарѣло-романтическое и теперь дешевое, «à la Алеко».

На слѣдующее утро он проснулся с очень тоскливым чувством, как все чаще в послѣднее время (прежде, в Петербургѣ, этого не было). Николай Сергѣевич первым дѣлом подумал о письмѣ Кати и сам удивился своим вчерашним мыслям: «Какая-такая Америка! Что мнѣ дѣлать в Америкѣ?» Он встал, одѣлся, хотѣл было начать работу и не начал: опять стал ходить по комнатѣ. Сначала отогнал мысль, будто он может быть влюблен в Катю: «Вот вѣдь мнѣ казалось, что и в Ивонн я влюблен... Другое дѣло, если говорить о поѣздкѣ в Америку в о о б щ е. Собственно я подумывал о Соединенных Штатах, когда собирался стать журналистом. Но о чем я только не подумывал! Вѣрно и то, что за деньгами остановки не было бы: еще на нѣсколько лѣт жизни денег хватит во всяком случаѣ, если даже ничего не зарабатывать. Да и для живописи Америка могла бы кое-что дать». Он почти с отвращеніем взглянул на свой «Уголок Компьенскаго лѣса» и подумал, что таких уголков в лѣсу, на зарѣ и под вечер, в сѣрых, голубоватых, серебряных тонах только что всѣми оплаканнаго Коро есть навѣрное сотни. «Да, ясно, что надо все, все пересмотрѣть, надо понять, что я писал вздор, что «Стенька» никуда не годится, как никуда не годятся всякіе княжны Таракановы, Грозные у гроба сына, становые на слѣдствіи и колдуны на свадьбѣ, которые десятками фабрикуются у нас в Россіи... Если же с позором из живописи уйти, то... Куда же уйти? В революцію? В журналистику? Что-ж, для этого тоже полезно было бы посѣтить «новый континент»... Вѣрно, это судьба всѣх бездарных неудачников бросаться из стороны в сторону», — думал он полупокаянно-полуиронически. «А вот просто повидать Катю было бы очень соблазнительно, но гдѣ-нибудь поближе, без всякой Америки»... Он опять прочел письмо. Из него нельзя было понять, куда и когда ѣдет цирк. «Но как мило, что она «умѣю» пишет с е».

Николай Сергѣевич так же нѣжно отвѣтил Катѣ и просил Карло и Рыжкова толком сообщить все об их поѣздкѣ. Очень скоро пришло от Кати новое письмо, уже настолько восторженное, что послѣ него не встрѣтиться с семьей Діабелли

было бы просто невозможно. В концѣ, на нѣмецком языкѣ, без обращенія и подписи, был записан, очевидно, рукой Карло, их маршрут с обозначеніем дней, часов и гостинниц. Оказалось, что они будут выступать в Гамбургѣ, Бременѣ, Бреславлѣ, Берлинѣ и закончат европейскія гастроли в Эмсѣ. «Ну, что-ж, в Эмс ѣздят теперь всѣ. Отчего же мнѣ не пробыть там нѣсколько дней с ними?»

Почти одновременно со вторым письмом Кати пришло письмо Чернякова. Узнав, что Дюммлеры тоже ѣдут в Эмс, Николай Сергѣевич было поколебался; потом разсердился и сказал себѣ, что в таком случаѣ пріѣдет туда с Катей навѣрное, — точно он бросал кому-то вызов.

В послѣдній день Мамонтов рѣшил сдѣлать сюрприз: заѣхать в Берлин за семьей Діабелли. На долгой остановкѣ в Кельнѣ он не полѣнился вынуть из чемодана свой новый костюм, переодѣлся и выбрился, чего обычно в дорогѣ не дѣлал. «Совсѣм как влюбленный!» — иронически думал он.

Но, когда в крошечной комнатѣ их убогой гостинницы на окраинѣ Берлина Катя, смѣясь и плача, повисла у него на шеѣ, Николай Сергѣевич почувствовал, что улыбался он напрасно, что это очень серьезно, что его неудачи и глупая исторія с Ивонн никакого значенія не имѣют, что он поѣдет за Катей и в Эмс, и в Америку, и куда она захочет.

Алексѣй Иванович встрѣтил его со своим обычным степенным радушіем: казалось, что и в самом дѣлѣ очень ему обрадовался. И только в привѣтливости Карло было, как всегда, нѣчто не совсѣм пріятное. О поѣздкѣ в Америку Николай Сергѣевич не сказал ни слова, да и не было времени: их поѣзд отходил через нѣсколько часов. Для международнаго цирка были сняты особые вагоны. Катя предложила взять туда и Мамонтова. Карло кратко отвѣтил, что это невозможно; всѣ мѣста заняты и посторонняго человѣка не впустят. «Это ничего не значит, я поѣду в другом вагонѣ», — поспѣшил сказать Николай Сергѣевич. Легкій холодок исчез, когда Карло предложил Мамонтову повести Катю и Рыжкова в кондитерскую: сам он все бѣгал по дѣлам.

— Разумѣется, он страшно рад нас вам подбросить, мы у него на шеѣ сидим, — об'явила Катя. Оказалось, что она и Алексѣй Иванович, не зная ни одного слова ни на одном иностранном языкѣ, почти не выходят из гостинницы, из боязни заблудиться. — Мы и то носим при себѣ его записочку с адресом, как собаки ошейник с надписью, чьи онѣ! — об'яснила она и залилась смѣхом, который в слѣдующую ночь снился Николаю Сергѣевичу.

По пути в Эмс, на большой станціи, Мамонтов, в другом, свѣтлом, тоже слишком хорошем для дороги костюмѣ, подошел к вагонам цирка. Кати у окон не было. «Значит, не очень меня ищет»... Из ея вагона слышался веселый говор, женскій смѣх, — не Катин. Николай Сергѣевич постоял на перронѣ, не поднялся в вагон, почему-то сдѣлал даже вид, что стоит не у этого вагона, затѣм отошел с непріятным чувством. У буфета Карло пил пиво с высоким, благодушнаго вида человѣком, который что-то разсказывал ему на ломаном нѣмецком языкѣ, поясняя разсказ сильной и л а д н о й, не смѣшной, жестикуляціей. «Так Карло не с ней в вагонѣ», — с облегченіем отмѣтил Мамонтов. Акробат представил его своему собесѣднику. Это был директор цирка, американец Андерсон, помощник и агент Барнума. Узнав, что Мамонтов владѣет англійским языком, он тотчас с ним разговорился и через минуту стал называть его по фамиліи, которую легко усвоил и произносил правильно. Андерсон бывал в Россіи и мог сказать нѣсколько слов по русски.

— А по французски я совсѣм хорошо говорю, с чистым пенсильванским акцентом, — добавил он. — В нашем дѣлѣ иначе нельзя.

— Вы давно в Европѣ?

— Нѣсколько лѣт. Америка слишком бѣдная страна для такой труппы, как моя. Нас разорила эта несчастная гражданская война, — пояснил он со вздохом. — Впрочем, теперь наши дѣла как будто начинают поправляться. Мы ѣдем домой, и не могу сказать, чтобы я был этим огорчен... Выпьем еще по стакану? А вы ничего для цирка не умѣете дѣлать? — с

любопытством спросил Андерсон. — Ѣдем с нами в Америку? Лучшей страны нигдѣ в мірѣ нѣт!

«Да, странный и, кажется, интересный мірок», — думал у себя в вагонѣ Николай Сергѣевич. — «Конечно, он ничего не теряет от сравненія с нашим, гдѣ все так и дышит завистью, злобой, конкурренціей. И было бы очень хорошо познакомиться с ними поближе. Но неужто я в самом дѣлѣ поѣду в Америку? Не сойти ли на первой станціи, не сбѣжать ли в Париж или, еще лучше, в Петербург, а им послать какую-нибудь телеграмму?» — с улыбкой спрашивал себя он. И хотя он отлично знал, что ничего такого не сдѣлает, Мамонтов довольно долго думал о том, как и когда они получили бы его телеграмму, что сказали бы и долго ли плакала бы Катя. Затѣм снова у него завертѣлись памятныя по Петербургу мысли об отношеніях между Катей и Карло, он гнал от себя эти мысли и даже отрицательно мотал головой. «...Я так вас люблю, так люблю! Ей Богу!» — говорила Катя в кондитерской, уплетая пирожныя и срываясь с мѣста, чтобы поцѣловать его. Нѣмки принимали их за молодоженов.

Когда поѣзд замедлил ход у Эмскаго вокзала, на перронѣ Николаю Сергѣевичу бросился в глаза Черняков, в не очень шедшем к его солидной фигурѣ легком бѣлом костюмчикѣ. Михаил Яковлевич еще издали помахал высоко над головой рукой с растопыренными пальцами, затѣм обнял Мамонтова, обдав его смѣшанным запахом крѣпкаго одеколона и хорошей сигары, и минуты двѣ высказывался о наружности Николая Сергѣевича.

— ...Совсѣм парижанин! Так ты и усы подстриг? Но прямо цвѣтешь, а? Вот что значат успѣх и милліоны!... Я тебѣ и комнату приготовил в гостинницѣ для милліонеров... Не надо было? Пеняй на себя, зачѣм не сообщил, что тебѣ нужно?

Узнав, что у Мамонтова друзья в вагонах для цирка, Михаил Яковлевич вытаращил глаза.

— Как в вагонах для цирка? Я читал в мѣстной газетѣ — газетка, кстати, паршивая! — что сюда пріѣзжает цирк или

звѣринец... Они, что-же, со звѣрьми ѣдут, твои друзья? Может, ты с тиграми хочешь заѣхать в «Энглишер Гоф»? Об этом я ,извини, не договаривался, ты сам им об'яснишь. Так ты стал укротителем звѣрей?

Увидѣв Катю, Михаил Яковлевич догадался, кто она, и обрадовался, быть может потому, что сбылось его предсказаніе «cherchez la femme». У Кати был испуганный и растерянный вид.

— Ради Бога! — сказала она Мамонтову с мольбой в голосѣ. — Ради Христа, зайдите за нами завтра пораньше! Голубчик, приходите рано утром, умоляю вас! Мы тут без вас пропадем!

Николай Сергѣевич обѣщал прійти рано и познакомил ее с Черняковым. Катю видимо немного успокоило то, что в этом мѣстѣ могут быть русскіе. В другое время она навѣрное тут же поцѣловала бы Михаила Яковлевича. Но здѣсь общая суматоха, слышавшаяся отовсюду иностранная рѣчь так ее напугали, что она не поцѣловалась на прощанье даже с Мамонтовым. Карло позвал ее, она покорно пошла за ним, держа в руках какой-то кулек и коробку. Легкій багаж семьи вообще состоял только из бумажных и картонных предметов. В концѣ перрона, присоединившись к другим людям, выстраивавшимся за Андерсоном, она оглянулась и горестно помахала кульком. Черняков изумленно и не без испуга глядѣл на цирковых артистов.

— Что это? Клоуны? — испуганно спросил он. — Неужто ты их знаешь?

— Только этих трех и знаю.

— Вѣдь это та твоя петербургская, правда?

— Да, да, «та моя петербургская», — с досадой отвѣтил Николай Сергѣевич. Михаилу Яковлевичу однако показалось, что Мамонтов не слишком задѣт его словами. «Уж больно стал ломаться», — благодушно подумал Черняков, охотно прощавшій людям маленькія слабости.

За поздним обѣдом в «Энглишер Гоф» безсвязный и

не слишком занимательный разговор, еще до жаркого раза два прерывался. Михаил Яковлевич сообщил, что мог бы получить должность экстраординарнаго профессора в провинціи, но уж очень не хочется уѣзжать из Петербурга, авось и там кое-что навернется; сообщил предположенія о своей докторской диссертаціи, сообщил об откликѣ, который нашли его работы в русской и нѣмецкой печати. По деликатности и по знанію порядков, он спрашивал Николая Сергѣевича об его успѣхах, но Мамонтов отвѣчал уклончиво и с нѣкоторым нетерпѣніем. Чернякову показалось, что его друг вообще стал раздражительнѣй.

— ...Ты как Бисмарк, который, по появленіи в газетах сенсаціонных слухов, «не подтверждает, но и не опровергает». Значит, «Стенька» имѣл в Парижѣ успѣх?

— Нѣкоторый успѣх, если хочешь, имѣл.

— «Если хочешь»! Я хочу. И тебѣ были заказаны портреты. Значит, все отлично?

— Значит, все отлично.

— Ну, так и говори. Хорошо, какіе же теперь твои планы? — спросил Михаил Яковлевич, любившій за вином то, что он называл «интимными бесѣдами». Ему хотѣлось поговорить о Каталинѣ. — Когда ты возвращаешься в Петербург?

— Сам еще не знаю... Быть может, я поѣду в Америку.

Черняков поставил бокал на стол и изумленно уставился на Мамонтова.

— В Америку? В какую Америку?

—В Сѣверную.

— Еще слава Богу, что не в Патагонію! Зачѣм тебѣ Америка? Что ты будешь дѣлать в Америкѣ?... Постой, я, кажется, читал, что эти циркачи отсюда ѣдут в Соединенные Штаты?

— Да. И я, быть может, поѣду с ц и р к а ч а м и, — с вызовом в голосѣ отвѣтил Николай Сергѣевич. Черняков сокрушенно замолчал. Он любил Мамонтова, желал ему успѣхов в жизни (хотя, быть может, не слишком уж блистательных успѣхов: в мѣру), и ему было больно, что из его друга, повидимому, ничего не выходит. «Все он м е ч е т с я и, должно

быть, этим гордится, как всѣ м я т у щ і я с я д у ш и. А в дѣйствительности тут дѣло не в мятущейся душѣ, а просто в юбкѣ. Повидимому, он в самом дѣлѣ втюрился в эту Катилину!»...

— Но что ты там будешь дѣлать?

— Не знаю. Впрочем, о себѣ мнѣ сейчас не хочется говорить... Что же твоя прогрессивная партія? Кажется, государь к вам еще не обращался? — насмѣшливо спросил Николай Сергѣевич. Черняков пожал плечами. — Помяни мое слово, все это добром не кончится.

— Что именно «все это»?

— Ты знаешь, что именно. Это желаніе государя всѣх очаровать, никому ничего не дав. Эта его манера разсматривать Россію, как свое родовое имѣніе, гдѣ мужики и дворня, кромѣ нѣсколькихъ неблагодарных негодяев, обожают добраго барина... Но à la longue это не годится. Я видѣл в Парижѣ, в Швейцаріи кое-кого из молодых русских поколѣнія, слѣдующаго за нашим с тобой. Они всѣ отпѣтые революціонеры и нигилисты.

— Очень жаль. Теперь, впрочем, у нас намѣчается новое увлеченіе славянской идеей. Кстати, из Герцеговины идут тревожные слухи, там, кажется, назрѣвают серьезныя событія. Что ты об этом думаешь?

— Если есть вещь, о которой я совершенно не думаю, то это событія в Герцеговинѣ. Я даже не знал, что в Герцеговинѣ бывают событія.

— От свѣчи, брат, Москва сгорѣла, — сказал Черняков и вдруг, радостно улыбнувшись, помахал кому-то рукой. Николай Сергѣевич оглянулся. Из дальняго угла отвѣтно улыбался их столику человѣк, в котором за версту можно было признать русскаго. К нему подходил лакей со счетом на тарелочкѣ.

— Кто это? Русскій, конечно?

— Павел Васильевич Муравьев. Знаешь?... Почему ты морщишься? Или ты тоже дѣлаешь вид, будто не любишь встрѣчаться заграницей с русскими? Это какая-то повальная мода. И все люди врут, потому что разговаривать нам интересно только с русскими-же.

— Да я не потому, что он русскій. Он аристократ, да? Ты знаешь, я не люблю аристократов.

— Почему «аристократ»? И что такое «аристократ»? Муравьевых в Россіи пруд пруди. Он профессор физики. Очень дѣльный физик и милѣйшій человѣк. Сам говорит, что он и не из тѣх Муравьевых, которых вѣшают, и не из тѣх, которые вѣшают. Иными словами, не состоит в родствѣ ни с семьей декабристов, ни с Муравьевым Виленским. Никакой он не аристократ, просто помѣщик второй руки. А его старшая дочь, если хочешь знать, даже симпатизирует, как ты, революціонерам, — сказал Черняков, неожиданно с легким вздохом. — Это ей впрочем не мѣшает выписывать платья от Ворта и ѣздить верхом на кровных лошадях.

— Дочь тоже здѣсь?

— Да, двѣ дочери.

— Хорошенькія?

— Младшая еще ребенок. Старшей лѣт девятнадцать, очень хорошенькая, и умная, и образованная. Замѣчательная дѣвушка.

— Волочишься?

— Без малѣйшаго успѣха. Но часто у них бываю... Вот он подходит.

Профессор, знакомясь, крѣпко пожал руку Мамонтову и с полной готовностью принял предложеніе «подсѣсть». Это был человѣк лѣт пятидесяти с очень пріятным, умным лицом, с окладистой, уже сѣдѣющей бородой.

— ...Вот я донесу вашему врачу, что вы в Эмсѣ ужинаете, — сказал Черняков. — Это строго запрещено. Мы? Мы не в счет: мы вод не пьем... Но отчего же вы не привели Елизавету Павловну?

— Ее приведешь! Она с кѣм-то в Курзалѣ. Что до ужина, то в нашем табль-д-отѣ кормят дрянью. Ѣшь — противно, и через час послѣ «абендброта» хочется ѣсть. А я голодный заснуть не могу... Так вы прямо из Парижа? — спросил он Николая Сергѣевича. — Ну, что же там слышно?

— Да что же он мог слышать? Он, кромѣ революціонеров,

никого, кажется, и не видал! — сказал Михаил Яковлевич. Мамонтов с досадой пожал плечами. Профессор смотрѣл на него, благожелательно улыбаясь и, видимо, ожидая поясненія. — Николай Сергѣевич такой же отчаянный радикал, как ваша Лиза. Он с нашим братом, с «ретроградами», разговаривает только в случаѣ крайней необходимости.

— Да мы с вами, кажется, не такіе уж ретрограды, особенно я, — смѣясь, сказал Муравьев.

— А кто вчера царя восхвалял?

— Нисколько не восхвалял, а просто отдавал должное.

— Должное? За что же собственно должное? — хмуро спросил Николай Сергѣевич.

— Неужто и в Эмсѣ говорить о политикѣ, да еще в такую жару? — вздыхая, отвѣтил вопросом профессор. — Да что я вчера сказал? Сказал, что ненависти к царю у меня нѣт. К его отцу была, а к Александру Николаевичу нѣт... Никакой ненависти к нему не чувствую, — твердо повторил он, точно подумав и провѣрив себя. — Скажу, что плохо его понимаю, это да. Может быть, и факты мнѣ извѣстны не всѣ. Извините педантизм естествоиспытателя, — с улыбкой обратился он к Мамонтову, — у нас первое дѣло знать факты.

— Какіе же такіе факты нам неизвѣстны? Факты тѣ, что у нас полный застой, страна в развитіи остановилась и вперед не идет. И в этом вина тѣх, кто ею правит.

— С этим я готов согласиться лишь отчасти. Полный застой? Полнаго застоя нѣт, Россія растет и цивилизуется. Но, к сожалѣнію, совершенно вѣрно то, что темп ея движенія вперед за послѣднее десятилѣтіе очень замедлился. Вот это мнѣ и непонятно. Александр II был одним из величайших реформаторов в исторіи. Если говорить правду, то по сравненію с его реформами реформы Петра отходят на второй план.

— Ну, нѣт, — вмѣшался Черняков. — Наш Питер особь статья. Недаром — «Великій».

Профессор опять вздохнул.

— Еслиб Александр II при осуществленіи своих реформ

тоже потоками проливал кровь, то и его, должно быть, прозвали бы Великим.

— Это парадокс.

— Нѣт, к несчастью, не парадокс. Великими в исторіи всегда прозывали только тѣх, кто с видимым на протяженіи отрѣзка времени успѣхом пролил очень много крови. Без этого можно стать «Добрым», «Кротким», «Благословенным», «Святым», но для «Великаго» нужны успѣх, кровь и больше ничего. Повѣрьте, еслиб Наполеон III выиграл войну 1870 года, он тоже стал бы Великим. Людовик XIV пролил много крови и получил «Великаго». А Людовик XVI не пролил и окончил свои дни на эшафотѣ.

— Вот же наш Николай Великим не стал.

— Крымская война помѣшала. И, хоть это уж другой вопрос, в Николая вѣдь Каракозовы не стрѣляли. Я, кстати сказать, всегда тѣх, кто ненавидит Александра II, спрашиваю, почему они никак не проявляли ненависти к его отцу?

— К нашему поколѣнію этот реторическій вопрос не относится: мы при Николаѣ еще под столом бѣгали.

— Поэтому ваше поколѣніе и не может понять, ч т о для нас означало вступленіе на престол Александра II. Мы точно глотнули воздуха послѣ того, как едва не задохлись... Я прямо скажу: я Александра Николаевича не понимаю... Ничего не понимаю, — повторил профессор, опять подумав. — Этот человѣк освободил крестьян, ввел земство, самоуправленіе, прекрасный суд вмѣсто стараго дрянного, отмѣнил рекрутчину, уничтожил тѣлесное наказаніе, без срама выпутал нас из проигранной войны, затѣянной Николаем вопреки его совѣту, умиротворил Кавказ, мирно, не пролив ни единой капли крови, присоединил к Россіи богатѣйшія земли Дальняго Востока... Развѣ я не вправѣ сказать, что он сдѣлал больше Петра? И развѣ у него не было міровой славы, вродѣ славы Линкольна? Кстати, помните ли вы, что послѣ покушенія Каракозова Конгресс Соединенных Штатов прислал в Петербург особую делегацію во главѣ с министром Фоксом, чтобы привѣтствовать Александра II, «уму и сердцу котораго русскій народ обязан

свободой», — это, кажется, был первый такой случай в исторіи. Его в сѣверных штатах всегда и сравнивали с Линкольном. Вот какая была слава! И мнѣ непонятно, что же такое произошло с царем? Почему человѣк, бывшій величайшим реформатором, больше ничего не хочет дѣлать? Я не политик, но каждому нормальному человѣку ясны преимущества конституціоннаго строя над самодержавным. По каким мотивам, только ли по усталости, этот безспорно хорошій, неглупый и добрый человѣк окружил себя ретроградами...

— Да нам его мотивы совершенно не интересны. Если он устал, то пусть идет к... Пусть уходит на покой!

— А мнѣ мотивы интересны. Вы Голохвастова Дмитрія Дмитріевича не знаете? Это клинскій предводитель дворянства. Он...

— Нѣт, я ни одного предводителя дворянства не знаю.

— Он очень милый человѣк, хорошій оратор, конституціоналист. Так вот, видите ли, Голохвастов имѣл с государем бесѣду. Государь ему сказал со слезами в голосѣ...

— У него всегда слезы в голосѣ.

— Сказал ему слѣдующее: «Чего вы всѣ от меня хотите? Конституціоннаго правленія? Вы думаете, что я его не даю из мелочных чувств, не желая поступиться своими правами? А я тебѣ клянусь, что вот сейчас на этом столѣ подписал бы какую угодно конституцію, еслиб это только было возможно»...

— Кто же ему мѣшает?

— Не скрою, что это он об'яснял Голохвастову невразумительно: говорил, что Россія на слѣдующій день распадется на куски, всѣ, мол, отдѣлятся: Польша отдѣлится, Финляндія отдѣлится...

— И пусть отдѣляются.

— Это не разговор, Леонардо, «пуст отдѣляются»! — сказал Черняков. — Но эти опасенія ни на чем не основаны.

— Я тоже думаю. Так какія же истинныя причины? Думаю, скорѣе всего сильное давленіе оказывает на него окруженіе, состоящее на три четверти из крѣпостников...

— Вот бы он всю эту шайку и разогнал.

— К этим твоим словам, Леонардо, я присоединяюсь, — сказал Черняков. — Давно пора приструнить этих господ.

— Вы оба совершенно правы, но... Вот у меня дочь, молоденькая дѣвушка, собственно чуть не дѣвочка, и ее приструнить невозможно, и я даже спорить с ней не хочу и не могу: я слово, а она мнѣ двадцать. Мнѣ просто лѣнь, и я махнул рукой, Михаил Яковлевич знает, — смѣясь, сказал профессор. — Вы думаете, так легко приструнить старую Россію, с ея тысячелѣтней инерціей? Один примѣр: отмѣна крѣпостного права. Вам так кажется: сѣл государь в хорошую минуту за письменный стол и подписал указ об освобожденіи крестьян. А этого указа не хотѣли 99 процентов всѣх его близких, и девять десятых дворянства... Нѣт, вы не спорьте, это так! И как не хотѣли! Смертельно боялись, боролись, тормозили, готовы были на в с е, чтобы не допустить освобожденія. Добавьте к этому нѣмцев, внутренних и внѣшних. Я прямо скажу, что для царя была опасность: вѣдь и при его неограниченной власти очень трудно справиться с дворянством. Вспомните участь его дѣда и прадѣда: вѣдь их убили дворяне, а не революціонеры. Да вот у меня есть маленькое личное впечатлѣніе, — сказал профессор, видимо увлеченный спором. — Я только раз в жизни вблизи видѣл и слышал царя. Это было на пріемѣ московскаго дворянства незадолго до освобожденія. Почему-то я пошел, в первый и в послѣдній раз в жизни, я плохой дворянин. Ну, собрались мы в Кремлѣ... Не вѣрьте вы, молодые люди, тѣм, кто говорит, будто большая часть дворянства стояла за освобожденіе крестьян. Да и в самом дѣлѣ, гдѣ же видано, чтобы люди х о т ѣ л и разоряться? Во всем мірѣ бывает, что из за какого-нибудь пустяковаго новаго налога поднимается дикій вой, а тут дѣло шло не о налогѣ, а о потерѣ доброй половины состоянія. Герцен, конечно, хотѣл освобожденія, но сколько же дворян Герценов?

— Герцен вдобавок своих крестьян продал до эмансипаціи, — сказал Черняков и ласково положил руку на рукав профессора. — Павел Васильевич, кофейку не хотите?

— Нѣт, поздно, я сейчас побѣгу... Ну, так вот, выстрои-

лись мы в кремлевской залѣ, хмурые, мрачные, насупившіеся, точно на похоронах. Впереди старики, все больше князья, богачи, генерал-ад'ютанты, ну, Англійскій клуб. Запомнилась мнѣ, — сказал Павел Васильевич, опять засмѣявшись, — фигура князя Меншикова: прямо послать на выставку ретроградов! Ну-с, вышел царь и заговорил. Говорит он, кстати, прекрасно, как настоящій оратор, только что грассирует. По моему, царям не полагается грассировать. И с первых слов начал он нас, московских дворян, ругать, да как! Вы, говорит, и крестьян на волю отпустить не желаете, и земли им дать не хотите, и палки мнѣ в колеса вставляете, но ничего вам не поможет: крестьяне свободу получат во что бы то ни стало! Слов не помню, а смысл был таков. Слушали его наши крѣпостники ох как хмуро: вѣрно считали Робеспьером! Смотрѣл я на них и думал, что страшна сила косности этих людей и не так легко царю сѣсть за стол и подписать указ! И продолжаю думать: без Тургеневых и без Герценов эмансипація все-таки могла бы состояться, а без Александра II русскіе крестьяне, т. е. лучшее, что есть в нашем народѣ, и по сей день были бы рабами... Хоть я не легко очаровываюсь, он тогда меня очаровал. И тѣм больнѣе мнѣ теперь, что он губит свое же собственное историческое имя. Страх ли, или усталость, или разочарованіе от того, что он, вѣрно, считает неблагодарностью? А что, если вся трагедія просто от легкомыслія? Вѣдь это, право, трагедія. Я много вижу молодежи и ясно вижу, что дѣло идет к бѣдѣ... Ну, простите меня, я что-то больно разговорился. Прямо стыдно: в Эмсѣ на водах вести политическія дискуссіи! — Он взглянул на часы, ахнул и поднялся. — Рад бы еще посидѣть, да одиннадцатый час, и Маша дома одна. Это моя меньшая дочь, — пояснил он Мамонтову, — ей уже четырнадцать лѣт и, представьте, она еще не рѣшает судеб Россіи.

— А старшая рѣшает?

— Уже рѣшила. И до споров со мной не снисходит. У нея политика дамская: без доводов, просто: «Ненавижу вашего царя!» — и кончено. Александр II, видите ли, мой!... Так

завтра увидимся на водах, правда? Ну, всего хорошаго, и не сердитесь, если я что не так сказал. Я вѣдь физик, а не политическій дѣятель, — ласково сказал Муравьев и, крѣпко пожав им руки, направился к выходу довольно грузной походкой, опираясь на палку.

— Понравился он тебѣ? — послѣ недолгаго молчанія спросил Черняков, допивая остаток вина в бокалѣ.

— Так себѣ. Да, скорѣе понравился, хоть ничего умнаго он не сказал... Но в самом дѣлѣ, что за манера: с перваго знакомства заговорить о политикѣ?

— Да вѣдь это ты заговорил о политикѣ! И потом, что же это? О себѣ ты говорить не хочешь, о политикѣ тоже не хочешь, о чем же ты хочешь говорить? — нѣсколько обиженно спросил Михаил Яковлевич. Мамонтов засмѣялся.

— Извини. Я дѣйствительно немного устал. Но разскажи мнѣ, как вы здѣсь в Эмсѣ живете.

— Завтра утром ты на водах увидишь все и всѣх.

— Воды далеко отсюда?

— Разумѣется, нѣт, два шага. Да вот я тебѣ об'ясню, — сказал Черняков, вынимая из кармана золотой карандаш. Он нарисовал на меню план Эмса. — Вот тут «Энглишер Гоф», здѣсь Курзал. Тут Кессельбруннен, а тут Кренхен. Юрій Павлович пьет Кессельбруннен, а государь Кренхен.

— Ах, как досадно! Это у вас семейное горе?

— Какой ты, брат, стал «каустическій», просто выдержать невозможно. Это Лан. Наша вилла на лѣвом берегу, ты перейдешь по мосту, свернешь направо, и наша вилла по лѣвой сторонѣ, шестая по счету. «Schoene Aussicht», запомнишь? Значит, завтра приходи к обѣду, уж если ты завтракаешь с Катилиной...

— Не твое дѣло, с кѣм я завтракаю!... Но скажи толком, здѣсь хорошо?

— Чудесно! Какіе ландшафты! Красота! — отвѣтил Черняков, вздохнул и засмѣялся. — Если же ты хочешь знать правду, то городишка паршивый и скука адская. Смотри, вот и здѣсь, в «Энглишер Гоф», в десять часов вечера уже ни

души!... Я страшно рад, что ты пріѣхал. Особенно если надолго и если ты не будешь торчать цѣлый день у Катилины...

— Ненадолго. Дня через три они уѣдут и я тоже.

— Сестра тебя не отпустит. Она тоже была страшно рада, что ты пріѣзжаешь... Ты просто не повѣришь, что это за скверный городок! Петербургскія газеты приходят на четвертый день!... Конечно, ландшафты один восторг!

В одиннадцать часов Николай Сергѣевич уже лежал в постели. В прошлую ночь в поѣздѣ он почти не спал, но, несмотря на вино и усталость, спать ему не хотѣлось: слишком много было впечатлѣній, и слишком много было предметов, о которых слѣдовало бы подумать. Мысли его разбѣгались. Слѣдовало особенно подумать о Катѣ и Мамонтов пытался это сдѣлать, однако вспоминал ея звонкій смѣх и больше ни о чем думать не мог. «Об этом позднѣе. Быть может, я еще завтра с ней поговорю и все выясню», — говорил он себѣ и смутно чувствовал, что едва ли поговорит и что ничего не выяснит. «То есть выясню, но не завтра. Карло? это туда же», — думал он, как будто откладывая в тот же ящик и мысли о Карло. — «Что еще? Цирк? Да, очень интересный и милый мірок. Черняков? Он все такой же как был, и странно было бы, еслиб за год очень измѣнился. Этот вѣрноподданный профессор? У него пріятное лицо... Надо познакомиться с его дочерью»...

Можно было бы встать и разыскать в дорожном плащѣ купленную на станціи и не развернутую в вагонѣ газету. Но это было бы слишком сложно: и вставать не хотѣлось, и у туфель сплюснулись задки, и в шкафу, конечно, посыпались бы пиджаки, брюки, жилеты, так искусно развѣшенные лакеем гостинницы по тѣсно насѣдавшим одна на другую вѣшалкам. «Да ничего новаго, кажется, и не было. Войны не будет. А то можно было бы пойти воевать?... Хорош я воин, если лѣнь добраться до шкафа... А это что такое лежит?... На столикѣ, рядом с карсельной лампой, лежала отпечатанная на прекрасной глянцевитой бумагѣ нѣмецкая брошюра об Эмсѣ. Николай

Сергѣевич посмотрѣл на рисунок набережных с горами, — «кажется, в самом дѣлѣ очень красиво», — заглянул в список гостинниц, строго раздѣленных на ранги, — «Englischer Hof» был в первом рангѣ «de luxe», тотчас за «Hotel des Quatre Tours», — и это почему-то было пріятно Николаю Сергѣевичу. Нѣчто успокоительное, сознаніе мѣста, прав и ранга каждаго, было и в обстоятельном перечисленіи магазинов, церквей, синагог, врачей, — чувствовался твердый, устоявшійся быт, исключающій возможность потрясеній. В историческом очеркѣ, невообразимо скучном даже по внѣшнему виду набора, Николаю Сергѣевичу бросились в глаза пріятно выдѣлявшіеся стихи с бѣлѣвшими обвалами в срединѣ строчек. «Почему стихи? И почему такіе длинные?» Сюжетом стихов была легенда о жившей нѣкогда под Эмсом знатной госпожѣ фон Штейн, которая так удачно женила своих сыновей и выдала замуж дочерей, что не было предѣлов ея земному счастью.

"Dieser Ehre ist zu viel!"
sprach die edle Frau von Steine.
Auch das Glueck will End und Ziel.
Ziel noch Ende hat das meine.
Beide Soehne sind vermaehlt,
sind es Schmuck des Ritterstandes,
Drei der Toechter auserwaehlt
haben Edle dieses Landes.
Blieb mir doch das letzte Kind,
heute gab ich's einem Grafen.
Also dass es zwoelfe sind,
die sich hier zur Hochzeit trafen...

В этих ровных парных стихах, как и в рѣдкой глупости нѣмецкой легенды, было тоже нѣчто пріятно-успокоительное. «Что-же мнѣ нужно? Жениться на графинѣ и стать «Schmuck des Ritterstandes»? Или не на графинѣ, но непремѣнно на дочери адвоката, инженера, профессора?... Люди будут пожимать плечами, как Черняков? Какое мнѣ до них дѣло? Что тут дурного, если ею стрѣляют из пушки? Катя бросит пушку,

только и всего. Она необразована? Зачѣм мнѣ ея образованіе? Об ученых предметах я могу говорить с Черняковым и с его сестрой, которая впрочем по существу ненамного образованнѣе Кати, только что знает языки и читает газеты... Как она меня завтра примет, фрау гехеймрат фон-Дюммлер?... Фрау фон Дюммлер — фрау фон Штейне... «Штейне» вмѣсто «Штейн» это поэтическая вольность, и в ней почему-то тоже слышится какая-то уютная глупость... А моя поѣздка в Америку — да неужели я в самом дѣлѣ поѣду в Америку? — моя поѣздка, вѣроятно, окажется глупостью — просто», — думал, засыпая, Николай Сергѣевич.

VI.

В шесть часов утра его разбудил слышавшійся отовсюду кашель. «Энглишер Гоф» вставал. Корридорный настойчиво стучал в двери и почтительно в одном тонѣ что-то пѣл, всѣм одно и то же. Из номеров высовывались взлохмаченные люди в ночных рубашках, стыдливо оглядывались по сторонам и отскакивали, схватив вычищенные башмаки. Окно очень темной маленькой комнаты Мамонтова почти упиралось в глухую стѣну; нельзя было даже разобрать, какая погода.

Через полчаса он вышел на улицу и ахнул: так прекрасна была набережная, с маленькими садами и домиками, прижавшимися к подножью гор. Пахло мокрой травой. Все было залито бѣлым, чуть золотистым свѣтом. Неожиданно Николай Сергѣевич почувствовал прилив бодрости и энергіи, какого не знал с Петербурга. Ему показались нелѣпыми его мысли о будто бы неправильно и неудачно сложившейся жизни. «Да, конечно, я был прав, что рѣшил ѣхать с ними. Влюблен? Старый дурак!» — подумал Мамонтов, безсознательно подражая каким-то разочарованным людям, которых и не встрѣчал в жизни; он не считал себя ни дураком, ни старым. «Влюблен до безумія», как пишут в романах. Я в жизни был по настоящему влюблен четыре раза, это пятый, и, разумѣется, в тридцать лѣт нельзя быть т а к влюбленным, как в восемнадцать... Нѣт, я никогда не думал, что влюблен в Ивонн!»...

Он был так весел, что даже не поморщился при воспоминаніи о послѣднем разговорѣ с натурщицей.

Из гостинниц и пансіонов медленно выходили, тяжело опираясь на палки или на зонтики, кашлявшіе люди с изможденными лицами. Несмотря на прекрасное солнечное утро, многіе из них были в пальто и в шарфах. Почему-то с Эмсом у Николая Сергѣевича не связывалось представленіе о тяжело больном человѣчествѣ. «Да, прелестный, хоть смѣшной городок!» — думал он, улыбаясь. Той же безобидной, уютной глупостью вѣяло от всего: от того, что гостинница называлась «Gasthaus der Witwe Jost», от того, что на вывѣскѣ лечебнаго заведенія огромными буквами значилось «Einspritzungen und Klystiere», от того, что уродливая, пожилая, толстая дама ѣхала верхом на осликѣ, побѣдоносно улыбаясь нѣмцу, шедшему за ней по тротуару с градуированным стаканчиком.

Из боковой улицы на набережную выѣхала дама в амазонкѣ на прекрасной гнѣдой лошади. Она с нѣсколько вызывающим любопытством оглядѣла Мамонтова, затѣм стегнула лошадь хлыстом и поскакала к мосту. «Уж не это ли дочь Муравьева?» — спросил себя Николай Сергѣевич. — «В самом дѣлѣ, хорошенькая, и похожа на русскую. Зачѣм она все-же несется как сумасшедшая? На таком галопѣ и задавить больного нетрудно. А отлично, кажется, ѣздит»...

Мамонтов спросил дорогу у полицейскаго, который в этом городкѣ не имѣл внушительнаго грознаго вида; он и говорил почти как обыкновенный человѣк и даже улыбнулся, узнав, что прохожій направляется в цирк. В концѣ набережной больные исчезли. Город перешел в деревушку. За ней открывалась роща, издали слышался радостный гул.

На отведенной цирку большой, залитой холодноватым свѣтом полянѣ за рощей стоял смѣшанный запах мокраго сѣна, конюшни и звѣрей. За ночь в срединѣ поляны подняли и закрѣпили на канатах, цѣпях, блоках огромный шатер цирка; на нем развѣвались германскій и американскій флаги; вход был задрапирован пологом, спѣшно сшитым из синих, золотых и красных кусков полотна (это были цвѣта города Эмса). С

ранняго утра составлялся забор из больших деревянных щитов, на которых были намалеваны ярко-красная толстая женщина с волочившейся по полу косой, танцующіе многоцвѣтные карлики, раззолоченно-фіолетовая дѣвица, мчащаяся под острым углом к аренѣ на широкоспинном бѣлом конѣ и на лету прыжком пробивающая бумажный обруч, полуголый атлет с громадными буграми мускулов, элегантный господин в синем фракѣ, вынимающій из цилиндра птицу, яростно выпучившую глаза и распустившую крылья. За шатром цирка стояли другіе шатры поменьше. Из за отдернутых пологов виднѣлись то раскормленныя, бѣлыя, лѣниво жующія овес лошади, то длинные столы и табуреты кухмистерской, то разставленные правильными рядами черные сундуки костюмерной. С желѣзнодорожных платформ были ночью сняты, перевезены на лошадях и поставлены за шатрами красные номерованные фургоны с высокими козлами, с бронзовыми фигурками, с талисманами. В них и около них устраивались или отдыхали артисты. Вездѣ из фургонов уже были вынесены скамейки, табуреты, складныя кресла и протянуты веревки, на которых сушилось бѣлье. На мокрой травѣ валялось битое стекло, кульки, окурки, обрывки газет. К облѣпленным грязью колесам фургонов были привязаны собаки разных пород и размѣров. Огромная с мохнатыми книзу ногами лошадь, очевидно отставная той же широкоспинной цирковой породы, медленно везла бочку, однообразно мотая головой сверху вниз, точно обсуждая что-то важное. Поводырь лѣниво вел слона, еле сгибавшаго на ходу колѣни. Около них бѣжали дѣти. Дѣтей всѣх возрастов на полянѣ было множество, их восторженный визг выдѣлялся в общем гулѣ,—такой гул первобытной радости бывает только в циркѣ, да еще в водѣ морских курортов во время купанья. Особенно много дѣтей было по другую сторону шатров, гдѣ стояли фургоны-клѣтки хищных звѣрей. У многочисленных лотков люди в бѣлых фартуках и колпаках торговали мороженным в вафельных трубочках и мутновато-желтой жидкостью из стекляных чанов. Вокруг будки с кассой дѣловито устраивались нищіе цирка.

— Николай Сергѣевич, пожалуйте! — радостно окликнул Мамонтова Рыжков. Он сидѣл у своего фургона на скамеечкѣ с фуфайкой и иголкой в рукѣ. Послѣ тройного сальтомортале положеніе Карло в высшей аристократіи цирка стало совершенно безспорным, и семьѣ теперь вездѣ полагался особый фургон. Против Алексѣя Ивановича сидѣл на табуретѣ карлик и что-то дѣловито починял, болтая в воздухѣ ножками. Рядом в парусиновом креслѣ дремал голый человѣк в трусиках и темных очках, с чудовищными мускулами, едва ли не тот самый, который был изображен на стѣнѣ цирка. На него восторженно глядѣли два подростка с вафельными конусами. Кати и Карло не было. Дверь фургона была открыта, и Николай Сергѣевич, здороваясь с Рыжковым, невольно в нее заглянул. Его теперь волновал вопрос о том, как расположены койки и перегородки в фургонѣ. Повидимому фургон был пуст.

— Здравствуйте. Гдѣ же ваши?

— Карло репетирует, у нас вечером номер. А Катя катается на слонѣ, — отвѣтил Алексѣй Иванович. — Как изволили почивать?

— Отлично. Как катается на слонѣ?... Вѣдь мы должны завтракать?

— Да она сейчас пріѣдет. Слон оказался, изволите ли видѣть, земляк: в Россіи был когда-то. Дурочка этакая!

— Можно взглянуть на ваш фургон? Мнѣ интересно, как тут живут артисты.

— Сдѣлайте милость, только, извините, у нас еще не убрано.

Николай Сергѣевич поднялся по крутой лѣсенкѣ. Фургон был раздѣлен пологом на двѣ части. В первой из них стояли двѣ койки. «Карло и Рыжков или Карло и Катя?» — тревожно спросил себя Мамонтов. Он отодвинул полог. Там была одна койка, и по мелким признакам было ясно, что тут живет женщина. Николай Сергѣевич узнал и коробку, стоявшую перед зеркалом: это была та бонбоньерка, которую он в Петербургѣ

поднес Катѣ. Его охватило радостное умиленіе. Как ни первобытна была обстановка фургона, Николаю Сергѣевичу, очень любившему комфорт и чистоту, страстно захотѣлось хоть немного пожить этой жизнью, е я жизнью.

Он спустился по лѣсенкѣ. Со стороны рощи послышался радостный визг: Катя издали его увидѣла. Она ѣхала на слонѣ, очень удобно усѣвшись на его головѣ во впадинѣ, точно нарочно для этого предназначенной у слонов природой; слон вытянул вперед хобот и Катя расположила на нем ноги. В руках у нея были синіе очки. Она соскочила с хобота и хотѣла было броситься в об'ятья Николаю Сергѣевичу, но не бросилась: наканунѣ Карло сказал ей, что за поцѣлуи на улицѣ в Германіи сажают в тюрьму, и Катя этому повѣрила, как вѣрила всему, что ей говорили мужчины: только с ужасом вытаращила глаза. Она гладила слона по его необыкновенно одноцвѣтной морщинистой кожѣ, похожей на плохо пригнанное покрывало, цѣловала его в странно-нѣжный раздвоенный кончик хобота и одновременно без умолку говорила.

— ...Идем кофе пить!... Ах, как я вас люблю! Или нѣт, лучше не кофе, а шоколад! Я страшно люблю шоколад, со сдобными булочками и с маслом. Какое чудное мѣсто. Гадкій, почему вы так опоздали? Я умираю от голода!

— К тридцати годам ты растолстѣешь так, что тобой развѣ из Царь-Пушки можно будет стрѣлять, — сокрушенно сказал Рыжков.

— Вот вы Царь-Пушку для меня и купите, Алешенька. К тридцати годам я давно умру, не хочу быть старухой! Или нѣт, в тридцать лѣт я стану укротительницей звѣрей! Постойте, я вас познакомлю с Джумбо! Его навѣрное зовут Джумбо, всѣ слоны Джумбо. Это мой лучшій друг! И он русскій, вы знаете? Ей Богу, русскій, он долго был в Россіи. Чудный слон, ему сто лѣт, он помнит Ивана Грознаго!... Отчего вы смѣетесь? Я глупость сказала? Это со мной случается, я страшно необразованная. А об Иванѣ Грозном я сама читала, что он любил слонов. Гдѣ это я читала? Постойте, я вот только освѣжусь и пойдем пить шоколад.

— Без Карло?

— Карло еще будет репетировать добрый час, и он по утрам пьет два стакана горячей воды, — как будто с уваженіем, но и с отвращеніем в голосѣ сказала Катя. Она взбѣжала по лѣсенкѣ в фургон. Слон неторопливо пошел дальше. Он здѣсь, очевидно, был таким же безобидным членом общежитія, как бѣгавшая рядом собачка. Ни карлик, ни атлет даже не взглянули на него, когда он прошел в двух шагах от них, и только восторг подростков раздвоился между слоном и атлетом.

— Мнѣ страшно нравится, как вы живете, — сказал совершенно искренне Алексѣю Ивановичу Мамонтов.

— Ну, вот, и присоединяйтесь к нам. Может, Катя и права.

— В каком качествѣ?... — начал было Николай Сергѣевич и не успѣл докончить: Катя, туалет которой продолжался недолго, уже что-то с хохотом кричала им из фургона. Мамонтов не удержался и заглянул в растворенное окно. Она быстро расчесывала волосы, опуская гребешок в ведро. — Извините, Катенька, я думал, вы меня звали.

Катя выскочила из фургона, не пользуясь лѣсенкой, на ходу подняла и поцѣловала собаченку, которая лизнула ее в губы.

— ...На зло Алешенькѣ я сегодня выпью не одну, а двѣ чашки шоколада. Да!... Правда, Николай Сергѣевич, вы и за двѣ заплатите. А то у меня в карманѣ один ихній гривенник, да и то не серебряный. И не двѣ чашки, Алешенька, а три! «Ри», как говорит Карло.

Она опять залилась смѣхом. Николай Сергѣевич видѣл, что американскій атлет снял темные очки и смотрѣл, любуясь, на Катю. Впрочем, ни он, ни карлик, ни женщина, развѣшивавшая бѣлье на веревкѣ сосѣдняго фургона, не старались вмѣшаться в разговор. Мамонтова удивляла сдержанность цирковых артистов, то что французы называют непереводимым словом discrétion. Радостный гул и веселье на полянѣ создавала публика, артисты были серьезны и молчаливы.

Николай Сергѣевич увѣренно повел рощей Катю и Рыж-

кова. Он уже вполнѣ разбирался в мѣстности и по дорогѣ в цирк замѣтил у Кургауза кофейню на открытом воздухѣ. Они шли быстро, Катя то опиралась на его руку, то убѣгала вперед, то с хохотом надѣвала синія очки и спрашивала, очень ли они ей к лицу, то срывала вѣточку венгерской сирени, — на ея счастье сторожей в рощѣ не было: начальству просто не приходило в голову, что кто-либо может позволять себѣ столь дикіе, караемые законом поступки. Ночью выпал короткій, сильный ливень, с деревьев еще сваливались капли, и в душѣ Мамонтова свѣжесть рощи сливалась со свѣжестью Кати, с тѣм радостным рѣшительным настроеніем, в котором он находился с утра. Катя все говорила.

— ...Ах, как хорошо! ...Ах, какая дивная роща! Собственно это даже не роща, а сад. Но у нас в Россіи рощи еще лучше! Вы Волгу знаете? Правда, нигдѣ в мірѣ нѣт такой рѣки?... Голубчик, я т а к рада, что вы пріѣхали к нам! А вы рады? Правда, ей Богу? Ну, спасибо, чудно! Ей Богу, я предчувствовала, что вы пріѣдете! Я и Алешенькѣ говорила, правда, Алешенька?... Ужасно смѣшные нѣмцы и по русски ни слова не понимают! — говорила она. На набережной опять показались гуляющіе с градуированными стаканчиками, тяжело опирающіеся на палки, кашляющіе люди, и переход к ним от радостнаго веселья цирка, от его артистов, в громадном большинствѣ молодых, здоровых, сильных людей, был разителен.

Когда они проходили мимо Курзала, из боковой двери вышел крупный, грузный не-курортнаго вида человѣк в необычном здѣсь темном костюмѣ. Он быстро окинул их взглядом и вдруг, раздвинув локти, так неожиданно и так увѣренно надвинулся на них, что почти прижал их к стѣнѣ. Прежде, чѣм Мамонтов успѣл выругаться, грузный человѣк грозно прошептал: «Der Russische Kaiser!» и поспѣшно повернулся к двери. На порогѣ появился Александр II, в бѣлом костюмѣ, со стаканчиком в правой рукѣ. За ним слѣдовал другой грузный человѣк. Катя взглянула на высокаго господина — и обмерла. Остолбенѣл и Алексѣй Иванович. Царь окинул Катю очень ласковым взглядом и, приподняв лѣвой рукой шляпу,

кивнул ей головой. Рыжков низко поклонился, Мамонтов тоже автоматическим движеніем снял свою шапочку, за что позже себя бранил. Снимали шляпы и всѣ другіе прохожіе, даже тѣ, что шли на противоположной сторонѣ улицы. Отойдя на нѣсколько шагов, императоръ оглянулся, опять ласково улыбнулся Катѣ, смотрѣвшей ему вслѣд выпученными глазами, отпил воды из стаканчика и пошел дальше своей бодрой военной походкой, безпрестанно отвѣчая на поклоны сторонившихся перед ним или даже сходивших на мостовую прохожих.

— ... Вѣдь это наш государь?! — прошептала, придя в себя, Катя. Она совершенно не знала, что государь находится в Эмсѣ, что он вообще может быть заграницей и особенно, что он может гулять в штатском костюмѣ.

— Вот так штука! — изумленно проговорил и Алексѣй Иванович. — Как же вы нам не сказали, что государь тут?

— Совершенно забыл.

— Ах, какой красавец! Ах, какой чудный! — восторженно говорила Катя, все еще жадно глядя вслѣд Александру II. — Ей Богу, он на меня посмотрѣл! Вы видѣли? Ей Богу!

— Катенька, он ни на одну женщину не может смотрѣть равнодушно. Это всѣм извѣстно.

— Как вы смѣете так говорить о государѣ? Вам не грѣх? — возмущенно спросила Катя, впрочем не видѣвшая большого грѣха в том, что сказал Николай Сергѣевич. Тут же выяснились ея политическіе взгляды: Катя обожала царя, но находила, что всѣх министров нужно повѣсить, так как из за них очень плохо живется бѣдным людям. Алексѣй Иванович прикрикнул на нее и об'явил, что царь прекраснѣйшій человѣк, а министры как министры; есть, вѣрно, хорошіе и есть плохіе.

В кофейнѣ лакей, привыкшій к діэтетическим заказам кашлявших и задыхавшихся людей, с пріятным удивленіем смотрѣл на то, как Катя уписывала булочки с маслом, с ветчиной, с медом. Он и прислуживал за этим столом охотнѣе или веселѣе, чѣм за другими, и даже не раздражался от того, что для дамы каждый раз давали новый заказ, а не спрашивали

все сразу. Ему было не совсѣм ясно, д а м а ли Катя. Что-то не д а м с к о е было и в ея платьѣ, и в манерах.

Черняков, до прихода русских газет старательно восхищавшійся природой на Unter-Allee, увидѣл их и радостно к ним подошел с книгой в рукѣ. За их столиком не было свободнаго стула. Михаил Яковлевич с несвойственной ему легкостью, происходившей от бѣлаго костюма и бѣлых туфель, скользнул к другому столику и, галантно приподняв шляпу, получил от сидѣвшей за ним семьи разрѣшеніе взять стул. Он, так же скользя, вернулся, держа стул высоко над головой и не вполнѣ естественно улыбаясь. Катя смотрѣла на него с сочувственным любопытством. Николай Сергѣевич, несмотря на свою дружбу с Черняковым, опять почувствовал безотчетное раздраженіе и потребность вызывающаго тона.

— Вы воды не пьете? — спросил Катю с улыбкой Михаил Яковлевич. Она не поняла вопроса. Узнав, что здѣсь всѣ пьют натощак два-три стакана очень противной, пахнущей тухлым яйцом воды, Катя вытаращила глаза, что ей очень шло.

— Развѣ есть такой приказ?... Нѣт, не смѣйтесь! Ну, я сказала глупость! И вы тоже пьете?

— Я нѣт, я здоров, тьфу-тьфу, — сказал Черняков и прикоснулся к столу, хотя нисколько не был суевѣрен. — Но всѣ больные пьют и вы не можете себѣ представить, с какой олимпійской серьезностью: одни с молоком, другіе без молока, третьи утром с молоком, а днем без молока! Кто Кренхен, кто Кессельбруннен, кто сначала Кренхен, а потом Кессельбруннен.

— Неужели и государь это пьет? Я видѣла у него стаканчик!

— Государь пьет Кренхен раз в день, по утрам. А германскій императоръ не пьет. Он сейчас тоже здѣсь, вы его не видѣли? Прямой важный старик, никому не отвѣчает на поклоны, не то, что наш государь, который чуть ли не первый кланяется. Днем государь у княжны Долгорукой и вечером тоже.

Катя, слышавшая о княжнѣ Долгорукой, с жадным любопытством разспрашивала о ней Чернякова: какая она? дѣйствительно ли так красива? вся ли в брилліантах? Михаил Яковлевич сообщил о романѣ царя приличныя юмористическія подробности (в Эмсѣ передавали и не совсѣм приличныя).

— Сам я ни разу ея не видѣл. Она не показывается ни на водах, ни на музыкѣ, ни в саду. Иногда, по вечерам, ѣздит с государем кататься, но всегда за город, к Рейну.

— Что же вы-то здѣсь дѣлаете, если разрѣшите узнать? — солидно спросил Алексѣй Иванович. — Вы здѣсь давно?

— Цѣлую вѣчность: больше недѣли.

Черняков благодушно-юмористически описал жизнь в Эмсѣ. Он хорошо разсказывал, — гораздо лучше, чѣм писал. Ему очень понравилась Катя, но он все-таки не мог привыкнуть к мысли, что разговаривает с настоящей акробаткой, которой стрѣляют из пушки; и улыбка на его лицѣ была напряженно-галантной.

— А гдѣ же твои? Еще спят? — спросил Николай Сергѣевич.

— Что ты? Кто-же в Эмсѣ спит в восьмом часу утра? Это запрещено полиціей, polizeilich verboten. Они пьют Кессельбруннен, в Верхнем Курзалѣ... Надѣюсь, ты не забыл, что ты у нас сегодня обѣдаешь? Обѣд ровно в семь тридцать. А то, может, и утром зайдешь? — спросил он и немного смутился, подумав, что собственно законы не запрещали бывать в их домѣ и друзьям Мамонтова. «Божія запрещенія, конечно, нѣт, но Юрій Павлович умер бы от разрыва сердца, еслиб на его порогѣ появились акробаты. Да и Соня была бы, пожалуй, недовольна. Все-таки, может не слѣдовало звать его при Катилинѣ»...

— Нѣт, я не забыл, — кратко отвѣтил Николай Сергѣевич. Катя на него взглянула. Черняков поднялся, сообщив, что должен зайти за русскими газетами: онѣ уже навѣрное пришли.

— Неужто тут есть русскія газеты? — радостно спросил

Рыжков. — Голубчик, позвольте мнѣ пойти с вами? Я ни слова по ихнему не знаю.

— Очень рад.

— Покажи ему Курзал, — сказал Мамонтов. — Постой, это у тебя «Русскій Вѣстник»? Майскій? Давай его сейчас сюда! Там должно быть продолженіе «Анны Карениной»!

— Представь, почему-то в этой книжкѣ нѣт ея продолженія! Я сам очень жалѣл. Зато есть интереснѣйшая статья Соловьева о судебной реформѣ в Царствѣ Польском...

— Это сам читай, — сказал Николай Сергѣевич.

— Вы у его жены нынче обѣдаете? — спросила Катя, немного насторожившись.

— Нѣт, у его сестры. Он не женат. Он здѣсь с сестрой и с ея мужем.

— Она молодая?

— Молодая и очень красивая, — отвѣтил Мамонтов. Они помолчали. — Завтракаю я, конечно, с вами. Хотите здѣсь, на свѣжем воздухѣ?

— А здѣсь не очень дорого? Мы и то вас разоряем. Но мы сейчас без копѣйки.

— Нѣт, не разоряете. А почему у вас и теперь нѣт денег? Вѣдь послѣ тройного сальтомортале, вы говорите, Карло стал знаменитостью?

— Не я говорю, а это всѣ говорят! — обиженно сказала Катя. — Телеграммы были во всѣх газетах, даже в Америку телеграфировали! И вездѣ нам теперь большой почет. Почему нѣт денег? У нас никогда нѣт денег, — пояснила она, точно сообщая закон природы, вполнѣ все об'ясняющій. — Ну, мы немного пріодѣлись послѣ тройного: Карло нас заставил взять из общей кассы: деньги, говорит, не мои, а нашей семьи. А какая это общая касса? Мнѣ грош цѣна, Алешенька уже стар, деньги платят Карло. Конечно, мы долги заплатили, все до копѣйки, мы страшно честные, — сказала Катя, слизывая с ложечки остатки меда. — Вот ничего денег и не осталось. Да это не важно: Карло теперь знает весь мір! Ах, еслиб вы

видѣли, что это было в Варшавѣ! Это был не успѣх, а Бог знает что такое! Вы понимаете, что значит тройное? Это значит, прыгнуть надо так, чтобы перевернуться в воздухѣ три раза! Между тѣм, даже если два раза, то и то это страшно опасно. Я Христом Богом умоляла Карло, чтобы он тройного не дѣлал. Да вѣдь вы знаете, что он за человѣк! Вбил себѣ в голову тройное и кончено. Ему для славы нужно! — «Нѣт, говорит, не всѣ разбивались. Этот, говорит, не разбился, и тот не разбился»... А что другіе десять разбились на смерть, это ничего!

— Вы очень волновались?

— Безумно! Просто и вспомнить страшно! Я сидѣла в уборной и молилась: «Господи, спаси!... Господи, помоги!»... Вдруг стало тихо: знаете, как когда об'являют публикѣ? Ну, понятно, публику часто обманывают, вот и перед моим выстрѣлом Карло тоже просит «господ зрителей соблюдать полную тишину» (она очень похоже воспроизвела акцент Карло). Но здѣсь-то вѣдь я знала, что дѣло вправду идет о жизни!... Сижу, трясусь (лицо у нея поблѣднѣло). Вдруг слышу: рев! Что это было, сказать не могу! Я выбѣжала на арену и бросилась ему на шею. А он ничего! Только голова немного кружилась. Журналисты побѣжали на телеграф, ей Богу, правда! Потом нам газеты показывали: англійскія, финляндскія. С его б і о г р а ф і е й, — старательно выговорила Катя. — Я умоляла, чтобы он перевел. Да он не перевел. А сам мнѣ сказал, что для этого дня жил. Такой он человѣк!

— Какой же он человѣк?

— Хорошій! Чудный! Прелесть какой!

— Вы любите его?

— Страшно люблю! А то как же? У меня кромѣ него и Алешеньки никого нѣт. Вот еще вы, — сказала она и потянулась, чтобы его поцѣловать, но вспомнила о тюрьмѣ и не поцѣловала. — Они меня и воспитали. Я вам вѣдь разсказывала, что я, можно сказать, в циркѣ родилась. Нѣт? Мой отец был жонглер и первый человѣк на всей Волгѣ. Он меня отдал в Маріинское училище... И не в трехклассное, а в шестиклас-

ное! — с гордостью сказала Катя. — Я пять классов кончила, ей Богу не вру! Была в пятом классѣ, когда папаша скоропостижно умер, царство ему небесное! Ну, как у нас водится, похоронить было не на что, хоть он чудно зарабатывал, больше всѣх. Ну, Алешенька, спасибо ему, стал собирать деньги на сироту (у нея на глазах показались слезы и тотчас исчезли, как будто испарились). Так можете себѣ представить, артисты собрали денег и на похороны, и на мое ученье! Ах, какіе у нас в циркѣ чудные люди! Я еще шесть мѣсяцев училась. Потом, понятное дѣло, собирать стало труднѣе, стали там разное говорить: пусть мол работает, уже не маленькая. Да и правду говорили. Вот позвал меня Алешенька, погладил по головѣ и спрашивает: «Хочешь, Катенька, учиться у меня дѣлу?» Я страшно обрадовалась, хоть и жалко было бросать училище, но правду сказать, мнѣ всѣ эти алгебры осточертѣли. И, вѣрно, цирк у меня в крови. Алешенька с Карло и научили меня пушкѣ. Это самый легкій номер. И как видите, с тѣх пор без алгебры живем, и чудно живем. Теперь Америку увидим... Вы нашего директора Андерсона видѣли? Красивый старик, правда?

— Какой же он старик?

— Да ему сорок лѣт! И он американец, ей Богу! И очень хорошій человѣк, хотя не русскій... Вы знаете, он и по русски немного говорит. Только его какіе-то шутники научили нехорошим словам, дураки такіе! И вообще в циркѣ всегда хорошіе люди. Только наѣздница Кастелли язва, думает, что она красавица, и важничает.

— Это та, что на бѣлой лошади?

Катя засмѣялась его невѣжеству.

— У наѣздниц обыкновенно бѣлыя лошади. Чтобы не видна была канифоль... А вы гдѣ же ее видѣли? — подозрительно спросила она.

— Да вѣдь она намалевана на стѣнѣ, там гдѣ лотки.

— Да. Это н а ш и лотки. И вы знаете, они платят нам, т. е. Андерсону, аренды милліон рублей в год... Нѣт, что я

вру! Тысячу. Тысячу талеров, — поправилась Катя, для которой впрочем и милліон, и тысяча были одинаково невообразимыми числами. — И нищіе у нас тоже свои: всегда перѣзжают с цирком, но они нам ничего не платят.

— Что же вы будете показывать в Америкѣ? Тройное сальтомортале?

— Это главное, конечно, но не только это. На тройном сальтомортале нам с Алешенькой вѣдь нечего дѣлать. Алешенька тот хоть на подкидную доску прыгает, а мнѣ и показаться нельзя. Нѣт, мы уже составили номер, — серьезно и многозначительно сказала Катя. Николай Сергѣевич по ея выраженію понял, что это очень важная вещь: составить номер. «Не может быть, чтобы она притворялась насчет Карло. А что если прямо ее спросить? Грубо и глупо, но, право, я спрошу», — подумал Мамонтов и вмѣсто этого неожиданно сказал совершенно другое:

— Должно быть, это особая порода людей: люди тройного сальтомортале. Вѣрно, и Бисмарк такой же.

— Какой Бисмарк? Бисмарк с тремя волосинками? Развѣ он прыгает?... Опять я вру!...

— Да, Бисмарк с тремя волосинками, — повторил Николай Сергѣевич. Ему было досадно, что она не очень оцѣнила его замѣчаніе, как ему казалось тонкое. Вдруг на аллеѣ, в нѣскольких шагах от себя, он увидѣл Софью Яковлевну. Она шла с мужем и с какой-то дамой. — «Подойти? Не могу же я бросить Катю!» Николай Сергѣевич нерѣшительно привстал и поклонился, почему-то чувствуя себя смущенным. Софья Яковлевна ласково улыбнулась и кивнула, бѣгло оглянув Катю. Дюммлер его не замѣтил.

— Кто эта черная? — спросила Катя. В голосѣ ея вдруг послышалась недоброжелательность, столь ей не свойственная. — Какая красивая!

— Да это и есть сестра Чернякова, с которым я вас познакомил. Ея фамилія Дюммлер. А Черняков мой товарищ по гимназіи и по университету. Он вам понравился?

— Ничего... Только какой же он вам товарищ?

— Почему же нѣт? Что вы хотите сказать?

— Нѣт, я так.

VII.

Софья Яковлевна тоже нашла перемѣну в Мамонтовѣ.

— Вы в о з м у ж а л и, дорогой мой, — говорила она, вставляя в вазу принесенные им цвѣты. — Надѣюсь, это слово вас не задѣвает? Вы не в том возрастѣ, когда оно может обрадовать, и не в том, когда оно может обидѣть. Брат сказал мнѣ что вы стали «величественнѣе», и в этом есть маленькая доля правды. Успѣхи сдѣлали вас самоувѣреннѣе, это сказывается даже в вашей наружности. И слава Богу: так и надо.

— Какіе же мои успѣхи?

— Я знаю вашу скромность.

— Она знает твою скромность, Люцифер! — сказал Черняков, бывшій в самом лучшем настроеніи духа. В петербургской газетѣ, которую он купил в это утро, была корреспонденція из Эмса. В числѣ видных русских, уже находившихся или ожидавшихся в Эмсѣ, был назван «профессор Я. М. Черняков». Как ни досадно было, что газета перепутала иниціалы, замѣтка доставила Михаилу Яковлевичу почти физіологическое удовольствіе. Назван он был в спискѣ на послѣднем мѣстѣ, но это, очевидно, об'яснялось алфавитным порядком фамилій. Михаил Яковлевич провѣрил: «Да, конечно, всѣ по алфавиту». Только «Ю. П. Дюммлер с супругой» шел впереди «писателя Ф. М. Достоевскаго». «Но порядок второй буквы не всегда соблюдается. Достоевскій, кажется, еще не пріѣхал. А не повезло мнѣ с первой буквой», — подумал Михаил Яковлевич.

— Нѣт, особенных успѣхов я что-то за собой не знаю, — повторил Мамонтов. За минуту до того он нисколько не собирался говорить о своих неудачах и стал отрицать свои успѣхи н е ч а я н н о : так как-то вышло.

— Леонардо, ты продал «Стеньку», это во первых...

— Продал потому, что в Парижѣ в нѣкоторых кругах появилась мода на все русское. Французы надѣются, что Россія

поможет им отвоевать Эльзас и Лотарингію, а для этого, разумѣется, необходимо было купить мою картину: ничто вѣдь не может доставить больше радости государю, правда?

— А во-вторых, тебя засыпали золотом заказчики и особенно заказчицы. В третьих, наконец, ты имѣл сказочный успѣх у парижанок. И тѣм большую честь тебѣ дѣлает то обстоятельство, что ты и послѣ всего этого не забыл старых друзей. Вѣдь ты мнѣ за полтора года написал цѣлых два письма, шутка ли сказать! Впрочем, и тот Леонардо, говорят, послѣ «Жоконды» еще подавал два пальца старым пріятелям.

— Да что ты к нему пристал? — сказала брату Софья Яковлевна. — Это правда насчет заказов?

— Совершенный вздор. Я за умѣренную плату написал три портрета средняго достинства. Только и всего.

— Это уже несомнѣнный успѣх. А как отнеслась к вам критика?

— Критика была больше устная. Рецензій было мало. Кое-кто хвалил, кое-кто ругал. А один молодой художник выругал мою картину непечатным словом.

— Кто и каким? — радостно спросил Черняков.

— Это было так. Наша прошлогодняя выставка помѣщалась недалеко от выставки импрессіонистов на Boulevard des Capucines. Вы слышали об импрессіонистах?

— Кажется, я что-то читала во французских газетах. Они так называются по названію картины одного из них: «Impressions de»... «Impressions de» не знаю, чего именно.

— Просто «Impressions». Они в прошлом году устроили в Парижѣ свою первую выставку. Над ними всѣ издѣвались и, по моему, очень глупо: между ними есть одаренные люди. Но публика нарочно к ним валила свистѣть и скандалить. Чтобы не остаться в долгу, они ходили к нам и хохотали самым непристойным образом. Один из них, вообще, впрочем, человѣк мрачный, Сезанн, проходя мимо моего «Стеньки», будто бы воскликнул: «Dieu, quelle saloperie!» Быть может, он даже выразился еще сильнѣе, но мнѣ добрые люди передали именно так, — сказал, улыбаясь, Мамонтов. «Зачѣм я им это

разсказываю? Как глупо!» — подумал он и нахмурился, вспомнив, сколько горя причинило ему это происшествіе. Именно на выставкѣ импрессіонистов Николаю Сергѣевичу пришла мысль, что, быть может, ничего не стоит и его картина, и живопись всѣх его учителей. «Что, если именно эти мальчишки правы, и мнѣ надо всему учиться с азов?»...

— И ты не заколол его каким-нибудь флорентійским кинжалом 16-го вѣка ?

— Я сдѣлал другое: я рѣшил купить его картину «La Maison du pendu». Как бы всѣ над ним ни издѣвались, он человѣк очень талантливый... На их выставкѣ любую картину можно было купить за десять-пятнадцать франков, но эта как раз уже была продана: я опоздал.

— Твой поступок прямо из первых вѣков христіанства!

— Меня очень радует, что ваш очевидный успѣх не вскружил вам головы и что вы остались таким же простым, милым и умным человѣком, каким были... Ну, а как же Бакунин и Маркс?

— Никак. Маркса я так и не повидал. Зато с Бакуниным — не сердитесь — я на ты... Юрій Павлович не выгонит меня из дому?

— Вас даже не оставят без сладкаго... Надѣюсь, вы пріѣхали в Эмс надолго?

— Нѣт, всего на нѣсколько дней. Вы довольны Эмсом?

— В восторгѣ.

— Вѣдь это теперь самое модное мѣсто. С'ѣзд огромный... Кто здѣсь из русских?

— Могу дать тебѣ список. Сегодня его зачѣм-то напечатали петербургскія газеты. Вот... Только верни, я еще не все в газетѣ прочел.

— Кто из русских? Прежде всего государь.

— Да, я знаю. Вы его, разумѣется, часто видите?

— Да, как всѣ, на водах. Он очень милостив к Юрію Павловичу и постоянно справляется об его здоровьи... Не то что нѣкоторые.

— Ради Бога, извините! Но мнѣ Михаил вчера сказал,

что Юрій Павлович чувствует себя гораздо лучше и что вообще его болѣзнь не опасна.

— Это так. В Петербургѣ он в послѣднее время не вставал с постели, а в Эмсѣ теперь вот гуляет как юноша. Здѣшнія воды дѣлают чудеса!... Он и сейчас на музыкѣ. Вы не очень голодны? Мы сядем за стол, как только вернется Юрій Павлович... Вы спрашивали о государѣ. Он здоров, весел и жизнерадостен. Отдыхает и наслаждается жизнью. Вы знаете, Катя Долгорукая тоже здѣсь. Государь проводит у нея цѣлые дни, с ней и с Гого.

— Кто это Гого?

— Сын государя и княжны, Георгій, очаровательный ребенок, писаный красавец, весь в отца. Он здѣсь на водах имѣет бѣшеный успѣх. Когда он гуляет с няней, за ним так и бѣгут восторженныя нѣмки. На днях его встрѣтил император Вильгельм. Немного поколебался, но подошел, потрепал Гого по щекѣ, сказал: «Der kleine ist wirklich bildschoen», добродѣтельно вздохнул и оглянулся по сторонам: не донесли бы его женѣ или нашей императрицѣ... Я рѣдко вижу княжну. Она живет очень уединенно. Государь обожает и ее, и сына: он своих законных дѣтей никогда так не любил и не баловал. Каждый день привозит ей брилліанты, ему игрушки, все выписывается из Парижа. При Гого няня, славная женщина. И представьте, государь сам купил сумочку, наполнил золотом и подарил ей. Он с няней здоровается за руку! Этого мы с вами не сдѣлали бы. Александр Николаевич самодержавнѣйшій из всѣх монархов, но он по природѣ демократ!

— Не говорите мнѣ таких вещей: у меня льются слезы умиленія.

— Он ее и при посторонних, и наединѣ называет «княжна», — продолжала с увлеченіем Софья Яковлевна. Брат смотрѣл на нее и дивился. «Откуда ей все это извѣстно? Выходит так, будто она проводит с ними цѣлые дни»... Михаил Яковлевич был в душѣ разочарован невниманіем государя к Дюммлерам и понимал, что это для них тяжелый удар, как они ни притворяются, будто ничего лучшаго нельзя было и

ожидать. — А она называет государя «Саша». У меня в ея положеніи просто не повернулся бы язык сказать государю «Саша» и «ты»!

— Что-ж, она старику измѣняет?

Софья Яковлевна только на него посмотрѣла.

— Измѣняет? Государю!... Ну, не будем об этом говорить. Какіе же ваши планы? Когда вы возвращаетесь в Петербург?

— Это зависит от многаго... Прежде всего от состоянія моих дѣл.

— Да, кстати, я у тебя вчера забыл спросить. Что же твой процесс?

— Оказалось, что у меня не один процесс, а два. Первый, небольшой, кончился миром: мой адвокат заключил соглашеніе с противной стороной, она заплатила мнѣ сорок тысяч. Но второй процесс выходит сложный, путаный и, повидимому, очень затяжной. Другая сторона не идет на соглашеніе, хотя я предлагал ей выгодныя условія.

— Леонардо, сорок тысяч тоже большія деньги.

— Не очень большія, — сказал с досадой Николай Сергѣевич. Он вернул долг купцу-процентщику, заплатил четыре тысячи адвокату, немало истратил в Парижѣ, и денег у него оставалось не так много.

— Какая же связь между вашим процессом и возвращеніем в Петербург?

— Прямой связи нѣт, — сказал Мамонтов, чувствуя, что говорит неправду: его планы зависѣли теперь только от Кати. — Мнѣ хотѣлось бы сначала выяснить состояніе моих дѣл.

Из передней послышался недовольный голос Дюммлера. Юрій Павлович вошел усталой походкой, тяжело опираясь на трость с массивным золотым набалдашником, изображавшим голову птицы. Эта купленная в Берлинѣ трость обладала способностью раздражать Софью Яковлевну. Он снисходительно поздоровался с Мамонтовым. «Должно быть, так с ним здоровается государь», — подумал тотчас раздражившійся Николай Сергѣевич.

Дюммлер опустился в кресло, вытирая платком лоб и

голову. В первый раз в Эмсѣ он находился в дурном настроеніи духа: на музыкѣ Юрій Павлович вдруг почувствовал странную боль, как будто не имѣвшую ничего общаго с его катаррами — или с тѣм, что катаррами называли врачи. Боль прошла, но он не мог понять, что это такое значит. Вслѣд за отцом в гостиную хмуро вошел Коля, уже не в матросской курткѣ, но еще в коротких панталонах.

— Узнаете его? Помните, вы его видѣли полтора года назад с Патти? — спросила Софья Яковлевна, нѣжно поправляя волосы сына, который тотчас с досадой отклонился в сторону.

— Узнаю конечно, но мог бы и не узнать: так он вырос.

— На вид мы, кажется, не такіе старые, но нам больше двѣнадцати лѣт.

— Скоро будет тринадцать, — поправил Коля и тотчас исчез.

— Я ему замѣтил, что он слишком много бѣгает к этим... как их? — сказал Юрій Павлович и, не дожидаясь отвѣта, заговорил с Мамонтовым о Парижѣ. Французская столица не нравилась Дюммлеру.

— Если говорить правду, то Париж просто грязный город. Да и красота его ложная слава.

— Что ты, Юрій Павлович, стыдно! — возразил Черняков, отстаивавшій самостоятельность своих сужденій. Дюммлер впрочем никогда на его самостоятельность не посягал. Он признавал своего шурина очень способным и подающим большія надежды ученым, все-же хорошо выдѣляющимся на общем фонѣ радикальной интеллигенціи. Их спор о Парижѣ, который оба знали очень мало, был прерван горничной. Она широко раздвинула на шарнирах дверь из гостиной в столовую и очень отчетливо произнесла видимо на всю жизнь заученныя слова.

— Das Essen ist angerichtet.

Николая Сергѣевича, надѣявшагося на хорошій русскій обѣд, ждало разочарованіе. На столѣ не было ни закусок, ни

водки, подавались діэтетическія блюда, а вмѣсто вина — пиво, правда, превосходное. «Почему бы это такое паденіе?» — спросил себя Николай Сергѣевич, слышавшій, что дом Дюммлеров в Петербургѣ славился кухней. Его на обѣды в этот дом никогда не приглашали, однако не из за невысокаго соціальнаго положенія, а потому, что Софья Яковлевна, зная его взгляды, опасалась непріятных разговоров с другими гостями. Тут, в Эмсѣ, ей было рѣшительно все равно, как и о чем говорят. Говорили о возможности новой франко-германской войны.

— Теперь, благодаря вмѣшательству государя, опасность может считаться устраненной, — сказал Черняков.

Юрій Павлович пожал плечами. Он во внѣшней политикѣ называл себя реалистом.

— Какое нам до этого дѣло? Германія нам нигдѣ и ни в чем не конкуррент. Союз с ней был, будет и должен быть краеугольным камнем нашей иностранной политики. Я боюсь, что неожиданная интервенція государя императора очень задѣла князя Бисмарка. Мнѣ пишут, что он прямо сказал государю императору и князю Александру Михайловичу: «Je suis l'ami de mes amis et l'ennemi de mes ennemis».

Дюммлер совершенно правильно и чисто говорил по русски, но когда он произносил французскія фразы, в них немедленно сказывался сильный нѣмецкій акцент.

— Ну, нам незачѣм особенно считаться в нашей политикѣ с тѣм, что пріятно и что непріятно князю Бисмарку, — сказал Михаил Яковлевич.

— С германским канцлером приходится считаться всѣм, хотят ли они того или нѣт. Вся оріентація нашей внѣшней политики сейчас едва ли отвѣчает прочным, правильно понятым интересам Россіи и европейскаго концерта. Я не понимаю этой нашей сантиментальной любви к французам, от которых мы ничего не видѣли, кромѣ Севастополя, поддержки польских революціонеров и т. д., чтобы не восходить к пожару Москвы. Теперь наше застарѣлое франкофильство еще стало у государя императора осложняться англофильством, в чем я

вижу послѣдствіе брака великой княжны Марьи Александровны с герцогом Эдинбургским. Будущее покажет, чего нам ждать от Сент-Джемскаго кабинета, — сказал Дюммлер и замолчал, пожалѣв, что начал серьезный разговор с людьми, не имѣющими никакого значенія.

— Ну, уж с этим я никак не согласна. Герцог очень мил, — возразила Софья Яковлевна. — А твоего Бисмарка я просто терпѣть не могу! Еслибы я была художником, как вы, Николай Сергѣевич, я изобразила бы его встрѣчу с императором Александром: злое начало и доброе начало в мірѣ. Бисмарк отнюдь не безобразен, но взгляните на его лицо: злой бульдог.

С дамами, кромѣ великих княгинь, Юрій Павлович вообще никогда не говорил о политикѣ, как Ньютон никогда не говорил с дамами о наукѣ. Услышав замѣчаніе жены о наружности Бисмарка, он улыбнулся и сказал:

— Странно, что выпавшій ночью сильный дождь нимало не освѣжил воздуха. Но в общем климат Рейнской области и стоящія здѣсь погоды выше похвал.

— Вы довольны леченіем? — спросил, подавляя зѣвок, Мамонтов.

— Да, доволен, — отвѣтил Дюммлер. До появленія новой боли, о которой еще не знали ни жена, ни врачи, он отвѣтил бы гораздо восторженнѣе. Софья Яковлевна тотчас с удивленіем на него взглянула. — И я всѣм совѣтую пить именно Кессельбруннен. Он много теплѣе Кренхена, 46 градусов, а не 35, и содержит в три с половиной раза больше аммоніевых солей.

— Меня забавляет нѣмецкая обстоятельность, — сказал Черняков. — В заведеніи, гдѣ полощут горло, есть Rachengurgeln, Kehlkopfgurgeln, Rachennasengurgeln, Kehlkopfnasengurgeln и еще с полдюжины разных гургельнов.

— Не понимаю, что тут может з а б а в л я т ь, — возразил Юрій Павлович. — От каждой болѣзни свое полосканье, что же тут забавнаго? Да эта обстоятельность и составляет силу Германіи, являясь одним из серьезнѣйших факторов ея

необычайных успѣхов во всѣх областях. Благодаря ей, хотя, разумѣется, не только благодаря ей, Германія стала самым могущественным и самым благоустроенным государством в мірѣ. В Германіи нѣт мѣста крайностям, утопіям. А мы, чѣм подражать этому, смѣемся над этим. И профессора, как ты, тоже смѣются. Это, я прямо скажу, нехорошо, Миша.

Мамонтов вяло поддерживал разговор, скучал и досадовал, что принял приглашеніе на обѣд. «Можно было пообѣдать с Катей, пожалуй даже вдвоем: Рыжков собирался ужинать дома. Но неудобно было отказываться от приглашенія. Теперь скоро конец, и я еще попаду к Катѣ... Послѣ этого дрянного компота будет кофе, вопрос в том, подадут ли его здѣсь или в гостиной: если здѣсь, то через полчаса можно будет проститься; но если перейдут пить кофе в гостиную, то, значит, начинается второе дѣйствіе пьесы... Кажется, она еще похорошѣла», — думал Мамонтов, глядя на Софью Яковлевну. Его безошибочная память художника сохранила ее точно такой, какой она была полтора года тому назад. «Ей, должно быть, года тридцать два? Мальчику тринадцатый... Да, Михаил говорил, что он двумя годами ея моложе. Бальзаковскій возраст... Есть ли у нея любовник? Неужели она вѣрна этому тупому старому нѣмцу? Не выставить ли свою кандидатуру? Конечно, она к р а с и в ѣ е Кати, но Катя в сто раз лучше. Эта — сюжет для скульпторов», — думал он, настраиваясь почему-то на циничный тон.

— О, нѣт, я не отрицаю генія Бисмарка, однако ничего не надо преувеличивать, — почти механически сказал Николай Сергѣевич, сам удивляясь тому, что его замѣчанія выходят все же складно, хотя он думает совершенно о другом. Пьеса оказалась в двух дѣйствіях: Софья Яковлевна велѣла подать кофе в гостиную.

— Меня прошу извинить, — сказал, поднимаясь Дюммлер. — Кофе мнѣ запрещено, и доктор велит послѣ обѣда лежать не менѣе часа. Надѣюсь, завтра увидѣть вас на водах, — обратился он к Мамонтову, очевидно не выражая желанія, чтобы гость оставался очень долго. Хотя Николай Сергѣевич

только и мечтал о том, как бы уйти пораньше, нелюбезность хозяина его раздражила: все в этот вечер раздражало его у Дюммлеров. Юрій Павлович кивнул головой и вышел. В концѣ обѣда он опять почувствовал боль в боку, эта боль надолго связалась в его памяти с гостем, пришедшим в их дом в день ея появленія. За отцом скрылся Коля. Горничная внесла зажженные канделябры, затѣм стала зажигать свѣчи в гостиной. Их задувал легкій вѣтерок из сада.

— Очень способный мальчик Коля, — сказал послѣ минуты молчанія Черняков. — Еще два года тому назад не было болѣе шаловливаго ребенка во всем Петербургѣ. Теперь он присмирѣл, но глубоко презирает всѣх нас.

— Да что ты выдумываешь, Миша!

— Не сердись, Соня, это так.

— Ну, а что же ты сам дѣлаешь теперь? Над чѣм работаешь? — спросил Мамонтов.

— Немного работаю над курсом, который буду читать в предстоящем семестрѣ. Читаю... Представь, на днях я от скуки с'ѣздил в Кобленц и за безцѣнок купил у букиниста отличнѣйшее изданіе Шеллинга. Знаешь, четырнадцатитомное изданіе его сына, в хорошем переплетѣ. Ты понимаешь, что это такое для страстнаго шеллингіанца, как я!

— Я знал, что ты библіофил, это в тебѣ самое подлинное, но я не знал, что ты страстный шеллингіанец. Вѣрно для оригинальности, потому что всѣ наши философы кантіанцы или гегеліанцы, — сказал Мамонтов, перенесшій свое раздраженіе на Михаила Яковлевича. Тот поднял брови чуть не до верхушки лба.

— Какой вздор ты несешь!

— Все-таки ты не станешь говорить м н ѣ, что в твоей жизни Шеллинг или какой бы то ни было вообще философ играет какую бы то ни было роль, — сказал непріятным тоном Николай Сергѣевич. Софья Яковлевна смотрѣла на них с улыбкой.

— К кофе я велю подать коньяк и ликеры, и это, быть может, умиротворить страсти... Прошу вас извинить дурной

обѣд, — смѣясь обратилась она к Мамонтову. — У нас нѣмецкая кухарка, этим все сказано. Кромѣ того Юрію Павловичу все вкусное запрещено. При нем я не даю вина, чтобы не вводить его в соблазн, но...

— Софья Яковлевна, вы дома? Добрый вечер, — послышался через гостиную из сада чей-то очень звучный, пріятно грассирующій мужской голос. Софья Яковлевна вдруг измѣнилась в лицѣ, быстро поднялась и вышла в гостиную. Мамонтову показалось, будто она хотѣла было задвинуть дверь между обѣими комнатами, но удержалась. Он вопросительно посмотрѣл на Чернякова, тот с недоумѣніем пожал плечами.

— Кого это еще Бог принес? Мы никого, кажется, не ждали, — вполголоса сказал он.

— Меня княжна прислала... Здравствуйте, дорогая, позвольте через окно ручку поцѣловать... Княжна у ваших ворот в колескѣ. Не хотите ли поѣхать с нами кататься? — говорил тот же грассирующій голос. В столовой неожиданно появился Дюммлер, на ходу застегивавшій жилет. Он бросил страшный взгляд на Мамонтова и Чернякова, поспѣшно прошел в гостиную и исчез за дверью, сдѣлав попытку задвинуть ее за собой. Тяжелая дверь не сдвинулась.

— Ваше величество, как я счастлива! — сказала Софья Яковлевна слегка срывающимся голосом.

— Это государь! — прошептал Черняков.

— Какой вечер, а? Я чудом нынче освободился: удрал от дяди Вильгельма. Он, что и говорить, мудрый император, но мнѣ с ним смертельная скука, — говорил веселый голос. — Ах, какая была днем жара! Но теперь дивно! Луна какая, а? Ѣдем, право? Мы к замку собираемся. Рейн так пышен при высокой полной лунѣ! Княжна меня послала к вам на огонек:

Спит иль нѣт моя Людмила?
Помнит друга иль забыла?
Весела иль слезы льет?

— Помните, а? Нѣт, попались, вовсе это не из «Руслана и Людмилы»! Это моего покойнаго учителя Жуковскаго. Я

наизусть выучил к его рожденію и, представьте, не возненавидѣл его, и сейчас все помню:

Вот и мѣсяц величавый
Встал над тихою дубравой:
То из облака блеснет,
То за облако зайдет;
С гор простерты длинны тѣни;
И лѣсов дремучих сѣни,
И зерцало зимних вод,
И небес далекій свод
В свѣтлый сумрак облеченны...
Спят пригорки отдаленны,
Бор заснул, долина спит...
Чу!... Полночный час звучит.

— Но до полночнаго часа еще далеко. Ѣдем, дорогая, дайте ручку, я еще раз поцѣлую.

— Ваше величество, благоволите взойти к нам. Вы нас осчастливите, — взволнованно сказал в саду Дюммлер. — Мы...

— Ах, это вы, Юрій Павлович? — гораздо менѣе радостно сказал императоръ. — Нѣт, какое взойти к вам! Это в другой раз. Меня ждут. Ѣдем, Софья Яковлевна, а? Как жаль, что вы нездоровы, Юрій Павлович, да и коляска тѣсная, — не слишком церемонно добавил он. Видимо царь совершенно не собирался звать Дюммлера, и это доставило чрезвычайную радость Николаю Сергѣевичу. Дверь задвинулась. Слова Софьи Яковлевны до столовой не дошли. На порогѣ показался Коля.

— Это государь! Ах, какія у него лошади! — восторженно прошептал он. Черняков приложил ко рту палец и посмотрѣл на племянника так, как только что на него самаго смотрѣл Дюммлер.

Николай Сергѣевич, не прощаясь, вышел через кухню и обошел дом, направляясь к выходу. Сад был слабо освѣщен луной. Подстриженныя деревья бросали черныя тѣни. Остановившись у забора, Мамонтов увидѣл, как Дюммлер страшными

знаками что-то показывал выходившей женѣ. Софья Яковлевна пріятно улыбалась: прорыв в ея самоувѣренности продолжался не болѣе минуты. Царя, стоявшаго у бокового окна по другую сторону виллы, Мамонтов не видѣл. Издали снова послышался тот же голос, только теперь еще болѣе радостный:

Что, родная, муки ада?
Что небесная преграда?
С милым вмѣстѣ — всюду рай;
С милым розно — райскій край
Безотрадная обитель...

«Все-таки жалко уходить, другого такого случая в жизни не будет», — сказал себѣ Николай Сергѣевич и, осторожно ступая по рыхлой землѣ, спугивая блестѣвших на лунѣ лягушек, пошел вдоль забора к калиткѣ. Его никто увидѣть не мог. На улицѣ у ворот стояла коляска с фонарями, запряженная парой англійских лошадей, с бритым англійским кучером. Высокая дама с улыбкой смотрѣла в сторону сада. В полосѣ свѣта появились государь и Софья Яковлевна. Александр II остановился у коляски, мотая отрицательно головой: очевидно, он не хотѣл занять мѣсто на задней скамейкѣ.

— Нѣт, нѣт, заграницей я не государь, здѣсь я просто никто ... Не хотите? Also nach Stolzenfels, — весело сказал он своим звучным, далеко слышным голосом.

VIII.

Желѣзная дорога была выстроена лишь недавно, и маленькій живописный, с садиком при каждом домѣ, южный городок неожиданно превратился в важную станцію. Через нее был проведен телеграф, еще мало распространенный в Россіи. Под вечер, к приходу двух главных поѣздов, на в о к з а л ѣ (это слово в его новом значеніи уже вошло в общее употребленіе) собиралась мѣстная интеллигенція, среди которой главенствовали кіевскіе и одесскіе студенты, жившіе на кондиціях у дачников и у мѣстных помѣщиков. На вокзалѣ стоял смѣ-

шанный запах дыма и цвѣтов. В окружавшем вокзал садикѣ и по другую сторону желѣзной дороги росли сирень, черемуха, акаціи, розы. Обмахиваясь платками и шляпами, отгоняя безчисленных мух, посѣтители торчали на вокзалѣ до ужина. Мѣста на трех скамейках перрона брались чуть не с бою и передавались по соглашенію. В буфетѣ, у длиннаго стола, с огромным самоваром, с центральным невидимым провалом для льда, с сѣточками поверх многочисленных тарелок и блюд, дачники спорили о том, сколько нажили концессіонеры на постройкѣ дороги и кто из должностных лиц какую взятку получил. С гордостью говорили, что городок, как у з л о в о й п у н к т, имѣет важное с т р а т е г и ч е с к о е значеніе на случай войны с Австріей. Старожилы слушали разсказы о взятках с полным вѣры любопытством, а о стратегическом значеніи довольно недовѣрчиво: они не знали, что их городок — п у н к т, и сомнѣвались, чтобы могла начаться какая-то война, да еще не с турками, а с Австріей: что-то никогда такой войны не было, и вообще на этих мѣстах со времен запорожцев никто не воевал.

В комнату для проѣзжающих, с новенькими твердыми скамейками и стульями, заглянули телеграфист и пожилой толстый дачник в чесунчовом пиджачкѣ, без воротничка и галстуха, обмахивавшійся выжженой соломеной шляпой и доѣдавшій бутерброд с паюсной икрой и с зеленым луком. Об этих бутербродах мѣстные остряки говорили, что буфетчик перед приходом главнаго поѣзда их «подлизывает для свѣжести». Тѣм не менѣе охотно ѣли их и остряки. Телеграфист с любопытством оглядѣл сидѣвшую у окна миніатюрную барышню и, очевидно разочарованный, сказал:

— Я ж тебѣ говорил, что она не придет! Конечно, надула, стерва.

— Придет. Куда ей дѣться? — равнодушно отвѣтил тяжело дышавшій дачник, и оба вышли.

Миніатюрная барышня улыбнулась.

— Забавныя личности, — сказала она.

Сидѣвшій рядом с ней молодой человѣк расхохотался,

показав из под усов ровные, крѣпкіе, очень бѣлые зубы. Наружность этого человѣка привлекла на вокзалѣ общее вниманіе, когда он появился часа полтора тому назад. Он был высокаго роста, казавшагося еще большим от того, что держался он необычайно прямо и как будто нарочно (в дѣйствительности же совершенно естественно) закидывал назад большую красивую голову с бородкой, с вьющимися волосами, с непослушным малороссійским чубом. Прямо с перрона он вошел в комнату для проѣзжающих, положил на пол небольшой пыльный мѣшок, оглянул одиноко сидѣвшую миніатюрную барышню, вѣжливо поклонился и вышел в буфет. Люди, уже начинавшіе собираться на вокзалѣ, невольно останавливали взгляд на его статной атлетической фигурѣ и думали: «Какой молодец! Кто бы это такой был?» Старый близорукій буфетчик издали сначала подумал, что это гвардейскій офицер, уѣзжающій в штатском платьѣ из имѣнія заграницу, но тотчас увидѣл, что ошибся: он знал всѣх мѣстных помѣщиков, да и одѣт был молодой человѣк, как одѣвались студенты на кондиціях, и носил не бакенбарды, а бороду. Он сказал что-то шутливое дачнику, лѣниво тыкавшему вилкой в тарелочку с селедкой, выпил стакан холоднаго пива с таким наслажденіем, что смотрѣть было любо, и вернулся в комнату для проѣзжающих. Через полчаса молодой человѣк снова появился у буфета, заказал два стакана чаю со связкой бубликов и унес все без подноса так ловко, что не пролил ни капли. Он уже успѣл завязать знакомство с миніатюрной барышней.

Эта барышня, дожидавшаяся главнаго поѣзда с полудня, напротив, не вызвала на вокзалѣ большого интереса. Она не была ни хороша, ни дурна собой. Хороши у нея были только нѣжный румянец и большіе, свѣтло-голубые глаза. В ея подстриженных, зачесанных гладко назад волосах, в слегка нахмуренных бровях и плотно сжатых губах сказывалось что-то мужское. С т р и ж е н ы я уже не вызывали любопытства и в провинціи, — к ним понемногу всѣ привыкли. Одѣта барышня была бѣдно и, несмотря на жару, все на ней было очень темное. Не обратившись к носильщику, она внесла в комнату

для проѣзжающих большой, потертый чемодан со сложенным под ремнями пледом, хотѣла было положить его на стул, в изнеможеніи уронила тяжелый чемодан на пол, тотчас подогнула концы пледа так, чтобы они не касались пола, и опустилась на первый стул у окна. Позднѣе барышня пообѣдала на вокзалѣ: заказала борщ и битки в сметанѣ, самое дешевое из того, что было на картѣ, не спросила ни напитков, ни сладкаго, с'ѣла все с аппетитом и нерѣшительно оставила начай вдвое больше, чѣм полагалось, — буфетчик, презиравшій стриженых и обращавшійся с ней грубовато, был пріятно удивлен. Послѣ обѣда барышня вернулась на прежнее мѣсто в пустую комнату для проѣзжающих. Эта пахнувшая краской, жарко нагрѣтая солнцем комната, выходившая одним окном в садик, а другим на перрон, днем обычно пустовала. Буфетчик рѣшил, что стриженая — фельдшерица или деревенская учительница.

— ...Нѣт, я с вами не согласен, — сказал молодой человѣк, продолжая давно начатый разговор. — И, если хотите, тот факт, что любая бесѣда в любом образованном русском домѣ теперь неизбѣжно переходит на царя, сам по себѣ не лишен нѣкоторой значительности. Он, во первых, свидѣтельствует о том, что Александр не такое ничтожество, как большинство из них. Во вторых же, он лишній раз показывает необходимость конституціоннаго образа правленія: ненормален вѣдь такой общественный строй, при котором все зависит от одного человѣка и всѣ говорят об одном человѣкѣ. Отсюда непреложно вытекает и необходимость противоправительственной дѣятельности под лозунгом конституціи. Резюмируя наш разговор, я скажу, что царь не здодѣй и даже, быть может, не злой человѣк, но...

— Я, кажется, и не говорила, что он «злодѣй», — перебила его барышня. — Он просто ничтожная личность... И бабник, — брезгливо прибавила она. Ея собесѣдник взглянул на нее озадаченно, точно не зная, что на это отвѣтить. «Может быть, он сам бабник», — с огорченіем подумала барышня. Были основанія предполагать, что этот человѣк имѣет большой успѣх у женщин.

— Его частная жизнь меня не интересует, — сказал он и засмѣялся. — Знаете, говорят, я похож на него лицом! Мнѣ это сказал смотритель Одесской тюрьмы, когда меня выпускал. Старичек все убѣждал меня больше не участвовать в противоправительственном движеніи. «Кончайте», говорил, «поскорѣе университет и займитесь адвокатурой. Любя вас, совѣтую: будете деньги загребать».

Миніатюрная барышня улыбнулась и подумала, что, пожалуй, и то, и другое вѣрно: маленькое сходство с царем у него есть, и в самом дѣлѣ говорит он отлично.

Он полтора часа назад первый заговорил с ней; сказал, что ѣдет из Городищенскаго сахарнаго завода, и назвал безобразіем то, что так плохо подогнано росписаніе поѣздов: «Еслиб у этих господ была голова на плечах, то публикѣ не приходилось бы ждать часами». Она сначала отвѣчала кратко и сухо, частью по застѣнчивости, частью потому, что терпѣть не могла приставаній (мужчины впрочем приставали к ней рѣдко). Но молодой человѣк был так любезен, так весел и видимо так хотѣл поговорить, что ея запаса сухости хватило ненадолго. Начался разговор, тотчас, по обычаю, перешедшій на политическія дѣла. Молодой человѣк очень ругал правительство. Хотя окна были отворены, он нисколько не понижал голоса, и его прекрасный, звучный, безукоризненной дикціи баритон мог быть слышен и на перронѣ, и в саду, и в буфетѣ. Впрочем, правительство ругали всѣ, и в провинціи полиція за этим слѣдила без усердія. Молодой человѣк не умолкал ни на минуту, рѣчь у него лилась гладко и красиво, он не запинался даже на таких трудных словах, как «противоправительственный». «Никто так не говорит, всѣ говорят «революціонный», — думала она, внимательно его слушая, еще внимательнѣе на него глядя. «Необыкновенное лицо: так и дышет умом! Хотя он не народник, он мог бы быть подходящим для нас человѣком... И что-то есть в нем необыкновенно располагающее, хотя, э т о, разумѣется, никакого значенія имѣть не может»...

— Я, впрочем, признаю, что послѣ освобожденія крестьян, бывшаго очень большим историческим дѣлом, что бы там ни

говорили наши доктринеры, Александр окружил себя, извините меня, всякой шивалью, — продолжал молодой человѣк. — Но какой же, я вас спрашиваю, из сего слѣдует для нас вывод? Опять таки борьба за политическую свободу, за столь многими презираемый конституціонный образ правленія. Вот великая задача, поставленная исторіей перед нашим поколѣніем. Каковы должны быть формы и методы борьбы? На это я пока не могу отвѣтить. Это надлежит обсудить, не отводя от обсужденія образованных и честных людей, хотя бы и умѣреннаго образа мыслей. У нас все не хотят понять, что борьба за освобожденіе Россіи никак не может быть дѣлом одной небольшой кучки народолюбцев, ибо в такой борьбѣ соотношеніе сил неизбѣжно сложилось бы для них в высшей степени неблагопріятно. Здѣсь нужны соединенныя силы всей русской интеллигенціи, поскольку народ пока безмолвствует. Поэтому, по крайнему моему разумѣнію, отпугиванье людей либеральнаго лагеря явилось бы глубокой, коренной и, быть может, непоправимой ошибкой. Зачѣм пугать их призраком соціализма, еще нигдѣ не осуществленнаго и у нас едва ли теперь осуществимаго?

— Вы меня неправильно поняли. Меня не интересует политическая борьба, но никто и не собирается устраивать сейчас соціализм. Сейчас самое нужное дѣло уплатить хотя бы в малой части наш страшный долг народу. Вы с этим не согласны?

— Поскольку рѣчь касается меня лично, то мой долг народу маленькій. Я из помѣщичьих дворовых, — сказал молодой человѣк. Лицо миніатюрной барышни вдруг стало испуганным и виноватым. — Мой родной дядя был до эмансипаціи лакеем, его на конюшнѣ драли... Каким-то образом я попал в гимназію, затѣм стал студентом юридическаго фукультета в Одессѣ, был исключен и угодил в тюрьму. Считаю позволительным заключеніе, что мой д о л г народу не так велик. Просто я очень люблю народ и к нему принадлежу... А вот вы, конечно, дворянка? Я мгновенно узнаю дворян, — с усмѣшкой сказал он.

— Да, к сожалѣнію, дворянка, но это вы т а к говорите,

— обиженно отвѣтила барышня. — Меня всѣ принимают за крестьянку.

— Моя фамилія Желябов, — сказал он, вопросительно на нее глядя и видимо ожидая, что она назовет себя. Барышня пробормотала что-то невнятное. Он встал и заглянул в выходившее в садик окно. — Ах, как хорошо! Чудесныя это мѣста: предстепье. В лѣсах тут полно волков, вездѣ лисицы, бѣлки, водятся даже бобры!

— За что же вы сидѣли в тюрьмѣ?

— В сущности, за ерунду. Ничего драматическаго в моей жизни не было... П о к а не было... Я не Каракозов и не Нечаев, никого не убивал и убивать не собираюсь.

— Вы живете в Одессѣ?

— Сам не знаю, гдѣ я живу! Жил в Керчи, в Одессѣ, учил там русской грамотѣ еврейских дѣвочек... Ужасно онѣ смѣшныя были, славныя, но так смѣшно произносили русскія слова. «Зима, крестьянин торже́ствуя»... — передразнил он кого-то, очевидно вспомнив что-то забавное. — Отчего бы это, кстати, крестьянину было «торже́ствовать»? Скажу вам правду, не люблю, не люблю Пушкина, хотя, разумѣется, отдаю должное его генію. Вот Лермонтов совершенно другое дѣло. Лермонтова я боготворю... Да, так гдѣ же я, в самом дѣлѣ, живу? В Кіевѣ жил. Чудесный город, еще лучше Одессы! Ах, какіе сады в Кіевѣ! Царскій над Днѣпром, Ботаническій. Там я в Коммунѣ сапоги тачал со старичками, щирыми украинцами. Но мнѣ скоро смѣшно показалось: право, немногим это важнѣе, чѣм стихи читать Одесским швеечкам. Я и бросил. А они, громадяне, по сей день тачают сапоги и при этом спорят, как поскорѣе освободиться от кацапов... Вѣдь вы кацапка? Петербургская? Ну да, я сейчас узнаю. Я и в Великороссіи живал: у графов Мусин-Пушкиных был на кондиціи в Симбирской губерніи. Хорошіе люди, хотя по взглядам чуть не крѣпостники. Со старым графом, дядей моего ученика, я все время имѣл дискуссіи. Он меня любил, но называл Сен-Жюстом и предсказывал, что я тоже окончу свои дни на эшафотѣ!

Оба засмѣялись. Желябов отошел от окна и сѣл на чемо-

дан барышни, но, увидѣв скользнувшее на ея лицѣ неудовольствіе, тотчас встал. Только теперь он замѣтил, что, несмотря на бѣдность ея платья, у нея все так и сверкало чистотой, вплоть до непостижимо-бѣлоснѣжных в дорогѣ рукавчиков. «Это уж их, дворянское», — подумал он. — «А сама симпатичная, хотя и не красива»...

— Вы и на сахарном заводѣ были на кондиціи?

— Нѣт, там я жил барином. Мой тесть сахарозаводчик и помѣщик Яхненко, тоже ретроград и тоже хорошій...

— Так вы женаты? — перебила она его, как будто с огорченіем в голосѣ. — Извините, я вас перебила.

— Женат, но с женой не лажу. Уж очень мы разные люди: разные и по происхожденію, и по взглядам, и по наклоностям. Я мужик и очень горжусь этим. Вѣроятно, мы рано или поздно разойдемся, — сказал он очень просто и спокойно. Она смотрѣла на него с сочувственным любопытством, удивляясь его откровенности, столь странной при первой и случайной встрѣчѣ. — Я из своих маленьких дѣл міровой трагедіи не дѣлаю, — пояснил он, точно угадав ея мысли. — Ну, что-ж, не вышло, ничего не подѣлаешь. Непріятно, разумѣется, тѣм болѣе, что есть сын. Но уж я поставил себѣ правилом: что бы там в моей личной жизни ни случилось, хоть какое угодно несчастье, огорчаться не болѣе трех дней. По моим наблюденіям над собой и над другими, трех дней достаточно, чтобы изжить какое угодно личное горе. Дальше начинается неискренняя скорбь, а я терпѣть не могу неискренности. Впрочем, может быть, у нас с женой еще жизнь наладится.

Миніатюрная барышня вдруг расхохоталась так весело, как не приходилось ждать от нея при ея строгой внѣшности. Он сначала смотрѣл на нее с недоумѣніем, потом тоже засмѣялся.

— Извините меня... На меня иногда находит... А вы очень л е г к і й человѣк...

— Это хорошо или плохо?

— Разумѣется, хорошо... Очень хорошо... По крайней мѣрѣ, я страшно это люблю в людях... Вы не сердитесь? Это я так... Куда же вы теперь ѣдете?

— Да вы опять будете смѣяться. Я ѣду в Одессу, а оттуда на Балканы, сражаться с турками.

Ея лицо мгновенно стало серьезным и строгим; нельзя было повѣрить, что эта барышня только что заливалась веселым, безпричинным смѣхом.

— Как? И вы? Да это просто повѣтріе! В Москвѣ теперь вся молодежь хочет освобождать славян! Мы бы прежде себя освободили.

— Одно другому не мѣшает. Но тут дѣло не в разсужденіях... Когда я прочел в газетах о звѣрствах, совершаемых турками, я ни с кѣм не совѣтовался и не спрашивал, повѣтріе ли это или нѣт, и даже, повѣрьте, не знаю, что это будто бы повѣтріе. Я сказал себѣ, что пойду добровольцем. И не в том вовсе дѣло, что они славяне. Достаточно того, что они люди, и что за них заступиться некому.

Он встал и прошелся по комнатѣ, на ходу ловким точным движеніем поправив криво висѣвшее, засиженное мухами, зеркало. Миніатюрная барышня подумала, что ему, вѣрно, непріятно все неровное, безпорядочное, безхозяйственное и, что он, должно быть, вообще не может спокойно сидѣть без дѣла. «А на себя в зеркало, кажется, и не взглянул, хотя мог бы собой полюбоваться: необыкновенно красивое и умное лицо!» — почему-то со вздохом подумала она. Из за окна тяжело грохнул звонок. Барышня вздрогнула. Послышался радостный гул. На вокзалѣ все пришло в движеніе.

— Это повѣстка моего поѣзда, — сказал он. — У нас на югѣ называют повѣсткой предварительный звонок. Кажется, у вас этого слова нѣт? Мнѣ сейчас ѣхать.

В комнату опять заглянули телеграфист с толстым дачником.

— Теперь, если она, стерва этакая, и придет, то пусть проваливает назад, — яростно сказал телеграфист. — Мнѣ через полчаса послѣ поѣзда становиться на работу.

— Поѣзд в шесть двадцать не отойдет, — замѣтил толстый дачник, по прежнему что-то жевавшій. — Графиня прислала нарочнаго, просит подождать ее с четверть часика.

— Ну, это дудки, будь там она хоть разграфиня, — сказал разстроенный телеграфист. — Нѣт, конечно, надула, я так и знал!

— Придет, придет, — отвѣтил, тяжело дыша, дачник, и опять оба исчезли. Разговор в комнатѣ для проѣзжающих возобновился не сразу.

— Странно, как мы с вами разговорились, — сказала миніатюрная барышня. Ей было неловко и грустно. Он, напротив, не находил ничего страннаго в том, что они разговорились и, повидимому, не слишком сожалѣл, что сейчас, вѣрно навсегда, ее покинет. «Надо бы в с е-т а к и спросить его адрес», — подумала она и сказала:

— Какіе чудесные цвѣты здѣсь в саду. И всѣ так безцеремонно их рвут, я сама видѣла.

— Это шотландскія розы, махровыя, их здѣсь вездѣ пропасть. Хотите, я вам сорву на память, — отвѣтил молодой человѣк и, опершись рукой о подоконник, легко перескочил в садик. Он сорвал там розу и вернулся к окну.

— Спасибо... Послушайте, вы это серьезно насчет Балкан?

— Очень серьезно. Хочу быть как «Бейрон»! — сказал он, смѣясь. — Помните у Рылѣева «На смерть Бейрона»:

Царица гордая морей!
Гордись не силою гигантской,
Но прочной славою гражданской
И доблестью своих дѣтей.
Царящій ум, свѣтило вѣка,
Твой сын, твой друг и твой поэт,
Увянул Бейрон в цвѣтѣ лѣт
В святой борьбѣ за вольность грека.

— А вы хорошо читаете.

— Плохіе стишки, хотя написал большой человѣк... Но если поѣзда для этой графини не задержат, то мнѣ сейчас ѣхать. Разрѣшите проститься с вами. Поговорили, царя побранили, все в порядкѣ, — сказал он, и его веселый тон непріятно ее задѣл. — Вам еще больше часа ждать. Вы в комнатѣ останетесь? Уже не так жарко.

— У меня тяжелый чемодан, не стоит его переносить.

— Чемодан это пустое, я сейчас перенесу на перрон, — сказал он и, не дожидаясь отвѣта, с той же легкостью перескочил назад через окно. Без малѣйшаго усилія он поднял ея чемодан правой рукой, взял в лѣвую свой мѣшок и ухитрился отворить перед ней дверь. На перронѣ они столкнулись с толстым дачником и телеграфистом. С ними была огромная дама в разноцвѣтном нарядѣ, с лорнетом.

— Ах, нѣт, я так вам и сказала: о к о л о шести, уж это вы напрасно. Кто же, скажите пожалуйста, приходит за час до поѣзда? — жеманясь говорила дама и отвела от глаз лорнет, чтобы получше разглядѣть стриженую. Толстый дачник прощался. — Да нѣт же, не уходите, Осип Иванович, вы нисколько не мѣшаете, по крайней мѣрѣ м н ѣ.

— Не могу, у меня нынче к ужину уха! Не разогрѣвать же.

— Дарья Степанна, у них к ужину уха, он мнѣ еще раньше об'явил.

— Как можно в такую погоду! Я и зимой почти ничего не ѣм, а теперь, хоть убей меня, я не прикоснулась бы к ухѣ! — кокетничала Дарья Степановна, снова поднося лорнет к глазам.

— Нѣт, я прикоснусь.

— Хоть бы поѣзда, право, подождали.

— А что мнѣ в поѣздѣ? Я никуда не уѣзжаю.

Вдали уже показался извивавшійся черный столбик. Молодой человѣк довел барышню до скамейки, на которой теперь освободились мѣста, положил ея чемодан и весело сказал, что, вѣрно, они скоро опять встрѣтятся.

— Гдѣ и как, не знаю, но вот увидите! — сказал он и, пожав ей руку, пошел навстрѣчу замедлявшему ход поѣзду. Снова прогремѣл звонок. По перрону тяжело бѣжала старушка, изнемогая под тяжестью мѣшка. Молодой человѣк что-то ей сказал и подхватил ея мѣшок. Она бѣжала рядом с ним, еле поспѣвая за его большими шагами, благодаря его и подозри-

тельно на него поглядывая. Миніатюрная барышня смотрѣла им вслѣд.

Поѣзд, шипя, остановился. Молодой человѣк еще на ходу очень ловко отворил дверцы перваго зеленаго вагона. Как только из него вышли пассажиры, он бросил на площадку мѣшки, подсадил старушку и вскочил за ней в вагон. «Больше никогда его не увижу», — подумала миніатюрная барышня. Перед синими вагонами взволнованно толпились дачники и мѣстная интеллигенція. Поѣзд стоял на станціи нѣсколько минут. «Выйдет он еще или не выйдет? Должно быть, теперь устроился рядом со старушкой и с ней разговаривает так же уютно и весело, а о моем существованіи думать забыл. Да, легкій человѣк... Но чего же я собственно хотѣла?» — с пріятной грустью думала барышня, прислушиваясь к медленно замиравшему грохоту третьяго звонка. Поѣзд дрогнул, отшатнулся назад и отошел. Она невольно проводила взглядом зеленый вагон. Молодой человѣк в окнѣ не показался.

Перрон пустѣл. Дачники медленно расходились. Лишь немногіе фанатики развлеченій остались ждать второго поѣзда. На другом концѣ скамейки разговаривали телеграфист и Дарья Степановна.

— ...Юзы, Дарья Степанна, пропускают до тридцати слов в минуту, а Морзы не болѣе пятнадцати. Зато Морзы много проще. В Юзѣ, Дарья Степанна, все основано на синхроническом вращеніи диска и бруска...

— Ах, как интересно! — разсѣянно говорила Дарья Степановна, глядя поверх лорнета на фарфоровыя чашки телеграфнаго столба. — Однако я не вижу, чтобы телеграммы пролетали по проволокѣ? Или сейчас телеграф не работает?

— Нѣт, Дарья Степанна, вы не так поняли, — сказал, вздохнув, телеграфист. — Папироску не прикажете ли?

— Что вы! Избави Бог! Я только пахитоски курю и как на бѣду забыла дома... А то дайте, если у вас «Огонек», — сказала Дарья Степановна.

(Продолжение слѣдует).

М. Алданов.

СТРАШНѢЕ СМЕРТИ

Далеко лежат от Бѣлокаменной сибирскія поля, лѣса и горы, а слухи обо всем идут из сердца Матушки Россіи, Москвы, и доходят в самые трущобные углы. Особенно-же о войнѣ.

Война каждаго задѣвает, каждому несет тревогу. Молодых солдат вездѣ найдут. Ряды работников и пахарей по селам и деревням все рѣдѣют. Уже забрали всѣх до тридцати двух лѣт, а по зимѣ еще три срока призваны. Опустѣет, зарастет травою по веснѣ необ'ятная русская пашня.

Ермилычу уже под сорок. Он и позабыл, что был в солдатах, и никак не собирался на войну. Четыре года в уѣздном городѣ, в мѣстном батальонѣ прослужил, а в строевых рядах был меньше полугода. Случалось, раза три, во время царских праздников, маршировал в рядах, на парадах. Провел же службу в караулах, на посылках, а больше в конюхах. Сызмала пріучен к крестьянству, смышленный и хозяйственный, он знал, как соблюсти в порядкѣ лошадей, повозку, сбрую. Женатый до призыва, оставившій жену с грудным ребенком, он вел себя, как пожилой мужик, степенно, трезво, бороды не брил, табаку не курил и черным словом не ругался. Всѣ в ротѣ так его, как старика, и звали:

— «Ермилыч».

Вышел со службы — все семейство и хозяйство было в добром распорядкѣ и достаткѣ. Отец и мать были живы-здоровы, старшій брат хозяйствовал примѣрно, три сестры повыходили замуж, а младшій брат, подросток, еще и в рекруты не готовился.

Прошло немного лѣт, меньшака женили и отправили в солдаты; большак остался в домѣ родительскую старость утѣшать, а Ермилыча с семьею выдѣлили на отдѣльный хутор, на «заимку». Стал Ермилыч жить-трудиться на заимкѣ, на про-

сторѣ, у рѣки и перелѣска, справным, добропорядочным хозяином. Рождались, подростали ребятишки, множилась скотина, в амбарѣ круглый год полны сусѣки-закрома, на дворѣ пестрѣют красками желѣзные плуги, сѣнокосилка, конныя грабли. Кудахтают курицы, крякают утки. Ластятся к хозяевам собаки. Все — слава Богу. Жить бы, трудиться, да радоваться.

Но вот грянула война. Меньшого брата сразу взяли и в первых же боях, в Восточной Пруссіи, попал он в списки без вѣсти пропавших. Отец затосковал о нем и вскорѣ слег. Старушка-мать всегда в слезах и вздохах. А тут приходят слухи, один другого хуже.

Ермилыч был неграмотный, газет не читал и всякому слуху не вѣрил, да и вникал в них мало и по-своему. Но безпокойство в нем росло, росла и забота: прежде всего о семьѣ, потом о скотинѣ и домашности, а уж послѣ всего о самом себѣ. Никому, даже женѣ, он не высказывал, о чем забота, а все тревожнѣе, все молчаливѣе, вздыхал и думал по ночам:

— «Слухи слухами, а явность на-лицо. Еще никто живымздоровым не вернулся, а новых забирают. Вон послѣ Рождества Ивана Ситкина забрали, а с ним Ивана Кашина и Ивкина Серегу. А Серега лишь тремя годами меня младше... Значит, подбираются к моим годам. Вот какое дѣло...».

Высчитывал года, чужіе и свои. Прикидывал:

— «Добро, как замиреніе до весны об'явится, а ежели и этих всѣх запасных перебьют да покалѣчат, тогда мои годы еще до Пасхи потребуют».

Но дали Ермилычу отпахаться и отсѣяться. Весна была хорошая, посѣял лишняго, благо лошади за зиму без работы отдохнули и ребятишки подростают, — будет с кѣм страду справлять.

И откоситься и отжаться дали Ермилычу. Ровно, значит год прошел, как зачалась война.

Урожай был прямо небывалый. Легко и весело было жать густую, чистую, высокую пшеницу и складывать тяжелые снопы в крестцы-суслоны. А так как всѣ хлѣба созрѣли как то враз и управиться своей семьей не мог, то нанял сноповязку

и пригласил артель сосѣдей и сосѣдок помогать.

Послѣ работы на заимкѣ — пир и выпивка.

Владѣлец сноповязалки, разночинец с Дона, всѣх смѣшил веселыми разсказами из казачьяго быта:

— А как ты, дѣдушка, женился?

— Да развѣ-же я женился! Как же можно?...

— Ну, а как-же?

— А женили нас! Нешто отцы-матери хуже нас знали, кого и как посватать?...

— Ну, а как тебя женили?

— А женили меня вот как: однова приходит батюшка мой к матери и говорит:

— «А ну, неси, старуха, холстину, вели дѣвкам Ивану штаны».

— «А для чего-ж ему штаны?» — спрашивает бабка.

— «Как для чего? Вѣстимо, для законнаго дѣлу»...

— «Ну, коли для законнаго, то будем шить»...

— Да как же это, дѣдушка, спрашиваю — неужто до тѣх пор ты без штанов ходил?

— А на родимца они мнѣ были? — Рубаха длинная, холстинная. Подпоясамши, бывало, колесом пойду по улицѣ аж по верстѣ — и ничего не потеряю. А как штаны надѣл — крутнусь и опрокинусь. Ну, стало, сшили мнѣ штаны; взял отец двух сватов и к станичному атаману. «Так и так, ваше благородіе, пришли к вам по законному дѣлу»...

— «А коли по законному, то посылайте»...

—« Посылать нам нечего: на телѣгѣ два логушенка лежат, готовые».

— А для чего же, дѣдушка, атаману логушенки?

— Как для чего? А кафтан же нужен, чтобы повѣнчаться. Вся станица о тѣ поры в общественном кафтанѣ вѣнчалась. А кафтан был сшит на всякій рост, да длинный мнѣ. Как шагну, так наступлю на подол и падаю. Невѣст-же брали для работ, рослых да здоровых. Каждой лѣт под тридцать. А я своей и не видал. Боялся я ее, не дай Господь. И как взяла она меня за руку, а кафтан волочится, я стерегу его, а на нее не смѣю

поглядѣть... И ужь послѣ вѣнца насмѣлился, взглянул, а она такая пригожая и, может, годочка на два меня старше. Ну, опосля сжилися...

Разночинец разсказывал мастерски, но общій смѣх слушателей все время прерывал его. Закончив разсказ о дѣдушкѣ, стал разсказывать о бабушкѣ:

— Ну, а ты, бабушка, как же замуж выходила?

— А та была люта до работы, всю жизнь за трех казаков работала, всю жизнь спѣшила и на разговор время не тратила. Отвѣчала быстро и сердито:

— «А как я выходила? Так и выходила. Акулинка прибѣгла на клуню, — мы там с братьями снопы сажали, и кричит: — Дунька, тебя батька просватал». — «Не бреши, говорю, дѣвка». А она: — «А вот бѣги-ка, погляди. Сваты и кони, крашена дуга». — Повѣнчались мы, а его, муженька то, в хату не загонишь. Глядишь, а он уже на улицѣ, в клюшки играет. А я за вихры его да в хату»...

Заразительнѣе и громче всѣх смѣялся над разсказом Ермилыч, а послѣ этого всю ночь непробудно крѣпко спал, как давно не приводилось.

А на слѣдующій день послѣ обѣда его потребовали в волость. Пришел его черед, как раз в страду.

И пошел-поѣхал наш Ермилыч, сразу потерявшись в милліонной арміи безженных мужиков в шинелях, разбросанных по безконечным путям, тянувшимся на боевыя линіи болѣе тысячи верст.

***

Уйдя из дома, от жен и от семей, всѣ воины ушли от міра. Всѣ поневолѣ стали монахами, обреченными своему жребію, для каждаго пріуготованному, на роду написанному.

Если не в словѣ, то в мыслях, если не в явѣ, то во снѣ, с ними неразлучна смерть. Смерть у каждаго стоит за плечами, она неотступная спутница всѣх воинов, смѣнившая любовницу, невѣсту и жену. Если не сегодня, так завтра. Если не убит, так изуродован. Не плѣнен, так заражен болѣзнью.Не заболѣл,

так угнетен тревогой ожиданія смерти. И слова: «дом», «жена», «семья» становятся до несбыточности далекими, по-новому желанными, как сон, как сказка. И ничей облик не встает тогда столь привлекательно, как облик близкой женщины: матери или сестры, жены или возлюбленной. Потому что в женщинѣ тогда и утѣшеніе и продолженіе жизни, тепло очага, таинство сердца, источник радостей. Ей тогда прощаются всѣ обиды, всѣ обманы, ложь, даже измѣны, и она выростает выше всего и для боевого офицера и для простого, не умѣющаго разбираться в душевных тонкостях, солдата. Женщина начало жизни. Она же и конец ея. И жизнь и смерть, поэтому, олицетворяются в образѣ женском. Как всѣх скорбящих — радость, сама Пречистая Приснодѣва для всякаго пустынножителя является прибѣжищем в напастях, заступницей от всякаго зла, необоримою стѣной и предстательством в опасных искушеньях жизни.

Девятнадцать лѣт прожил со своей Настасьей Ермилыч. Ей нѣт и сорока, а вся уже засохла, подурнѣла, прежде времени состарилась. Не была она для него особенно пригожа, не была особенно нѣжна к нему, — баба да и баба. В крестьянском быту, в трудѣ да в заботах, мало кому удается друг перед другом красоваться. А вот подите-же: чѣм дальше уходил от дома Ермилыч, чѣм больше было у него досуга думать о покинутой семьѣ, тѣм больше открывал он позабытых добродѣтелей Настасьи.

— «Развѣ не была она молодой и пригожей, веселой и проворной на всякое дѣло? Да и теперь: труженица-то какая. Все умѣет, все поспѣет, все — сама. Все чисто, все в порядкѣ. А ну-те ка, кто может так: с пятью дѣтьми управиться, и коров подоить, и птицу накормить, и мужу угодить? Зимой еще и пряжа, в Великій Пост — тканье холста, весной — побѣлка, и на пашнѣ, и на огородѣ, и на пасѣкѣ, и надо всѣх обшить — обмыть»...

Встала пред Ермилычем жена его, Настасья, совсѣм новая, какой еще не знал, всѣх на селѣ других баб лучше, всѣх матерей нѣжнѣе, всѣх жен на свѣтѣ терпѣливѣй и дороже.

— «Ну, как она там распорядится? Как с молотьбой, как со скотиной? Сыны малы, а обѣ дочери — невѣсты, за ними нужны глаза да глазаньки... Вон какое нынѣ на деревнѣ озорство да пьянство. Того гляди дѣвчонок изобидят. Ладно, ежели Бог пошлет нам замиреніе. А ежели, не дай Бог, что со мной случится!»...

Ермилыч не додумал думу. Раздался бодрый оклик сосѣда-ѣздового:

— За порціей. Чего задумался?...

В муравейникѣ на-скоро опнувшагося на походѣ вновь сформированнаго батальона, много было бородатых, с неуклюжими, мужицкими движеньями, солдат.

В час передобѣденный, во время раздачи горячей пищи, в самую минуту ревнивых заглядываній в чужіе котелки, — не сосѣду-ли дал повар покрупнѣй кусочек мяса, не другому-ли досталось больше бисернаго жирку и перепала лишняя горошина, — у всѣх этих бородатых людей совсѣм иныя лица. Еще недавно, на походѣ, до жесткости суровые, озабоченные дома и в семьѣ, безразличные на сельской сходкѣ, злые в мелкой ссорѣ из за курицы с сосѣдом, — лица эти здѣсь преображаются, становятся, как у дѣтей, игривы и просты. Вот Ермилычу, сверх порціи, косточка с мозгом досталась. Совсѣм счастливый, он бережно, чтобы не сплеснуть дымящійся янтарный жирок из переполненнаго котелка, идет поспѣшной, плавною походкой, как черкес в легзинкѣ. А вслѣд ему несется шутка:

— Не пролей, Ермилыч!

В этой шуткѣ, в этом ласковом названіи по отчеству, озаряется вся теплота нежданной дружбы: «Ермилыч», — имя то какое теплое и для Ермилыча и для других. Всяк может подойти к Ермилычу, толкнуть в плечо, попросить кусочек сахару, — он даст. И твой будет Ермилыч, обласкает сѣрыми, прищуренными, с дѣтской простотой, глазами. И будет говорить охотно, весело, нескладно, но зато с потугою на шутку-прибаутку. Чего-же ему? Он весь простой, охочій к слову человѣк, и прятать ему от прочих нечего. Мужицкое житье-

бытье все позади, а за все то, что может приключиться с ним завтра, он не отвѣчает. Он тут не причем.

— А с нас что взять? Жили в лѣсу, молились колесу, — говорит Ермилыч сопоходнику.

— А в колесѣ то этом вся, слышь, простота святая, — отвѣчает сопоходник. — Нам бы поскорѣе замиренье да домой.

И смѣются оба, просто и безхитростно, в блаженном невѣденіи ни завтрашняго дня, ни грядущаго часа. В этом вся покорность волѣ высшей, никому неизвѣстной.

А Воля Неизвѣстная как раз уже все расчистила, все без пересмотра, без отмѣны своего рѣшенья, опредѣлила каждому судьбу не по часам, а по минутам. Ровно через тридцать три минуты для Ермилыча закончится война, хоть и с мѣста с этого еще не тронется его батальон. Но до самой роковой, до тридцать третьей минуты, не будет ему дано знать об этом. О, как она, премудра и как милостива Воля Неизвѣстная, что никого ни о днѣ, ни о часѣ не освѣдомляет... Иначе, испугался бы Ермилыч часа своего и не ухмылялся бы тому, как братья-солдаты, сидѣвшіе под сосѣдней бричкой, гармоникой собаку дразнят.

Запищат не в лад, — она завоет. А когда играют в лад, она молчит и терпит. Забавная собака.

— Смыслит что-то в музыкальном дѣлѣ...

Подсѣл Ермилыч под свою тачанку, со своим чайником послѣ обѣда. В одной рукѣ ломоть чернаго хлѣба, в другой кружка с чаем и кусочек сахару. Хорошо присѣсть прямо на землю, в тѣнь, как сиживал на пашнѣ. Хорошо попить горячаго чайку с сахаром в прикуску. Только жаль, что кусочек сахару не головной, а печатный, нѣмецкое мошенство: сразу тает от перваго прикуса.

Выпала у Ермилыча ржаная корочка из бороды, увидѣл ее на колѣнкѣ, подхватил и бросил в рот. Грѣшно топтать ногами Божій дар. Потом расправила рука полинявшую в чужих вѣтрах русую бороду, вытерла углы губ и потянулась к чайнику...

Товарищ отошел и сѣл поодаль, но бесѣда продолжалась. Поглядѣл на пару лошадей Ермилыч, сказал:

— Добрая у тебя пара! Эдаких бы в плуг.

Лошади стояли в полуснѣ, наѣлись, напились. Оглянулся ı Ермилыч на своих коней, а подумал вслух о другом:

— На дворѣ по настоящему должон быть снѣг. У нас в Сибири, — небось, ужь все под снѣгом. Скоро Филиппов пост, тут под нѣмцами все голо...

— И вѣрно што не по христіански все у них... Хе-хе!... Не то осень, не то Великій Пост, — поддакнул собесѣдник и, плюнув для солидности, начал крутить собачью ножку.

А лошади стоят, хвостами не машут. Они чуют зиму. Лошади сибирскія, в Сибири батальон грузился. Хорошіе, широкогрудые, выносливые мерины.

— Тебѣ што? — не унимался солдат-пріятель. — Ты не строевой. Пуль тебѣ бояться нечего. Вот нам, строевым — копы; может быть и смёртенька там на роду написана.

Не отвѣчал Ермилыч. Простачек-солдат поднялся, отошел своим. Часовой, обѣденный привал кончался. Солдаты подягивали уже пояса и собирались разбирать из козел ружья. І вдруг всѣ бородатые и безбородые подняли лица кверху. Кто то безпечно процѣдил:

— Больно высоко летит, должно не наш.

Другой, из под сосѣдней брички, заключил:

— Ишь, ты, загибает на-попятный. На-утек!... Должно авидѣл нашего.

И Ермилыч, заглядывая вверх, высунул из под воза бороду, рукою потянулся к чайнику. Остыл немного, но еще хоть епленькаго чашечку.

Вот налил и подумал: достать новый кусочек сахару или ѣт? Рѣшил не доставать: пусть на другой раз лишній сбережется. Можно и без сахару во рту прополоскать.

И вот замѣтил он — махнула лошадь хвостом. Переступила с ноги на ногу, как бы спросонья тяжело вздохнула. — ль почуяла что? Не пора ли запрягать? Как будто-бы уж ремя. — А лошадь вновь вздохнула, как бы застонала. Аль аглянула Воля Неизвѣстная в невинные, затѣненные густыми, линными рѣсницами, глубоко-синіе глаза гнѣдого?

Отцвѣтшія, рыжеватыя брови у Ермилыча чуть дрогнули. Не то за чай, за хлѣб-за соль, не то нечаянно по другой причинѣ, он перекрестился торопливым, мелким крестом и встал из под телѣги. Почуял приближеніе минуты? Чего-же бы и чуять, — вражескій летун исчез за тучкой, серебряный его блеск смѣшался с облачком, погас. Бороды и подбородки опустились, глаза спокойно занялись, кому что надо доглядѣть. Сейчас запряжка и поход.

Но неотвратимость Воли Неизвѣстной уже чертила в воздухѣ, во времени, в просторѣ будущих путей Ермилыча, его судьбу, его послѣднюю минуту на войнѣ.

И он, и всѣ другіе услыхали наглый и безстыдно-насмѣшливый вой над привалом батальона, как будто само небо дразнилось:

— «Пью-у-у!»...

Он не почуял и не понял, что такое приключилось, но сердце его кровью облилось, когда он увидал упавшаго на спину Гнѣдого... Сверкнуло серебром окованное в сталь копыто и молніей обожгло всю бороду Ермилыча.

Вот и все...

Не в него попал осколок, а в лошадь, а его только подковой лошади ударило...

Ермилыч не убит... Он будет жить... Он будет долго изумлять своей живучестью хирургов и врачей и вызывать своим видом ужас в глазах сестер милосердія. Пройдет полгода в лазаретах.

И прибудет он в тихій, чудесный майскій вечер на послѣднюю станцію вблизи того уѣзднаго города, гдѣ в молодости он служил солдатом. Никто не встрѣтит его, никто не будет знать, зачѣм пріѣхал он и куда направляется, ибо будет тих и безсловесен Ермилыч. Но, закрыв до глаз лицо свое особой темной повязкой, он что-то промычит смотрителю станціи, и даст знаками понять, что дорогу к дому он сам найдет.

И пойдет он пѣшій, тихим поздним вечером, один, по берегу ручья, узкою, полузаросшею тропинкою, чтобы до большой дороги никого не встрѣтить. И будет итти ночь и

день и будет сторониться всѣх прохожих и проѣзжих. Вдыхая теплый запах свѣжих трав и полевых вцѣтов, узкими проселками и без дорог, он дойдет-таки к давно знакомым и родным мѣстам...

Увидит он свою заимку на закатѣ дня, но не рѣшится к ней приблизиться до сумерек. А, подойдя, и в сумерках он не рѣшится постучаться в запертыя двери. Залают на него собаки, но узнают, будут ластиться и прыгать на него от радости, и от того еще острѣе станет робость и вопрос Ермилыча:

— «Зачѣм пришел? Рѣшусь ли показаться? Посмѣю ли открыть лицо свое даже в ночной темнотѣ?».

И будет всю ночь ходить вокруг заимки, как вор и проведет без сна до утренней зари в сосѣднем лѣсу, а на зарѣ еще страшнѣе будет показаться близким сердцу...

Но голод человѣческій, звѣриный голод, на слѣдующій вечер в сумерки пригонит его снова к дому.

Робко постучится он в окно... Молча, закрывая лик свой странною повязкой, не посмѣет он смотрѣть в лицо испуганной Настасьи, которая не узнает его. Но вот покажет он на трубку с резиновой воронкой на концѣ и покажет знаками на мѣсто, гдѣ у них стоит обычно парное молоко. И сядет на ступеньки крыльца и будет гладить всѣх собак своих... И почует сердце Настасьи, что за странник об'явился у родного очага...

И завопит она и поведет его в свой дом, разбудит воплем, рано, по-весеннему, уснувших дѣтей. Окруженный близкими, по телячьи, безголосно замычит Ермилыч, и, вздрагивая всѣм тѣлом, бросится лицом на пол, к ногам Настасьи, как виноватый в страшном, незамолимом грѣхѣ. И не посмѣет Настасья заглянуть в лицо супруга своего и не рѣшатся дѣти подойти к родному отцу и вмѣстѣ с общим ревом их завоют всѣ собаки...

И будет ужас ужасов, какого не бывает перед смертью. И обовьет он черной пеленою всю заимку и в безуміи своем заставит снова убѣжать Ермилыча в сосѣдній лѣс, куда глаза глядят... Но не отстанет от него, на все готовая, жена его, — и, чтобы оттолкнуть ее, остановить ея истошный крик, откроет

он свой страшный лик под темной, старой елью, под той самой, гдѣ впервые в юности он спознал усладу ласки ея дѣвической...

Отвернется искаженное лицо Настасьи и задохнется она безголосным воплем и побѣжит в безуміи в тьму лѣса, как взбѣсившаяся волчица, готовая рвать зубами весь человѣческій род, звѣриный и змѣиный род... Ибо не будет у нея человѣческих сил увидѣть в нечеловѣческом подобіи, без нижней челюсти, без половины языка, красное и истекающее слюной подобіе ужасной птицы, навсегда отверзшей отвратительную пасть...

Не будет гнаться за женой Ермилыч... Упадет он на землю и вцѣпится ногтями судорожно сжатых пальцев в мягкую, прохладную, пахучую траву, молча принимавшую в свои нѣдра потерянныя радости былого пахаря...

Только старые друзья — собаки подбѣгут к нему по слѣду и, с тонким пониманіем сверхчеловѣческой скорби, будут лизать его темныя руки. И будет он завидовать собачьей жизни, ибо жизнь его будет страшнѣе смерти...

Георгій Гребенщиков.

ПОРТАТИВНОЕ БЕЗСМЕРТІЕ

(Отрывок).

Перед моим окном квадрат пустыря, — просвѣт, гдѣ плыли товарные и пассажирскіе вагоны; у близкаго вокзала невидимо маневрировали локомотивы: их свистки, преслѣдуя меня с дѣтства, опять и опять прободали сердце. На лѣво, — огороженный проволокой и кустами ежевики участок, гдѣ стояло сбитое из ящиков строеніе; в дождливыя ночи, его нищіе (но равняющіеся к остальным) обитатели кляли Творца и гремѣли кровельным желѣзом. Там жили двѣ четы: такія, — по облику, — слоняются вдоль Сены, неся в мѣшках весь скарб, а в рукѣ початую (прямо из горлышка) бутылку краснаго. Настоящаго дома еще не вывели: пока хватило только на землю. Благодаря какому стеченію обстоятельств... «Бродяги, отрепье», — кидали шопотом, оглядываясь, старожилы; ибо мастерской, утонченной ругани «нищих» боялись, как пожара. Характеры распредѣлялись так: Хромой грозен своим языком, — жены его не слыхать; и ассиметрично: второй, Лысый, бородатый, нѣмой и тишайшій, а жена его («такіе не вѣнчаются» — говорили наши дамы) опасна и любит драться. Тучная, синяя (и оттого неистовая), у нея опухоль в груди, мѣшающая циркуляціи венозной крови; мы познакомились у сорнаго ящика, гдѣ она рылась, отбирая листья, кочаны капусты, салата, ботвы. Смѣрив меня взглядом, и найдя достойным того, об'яснила: «У нас кролики». Муж ея, — Лысый, — при мнѣ только однажды произнес нѣсколько слов. Хозяин лавочки докладывал присутствующим, — и мнѣ случайно завернувшему, — почему у него вино стоит дороже на 2 су. Он его берет у крупных винодѣлов и хотя платит больше, но за то на весь год обезпечен одним и тѣм же качеством (тогда, как у мелких

поставщиков сорта мѣняются) «Развѣ хорошо, если кліент пьет каждый день другое вино? Вы что предпочитаете?» обратился он наугад к Лысому. И тот, осчастливленный сознаніем, что его мнѣніе тоже представляет какую-то цѣнность, смущенный неожиданно открывшейся возможностью предпочитать одно другому, наконец, гордый своим участіем в отвлеченной, интеллектуальной бесѣдѣ, — Лысый, — вдруг обрѣл дар рѣчи: «А, это! О, вы можете быть увѣрены! А, я думаю! Ха-Ха!» — и долго еще восторженно, чистосердечно крякал и хлюпал носом; а выйдя оттуда сообщил: «У него башка на плечах у этого, а-а!» — радостно и в то-же время озадаченно поводя смѣшным бородатым, козлиным лицом. Главой общежитія считался Хромой (не он ли, угодив под автомобиль, раздобыл деньги?); чувствовал себя природным землевладѣльцем. Обходил с ножницами кусты; водил козочку из угла в угол, привязывал (к вишнѣ на чужом пустырѣ), отвязывал, гнал. Основной его заботой являлись — псы. Он завел нѣсколько (вѣроятно, дареные: старые, облѣзлые); одних, неизвѣстно чѣм руководствуясь, посадил на цѣпь, других муштровал так. Особенно шумѣла молодая, свѣтлая, скачущая зайцем, дворняга: Кики. Цѣлый день она заливалась суетливо-радостно-благословляющим вселенную лаем. Ликующе и благодарно: что родилась, что молода, что свѣтит солнце и сам хозяин, — подчеркнуто грубо, как всегда простые люди относятся к животным, дѣтям, женщинам (еще: цвѣты и фрукты), — с нею играет, ласково-матерно ругаясь ищет блох. «Кики, Кики! — вопил он усовѣщающе, а та прыгала мячиком вокруг, лукаво бреша: весь мір казался ей отчим домом. Хромой нюхал табак; чихал; вначалѣ аккуратно, с промежутками, убѣдительно, затѣм паузы сокращались, ускорялся темп, — глубже, изнурительнѣе, — и вот уже все подобно припадку: сумасшедшая пляска, корчи падучей с одуренным всхлипом, взвизгом, ревом. Я раз насчитал 60 судорожных вздохов и заткнул уши, чувствуя раздражающій зуд в собственном нутрѣ. Справа пѣла средняя Европа, ея горло душили ядовитые тиски «чесоточнаго»: салоп, сальте... тянулись безконечные пѣгіе товарные составы (на

теплушках играли тѣни придорожных лип), надрывалась Кики, чувствуя себя еще центром космоса, «Кики, Кики»! — нестерпимо-фальшиво, степенно (помѣщик, патріарх), звал Хромой, перемогая табачныя судороги и колѣна; иногда за стѣною еще заводили патефон с неизмѣнною, чудовищной пластинкой: чей-то отвратительный, брюшной, уродливый смѣх-хохот повторялся одинаково бездушный во всѣх разрѣзах. Жизнь чахла, она изнемогала, отступала, ежилась, тѣснимая, заглушаемая и все же прекрасная (может вдвойнѣ) протягивала тончайшіе, как у лозы, ростки, пробиралась меж камнями, цѣплялась за желѣзные прутья, нѣжно обвивала коряги и пни, прилипала мудрая и поруганная; как зимою спят, защищаясь от смерти, твари, сосут лапу, упрямо дожидаясь воскресенія, так люди притаились, вѣря в грядущее праведное лѣто, тягались, боролись, слѣпо передавали сѣмя дѣтям, которыя в свою очередь тупо катили его дальше, — подобно кому снѣга, — храня в неразвернутой формѣ всѣ чудесныя возможности и силы для настоящаго, послѣдняго, неизреченнаго дѣла; В полдень Хромой возвращался из лавки со свертком и бутылкою; кричал со двора женѣ, скромно и важно: «ты уже приготовила мой бифштекс?» — как и подобает солидному, обезпеченному. В сумерки он подолгу стоял у окна Марго, степенно бесѣдуя (может быть в тяжелой, грязной молодости Хромой себѣ однажды представил вот такой вечер, как награду за все, и сейчас играл сочиненную им роль, — реализовал мечту). Он чувствовал себя на мѣстѣ в любой отрасли знанія; особенно тяготѣл к философіи и медицинѣ. На почвѣ послѣдней они и сблизились. Марго повѣряла ему тайны своих безконечных плевритов и ангин; Хромой же, так сказать, задним числом их исцѣлял. Давал безплатные лечебные совѣты. Когда Марго обожгла в темнотѣ руку, он приказал посыпать язву іодоформом; (однако ея друг, почтальон, рѣшительно воспротивился, об'яснив, что с этим запахом не пустят на службу). Женѣ Лысаго, Хромой прописал сантонин, считая это лучшим средством против болей. «Кики, Кики!» — то и дѣло надрывался Хромой. — Ах, что-б тебя! нельзя минуту постоять спокойно!» А Кики играла с

привязанною (знакомой с дѣтства) козою: пугала ее, изводила. Та молодая, глупая, совершенно безнадежно путалась в своей привязи. «Вот я тебѣ, дрянь, покажу, Кики! Сейчас, сейчас, постой глупая!» — распутывал Хромой веревки. Бѣленькая (что-то напоминающее прекрасное), коза, несмотря на свой цѣломудренный и кроткій вид, служила поводом безконечных раздоров между Хромым и его сосѣдкой, почтенной дамой, вдовой: двухэтажный дом, куст сирени. Уже давно обосновалась здѣсь. Если бы она знала какая сволочь,— стыдно вымолвить, — купит участок рядом, если бы только вѣдала! Все предвидѣли: двойной фундамент, громоотвод, а этого предусмотрѣть не могли. Хоть бросай все и убирайся. Как обидно. Выбирали, планировали — еще с мужем. Каждая мелочь подогнана. И вот, — отравлено, испорчено. Не видѣли бы глаза. Всю жизнь убѣгала от таких особ, — и вот они: напротив. Цыгане! А характер у этой дамы властный: кипит, бурлит, лицо в пятнах. Когда грузовик с песком или другим матеріалом проѣзжал близко у обочины тротуара, она порывисто распахивала окно, свѣшивалась до пояса и кричала шоферу, дѣлая соотвѣтствующіе знаки, чтобы взял немного подальше, лѣвѣе (уже помяли раз тротуар, а чинить приходится ей); потом молніеносно захлопывала окно, дергала портьеру, исчезая словно фантом. Коза, об'ѣдавшая будто бы стебли, злаки, сирень ея сада, стала центром, куда потянулись всѣ рычаги злобы и гнѣва. А внѣшность ея, — бѣленькая, простодушная, довѣрчивая, — только подхлестывала раздраженіе вдовы (она могла бы любить это созданіе). По законам джентельменской игры, Хромому надлежало воздвигнуть боковую стѣну и таким образом, отгородившись, скрыть «стыд от глаз» посторонних. Он и обѣщал это сдѣлать: но сперва дом. К слову сказать, ему нечего прятать, как иным, с виду почтенным, дамам: ничего предосудительнаго не творит. А коза, неправда, лопнет утверждающій противное, она ѣст свое, она привязана! Да гдѣ эти злаки? Сирень? Станет коза глодать сирень! Только люди уплетают всякую дрянь, а у иных, с виду почтенных, дам красный нос эфироманок. Слѣдующая сцена могла почитаться

классической: Хромой, без пиджака, и в каскеткѣ (протерты, лоснятся брюки), грозно вопіет, то воздѣвая узловатыя руки, с болтающимися засученными манжетами, к небу, то указуя перстом на страдальчески, терпѣливо его слушающую козу, то кидаясь в сторону случайных свидѣтелей, обращая их вниманіе; сосѣдки нѣт, только чудится, — за ставнями, за портьерами что то змѣиное корчится, шипит, мечет огненные взгляды; оглушительно вдруг растворяется окно, она высовывается, изливает не переводя дыханія свои доводы и клятву (смола на осаждающих), опять треск окна, — исчезла подобно привидѣнію и только безликая штора волнуется за стеклом. Коза, смущенная и подавленная, — не ей ли придется расплачиваться! — хочет убраться, спрататься, но Хромой ее тащит, толкает вперед под самую изгородь: пасись, дрянь, имѣешь право! Надо полагать, вдова обратилась в мэрію с жалобою: пришел чиновник, мѣрил, изучал границы, планы и злополучную козу; ради гостя очередное дѣйство протекало необычайно торжественно: Хромой отвлеченно доказывал преимущество сора и дерьма перед нѣкоторыми гражданами; затравленный призрак чудесным образом появлялся в окнѣ, пускал ядовитые пары и снова пропадал. Хромому сдѣлали какое-то внушеніе; они собрали военный совѣт: пришла «мамаша», — женщина, давшая им козочку (она торговала сыром), со всѣм выводком своих животных. Старыя, бурыя козы, мудрыя, достойно шагали меж вѣрными псами, так охраняют гарем евнухи; самец, лоснящійся, смуглый, мускулистый, бородатый красавец (бравый вахмистр с серьгой в ухѣ). Собаки чесались, визжали, щелкали челюстями, звенѣли ошейники и колокольцы. «Мамаша», неопредѣленнаго возраста, с поджарым, юношеским задом и стройными мальчишескими ножками: чулки закляксаны, простоволоса (рѣдкія, жирныя пряди грязнаго цвѣта), кожа рук, лица, потрескалась, огрубѣла, — характерно для людей, спящих, не раздѣваясь, на вѣтру, — землисто-темная, жуткая и своенравная. Такую я однажды видѣл в госпиталѣ: привезли с фонарями в подглазницах, без памяти с проломленным черепом. Она лежала раскрытая, горячая, сухощаво-смуглая, об-

вѣтренная, в нестерпимой сорочкѣ, старая, но с крѣпким, по особому сбитым тѣльцем (такая Елизавета Смердящая). Послѣ этого семейнаго совѣта, козу больше не привязывали к изгороди нервной вдовы, ее начали пускать на площадку, что против моего окна, очевидно испросив согласіе у новых господ (ибо к тому времени пустырь уже оказался проданным и владѣтельное имя Канихферштанда, — à vendre, — давно исчезло). Лѣтом раза два навѣдывались старик с двумя мужиками; сняли вишни с единственнаго деревца на этой улицѣ: заблудшая, сплюнутая у дороги косточка. Они взгромоздились на табурет Хромого (двое) и безжалостно обломали верхушку: все равно обреченно. Потом ѣли вишни прямо из картуза, с лицами пьяных, женихов (словно ничего подобнаго за всю жизнь не вкушали). «Купили»! — сообразили мы. Хромой благодушествовал, шутил, рачительно дѣлился опытом: он сам через все прошел. И только старик бритый, с морщинистым, кирпичным, узорным затылком и выпирающим скелетом плеч, хребта (мѣрка для гроба), снисходительно улыбался и молчал. Они скрылись на долго. Упустили строительный сезон: денег не хватало или, — вѣрнѣе, — работали для других... К Рождеству начали подвозить матеріал: поддержанныя сваи, бревна, полые кирпичи, мѣшки с известью, бочки с цементом: маленькими дозами, на ручной телѣжкѣ и всё, — неурочные часы (обѣд, вечер, праздники). К серединѣ Января однако собралась уже порядочная куча всевозможнаго товара. «Это они готовятся к веснѣ» — думал я. Но вот 1-го февраля, в самый нестерпимый здѣсь, единственно зимній мѣсяц (вода замерзла, трубы Бюта полопались), внезапно, ранним утром, послышались незнакомые, гулкіе удары кирки: то начал орудовать Старик. Цѣлый лютый, скорбный день взрывал он окоченѣвшую почву, — одинокій, в кладбищенском, могильном пейзажѣ. В полдень его провѣдали «Мужики» (сыновья или зятья), очевидно работавшіе на другом мѣстѣ. И снова, — ком за комом, — он младенчески-настойчиво скреб землю, сѣдой, ловкій и цѣпкій в нѣкоторых опредѣленных позиціях, безпомощный в остальных (так он не мог выпрямиться или разогнуть колѣна):

до самых сумерек, пятнистых, февральских. Явился на завтра и послѣзавтра. Сгорбленный, в фуфайкѣ, с окаменѣвшим лицом, он упрямо обходил судьбу. (К тому времени бабка Руссо уже зачастила по нѣскольку раз в кинематограф). По праздникам работала вся тройка. Яму уже расковыряли, виднѣлись полоски слѣдующих пластов. Мужики под студеным вѣтром рубили ломами, отец по пояс в землѣ подавал вверх лопатою мерзлые комья, руками выбрасывал твердыя породы: раз-раз, раз-раз... вспухал и осыпался могильный ров. Тук-тук, ах-ах... библейски трудились люди в зимнія сумерки. Это Клондайк, суровая обѣтованная земля, куда пробрались отважные мужи (о, сколько их осталось за перевалом), и вот таранят горный кряж, ищут золотоносную жилу или строят город, новый Іерусалим. Я тогда начал готовить свою диссертацію. По поводу всякой мысли надо было справиться у сотни старцев или покойников; приходилось одолѣвать десятки фоліантов (казалось столь нужных до и совершенно излишних по). Годами, день за днем, в пополуденных сумерках я томился, захлебываясь нырял в пучину книгохранилищ, тщетно добираясь к берегу. Каждое произведеніе удовлетворяло именно тѣм, что било мимо цѣли. Медленно зрѣли контуры плана. Казалось все готово, но не мог (боялся) начать. Наконец рѣшился. Я работал по утрам. За 4 часа исписывал 4 листика бумаги, назавтра их прочитывал и вычеркивал, — 3. Лучше всего я себя чувствовал, когда уничтожал все: тогда совершенная свобода опять возвращалась. Но эту свободу сердце не могло долго сносить: самой опасной тяжестью являлась для него именно доступная легкость, нескрѣпленность всего. Оно стремилось избавиться от адской темницы неограниченной воли, поскорѣе связать себя по рукам и ногам хотя бы в черновикѣ. И я вдруг начинал спѣшить (вали кулем, посля разберем). Но заночевавшія по сосѣдству идеи и образы нежданно пускали собственные корни, срастались, оживали: уродливыя существа с копытами на спинѣ, телята о 2-х головах. А отдѣлить их, разсѣчь становилось божественно трудно: уже дышат, капает кровь. Страница черновика сковывала, пригвождала (Прометей дал себя сковать);

по мѣрѣ того, как множились и крѣпли строки, я терял свою первоначальную независимость, власть. Цѣлое обгладывало части, части возставали на цѣлое, и все вмѣстѣ пожирало мой замысел. Вызванное к жизни существо проявляло собственныя желанія: кричало, цѣплялось сморщенными кулачками, — дай, дай — просилось на горшок. Двѣ фразы «естественно» подготовляли 3-ю, навязывали ее, компрометируя чудо («из ничего»). Дальнѣйшее продвиженіе уже не было моим свободным райским актом. Необ'яснимо одолѣвая препятствія, казалось, я зубами вырываю из хаоса новую душу, а она — амеба, эмбріон, плод, младенец, — постепенно обрастает личной физіологіей, гравитаціей: тянет в порочную сторону, мѣшает отцу, путаясь под ногами, точно колодка бѣгущаго арестанта. Либо сбрось, уничтожь, убей, либо пойди на уступки («постолько — посколько»). Отчаявшись, скрежеща душевными зубами, я подбѣгал к окну. Там в мороз и капель, в обѣд, сумерки, праздник, пост, — трудился старик (все чаще поддерживаемый молодежью). Стучал, бил, сверлил, мазал. Скоро вся яма обозначилась: углубить и подравнять. Очевидно погреб: обложили камнями, залили цементом. Подняли устои, стропила, скрѣпы и другія части, неизвѣстныя мнѣ по наименованію, но в разумности которых нельзя усумниться. «Бог мой!» — стенал я. — Мы одинаково роем носом, взрываем, тараним слои, удаляем щебень и шлак, расчищаем мѣсто, кладем основаніе. Но вот у него готов фундамент, высятся стѣны, кирпичики тонкими рядами заполняют просвѣт (облегая квадраты окон), их скрѣпляет клейкая масса; там, гдѣ кирпич еще отсутствует, — он будет: вот мѣсто для него. Как споро, как весело работает. А у меня ничего не готово, все смѣшалось, бревна не прилегают, грустное, развороченное домовище (а еще позорнѣе мѣста четко обозначенныя или, — о бѣда! — законченныя: сплошное пораженіе). Сѣдой, отдыха не знает под февральским вѣтром, а посвѣжѣл, окрѣп. Я-же постоянно без дѣла, раздражен, норовлю сбѣжать, рад обѣду, сну, библіотекѣ, счастлив отлучиться (в госпиталь, клинику, на рынок или собраніе). Я завидую старику и его труду столь нужному,

явно продвигающемуся вперед, с опредѣленной задачей и границей. У меня все расплывчато, жестоко и двойственно. Ничего не знаю. Достаточно имѣть хоть каплю душевнаго благородства, уважать себя, свои идеи, — чтобы немедленно забросить все к чортовой матери. Исписав 10 листков, я вдруг оказываюсь дальше от цѣли, чѣм раньше; а иногда, почти ничего не сдѣлав ощутимаго, подхожу к самой метѣ. Как просто и согласовано у того, как безпокойно, сомнительно у меня. Возводит стѣны: защита от вѣтра и посторонних. Кладет печную трубу, — грѣть, варить. Черепицы? Крыша. Он строит дом, это видно, и назначеніе послѣдняго, — понятно: будут отдыхать люди, ѣсть, спать, любить (иногда вспомнят предка, что в зимнюю стужу вышел с киркою и лопатой, — благословят его тѣнь). О, если-бы я знал столь же опредѣленно в чем мой труд, кому нужен, полезен, доступен. Я писал работу о ядах. О роли яда в нашей жизни. Основная мысль казалась ветхозавѣтно-убѣдительной: біологія начинается с яда, организовалась благодаря ему. На камень капнул яд, и родилась клѣтка. Давно еще (на первых курсах) меня поразило: человѣк дышет пока в его крови имѣется CO^2, только углекислый газ побуждает его к этому (иначе он бы погрузился в кислородный рай, — а р п е́ е). А гормоны... Что такое адреналин, тироксин и прочее... Без отравленія жизнь немыслима (как часы без завода); нейтрализируя отраву, медицина борется не только с дряхлостью и смертью, но и с началами бытія. «Ай-да святоша, — сказал Жан Дут, узнав о темѣ. — Обоготвореніе зла». Смущенный я отнѣкивался: «Нисколько, нисколько». Порою мнѣ казалось: такая постановка вопроса чрезвычайно своевременна. Вклиниваясь с противоположной стороны в тѣсто явленій, я приближаю нѣкіе сроки. В эти минуты легко осмѣять старика с его гвоздями, цементом, потомством и всѣм окруженіем. Но чаще слабость и унынiе господствовали в моем сердцѣ; я сомнѣвался: не только в нужности этой работы (или в пропорціональности результата затраченным усиліям), а в самой безвредности ея. Больше всего меня пугал образ возможной побѣды с неминуемым стадом скороходов-послѣ-

дователей. Иногда за рукописью, я себѣ представлял лицо того или другого ученаго, мелькала ослиная голова академика, и все становилось противно (неизвѣстно, — зачѣм). «Я занят, ужасно занят»! — об'являл я пріятелям, скрываясь от них и ровно ничего не дѣлая (пренебрегая госпиталем, клиникою, людьми). Иногда мною овладѣвал особый стих соревнованія, спортивнаго азарта гонки: я вступал в единоборство с плотниками и каменщиками. Трудился не озираясь, не покладая рук, без внутренняго, ослабляющаго бойца, но закаляющаго плод, — рикошетнаго анализа. Тогда, за нѣсколько дней, я обогащался десятком, мелко исписанных, грубо требующих признанія страниц: уроды, сіамскіе близнецы, телята с рыбьими хвостами... а отдѣлить, пересадить, разсѣчь, — страшно, ибо эти чудовища обладали уже подобіем души. К тому времени, старику помогали уже систематически, и постройка двигалась замѣтно вперед. Освободились ли «сыновья» от других обязательств или, что правдоподобнѣе, узрѣв контуры дома в этом неуклонном, медленном ростѣ, оцѣнив рѣшающую роль воли, усилія и почуяв близость побѣды (ну развѣ можно было надѣяться в то мерзлое утро, когда старик вышел против многих стихій), они повѣрили, наконец, и стали в ряды: смущенные, красные, грубо-тупые. (Велик приток волонтеров в разгарѣ удачной кампаніи). Они работали мясом, мускулами, без чуда, храня священные табу часов аперитива, завтрака, отдыха. Со стариком же случилось обратное. Как только первый, каторжный этап был преодолен (потеплѣло, замаячили углы, нашлись помощники) и стало ясно: партія выиграна, — вопрос времени, арифметика, — он заскучал. Отпал грозный стимул: непомѣрность, героизм, очарованіе риска, борьбы, — с невѣдомым результатом. Старик вдруг отступил на задній план, выполнял второстепенныя порученія, — часто вообще бросал работу, — больше не руководил: смотрѣл, словно посторонній. Только иногда его кровь не выдерживала эгоизма, трусости, лѣни, характерных, — ему казалось, — для новаго поколѣнія: он начинал спорить, раздраженно сплевывал, усовѣщал... но чувствуя враждебное, насмѣшливое равнодушіе, махнув ру-

кою, смолкал. Так, раз слѣдовало вернуть одолженную бочку: желѣзную, внушительную. Судя по жестам, старик находил, что ее можно понести, «сыновья» же говорили: без телѣжки не обойтись! «Не нужно, зачѣм откладывать, ничего тяжелаго нѣт, лѣнтяи, дармоѣды, не далеко вѣдь»! — утверждал, надо полагать, старик. «Попробуй, вот попробуй, неси»! — возражали тѣ. Отец грозно всѣх оглядѣл, приблизился к бочкѣ, поднял, подал себѣ на плечо и, сразу осѣв, покачиваясь, немощно и упрямо понес ее. Сыновья молча и выжидательно смотрѣли ему в слѣд. Он не преодолѣл и 20 метров, как остановился, в нерѣшительности, в раздумьи, и вдруг, отскочив, пустил бочку на-земь. Вернулся, взял шарф, пиджак и поплелся прочь, ступая, — согнутыми в колѣнях, ногами — врозь. Сыновья дружно отвернулись и, улыбаясь, начали суетливо хватать кирпичи. Вскорѣ освободилась комната бабки Руссо и я перебрался туда, — в другое крыло дома. Отношенія бабки с четою Руссо перед концом совсѣм испортились. Сын старухи, — дядя молодых, — нѣкогда женился на дѣвицѣ-матери; умер бездѣтным, но сохранился «тот» мальчик (теперь 50-ти лѣт), котораго он в свое время усыновил. Старуха его считала за подлиннаго внука; четѣ же Руссо такое мнѣніе казалось вздорным и они старались всячески ее образумить, благодаря чему привили ей двойную любовь к этому человѣку, котораго она лѣт 20 не видала: на нем собралась, осѣла лучшая нѣжность и память о прошлом. В отвѣт, — догадалась упрямица, — чета взяла, да родила бебе. Этот послѣдній аргумент просто раз'ярил старуху (вопреки ожиданіям). Чтобы не слишком раздражать ее постоянным надзором, чета переѣхала во второй дом Бюта. Тогда же кстати начались ея странныя, неурочныя посѣщенія кинематографа. Раза два, при встрѣчах, она мнѣ жаловалась на разные, неопредѣленные симптомы. Древняя старица, негибко-подвижная, с большими синими глазами (при серебристых волосах); цѣлый день работает (часто освѣжаясь вином), одинаково презирает: попов, врачей, патріотов, коммунаров (помнит их); вечером развлекается полицейскими романами; никогда не отворяет окна, установленнаго горшеч-

ками, карликовыми растеніями, завѣшеннаго тяжелой, пыльной, оплѣшивѣвшей бархатной портьерой; (комната полна мебели: когда то жила в 2-х комнатах, — муж, дѣтки... все это прочное, лучше нынѣшняго, кровати без малаго 100 лѣт!, не выбрасывать же!). Вѣковое платье, косынка, хрупкія ножки, шажки на лѣстницѣ: ребенка или крупнаго насѣкомаго (птицы с людской стопой). Изслѣдовать такія мощи у меня не было охоты, да и боязно, как разбирать средне-вѣковые часы. Доскрипывай тихохонько. Но она слегла, — «простудилась», — и пришлось. Неожиданно обнаружил опухоль в районѣ восходящей порціи толстой кишки, — общее, несомнѣнное отравленіе. «Может стать злокачественной», — об'яснил я (именно о ракѣ она постоянно заговаривала со мною на лѣстницѣ). Она думала всю ночь, на утро (о, как уже сдала) сообщила: хочет в госпиталь, операцію. Если я ей помогу, — не забудет этого. «Все равно, — признавалась. — В мои годы не любят человѣка только потому, что он по паспорту внук или кум. Я еще владѣю кое-чѣм и могу отблагодарить достойных». Но обстоятельства сложились по иному (к лучшему).Я ее видѣл еще раз. В тот день, странно, протоптали за дверью. «Чьи шаги?» — удивился я, и выглянул (сосѣднія двери тоже пріотворились). То старуха Руссо, боком, — топ, топ, — пронеслась по лѣстницѣ к уборной (раньше туда не ходила: по утрам выносила горшочек, бормоча и звякая ключами). Она промчалась, будто спасаясь от погони, растерянная (кто, откуда?), пробуя бѣжать, не зная к чему это поведет и гдѣ именно враг. Что-то безконечно потерянное, довѣрчивое и загнанное было в ея взглядѣ, в этом движеніи, с каким она, заколебавшись, стала, чего-то ожидая и, вдруг, снова шарахнулась. Изнеможенно торопилась немедленно что-то предпринять, измѣнить, и сразу обрывала, оставляя недодѣланным, — (тотчас-же стрѣльнула назад из уборной, невнятно-громко-отрывисто отвѣчая на вопросы), — проницательно и в то же время тупо-безнадежно озираясь, как смертельно ушибленный, подбитый звѣрь, щелкая зубами (от холода и страха); близкая, еще рядом, но уже недосягаемая, — как замок с поднятым

мостом, как шахтеры заживо погребенные (чьи крики слышны на поверхности), как студенты в первое мгновеніе, послѣ провала на экзаменѣ, — отгороженная страшным двойным пологом, отшвырнутая; зная в с е, ужасаясь и не понимая хорошо того, что она постигает. В ту ночь ее разбил паралич. Я раза два навѣдался к ней, однажды посидѣл ночью, — (тогда же сообразил: комната больше, сколько мебели), — отворил окно! Она превратилась в малютку, — словно давешній визит ея в корридор и сугубое безпокойство были послѣдними мудрыми актами зрѣлаго сознанія. Кротко умоляла все сходить к внукам и отобрать ключи; но видѣть их не желала: волновалась от одного присутствія их за стѣною. «Вы говорили с Альбертом?» — спрашивала по дѣтски довѣрчиво и в то же время подозрительно. — «Что вы ему сказали? Que je voudrais avoir mes clefs», — повторяла, и укоризненно вздохнув смежала вѣки. Под вечер, в моем отсутствіи, она, как говорится, преставилась, за всю растянутую жизнь серьезно прохворав только недѣлю. Сразу в покой ворвались внуки; заперев дверь, включив сильную, ранѣе припасенную лампу, они до зари копались, — перерыли ея жилище, спѣша найти все, что спрятано, — до пріѣзда «того» (ему отправили телеграмму). В матрацѣ обнаружили всего 6000 (а расчитывали на 100). Среди ночи испортилось электричество, — зажгли свѣчи; в колеблющейся мглѣ за портьерой ходили двѣ тѣни: выстукивали стѣны, разбивали мебель, отдирали половицы (Бюта позволил). Сосѣди выглядывали, шопотом обмѣнивались догадками у своих порогов. Изрѣдка Руссо выходили в корридор: освѣжиться... выпивали по стакану чего-то и отдышавшись, возвращались к работѣ. Именно в одну из таких пауз, я замѣтил перемѣну с мадам: появилось новое выраженіе (тѣнь, складка) на этом чувственном, смуглом лицѣ с глубокими, темными очами, — я бы сказал, сіяніе гордости, пріятія своей отвѣтственной человѣческой доли. Она стояла в шали, брошенной на плечи, обнаженныя руки, крѣпкія, молодыя, женственно и покорно свисали; увидѣв меня она дрогнула, привычно, едва замѣтно, повела головою, словно подставляя, открывая губы, щеки,

чужому взгляду и вдруг необыкновенно серьезно, мужественно печально и торжествующе-зрѣло посмотрѣла на меня, точно говоря: да, вот она жила, трудилась, рожала, теперь мой черед, должна трудиться и любить, а когда умру, то оставлю порожденных мною; не пальцем дѣланные, они тоже будут расти, любить и умирать. Гордость сиротства, одиночества озаряла ее и радостное, двусмысленное сознаніе своей полноцѣнной земной судьбы; она выросла и даже минутно поумнѣла. Денег больше не оказалось (впрочем, если и нашли, то в их интересах было умолчать). Стук, мародерскій шопот смолкли лишь под утро. Тѣнь экспресса с бѣшенством мчалась по мнѣ, клокоча и давясь. Она умерла в четверг, а хоронили — во вторник. Чета, обшарив всѣ углы, рыскала теперь по городу провѣряя старые слѣды у нотаріусов; предполагалось, что ночь они проводят с покойницей: но дверь была заперта, — я пробовал, — и ничего подвижнаго за нею не чудилось. Внук же, «тот», не пріѣхал (говорили, что адрес на телеграммѣ перепутали). А старушка между тѣм запахла. Сосѣди нашего этажа, блѣдные, подавленные, стадно разбѣжались, — кто куда горазд. Являлись днем, крадучись, за какою-либо принадлежностью кухни или гардероба — об'ясняя свое изчезновеніе случайными (и особенными), частными причинами. Рядом остался только я один, тщетно пытаясь сохранить внутреннее равновѣсіе, — захваченный, вовлеченный, брошенный на край этой всасывающей, пустой, безвоздушной (межзвѣздной) ямы, образующейся вокруг смерти; смаковал ея послѣдній выход, загнанный блеск глаз: надежда, растерянность, страх... (слышала голоса за спиною, боялась оглянуться, побѣжала, зная, — не удастся, ноги подкашиваются). По запаху я незамѣтно пробирался назад, возстанавливая в памяти всѣ трупы, павшіе на мою долю: госпиталь, морг, анатомическій театр, Константинополь, утыкаясь в послѣдній (первый), — мать. Она лежала в мертвецкой губернской земской больницы. Я вошел нѣсколько отстав на лѣстницѣ, домашніе раступились, серьезно глядя на меня, чего-то ожидая (подталкивая); склонился, поцѣловал этот высокій, ледяной, нѣжных линій лоб (который

не мог принадлежать матери), словно увидав его впервые (как и все лицо: сверху вниз). Полуфальшиво улыбаясь прослезился, чувствуя себя актером в главной роли и слѣдя за своими движеніями, горделиво поддаваясь чарам героическаго, полупреступнаго одиночества (как потом часто в жизни). Бабку-Руссо хоронили во вторник. Сосѣди подписались на вѣнок, столь же обязательный на улицѣ Будущаго, как боковыя, высокія ограды. Под вліяніем Жана Дута я тогда считал разумным бороться с лицемѣріем быта (в этом мѣстѣ ломать дугу косности, инерціи) и отказался сдѣлать взнос, что больно уязвило всѣх, — потому, что зная о моей с бабкой относительной дружбѣ, ждали соотвѣтствующей суммы. «Даже одного франка вы не можете дать? испуганно спросила «правая» сосѣдка, вѣдавшая подписным листом, и вдруг благодарно расцвѣла. Нѣжно простившись, она выпорхнула. К вечеру меня посѣтил Бюта; повозившись у крана, он смущенно освѣдомился: правда ли... (и т. д.). Еще человѣк пять меня атаковали. Марго подавала снизу (сокрушенно): «Какое разочарованіе для порядочных людей».. Только г-да Руссо не участвовали в склокѣ; ко вторнику они приняли вполнѣ достойный вид: полный траур, креп. Похороны были стереотипно-торжественныя. Нам всѣм прислали извѣщенія о днѣ и часѣ выноса тѣла а потом благодарили, — даже отсутствовавших). Автомобили, цвѣты, люди в казенных ливреях подѣйствовали ободряюще на жильцов. «Нѣт, человѣк не падаль!» — рѣшили всѣ, начиная успокаиваться, приходить в себя. Потому что в тѣ дни, когда старуха пованивала взаперти, их сознаніе стало давать опасныя трещины, всѣ побѣжали с насиженных мѣст, — кроткіе и растерянные. Кортеж получился отличный: дамы из 2-х домов Бюта. У окон застыли обитатели нашей улицы; высунувшись по пояс безобразно торчали их головы: из каждой щели по одной (или симметрично, 2,3). Отверстія малыя, а особи крупныя, неподходящія (как в тирѣ, — если попасть: — мгновенно мѣняется освѣщеніе, распахиваются ворота, бьет набат, мчатся пожарные, а на веранду высыпает толпа с несоотвѣтствующими случаю лицами). Всѣ изуродованы трудом,

старостью, сладострастіем, обжорством, неудовлетворенными фантазіями, вином; одни возбужденные, другіе сонные, известково-блѣдные, клопино-красные, похожіе и неповторимые. Здѣсь окон не отворяют (простуда); штор не поднимают (выцвѣтут обои); в гостиной прыгают, как по кочкам с подстеленной газеты на дощечку и снова на газету (для сохраненія ковра, линолеума, паркета); мягкую мебель пеленают в чехлы (моль); лѣчат секретныя боли таинственными средствами. Вселенная полна злыми посягателями, как отстоять человѣку здоровье, имущество?... (Это уродство закон равновѣсія, — учил Жан Дут. — Их пустили на кривую плоскость или вывихнули бедро, стремясь компенсировать наклон, всѣ поддались в противоположную сторону, соотвѣтствующе изогнули хребет: так не упадешь). И все же они как то жили, отгороженные тюремной рѣшеткою, цѣплялись, пробовали, надѣялись, пускали слѣпые, чахлые ростки, сдавались, беременѣя, завѣщая сѣмени выполнить миссію, найти разгадку, — катясь к невѣдомой, внятной цѣли подобно снѣжному кому. Иногда я различал ветхія черты родины. Так старик, рывшій яму, выпрямлялся на миг и оберткой руки мучительно вытирал пот со лба (мнѣ почудилось: Россія); в праздник, пьяные каменщики затѣяли драку: один, убѣгая от ножа, хотѣл спрятаться в сосѣднем под'ѣздѣ, — невидимая (знакомая) рука захлопнула дверь перед носом жертвы. Еще один раз обитатели нашей улицы выстроились у своих окон и порогов, — когда мадам Бюта послѣ родов возвращалась домой. Она шла в нелѣпом розовом платьѣ, с огромной шляпою (мы ее никогда не видали в шляпѣ), куцая, — свисали груди, — блѣдная, отекшая, изнеможенно счастливая. Рядом свекровь («консьержка»), сухая, древняя: орлиный нос, кружево морщин, беззубо-серьезная улыбка рока... несла младенца; спереди сам Бюта в праздничной одеждѣ, непривычно-бездѣятельный, сконфуженный и сдерживающій накипающее раздраженіе. Они быстро просеменили по серединѣ мостовой в какой-то вдруг образовавшейся предательской пустотѣ (эскорт, караул со знакомыми чинами охраны, — но кому придет в голову поклониться).

Прошествовали (он спереди, все ускоряя), — скрылись за колѣном улицы у шлагбаума. Комнату бабки-Руссо, гдѣ я поселился, отремонтировали, заново оклеили; на мѣсто ея кровати поставили мою: я лежал и смотрѣл на тѣ же срѣзы карнизов, рамы окна, край неба с трубою. Тут годы маялся человѣк и вдруг, — нѣт, пусто. Не то что переѣхал, перешел, перелился, — а вообще, уголовная тайна. Дѣвочка «правой» сосѣдки упорно разспрашивала, что стало с бабкой-Руссо, отвергая всѣ компромиссы: была хозяйка, деспот, имѣла привычки, симпатіи, и вот сорвали с петель, выкорчевали, — пуф! — как об'яснить. Первое время еще тянутся разныя нити, подобно струнам (куда дѣвалась скрипка!). А у Бюта родилось бебе. Было их двое в комнатѣ, как не прикидывай, двоим, — оставаясь тѣм же, — трудно выкроить равнаго им третьяго. Откуда он чудесно вынесен, пущен. Допустить один прыжок, а там уже все логично и закономѣрно: середина жизни растолкована. Мнѣ приснилась старуха Руссо в сѣрой, суроваго полотна длинной рубахѣ. Протягивая голую, черную ручку в сторону камина: «там, там, — шептала лукаво, — там». Я понял: деньги в каминѣ. Рука поднялась выше: в трубѣ. Я очнулся гордый, благодарный. Камин во время ремонта замазали, — надо пробивать дыру, — рѣшил пока не спѣшить: мнѣ деньги к чему... цѣнна связь, благосклонность. Послѣ завтрака я ѣздил в город: к Биру (за исключеніем лѣтних мѣсяцев, когда я у него совсѣм поселялся). До Орлеанских ворот — трамваем, а там метро (с пересадкою). Итого (туда и назад) 6 раз мѣнять вагон. Нудное ожиданіе. Пощечина князя міра сего: вѣдь тѣ же поѣзда (только в противоположном направленіи) сразу вот бѣгут, а «твоего» — всегда дожидайся! Случайность... Пристрастіе... Вѣрный об'ективному методу я в студенческіе годы цѣлых два мѣсяца записывал (тут же на перронѣ, у полустанка) в особую книжечку результаты наблюденія: ежедневно 6 отмѣток на 51 (9 воскресеній), всего, — 306. Почтенная цифра, извѣстны историческія открытія, сдѣланныя на основаніи болѣе куцой статистики. Моей задачей было выяснить соотношеніе благопріятнаго факта к

общему числу фактов. Так, если за время ожиданія вагона в сторону АВ, я успѣвал пропустить 2 поѣзда в обратном направленіи, то писал пропорцію, — 1:3 (т. е., на 3 явленія только одно, — за меня). Предложил друзьям провѣрить опыт. Жан Дут установил для себя, — 2:3; Спиноза 1:5; остальные получили мое соотношеніе (1:3), очевидно самое распространенное. Тогда я формулировал общій закон: каждый человѣк имѣет свой коэфиціент попутности или у д а ч и (его легко найти и вписать в паспорт, как характерную черту); мой коэфиціент, самый банальный, равен 1/3; коэфиціент Удачи иногда колеблется, мѣняясь в разные періоды жизни; кромѣ того в главном своем отвѣтственном дѣлѣ человѣк может имѣть особый (второй) коэфиціент, — сильнѣе (или слабѣе) общаго, будничнаго; среднюю же (этих двух) неразумно искать. Из всѣх царствующих нынѣ обманов величайшій, — теорія вѣроятности, (посколько она связывается с опредѣленным существом). Мотыльку, чья жизнь одна ночь, плевать на среднюю безконечности; осмысленно ли искать, как его личный опыт растворяется в цифрах предполагаемой вѣчности, собственный хвостик приставлять к тушѣ безграничности, по одному коготку или зубу, учено возстанавливать образ ледниковаго великана. Не закономѣрность и общіе шансы важны для того, кто попал в котел с расплавленным чугуном и выскочил оттуда цѣл или поскользнулся на апельсиновой коркѣ и сломал позвонок. Замѣчательно какое гипнотическое вліяніе имѣет теорія вѣроятности на людей, в остальном математику не жалующих. Как всякая иная доктрина она похожа на вдохновеннаго выскочку, конокрада, карьериста, которому рвачество до поры до времени удается; постепенно наглѣя, теряя чувство мѣры, он пытается уже овладѣть рѣшительно всѣм, распорядиться посвоему; а когда, наконец, разоблаченнаго хама схватила великолѣпная чернь и повела линчевать, он, окровавленный, гадкій, в исподнем бѣльѣ (выволокли из кровати), ослѣпленный вопит на всѣ четыре стороны, кается: «развѣ я что, развѣ я не понимаю! Всѣм надо жить! В сущности я мечтал только о маленькой фермѣ для себя!» — вызывая жалость у неосвѣ-

домленных встрѣчных. Открытіе коэфиціента Удачи, связанный с этим анализ, — пояснили мнѣ тему докторской работы. Самое банальное, большинством довлѣющее соотношеніе это 1 к 3. Как же однако жизнь «выжила», выгребла, зародилась и сохранилась, имѣя из 3 явленій только одно, — благопріятное, попутное? (К низшим животным, — есть всѣ основанія предположить, — коэфиціент еще враждебнѣе). Как она осилила, не пресѣклась, да как ей в голову могло притти с такими шансами отважиться, пуститься в дорогу... И меня осѣнило: жизнь продолжается именно благодаря тому, что трудно ей продолжаться (только посколько невозможно ей было зародиться, она зародилась). 1 к 3 это нормально-благопріятная пропорція, — только в ней ткань продолжает (из упрямства) свое пожираніе препятствій. Спортсмен не станет прыгать без приблизительно такого соотношенія (скульптор ваять, композитор творить). На камень капнул яд, он захотѣл освободиться (трудно) и дохнул кислород, шевельнулся, — родилась клѣтка. Из разных варіантов самым трудным было подняться на ноги, полетѣть, избавиться от хвоста: разумѣется мы поднялись, взлетѣли, избавились. Легче остаться в водѣ, дышать жабрами: естественно, — авангард выполз на сушу (какая мука), дохнул тракеей. Борьба за существованіе Дарвина, принцип удовольствія Фрейда; мое: ядовитая, спортивная страсть, — **преодолѣванія препятствій.** Мір камень, на который брызнул яд, отравленный, он уползает не кратчайшим путем; смерть опасна посколько соблазнительно тяжела, посколько переход к ней связан с преодолѣніем препятствій. Благодаря обилію чисел, молній, линій (секторов), движенія, — с пересадками из «бензина» в «электричество» и обратно, — я в пути забавлялся тѣм, что строил множество разных физико-математических систем. Так я придумал, что человѣк не весь живет в тѣх же измѣреніях: пятка, подошва, — нога, — в двух (она тянется, возносится в третье); верх, голова уже в 3-х (и предчувствует 4-ое). Категорію времени мы привыкли разсматривать, как одно измѣреніе (4-ое), на самом дѣлѣ оно сложнѣе, быть может двухмѣрно (или даже

трехмѣрно: куб времени). И как мыслимы уроды, существующіе только в одном (идеальная линія) или двух плоскостных измѣреніях, — так вѣроятно и мы исковерканы, недодѣланы, проникая только в одно временное. Если по біологическим соображеніям устойчивости на живую особь отпускается всего 4 измѣренія, то почему мы не избрали одно пространственное и 3 временных (идеальная линія в вѣках)... Я любил почтительной, сыновней любовью всевозможныя любознательныя вылазки и наблюденія, — так сказать безполезныя, никого не спасающія, ни к чему опредѣленному не относящіяся. Люди встрѣчая на своем пути в корридорѣ метро, на улицѣ) лѣстницу, — взбѣгают, ускоряют шаги, вмѣсто логичнаго замедленія. Тут в ретортѣ дѣйствует сложная смѣсь упрямства, расчетливости, карьеризма и трусости: видя перед собою новый, непредполагаемый барьер, стремятся цѣною поспѣшнаго усилія сразу отдѣлаться от него, — проглотить, стереть, вернуться к статус кво... и время затраченное на под'ем по неожиданной гипотенузѣ совпадает в точности с временем, что пришлось бы затратить на преодолѣніе катета (основанія). На механической лѣстницѣ, — если не стоять, а всходить, — люди, даже больные, шагают бодро, легко, потому что относят усиліе к результату, а здѣсь на привычную затрату энергіи такой завидный успѣх. . . . . Всѣ эти наблюденія мнѣ доставляли безотчетную радость; тѣм большую, чѣм дальше они были от — пользы. Стоило им войти в соприкосновеніе с утилитарностью, — в любой формѣ — как пропадало очарованіе. Я с радостью помог бы всякому (поднять мѣшок, вправить плечо, осмыслить горе), но одна мысль о паціентах, ждущих в пріемной Бира, паразитически требующих от меня спасенія, настраивала уже враждебно. Я выходил из метро на маленькую, — полулунье, — площадь и поднимался в гору по улицѣ мощенной булыжником, загроможденной лотками, навѣсами, торговцами, лавками, грузовиками, автоматами, грязью, воплями и угаром. Эта улица похожа на толстую кишку. Вверх, смрадная, набитая, нашпигованная до отказа, до спазмы, кашей человѣческих тѣл, свер-

нутых в один клубок, — возков, витрин, циферблатов, корсетов, аптек с мучительно испражняющимися страдальцами (рекламы Элексиров). Кое гдѣ намѣчалась трещина, свободный канал, туннель, гдѣ грустно ползли нагруженные индивидуумы, похожіе на затерянных, унесенных вѣтром муравьев. Лица сливались, планомѣрно чередуясь, повторяясь. Выдѣлялось нѣчто уже совсѣм чудовищное (морда, как грыжа, как самовар, как прорубь) или недостовѣрно прелестное, потустороннее личико, нѣжно, большими глазами (из под озорной чолки), сверкнувшее, — как драгоцѣнный аметист в желудкѣ акулы. За школьные годы я научился безошибочно, по одной внѣшности студента, опредѣлять его учебное заведеніе: юрист, медик, «артист», политехник. Так теперь по многим невѣсомым признакам я мгновенно узнавал род торговли, занятія: быстро начинаешь походить на товар, которым орудуешь, точно волоча постоянно за собою вывѣску (даже в праздник). Я распознавал marchands de couleurs по жирной, точно обмазанной керосином, кожѣ; у них особый, «изоляціонный» взгляд и голос; они злые. Торгующій грибами, — маленькій, нос пуговкой на умном сѣро-буром лицѣ. Женщина в круглой шляпѣ с цвѣтком, пышногрудая, продает фрукты, сама подобная сочной сливѣ или грушѣ дюшес. Возлѣ церкви озабоченно сновали старушки, похожія на жучков. Онѣ в курсѣ многих дѣл нашего околодка: родов, панихид, браков, крестин (знают наизусть мѣсячные сроки и могут сообщить кто — запоздал). Тут гдѣ-то сзади мы пользовали беременную. Не могла родить: пришлось по частям вынимать, распиливать плод. Но предварительно позвали кюрэ и он, капнув на чрево матери водою, окрестил плод, — распахнув таким образом перед ним узкія, евангельскія врата. По дорогѣ я пріобрѣтал фрукты, сыр, бисквиты, хлѣб, яйца (в зависимости от сезона и моего положенія: квартировал ли я у Бира или только являлся на часы); разсовав пачки по карманам, — в портфель, — и выпятив грудь, приняв, по возможности, солидную осанку, сворачивал в боковую улочку, — мелочных лавочек, цирюльников, молочных и аптечных складов (гдѣ пріютилась клиника). Бодро

ступал под испытующими взглядами торговцев разных мастей. Они подозрѣвали, что я закупаю провизію и сверлили глазами мои оттопыренные, — инструментами? — карманы. Я не мог покупать у них: «пожалуйста четвертушку масла, — какой ты послѣ этого доктор!» — учил Бир. В праздник (или ночью), опившись, обожравшись — (или так, безпричинно: «только что легли, я говорю мужу: ты не чувствуешь ничего страннаго?») — ударом кулака низвергнется вдруг боль. И бѣгут в «клинику». Это меня подняли с постели, когда М-лль Ролан не могла отдать мочу. А на Троицу, чѣм свѣт позвали к Рею, — ломят суставы (подлец скрывал нѣкоторые эпизоды из своего прошлаго). У порога лавки (москательная) стоит хозяин . . . . . С тѣх пор при встрѣчѣ она, бѣдняжка, мучительно конфузится, — зная, вѣря однако, что все правильно, так и нужно; муж однако, — судя по мрачному, задумчивому взгляду, которым он меня провожал, — начинал сомнѣваться. Напротив, магазин «tout un peu»; здѣсь я лѣчил мальчишку, — зеленаго, тщедушнаго, — от глистов. Мальчик неожиданно превратился в кавалера, носился на щегольском велосипедѣ, слонялся в обнимку с барышнями, а я все помню зелень, чахлую грудь, глисты (и тот не забыл: ежится, избѣгает меня); а мать его скоропостижно скончалась к вящей моей славѣ: лѣчилась у другого. Я пробѣгал суровый, знающій секреты, окунаясь во всѣ эти пересѣкающія улицы холодныя и теплыя теченія, лавируя, — и кто бы мог подумать, что я внутренне содрогаюсь, ерзаю, воплю. Но чѣм виновнѣе и мельче я себя чувствовал (казалось, хозяин москательной непремѣнно меня изувѣчит), тѣм почтеннѣе, внушительнѣе становился я с виду, — без всякаго усилія, даже против воли, терзаясь этим; так шуллера, иногда дипломаты, автоматически пріобрѣтают подчеркнуто благородную осанку. Улица, — в 30 номеров, — вся занята лавками и складами, будто арсенал, питающій цѣлый рабочій округ. Сначала казалось: хаос, безсмыслица, почему 5 бакалейных, а всего 2 винных дѣла. Но потом я узнал: строгій порядок царит в этом распредѣленіи, закон механики регулируют его.

Так один (лишній) магазин то закрывался, то перекрасившись, снова отворял двери. Несчастные предприниматели все перепробовали: галантерея, колбаса, T.S.F., бистро, — очередное разореніе. Нельзя вклиниться, — подѣлено. Могли еще побѣдить, — творческая идея или большія деньги. Клиника расположена в концѣ на перекресткѣ трех улочек и тупика (гдѣ в дождливыя сумерки запѣла однажды Лоренса). Хозяин, Д-р Бир, начал блестяще карьеру добытчика. Но прошло лѣт 15, — и надорвался: кишка тонка. Все производило впечатлѣніе крѣпко построеннаго, а разсыпалось, — непостижимо легко. Жена ушла к другому, на этот раз «по любви» (женился Бир по расчету), дочь в пансіонѣ, сам он заболѣл уремiей. Приѣлось ли ему или зашевелилось другое, серьезное, только он вдруг перестал жадничать, забросил работу, лѣниво искал компаньона, покупателя: хотѣл уступить (раньше дорожился, — теперь рад бы подешевле). Квартиру над клиникой собирали с нѣжностью, с расчетом на вѣчность, а теперь запущенная, она пахнет старостью, неудачей.

В. С. Яновскій.

ГЛИНКА

(Глава из книги «Пятеро и Другіе»).

II.

Стасов смотрѣл на Глинку влюбленными глазами. Хотя Михаил Иванович сильно обрюзг к этому времени и выглядѣл старше своих 50-ти с хвостиком лѣт, но внутренняя легкость, какая-то моцартовская легкость генія была в его повадкѣ, голосѣ, в свѣтѣ маленьких глаз, во всем его существѣ. Этот контраст внѣшней тяжести и внутренней легкости поражал и очаровывал. Он писал в это время по настоянію Стасова свои воспоминанія и, может быть, потому охотно, в дружеской компаніи, за рюмкой «церковнаго», возвращался к своему прошлому. Разсказы его были красочны, полны наблюдательности и благодушнаго юмора. Стасов слушал его, не переводя дыханія, впитывая в себя, как губка, каждое слово.

С самаго рожденія Глинка был барское, помѣщичье дитя. Он родился в деревнѣ и почти с первых дней попал на воспитаніе к бабушкѣ, старой и хворой женщинѣ. Он был золотушным, нервным ребенком, и бабушка, дрожавшая над ним, взяла его вмѣстѣ с нянькой и кормилицей в свою спальню, гдѣ зимою всегда было жарко натоплено, форточка отворялась в самых крайних случаях. Гулять Мишеньку выпускали только лѣтом в теплую погоду, его поили чаем с густыми сливками, откармливали всякими сдобными булочками. Бабушка, взявши внука в полное свое обладаніе, баловала его свыше мѣры, и если бы в мальчикѣ не было прирожденнаго «благонравія» то из него легко вышел бы нравственный урод. Но, не испортив его морально, эти годы, проведенные в тепличной атмосферѣ, изнѣжили его организм. Всю жизнь Глинка страдал от всевозможных болѣзней, дѣйствительных и воображаемых, и только на югѣ чувствовал себя нѣсколько лучше.

Как всѣ музыкально одаренные люди Глинка помнил о своих ранних впечатлѣніях от звуков. В дѣтствѣ он любил колокольный звон и подражал ему на мѣдных тазах. Его дядя, жившій неподалеку от их усадьбы, присылал им при торжественных оказіях свой крѣпостной оркестр. Оркестр этот играл танцы, всякіе экосезы и матрадуры, но маленькій Миша не хотѣл танцовать. Он все стоял близ оркестра и слушал, как зачарованный, или же сам на скрипкѣ, или маленькой флейтѣ «пикколо» поддѣлывался под оркестр посредством тоники и доминанты. За ужином играли русскія пѣсни, переложенныя на 2 валторны, 2 флейты, 2 кларнета и 2 фагота, и грустно нѣжные звуки этих пѣсен опредѣлили, казалось ему, его будущій путь. «Однажды, разсказывал он, — когда я был на десятом или одиннадцатом году, играли квартет Крузеля с кларнетом, и эта музыка произвела на меня непостижимое, новое и восхитительное впечатлѣніе; я оставался цѣлый день потом в каком-то лихорадочном состояніи, был погружен в неиз'яснимыя, томительно-сладкія ощущенія, и на другой день во время урока рисованія был разсѣян. Учитель, замѣтя, что я рисовал уже слишком небрежно, неоднократно журил меня, и наконец, догадавшись в чем дѣло, сказал, что он замѣчает, что я все только думаю о музыкѣ. «Что же дѣлать? — отвѣчал я, — музыка — моя душа!».

Очень рано его стали учить на фортепіано и на скрипкѣ, но он больше всего любил оркестр. «Из оркестровых піес — вспоминал он — послѣ русских пѣсен я предпочитал увертюры «Ma tante Aurore» Буальдье, «Lodoiska» Крейцера, «Les 2 aveugles» Мегюля. Чех Гировец мнѣ весьма не понравился, отчасти потому, что я находил его сонаты слишком длинными и запутанными, а еще болѣе по той причинѣ, что онѣ были очень плохо напечатаны, и в пасмурные дни я плохо разбирал эту музыку, за что нерѣдко доставалось мнѣ карандашом по пальцам».

Впрочем, наказывать его было трудно. Как большинство музыкально одаренных дѣтей, был он нрава кроткаго и мечтательнаго. С дѣтства он был окружен женщинами и подругами

его игр были его младшая сестра и дочка его няни. Словно тѣ души, которым суждено воплотить на землѣ «небесные» и «ангельскіе» напѣвы, с дѣтства отмѣчены кротостью, женственной слабостью...

В деревнѣ Глинка прожил до 13 лѣт, когда его в каретѣ, обшитой внутри мѣхом, отвезли в Петербург и отдали в «Благородный пансіон», одно из открывавшихся тогда «средневысших» учебных заведеній, каким был и Пушкинскій «Лицей». Окончив его, дѣти дворян могли, не идя в Университет, поступать на гражданскую службу. К счастью, и в училищѣ Глинка продолжал занятія музыкой у хороших учителей. С особенной любовью он вспоминал Карла Мейера. В день выпуска из Пансіона вмѣстѣ с Мейером играли они публично а-моль-ный концерт Гуммеля на двух роялях. Хуже обстояло дѣло с уроками скрипки: «Klinka, vous ne chouerez chamais le fiolon!», говорил ему учитель. Училище с его товарищами и дисциплиной не измѣнили женственной мягкости натуры Глинки. Выросшій среди женщин, он всегда тянулся к ним, и всю жизнь поэтическая женская дружба сливалась для него с музыкой. По большей части это были отношенія сентиментальныя, романтическія, на самой границѣ между дружбой и любовью: женщины и молодыя дѣвушки рѣдко влюбляются в таких юношей, что сами как «красная дѣвица» и смотрят на них с поверхностной нѣжностью, почти как на подруг, с которыми пріятно болтать и музицировать, но не больше. Глинка любил вспоминать какую то красивую барышню, которая играла на арфѣ и пѣла и для которой он впервые стал сочинять. «Это был настоящій, звонкій, серебрянный сопрано, и она пѣла естественно и чрезвычайно мило. Ея прекрасныя качества и ласковое со мной обращеніе (она звала меня племянничком, а я ее тетушкой) расшевелили мое сердце и воодушевили мое воображеніе. Она любила музыку, и часто, цѣлые часы сидя подлѣ фортепіано, когда я играл с дядею, подпѣвала нам в любимых мѣстах своим звонко серебряным голосом ... Желая услужить ей, вздумалось мнѣ сочинить варіаціи на любимую ею тему C-dur из оперы Вегля «Швейцарское семей-

ство». Вслѣд затѣм написал я варіаціи для арфы и фортепіано на тему Моцарта Es-dur. Потом собственнаго изобрѣтенія вальс для фортепіано F-dur; это были первыя мои попытки в сочиненіи, хотя я и не знал генерал-баса».

Окончив курс Пансіона первым, 18-лѣтній Глинка поступил на службу. Но сладкій яд искусства все сильнѣе отравлял его. Служил он небрежно и начальство не раз рекомендовало ему бросить пустое занятіе музыкой. Родные, однако, смотрѣли на его музицированіе снисходительно. Оно имѣло положительную сторону: благодаря ему их Мишель стал вхож в великосвѣтскія гостинныя, гдѣ дамы и дѣвицы играли на арфѣ и распѣвали итальянскія аріи. Сам он тоже стал учиться пѣнію у итальянца Беллоли. От времени до времени, для дамы или барышни, сумѣвшей плѣнить его сердце, он что-либо сочинял. Это необычное для дворянина занятіе, напротив, безпокоило его родных. Один из них убѣждал молодого человѣка, что «талант исполненія на фортепіано кромѣ собственнаго удовольствія может доставить ему пріятныя и полезныя знакомства, но от композиціи кромѣ зависти, досад и огорченія ничего не должно надѣяться». «Я отчасти извѣдал справедливость его слов», со смѣхом говорил Глинка.

В эти годы все сильнѣй мучили его разныя нервныя и золотушныя явленія. Служба, болѣзни, свѣтскія обязанности — не позволяли развиться его таланту. К счастью, он вышел в отставку из-за каких-то непріятностей по службѣ. Это было в 1828 году, а еще через два года усилившіяся страданія заставили его осуществить свою старую мечту о теплой и прекрасной Италіи. Глинка уѣхал заграницу.

Цѣль его поѣздки была двойная: поправить здоровье и подвести фундамент под свою композиторскую работу; лѣчиться и учиться. В сущности, ему не удалось ни то, ни другое. И в Италіи он продолжал страдать от нервических припадков, от обмираній, порою буквально катался от боли по полу. Не нашел он и нужных ему учителей. Только в пѣніи усовершенствовался он в странѣ пѣвцов, о которых он говорил, что они похожи на пѣвчих птиц с дурным вкусом. У них на

учился он их замѣчательному мастерству, и знаніе человѣческаго голоса и его возможностей пригодилось ему впослѣдствіи. В общем пребываніе в этой свѣтлой, поющей, красочной странѣ («O, Dio! che tinte!» не раз восклицал он в Италіи) оказало на него свое дѣйствіе, как на многих сѣверных художников: оно раскрыло свѣтлыя стороны его духа. Настоящаго учителя нашел он не там, а уже на пути в Россію, в Берлинѣ. Как это часто бывало в его жизни, и это событіе оказалось связанным для него с новым женским именем и сердечным увлеченіем. Учителем его стал нѣмец Ден. «Он теперь первый музыкальный знахарь в Европѣ, — говорил Михаил Иванович. — В Берлинѣ я встрѣтился с учителем пѣнія Тешнером. Он меня познакомил со своей ученицей Маріей. Ей было лѣт 17, она была нѣсколько израильскаго происхожденія, высокаго роста, но еще не сложилась; лицом же очень красива и походила на Мадонну. Я начал учить ее пѣнію и написал для нея этюды; из одной из них (Глинка говорил в женском родѣ «этюда») — впослѣдствіи я аранжировал еврейскую пѣсню для «Князя Холмскаго». Почти ежедневно я видѣл Марію и нечувствительно почувствовал (Михаил Иванович именно так и говорил: «нечувствительно почувствовал») к ней склонность, которую и она, кажется, раздѣляла (Глинка почему-то умалчивал о том, что дѣло чуть не кончилось браком его с прекрасной еврейкой). — Впрочем — я отвлекаюсь... Тешнеру я обязан и знакомством с Деном. Я учился у него около пяти мѣсяцев; он задавал мнѣ писать трех, а потом четырехголосныя фуги, или, лучше сказать, скелеты, экстракты фуг без текста, на темы извѣстных композиторов, требуя при этом соблюденія принятых в этом родѣ композиціи правил. Он собственноручно написал мнѣ науку гармоніи или генерал-бас, науку мелодіи или контрапункт и инструментовку; все это в 4 маленьких тетрадках... Нѣт сомнѣнія, что Дену обязан я болѣе всѣх других моих маэстро: он не только привел в порядок мои познанія, но и идеи об искусствѣ вообще, и с его лекцій я начал работать не ощупью, а с сознаніем. Притом он не мучил меня школьным систематическим образом; напротив, почти

каждый урок открывал мнѣ что-нибудь новое, интересное... Пять мѣсяцев с Деном было недостаточно, чтобы стать строгим контрапунктистом. Но, может быть, оно и лучше: строгій нѣмецкій контрапункт не всегда полезен пылкой фантазіи». И Михаил Иванович с дѣтским заразительным смѣхом разсказывал, как мучил его в Италіи миланец Базили, задавая головоломныя контрапунктическія задачи, чтобы, как он выражался, «sotillizzar l'ingegno!». Но Глинка рѣшительно не хотѣл «переутончать свою изобрѣтательность».

Неожиданное извѣстіе о смерти его отца заставило его возвратиться в Россію, не дослушав курса у Дена. Но он недолго бы оставался на родинѣ, если бы не новое увлеченіе, на этот раз серьезное. Михаил Иванович неохотно вспоминал о своем бракѣ: он окончился тягостным расхожденіем. Плѣнившая его золотокудрая головка (в первый раз он увидал ее, когда горничная расчесывала ея пышные золотые волосы) была пустенькой. Она так мало понимала мужа, что была способна жаловаться, что Мишель слишком много денег тратит на нотную бумагу, а о степени ея музыкальнаго развитія можно было судить по слѣдующему глинкинскому разсказу: «у графа Віельгорскаго исполняли постом 7-ую симфонію Бетховена, необыкновенно удачно. Послѣ адажіо профессор музыки в театральном училище, Soliva — отличнѣйшій теоретик, подпрыгнул, воскликнув: «e una cosa che fa stupore!». А я был так встревожен сильным впечатлѣніем, произведенным на меня этой непостижимо превосходной симфоніей, что когда пріѣхал домой, то Марья Петровна спросила у меня с видом участія: «что с тобою, Мишель?» — «Бетховен!» отвѣчал я. — Что же он тебѣ сдѣлал?» и я должен был об'яснить, что слышал превосходную музыку».

III.

Однажды, когда они вдосталь наигрались в восемь рук с Глинкой, Сѣровым и братом Митей, Стасов навел Михаила Ивановича на воспоминанія о героической порѣ сочиненія

«Жизни за Царя». Они сидѣли еще за фортепіано, свѣт кенкетов золотился в полутьмѣ, отражаясь на черном лакѣ инструментов и Глинка ровным, негромким голосом разсказывал об этих счастливых днях: «я жил тогда домосѣдом, склонность моя нечувствительно усиливалась, я постоянно посѣщал вечера Василія Андреевича Жуковскаго. Он жил в Зимнем Дворцѣ и у него еженедѣльно собиралось избранное общество — Пушкин, князь Вяземскій, Гоголь, Плетнев... Когда я из'явил свое желаніе приняться за русскую оперу, Жуковскій предложил мнѣ сюжет Ивана Сусанина. Он хотѣл сам писать слова и для пробы сочинил стихи: «Ах, не мнѣ бѣдному, вѣтру буйному» (из тріо с хором в эпилогѣ). Но занятія не позволили ему исполнить этого намѣренія, и он сдал меня в этом дѣлѣ в руки барона Розена, усерднаго литератора. Мое воображеніе однако же предупредило либреттиста; как по волшебному дѣйствію вдруг создался и план цѣлой оперы, и мысль противопоставить русской музыкѣ — польскую; наконец, многія темы и даже подробности разработки, все это разом вспыхнуло в головѣ моей.

— Как же работал барон? спросил Митя Стасов, весело подмигивая друзьям. Всѣ они уже знали разсказы про барона Розена.

«Ему было не мало труда, — охотно отвѣчал Глинка, поддаваясь на удочку — приходилось поддѣлывать слова под уже готовую музыку, требовавшую иногда самых странных размѣров. Но он был на это молодец: назначишь, бывало, столько-то стихов, такого-то размѣра, двухсложнаго, трехсложнаго, и даже небывалаго — ему все равно, — придешь через день, уж и готово. Жуковскій для шутки говорил, что у барона по карманам разложены вперед уже заготовленные стихи, и мнѣ стоило сказать, какого сорта, то-есть размѣра, мнѣ нужно и сколько стихов, он вынимал столько каждаго сорта, сколько слѣдовало, и каждый сорт из особеннаго кармана... Не скрою, что мысль извѣстнаго тріо была слѣдствіем безумной тогдашней моей любви; минута без невѣсты моей казалась мнѣ невыносимою и я дѣйствительно чувствовал вы-

сказанное мною в Adagio или Andante «не томи меня, родимый», которое я написал уже лѣтом в деревнѣ.

«Я женился в апрѣлѣ того же 1835 года.Кстати, знаете, какую эпиталаму преподнес мнѣ милѣйшій Розен в видѣ слов для моего квартета:

Так ты, для земного житья,
Грядущая женка моя!

Его никак нельзя было убѣдить, что тут не все ладно... «Ви не понимайт! Это сами лючшій поэзія!» повторял упрямый барон.

«Да, сердце ожило и музыка моя воскресла, как я писал тогда покойной матушкѣ. Мы уѣхали в деревню. Со мной были слова для двух актов, и я помню, что гдѣ-то за Новгородом, в каретѣ вдруг я сочинил хор: «Разгулялася, разливалася вода вешняя по лугам». Подробности деревенской жизни исчезли из моей памяти; знаю только, что я прилежно работал, то-есть у п и с ы в а л на партитуру уже готовое и заготовлял вперед. Ежедневно утром садился я за стол в большой и веселой залѣ в домѣ нашем в Новоспасском (это была наша любимая комната); сестра, матушка, жена, одним словом, вся семья там же копошилась, и чѣм живѣе болтали и смѣялись, тѣм быстрѣе шла моя работа. Время было прекрасное, и часто я работал, отворивши дверь в сад, и впивал в себя чистый бальзамическій воздух».

Смутно, но твердо Глинка чувствовал, что совершает подвиг созданія русской музыки. Еще из Италіи он как то писал, что не только ищет для оперы національно-русскаго сюжета, но хочет, чтобы сама музыка в ней была національна. «Я хочу, чтобы мои соотечественникки были в моей оперѣ как дома и чтобы иностранцы не принимали меня за ворону в павлиньих перьях!» Да, он искал р у с с к а г о оперенія и нашел его и оно засверкало лучше павлиньяго. Ему давно

уже надоѣло итальянское Sentimento brilliante. «Мы жители сѣвера чувствуем иначе — говаривал он — у нас или неистовая веселость, или горькія слезы. Любовь всегда соединена у нас с грустью». У него самого она соединена была с радостью творчества.

Когда он представил «Жизнь за Царя» в дирекцію Императорских театров, ее приняли (не без колебаній), но под тяжелым условіем: он навсегда должен было отказаться от авторских прав. Начались репетиціи. На одной из них присутствовал Император. «Доволен ли ты моими артистами?» спросил Николай. Глинка отвѣчал, как тонкій психолог: «в особенности ревностью и усердіем, с которым они исполняют свои обязанности». Отвѣт чрезвычайно понравился Государю.

Когда Михаил Иванович вспоминал о первом представленіи своей оперы, которую теперь он пренебрежительно -ласково называл «моя старуха», но которая тогда сливалась для него с прелестными чертами его молодой жены, голос его слегка дрожал от волненія. Это был тріумф, единственный безпримѣсный успѣх в его жизни. Уже на репетиціях за Польскій в c-dur и хор d-dur, гдѣ пиччикато струнных подражает балалайкам, музыканты, положив смычки, зааплодировали. Это одобреніе было ему цѣннѣе, чѣм восторги профанов. На послѣдней репетиціи он не присутствовал из-за болѣзни, а на премьерѣ сидѣл в ложѣ второго яруса. Театр весь блистал мундирами, брилліантами, орденами. В первом актѣ аплодировали тріо. Послѣ сцены поляков публика молчала. Композитор забезпокоился и даже пошел за сцену. Но молчаніе оказалось только патріотическим, антипольским. Потом дуэт двух изумительных пѣвцов: Петрова (Сусанина) и Воробьевой, разсѣял всѣ сомнѣнія. Глинка был как в чаду. Его позвали в царскую ложу, Николай его благодарил, дамы ему улыбались. На другой день ему прислали от царя перстень с топазом и брилліантами, не слишком дорогой, тысячи на четыре рублей ассигнаціями. Все же он был не генерал, а композитор!

Успѣх этот был, однако, не чисто художественный, но и патріотическій. Для «свѣта», для высшаго общества музыка

Глинки была кучерская музыка, de la musique pour cochers. Пресса, тогда малочисленная, на оперу никак не отозвалась. Только в «Сѣверной Пчелѣ» появилась восторженная статья кн. Одоевскаго и отвѣтная ему, отрицательная Булгарина. Но кто же считался с Фигляриным! Друзья Глинки, литераторы круга Жуковскаго, хотя и не любили (кромѣ Одоевскаго) музыки, хоть втайнѣ и считали ее черезчур шумной соперницей их собственнаго нѣмого искусства, однако искренне радовались успѣху милаго, «своего» Михаила Ивановича. За обѣдом у Всеволожскаго за голубой чашей пунша пѣли они хором, немного фальшивя, круговую пѣсню, сочиненную по куплетам Пушкиным, Віельгорским, кн. Вяземским и Жуковским и положенную на музыку кн. Одоевским.

— Пой в восторгѣ русскій хор
Вышла новая новинка.
Веселися, Русь! наш Глинка
Уж не Глинка, уж не Глинка, а фарфор!

Это был куплет Пушкина.

IV.

Изрѣдка, когда Михаил Иванович был в добром расположеніи духа, его молодые друзья просили его спѣть им. Он садился за фортепіано, откидывал назад свою короткую фигурку, пѣл, сам себѣ акомпанируя и изрѣдка сбоку, из под очков взглядывая на слушателей. Он пѣл отрывки из своих опер, иногда какую-нибудь итальянщину. Если он был в настроеніи, его уже не надо было упрашивать, он пѣл, не вставая от фортепіано, порой до четырех часов ночи. Голос у него был средній между тенором и баритоном, не особенно красиваго тембра, но все было так вѣрно и выразительно, что, кажется, даже дивный голос Петрова не замѣнил бы этого сипловатаго голоса. Когда он пѣл свои собственные романсы, хотя тексты их были очень неравнаго качества, слушателями овладѣвало странное чувство сотворчества, словно на их глазах, как отклик их собственному волненію создавались эти

мелодіи, пѣли о мгновенной радости и о мгновенном горѣ. «Это лучше Шуберта», думал Стасов. Ему казалось, что пѣсни эти еще хранили истому и нѣгу создавшаго их творческаго лона; что онѣ тут же рождались из горла этого плотнаго человѣчка и рвались в небо!...

V.

Успѣх «Жизни за Царя» словно окрылил Глинку, ему как хлѣб насущный нужен был горячій воздух сочувствія. Он тотчас же принялся за вторую оперу на сюжет пушкинскаго «Руслана». Но ему уже не удалось закончить ее так быстро, как первую: он работал над нею цѣлых шесть лѣт. Косвенно успѣх принес ему и матеріальное обезпеченіе: Николай назначил его завѣдующим придворной капеллой. «Глинка — сказал ему царь — я имѣю к тебѣ просьбу и надѣюсь, что ты не откажешь мнѣ. Мои пѣвчіе извѣстны по всей Европѣ, слѣдственно, стоят, чтобы ты занялся ими. Только прошу тебя, чтобы они не были у тебя итальянцами». «Высокомилостивыя» слова так смутили бѣднаго композитора, что он не произнес ни слова и отвѣчал царю нѣмыми почтительными поклонами.

Но успѣх имѣл и обратныя стороны: новая должность отнимала у него много времени, отвлекая от композиціи. Круг его знакомых расширился и он стал вести образ жизни «разгонной почтовой лошади». Его повсюду приглашали, всюду он должен был играть и пѣть. Словом он был в модѣ и порой у него не было времени даже для сна.

Как всегда, было у него много увлеченій. Молодая вдова княгиня Щербатова, та самая, которой Лермонтов посвятил чудные стихи, часто приглашала его обѣдать, обѣщая «порцію луны и шубки». Это значило, что княгиня зажигала для него в гостинной круглую люстру из матоваго стекла и уступала ему свой легкій соболій полушубок. Княгиня была «чрезвычайно увлекательная женщина», однако сердце Глинки по обыкновенію удержалось в предѣлах поэтической дружбы. Сколько было у него в жизни этих «порцій луны и шубки!»

Сильнѣе было другое платоническое увлеченіе тою, которую он называл только иниціалами Е. К. (Стасов знал, что это была Екатерина Керн, дочь пушкинской, той, которой он посвятил «Я помню чудное мгновенье» и которую называл «вавилонской блудницей»). Керн была некрасивой, чахоточной дѣвушкой с одухотвореннымъ лицом, с румянцем, пылавшем на блѣдных щеках, с расширенными дикими глазами, как это бывает у чахоточных. Он быстро ее разлюбил, но эпизод этот ускорил его расхожденіе с женой. Расхожденіе было тягостным, жена долго не давала ему развода, всячески клеветала на него. Потом она вышла замуж, не имѣя развода, и ей грозило обвиненіе в двоемужествѣ. Все это было связано с судебной волокитой и явилось для Глинки тяжким душевным потрясеніем.

Но что-то помогло ему преодолѣть этот кризис, может быть, успѣх, или радость новой работы, или то и другое вмѣстѣ. Глинка, когда работал, был всегда в свѣтлом состояніи духа. А уже с весны 1841 года он почувствовал «необыкновенное расположеніе к сочиненію музыки». К веснѣ 1842 года новая опера была закончена и сдана директору Императорских театров. «Я вел тогда жизнь весьма пріятную — вспоминал Глинка — утром передѣлывал танцы и немногіе недоконченные номера из оперы; в двѣнадцатом часу утра отправлялся на репетицію в залы театра или театральную школу; обѣдал я у матушки, и проводил в семействѣ послѣобѣденное время; вечером обыкновенно ѣздил в театр, гдѣ оставался почти все время за кулисами. Когда я возвращался домой, сестра Ольга встрѣчала меня со смѣхом, и на вопрос мой: «чему ты смѣешься, Oline?» отвѣчала: «Вы пришли, значит смѣх будет!» Так уносилась жизнь.

«Руслан» был апогеем его творчества. Глинка, как умный художник, прекрасно понимал значеніе своего созданія. Он знал, что по сравненію с новой оперой блѣднѣла «Жизнь за Царя». Но до публики опера не «дошла». К пушкинской сказкѣ композитора привлекла пестрота ея картин и настроеній, дававшая простор его лирическому дарованію. К тому же сюжет

сказки дѣлал возможным ввести, как контраст к русскому, элемент восточный, а Глинкѣ, так же как Пушкину, было доступно проникновеніе в мір чужой національности. Впервые в европейской музыкѣ был дан подлинный, неподдѣльный Восток, воплощенный с небывалой силой. Но рядом с этим сказка Пушкина лишена драматическаго интереса. Переработкой ея в либретто хотѣл было заняться сам Пушкин, но он умер и это сдѣлали мало даровитые любители. Они отяжелили граціозную сказку, превратив ее в длиннѣйшую феерію, в которой, как правильно шутили тогда, в каждом актѣ кто то спит, и во всѣх — публика. Богатство и разнообразіе оперы сосредоточены в ея музыкѣ, увы, недоступной тогдашним слушателям по своей новизнѣ и глубинѣ. Для тѣх же, кто шли не только слушать, но и смотрѣть оперу (а таких было большинство), она казалась скучной и ее едва спасали балет, декораціи и костюмы, на которые дирекція не поскупилась.

«Руслана» поставили 27 ноября 1842 года, день в день через шесть лѣт послѣ «Жизни за Царя». «Когда послѣ окончанія оперы — вспоминал Глинка — опустили занавѣс, то начали меня вызывать, но аплодировали очень недружно, между тѣм усердно шикали и, преимущественно, со сцены и оркестра. Я обратился к бывшему тогда в директорской ложѣ генералу Дубельту с вопросом: «Кажется, что шикают; идти ли мнѣ на вызов?» — «Иди, — отвѣчал он — Христос страдал болѣе тебя». Царская семья уѣхала до окончанья спектакля. Великій князь Михаил Павлович шутил, что будет посылать на «Руслана» проштрафившихся офицеров вмѣсто гауптвахты. И даже друг Глинки и сам музыкант граф Віельгорскій, не стѣсняясь сказал композитору: «mon cher, c'est mauvais». Пресса отозвалась сдержанно, за исключеніем все того же кн. Одоевскаго. И все же опера выдержала 32 представленія за один сезон. Вѣроятно, это был успѣх любопытства к новому произведенію автора «Жизнь за Царя», и «роскошной» постановки. На другую зиму в Петербург пріѣхали итальянцы, и Рубини, Тамбурини, и дѣйствительно изумительная Віардо совершенно затмили русскую оперу. «Руслана» сняли с репер-

туара и это было глубокой душевной раной для Глинки. Он стремился бѣжать из Россіи, и при первой возможности, лѣтом 1844 года уѣхал заграницу.

Перед ним были тогда еще 12 лѣт жизни. Они прошли, промелькнули в скитаніях, в болѣзнях, в работѣ. Оперы он уже больше не сочинил, хотя и подыскивал либретто, начинал сочинять. Первым этапом новаго его пребыванія заграницей был Париж, который он любил, про который писал «славный город, хорошій город мѣстечко Париж». В этом «мѣстечкѣ» нравился ему уклад жизни, умѣренный и трезвый, без карт и безконечнаго хожденія в гости, и гдѣ однако и прогулки, и театры, и дружескія встрѣчи, и итальянская опера не давали ему скучать. Ему нравились француженки, но мужчин французов, «le Français mâle», он находил холодными, эгоистическими, поверхностными и продажными. Нигдѣ, по его мнѣнію, деньги не играли такой большой роли, как в Парижѣ.

Когда друзья разспрашивали его о знаменитых музыкантах, которых он встрѣчал заграницей, Глинка отвѣчал не слишком охотно. «Музыку Мейербера я никогда, даже в ранней юности не любил, но он всегда обращался со мной с чисто израильской услужливостью и любезностью. Мендельсона я встрѣтил мельком в Италіи. Ко мнѣ привел его Соболевскій. Я был болен, а он, полагаю, от не вполнѣ заслуженной репутаціи превосходнаго піаниста, принял со мной нѣсколько насмѣшливый тон. Я не играл, а он послѣ долгих убѣжденій сыграл Rondo в легком родѣ. В Парижѣ нѣкто Souza познакомил меня с Гектаром Берліозом, который в то время помышлял о путешествіи в Россію, надѣясь собрать жатву не одних рукоплесканій. Он обошелся со мною чрезвычайно ласково, чего не добьешься от большей части парижских артистов, которые невыносимо надменны. Я посѣщал его раза по три в недѣлю, откровенно бесѣдуя с ним о его сочиненіях; они мнѣ нравились, особенно в фантастическом родѣ». Берліозу тоже нравились произведенія его русскаго собрата. Он помѣстил о Глинкѣ двѣ больших и хвалебных статьи в Journal des Débats, которыя доставили удовольствіе Михаилу Ивано-

вичу. Орган этот был очень распространен и вліятелен и даже выписывался во всѣх петербургских кофейнях. Эти статьи, да еще статья Мериме было лучшее, что он когда либо прочел о себѣ в печати. Берліоз исполнил нѣсколько вещей Глинки в одном из т. н. «праздничных концертов», которые он давал в большом циркѣ на Елисейских Полях с двумя оркестрами и хорами в 360 человѣк. Но замѣчательная «Лезгинка» не понравилась слушателям, отчасти из за плохой акустики и расположенія оркестра, а также из за своей гармонической новизны и смѣлости. Вокальныя же вещи были исполнены плохо, пѣвица от волненія сбивалась и детонировала. Глинка организовал концерт цѣликом из своих произведеній. Но это стоило ему много денег, а успѣх был «успѣх почтенія», как говорят французы, успѣх перелетных птиц, des oiseaux de passage, ни к чему не обязывающій и не раздражающій мѣстных артистов, знающих, что заѣзжій композитор у них не засидится и не станет им конкурентом.

Но если Глинка любил Париж и не любил французов, то он все полюбил и словно вторую родину обрѣл в Испаніи. Тут ему нравилась природа, характер испанцев и, в особенности, музыка и танцы. Он не ожидал т а к о г о радушія, такого гостепріимства, такого благородства, какія встрѣтил. «Здѣсь — говорил он — деньгами дружбы не купишь и благосклонности не пріобрѣтешь, а ласкою все на свѣтѣ». И в музыкѣ он пожал здѣсь обильную жатву: его «Арагонская Хота» и «Воспоминаніе о Ночи в Мадридѣ» для оркестра так же замѣчательны и новы в области симфонической музыки, как Лист и Берліоз. Он первый из композиторов во всеоружіи современной гармоніи прикоснулся к сокровищницѣ испанской народной музыки, претворил ее в симфоническія произведенія.

Стасов восхищался новым, созданным им жанром, т. н. «симфоническими картинами», но удивлялся, почему творчество Глинки так ослабѣло количественно. Развѣ т а к работал в молодости создатель двух геніальных опер? Часто Стасов задавал себѣ вопрос, в чем тут дѣло? — и не находил отвѣта. Физическіе ли недуги мѣшали Глинкѣ или бездомный образ

жизни? или природныя барство и лѣность? Но нѣт! Глинка не был лѣнив, он умѣл и любил работать. С самаго дѣтства, когда он бывал чѣм-либо занят, он становился, по его выраженію, «мимозою-недотрогою» и весь погружался в работу, и даже присутствіе в той же комнатѣ близких людей не мѣшало ему. Барства было немало в его натурѣ, но сказывалось оно не в лѣни. оно было в его наружности, во всем его обиходѣ, в его отношеніи к женщинам. В Варшавѣ, Парижѣ, Мадридѣ и всюду его окружали молодыя гризетки. Ему было весело с ними, ему нравилась их легкая болтовня и веселый смѣх. А для них он был милый старикан, котораго онѣ не стѣснялись. А т. к. с возрастом дѣйствительныя и воображаемыя хвори все больше требовали ухода, то когда он не жил в Россіи с матерью или сестрою, он брал себѣ «нянь», выбирая молодых и хорошеньких, полуналожниц — полусестер милосердія. Сколько их промелькнуло в его жизни! Он любил вспоминать и о нянѣ-Теклѣ в Варшавѣ, доброй и услужливой, у которой был только один недостаток — приверженность к водкѣ, о парижанкѣ Леони или Нини. Двадцатилѣтняя андалузская цыганка Лола (Долорес) с маленькой ножкой и пріятным голосом училась у него пѣть и сама учила его испанскому пѣнію. Благовоспитанная и преданная ему француженка Аделина, некрасивая, но с прелестным выраженіем лица, сидя в первом ряду кресел на его парижских концертах, плакала от волненія, когда его вызывали. Обо всѣх он говорил с обычной своей ласковостью, не забывая называть их имена, освѣщая их мягким свѣтом, излучавшимся из него самаго, так что онѣ казались в его разсказах прелестными. Только одной он не назвал, она оставалась безыменной: может быть, потому что она еще была жива. Это была 18-лѣтняя крѣпостная горничная его сестры, веселая, молоденькая дѣвушка, которая так мило и смѣшно называла «Жизнь за Царя» — «наша опера». Но будучи русским барином в жизни, со всѣми недостатками своей среды и времени, в искусствѣ он был строгим и взыскательным мастером, который знал, что первый завѣт художника — быть всегда новым, идти вперед. Он говорил: «многіе упрекают

меня в лѣности, но с постоянным нервным разстройством, с тѣм строгим воззрѣніем на искусство, которое мною всегда руководствовало, нельзя много писать. Не повторяться так трудно, как Вы и представить себѣ не можете». Это ли язык барина-диллетанта!

VI.

Однажды утром Стасов пришел к композитору в непривычно ранній час. Еще с лѣстницы услышал он бархатные звуки молодого свѣжаго голоса любимой его ученицы Даши Леоновой, фортепіанный акомпанимент и затѣм недовольный голос маэстро: «нѣт, Даша, это мѣсто надо дать болѣе томно», и его сипловатый голос безподобно выразил предѣльную томность. Ему открыли и Глинка вышел к нему в переднюю и провел его в маленькую диванную близ спальной. Там, на круглом диванчикѣ краснаго дерева он просидѣл минут 10, слушая рулады Даши. В сосѣдней комнатѣ, раззадоренныя ею, звонко заливались канарейки. Наконец явился Михаил Иванович, веселый, в халатѣ, «настоящій толстый майор брюхан», говорил он, хлопая себя по ляжкам. «Простите, что заставил Вас ждать, милѣйшій барин Володимер Васильевич. Но надо было кончить урок с Дашей. Я передѣлал для нея нѣсколько романсов, переложил на два голоса с хором и оркестром Лермонтовскую «Молитву». Эти занятія развлекают меня, старика, и, авось, будут полезны и Дашѣ». Глинка пріоткрыл дверь в спальную. Канарейки умолкли. Множество птиц разных окрасок и размѣров, живших в раскрытых клѣтках, влетѣло в дверь. Онѣ садились на плечи, на голову к Михаилу Ивановичу: отношенія, видимо, были добрыя и прочно налаженныя. Солнце ярко било в окна, освѣщая приземистую фигуру в халатѣ и пестрых птиц, сидѣвших на его головѣ и плечах. «Погодите, я их раззадорю». Он взял скрипку и в отвѣт на его пиликанье птицы наполнили свистом и щебетом всю комнату. «Вот пѣночки, а вот это юла, а тот маленькій, сѣренькій — первый тенор di grazia моей капеллы. Он совсѣм ручной, и чѣм больше шума кругом, тѣм больше он заливается. «В чужбинѣ свято соблю-

даю родной обычай старины», — продекламировал Глинка. В день моего ангела, 21 мая, непремѣнно выпущу на волю весь мой крѣпостной оркестр». Стасов смотрѣл на эту сцену и думал, что и его старшій друг тоже пѣвчая птица, родившаяся на радость и забаву людям, и что его не выпустят на волю до времени... но что недалеко, может быть, время освобожденія.

VII.

Стасов принес Глинкѣ восьмиручное переложеніе нѣсколькихъ номеров «Жизни за Царя», сдѣланное Сѣровым. Глинка просмотрѣл ноты Сѣрова с истинным восхищеніем. «Никогда мнѣ самому не удалось бы переложить так хорошо, как нашему молодому барину, Александру свѣт Николаевичу, хоть я и сочинитель этой дребедени, а теперь совсѣм, как Вы упрекаете меня, забросил композицію и только и дѣлаю, что корплю над аранжировками старых своих вещей. Нѣт, у Александра Николаевича особый талант! Вот смотрю я на эти ноты и думаю: теперь «Жизнь за Царя» забросили, ставят в циркѣ, да и то лишь в табельные дни, или когда по болѣзни какого-либо пѣвца нельзя дать другую оперу (для моей же в с е сойдет, в с ѣ хороши!). Но я знаю, что опера не лишена значенія в анналах родного искусства, что бы там не писал заграницей пресловутый Рубинштейн, кстати сказать піанист еще худшій, чѣм Лист! Он взялся познакомить нѣмецкую публику с нашей музыкой и только напакостил нам всѣм, а о моей бѣдной старухѣ сказал, что она не удалась, ist gescheitert! А она вовсе не gescheitert, хотя, правда, в свое время значенія ея никто не понял; публика валом валила в театр, но печать отозвалась о ней с прохладцею. Кажется, что один только добрый друг мой Алексѣй Петрович Мельгунов понял ее и прислал мнѣ тогда же статейку о ней, да я, грѣшный человѣк, забыл в то время об этой статьѣ: очень уж был поглощен своей молодой женой, да молодой своей славою. У меня сохранился список, почитайте, Владимір Васильевич! Вы

вѣдь тоже критика рода человѣческаго, как выражается о Вас Ваша почтенная тетушка». Стасов взял пожелтѣвшіе, мелко исписанные листки и, когда вернувшись домой, стал разбирать их, то даже щеки порозовѣли у него от волненія, — такія это были современныя, насыщенныя правдой строки:

«В музыкѣ основные элементы: мелодія и гармонія, как в живописи рисунок и колорит. По этим элементам опредѣляются школы... Выразить во всѣх родах музыки, особливо в оперѣ, лирическую сторону основного характера русских — вот задача, которую принял на себя Глинка... Он не ограничился болѣе или менѣе близким подражаніем народному напѣву; нѣт, он изучил глубоко состав русских пѣсен, самое исполненіе их народом, эти вскрики, эти переходы от важнаго к живому, от громкаго к тихому, эти свѣтотѣни, неожиданности всякаго рода; наконец, особенную, ни на каких правилах не основанную гармонію и развитіе музыкальнаго періода; одним словом, он открыл цѣлую систему русской мелодіи и гармоніи, почерпнутую в самой народной музыкѣ»... И Мельгунов говорил о своей вѣрѣ, что вслѣд за Глинкой явится цѣлая русская школа музыки. Сердце Стасова билось. Его собственныя мысли смотрѣли на него с этих пожелтѣвших страниц. Русская школа музыки будет создана! За Глинкой придут другіе, и он, Стасов, должен ждать их и звать их к жизни!

VIII.

В эту зиму Стасов познакомился с двумя музыкантами, которые стали первыми апостолами новой музыки. Один из них, Даргомыжскій, был маленькій человѣк лѣт сорока, одѣвавшійся с претензіей на изящество в длинный коричневый сюртук с большим, бабочкой, артистическим галстуком. Цвѣт лица у него был сѣроватый, нездоровый; рѣдкіе волосы слегка вились на головѣ, маленькіе глазки глядѣли умно и насмѣшливо. Он ѣдко улыбался, говорил пискливым голосом, похожим на сопрано, бойко играл на фортепіано и сочинял оперы.

Даргомыжскій познакомился с Глинкой уже давно, когда он был еще совсѣм молодым человѣком. Несмотря на разнице лѣт они говорили друг другу «ты». Глинка поощрял молодого музыканта к сочиненію, старался сдѣлать из него заправскаго композитора, но немного опасался его безцеремоннаго подражанія себѣ. Слушая, как Даргомыжскій пѣл ему арію княжны из его еще не конченной «Русалки», он замѣтил: «однако, это что то смахивает на арію Гориславы!» — «Э, брат, —не смутившись отвѣчал Даргомыжскій, — тебя всѣ чужіе обкрадывают, так отчего же и своему не пощипать тебя немного?».

Глинка с большой проницательностью цѣнил народный и комическій элемент у младшаго друга. Он убѣждал его написать комическую оперу. Даргомыжскій на это обижался, очевидно считая комическое дарованіе болѣе низким по рангу. Вообще он относился к Глинкѣ со смѣсью зависти и восхищенія. Он завидовал ему, что его предпочитает его любимая ученица Любочка Кармалина и что Глинкѣ, а не ему достались успѣх и слава и первая любовь Россіи.

Другой музыкант, с которым тогда же познакомился Ста-сов, был 18-лѣтній фортепіанист и композитор Милій Балакирев. Его привез в Петербург из Нижняго помѣщик и любитель музыки У лыбышев. Этот У лыбышев был пріятель Глинки и любопытный человѣк; не просто барин диллетант, каким он казался многим, но образованный музыкант, писатель, издавшій по французски свою біографію Моцарта и подготовлявшій полемическій труд о Бетховенѣ. Его взгляды на Бетховена вызывали тогда всеобщее возмущеніе, но им нельзя отказать в оригинальности для того времени: Улыбышев считал, что с Бетховена начался період упадка классической музыки.

Когда Улыбышев привел к Глинкѣ своего молодого друга (это было на Рождествѣ, в сосѣдней комнатѣ еще догорали свѣчи на елкѣ Олечки), Глинка усадил его за фортепіано, заставил играть одного, а потом сам сѣл играть с ним в четыре руки и не мог надивиться его таланту. Сначала он старался быть усиленно любезным, чтобы пріободрить молодого чело-вѣка, который мог быть смущенным в обществѣ знаменитаго

композитора. Но в ободреніи, кажется, нуждался болѣе сам знаменитый композитор. По самоувѣренности и безаппеляціонности сужденій Балакирев напомнил ему тѣх разночинцев и поповичей, которые повылѣзли из всѣх щелей в послѣднее время. Но к нему лично он относился с почтительностью, знал наизусть чуть ли не всего «Руслана» и добрую половину его романсов. Молодой человѣк и сам сочинял и сыграл ему свою фантазію на два мотива из «Жизни за Царя», фантазію, нельзя было не сознаться, мастерскую.Сыграл он и «аллегро» из еще неоконченнаго концерта fis mol. Вскорѣ Балакирев выступил публично как піанист и композитор в Университетском концертѣ под управленіем Карла Шуберта, а в мартѣ 1856 года дал собственный концерт, одобрительно отмѣченный петербургской прессой. Очень хвалил его тогда среди прочих и Сѣров. Глинка не колеблясь предвидѣл и предсказывал, что из этого юноши выйдет большой музыкант. «Это будет второй Глинка» сказал он сестрѣ и просил ее только ему поручить музыкальное образованіе ея Олечки, когда придет пора учить ее музыкѣ. Однако порой он не без пріятнаго испуга терпѣл напористое, самоувѣренное поклоненіе своего послѣдователя. Улыбышев, который кромѣ книг по исторіи музыки переводил еще дубовыми виршами Данте, любил читать вслух свои переводы и Глинка, заливаясь слезами от смѣха, его цитировал:

«И рече дикобраз:
Я есмь многогрѣшный и злополучный дикобраз.
Одолѣвает лѣность плоть мою
И тупоуміе смущает дух мой!»

Это я дикобраз и лѣность одолѣвает плоть мою, то ли дѣло милые друзья мои Стасов и Балакирев!».

IX.

Время шло и Глинку снова стало тянуть заграницу. «Жизнь есть контрапункт — сирѣчь противуположность», — говаривал он. Эта противуположность, противорѣчивость была

и в его чувствѣ к Россіи. Это odi et amo, одновременно и притяженіе и отталкиваніе, раздѣлял он со многими, и не худшими, русскими людьми. Заграницей ему казалось, что только в Россіи может быть создана русская музыка. Живя в Россіи, он видѣл, что только в Парижѣ и Берлинѣ «сосѣд не знает про сосѣда и всяк живет по своему»; что только там можно спокойно работать... А заграницей, — его снова влекло домой. «Что может быть лучше домика с садиком, только домика за садиком» говорил он сестрѣ, т. е. гдѣ садик скрывал бы его от посторонних взоров. Но «домика» в Петербургѣ у него не было, жизнь все дорожала, ассигнаціи падали, знакомства не давали работать. Главное же мучило непризнаніе, недооцѣнка своих. Со стороны французов чего же было и ожидать? Но русскіе, тѣ, кому он открыл в музыкѣ их собственную душу?! Это была рана жгучая, незаживающая. Не в этом ли секрет его молчанія? думал порою Стасов. Теперь, живя на родинѣ, Михаил Иванович снова, как обычно жаловался, говорил, что для него не может быть счастья в Россіи. «Благодарю судьбу, что могу улетѣть из Россіи, гдѣ с моим характером и в моих обстоятельствах жить невозможно». И он рвался прочь из ненавистнаго, из гадкаго ему Петербурга.

Стасов «приставал» к своему великому другу так, как только он один умѣл это дѣлать. Он упрекал Глинку в лѣни, в неуваженіи к собственному генію. Почему он не пишет новой оперы? почему не создает національную систему гармоніи? Изученіе древней русской церковной музыки, ея сравненіе с религіозными мелодіями запада навело Стасова на мысль о значеніи древних церковных тонов или т. н. плагальных каденцій. Он находил их у всѣх композиторов в высшіе моменты творчества, особенно у Шопена. Это становилось своего рода «пунктом», от «плагальных каденцій» ожидал он дальнѣйшаго развитія музыки. Глинка не спорил, напротив, просил дать ему источники и руководства для работы. Но когда Владимір Васильевич предложил ему тома ученаго теоретика музыки Маркса, то он взмолился: нѣт, лучше и не пытаться штудировать Маркса, а ѣхать в Берлин к учителю юных лѣт

Дену, который с'умѣет об'яснить ему нѣмецкую премудрость. И Глинка словно молодѣл душой, воображал, как он снова сядет на студенческую скамью, как будет рано вставать, записывать задачи и примѣры, вести жизнь строгую и трезвую. «Было бы мнѣ дѣльно поработать с Деном над древними церковными тонами», писал он своему другу Энгельгардту, а пока что прилежно выписывал из «Обихода Церковнаго» старинныя мелодіи и перекладывал на три голоса ектенью обѣдни и «Да исправится». «Да, это будет уже не Сахар Медович Патокин-Бортнянскій», говорил он о своих будущих трудах. И Стасов радовался, что сподобился «подсадить вверх» самого Глинку.

X.

Приближался апрѣль, рѣшеніе об от'ѣздѣ было твердо принято. Он, как всегда в Петербургѣ, жил в домѣ у любимой сестры Людмилы Ивановны, своей, как он почему то ласково звал ее по молдавански, «милой куконушки». С самаго Рождества он все болѣл и почти не выходил из комнаты. Радостью и развлеченіем была для него его племянница, маленькая Олечка. Он мог без конца играть с ней на полу, на коврѣ, куда им давали еще и котеночка. Олечка фамильярно звала его «Мися» (без «дяди»), она, как всѣ женщины, чувствовала мягкую податливость его натуры и властно приказывала ему: «Мися, игляй», и снисходительно говорила, что «Мися послусный». Он пѣл с ней дѣтскія пѣсенки, а однажды Стасов застал его танцующим мазурку с ея няней, которая отдувалась и отбояривалась, как могла, а Олечка заливалась смѣхом и хлопала в ладоши. Уѣзжая, всего больнѣе было ему разставаться с Олечкой, но было немного жаль и «своей компаніи», их ночных бдѣній, безконечных споров с Сѣровым, быстраго бисера его рѣчи, когда он принимался выхваливать красоты «Руслана», какія и не снились самому автору. Жаль было и «любезнѣйшаго барина» Дмитрія Васильевича и безпокойнаго старшаго братца его Володимера, и пискливаго Даргуна, и

молодого из ранних Балакирева. В эти дни сочинил он послѣдній свой романс на слова Павлова:

«Не говори, что сердцу больно
От ран чужих!»

В послѣдній раз сѣл он за фортепіано и пѣл без конца, а когда дошел до цикла «Прощаніе с Петербургом» и спѣл стасовское любимое:

«Я пѣснь послѣднюю пою
И струны сердца разрываю»,

слезы перехватили ему горло, и слушатели тоже плакали. Каким молодым, еще полным юной вѣры и силы прощался он с Петербургом, когда писал эти романсы, и каким усталым, разбитым уѣзжал сейчас!

За день до от'ѣзда Стасов пришел к Людмилѣ Ивановнѣ и предложил снять портрет с ея брата. Послѣдняя литографія его очень уже устарѣла, она была сдѣлана 14 лѣт тому назад. Теперь Владимір Васильевич, любившій всякія новшества, предложил начавшій недавно входить в моду способ фотографическій. Людмила Ивановна обѣщала уговорить брата и свезти его к фотографу Левицкому. Стасов поѣхал предупредить фотографа. Глинка, хоть и не очень охотно, но согласился и к фотографу с'ѣздил.

Это было 26-го апрѣля. На 27-ое был назначен от'ѣзд. Друзья выхлопотали для композитора безплатную почтовую карету и почтальона, знакомый нѣмец-контрабасист, тоже ѣхавшій в Берлин, должен был сопровождать его. От'ѣзд был назначен на час пополудни. Присѣв раньше на минуту, по русскому обычаю, Глинка, Стасов и Людмила Ивановна перекрестились и сѣли в карету, чтобы ѣхать вмѣстѣ до заставы... У заставы Михаил Иванович вышел из кареты, горячо расцѣловался с сестрой, обнял друга. Потом отошел в сторону, плюнул на землю и сказал: «когда бы мнѣ никогда болѣе этой гадкой страны не видать!».

...От него приходили добрыя вѣсти. Он работал у Дена и был доволен своей работой. Мейербер окружал его вниманіем, ставил по его желанію оперы Глюка в берлинской оперѣ, исполнил его произведенія в концертѣ. На этом то концертѣ, выйдя разгоряченным на улицу, он простудился. Неожиданно пришла вѣсть о его кончинѣ.

Глинку отпѣвали в придворной церкви на Конюшенной, в которой отпѣвали Пушкина. Было мало народу, всѣ тѣснились в первых рядах полутемной церкви, и под возгласы священника и пѣніе хора беззвучно плакала, стоя на колѣнях, Людмила Ивановна. Стасов, понуря богатырскую голову, думал о сходствѣ подвига Глинки с подвигом Пушкина. Только у Пушкина были все же предшественники — Батюшков, Жуковскій, Державин, — а у Глинки никого, одно разливанное море народных пѣсен.

И еще он думал о том, что есть в жизни великих людей таинственный рок, ведущій их по трудным путям к их цѣли. Как часто Михаил Иванович жаловался, что его преслѣдует судьба. Но судьба не была для него только мачехой. Она послала ему дѣтство в деревнѣ, напоила, насытила его досыта русской природой и русскими звуками. Она привела его в Италію, без которой не разрядилась бы с такой силой скопившаяся в нем творческая энергія. Как Гете, как Дюрер впитывал он в себя ея солнце, дышал ея лимонами, слушал ея пѣвцов. Он узнал строгій нѣмецкій контрапункт, но в дозах не вредных русскому вдохновенію. Словно по волшебству влюбленность привязала его к Россіи в тѣ годы, когда родной воздух нужен был ему для созданія его оперы. Она освѣщала его путь мягкой женской дружбой, преданностью семьи и друзей. Нѣт, несмотря на всю чашу страданій и горестей, он был одним из любимых дѣтей Провидѣнія!

Мих. Цетлин.

ЗАВИСТЬ

Все яснѣй с разсвѣтом проступают
Нѣжные упреки голубей.
Голуби томятся и вздыхают,
В ласковой, любовной похвальбѣ.

Ты ж, растеряна и молчалива,
Нехотя встрѣчаешь яркій день.
В комнатѣ недвижимо почила
Скучная, нерадостная лѣнь.

Своего тебѣ осталось мало:
В горлѣ неглотаемый комок,
Сухость глаз, горячих и усталых,
Папиросы тоненькій дымок.

Вмѣсто неподвижности и страха
И тебѣ б немного полетать,
Потомиться, повздыхать, поахать,
Покувыркаться, поворковать.

В КРЕМАТОРІИ

Полувзглянув, предчувствіем томима,
Увидишь ты в пылающем окнѣ:
Хватаясь за невѣрный облак дыма
Мертвец вскочившій мечется в огнѣ.

Ужасное, знакомое видѣнье!
Я узнаю до жутких мелочей
Свое отчаянье и изступленье,
И дымный, вѣроломный облик... Чей?

Х. Кротков

НАСТРОЕНІЯ

Мнѣ родственны птицы с их радужным пѣньем,
Мнѣ мил этих флейт перелив!
Я тоже пою, и лучистым волненьем
Воздушно-крылат мой порыв.
Увы, я бываю доступен унынью,
И вот мои пѣсни такой
Порою насыщены горькой полынью,
Такой сѣроглазой тоской!

ВЕЧЕРНЕЕ МГНОВЕНЬЕ

Вечернее мгновенье
О чем то мнѣ поет.
Окутывает тѣнью,
Манит в волшебный грот.

Смутнѣе очертанья
Деревьев и домов,
И огоньков миганье
Краснорѣчивѣй слов.

Леонид Опалов.

***

В эти дни прерывисто и скупо
Вспоминаю дни, часы, года.
Степь в дыму за лошадиным крупом,
За кормой кипящая вода...

Дальше — пролетѣли голубями
Годы и мое житье-бытье,
Над парижскими моими днями
Всходит имя трудное твое.

Было горе, горечь и обиды,
Много дней я вспоминаю вновь,
Но теперь мнѣ издалека видно,
Что всего сильнѣй была любовь.

Помнишь, как смотрѣли мы с тобою
На ночное зарево небес.
Помнишь, как шумѣл над головою
И весенній и осенній лѣс.

Как мы слушали и узнавали
Старый колокол у Сен-Сюльпис
Помнишь, в снѣжной тишинѣ Версаля
Падая скользил озябшій лист.

И еще, недалеко от Шартра —
Хлѣб тяжелый у дорог пустых.
С сыном на перегонки с азартом,
Помнишь, со всѣх ног пустилась ты.

А Нормандія цвѣты и травы
Разсыпала, как ковер у ног.
Сколько было зелени кудрявой,
Сколько было яблонь у дорог.

Как смуглѣли руки от загара,
Крѣпнул от вѣтров и солнца стан.
Голубая быстрая Луара
Уносила нас на океан.

Радость жизни зажигала взоры,
Знойный вѣтер кожу обжигал,
Вѣдь еще вчера — лѣса и горы,
Море билось у бретонских скал.

Этот воздух странствій и свободы
На прекраснѣйшей из всѣх планет...
Вспоминаю дни, часы и годы,
Что сгорают навсегда в войнѣ.

Париж. **Юрій Софіев.**

Тяжела рѣзная дверь собора,
Вѣтер жесткій руки заломил. —
Вот он стынет сумрачным узором,
Вот он ход судьбы остановил.

И, склонившись над плитой надгробной,
Грустный ангел навсегда простер
Крылья безупречныя в огромный,
Громом угрожающій простор.

Anno Domini... В туман столѣтій
Скрылось имя, — в трещинах плита.
И над смертью — в разноцвѣтном свѣтѣ —
Каменная, пышная тщета.

Кто он был? Разбойник неизвѣстный,
Иль монах угрюмый и святой,
Обольщенный силою чудесной?
Или просто рыцарь рядовой?

Чуть мерцает на цѣпи лампада,
На вѣнцѣ безцѣнном меркнет свѣт.
А во внѣ пылает лампа ада,
И земному мѣста больше нѣт.

Марія Толстая.

***

Мы плѣнники, здѣсь, мы безсильны,
Мы скованы роком слѣпым,
Мы видим лишь длинный и пыльный
Тот путь, что приводит к чужим.
И ночью нам родина снится,
И звук ея жалоб ночных —
Как дикіе возгласы птицы
Птенцов потерявшей своих,
Как зов, замирающій в черных
Осенних туманных садах,
Лишь чувством угаданный. В сорной
Травѣ и в прибрежных кустах,
Затерянный, но драгоцѣнный,
Свѣт мѣсяца видится мнѣ,
Деревья и бѣлыя стѣны
И тѣнь от креста на стѣнѣ.
— Но меркнет, и свѣт отлетает.
Я слѣпну, я глохну — и вот
На сѣверѣ туча большая
Как будто на приступ идет.

Юрій Терапіано.

Париж, **1940.**

ПОЛОЖЕНІЕ НАКАНУНѢ ВОЙНЫ

Слѣдующія ниже страницы написаны П. Н. Милюковым на англійском языкѣ незадолго до его кончины. Онѣ еще нигдѣ не появлялись в печати и переведены на русскій язык по доставленной редакціи рукописи.

В тридцатых годах XX-го столѣтія на Востокѣ Европы появилась угроза войны — она создала новое международное положеніе. Один за другим оказались недѣйствительными всѣ демократическіе методы предупрежденія войны. Неосуществимым было признано не только «всеобщее», но и «частичное» разоруженіе. Замѣна разоруженія каким-либо общим соглашеніем взаимной безопасности означала бы всего лишь сокрытіе препятствій, мѣшающих разоруженію. Казалось, лучше во избѣжаніе этих затрудненій заключать вмѣсто общаго соглашенія частичные договоры не-нападенія — между двумя и нѣсколькими странами, — и такіе договоры, дѣйствительно, заключались. Но именно потому, что они были не столько осуществленіем поставленной цѣли, сколько приближеніем к ней, их недостаточность становилась очевидной. Локарнская конференція помогла выяснить их слабую сторону: «об'единенная» Европа не пожелала гарантировать СТАТУС КВО Версальскаго мира для Восточной Европы. Заранѣе была обречена на неудачу «французская система» созданія на Востокѣ новых національных государств, не увѣнчалась успѣхом и попытка создать для предотвращенія надвигавшейся опасности

---

*) Публицистическій отдѣл настоящей книги в очень большой части посвящен вопросам, связанным с будущим міра и, в частности, с отношеніями между Россіей и Соединенными Штатами и Англіей. В виду важности этих (и смежных) вопросов и общаго интереса к ним, мы хотѣли дать возможность одновременно высказаться публицистам разных взглядов: Г. Я. Аронсону, А. А. Гольденвейзеру, Д. Ю. Далину, Н. С. Тимашеву, Г. П. Федотову (даже в тѣх случаях, ког да редакція не сог ласна с нѣкоторыми из их

«Восточное Локарно». Послѣднее лишь прикрыло угрозу, пока не разразился кризис.

Какова была роль Лиги Націй в эти трагическіе годы? Лига Націй имѣла перед собой тѣ же трудности. Призывы к ея авторитету были безполезны с того момента, когда обнаружилось, что вотируемыя ею санкціи против настоящих агрессоров недѣйствительны. Японія (1932 г.), Германія (1934 г.) и Италія (1935 г.) вышли из Лиги Націй, когда хотѣли получить «свободу дѣйствія», для того, чтобы нарушить ея «Ковенант». Манчжурія, Абиссинія, позднѣе — Австрія и Чехословакія стали жертвами агрессоров, не встрѣтивших при этом реальнаго отпора со стороны Лиги. Ковенант Лиги Націй предвидѣл возможность мирнаго разрѣшенія территоріальных конфликтов, но никто не подумал о его примѣненіи. Противники версальскаго СТАТУС КВО прибѣгали к силѣ в то время, как демократіи оставались пацифистскими. До послѣдней минуты между Англіей и Францiей существовали разногласія по вопросу о возможности европейской войны, а Лондон продолжал ухаживать за главным агрессором.

В то же время два европейских государства — Германія и Россія — принялись спѣшно усиливать вооруженіе. Их намѣренія были различны и даже противоположны. С момента прихода Гитлера к власти (1933-1934) Германія вступила на путь завоеваній — мстя за прошлое, она поставила своей цѣлью разрушеніе версальской системы. «Третій Райх» стремился к установленію своей гегемоніи над Европой. Россія примкнула к демократіям. Она не была представлена в Версали и не имѣла никаких обязательств по отношенію к созданному послѣ войны СТАТУС КВО. Она даже имѣла свои счеты с бывшими союзниками за то отношеніе, которое они к ней в прошлом проявили. Не пытаясь пока что защищать свои собственные національные интересы, она противопоставляла себя Европѣ, как міру алчных капиталистов и имперіалистов. Но и опасаясь общей «интервенціи» европейских держав, она вынуждена была сдѣлать выбор между возможными агрессорами и пред-

---

положеній). Всѣ мы совершенно сходимся в основном: худшим несчастьем для всего міра был бы разрыв между англо-саксонскими демократіями и Россіей, ведущими столь тяжкую борьбу с жестоким врагом всего человѣчества. — Увеличеніе публицистическаго отдѣла в настоящей книгѣ заставило нас, в видѣ исключенія, сократить другіе отдѣлы и отложить до слѣдующей книги всю библіографію. **Ред.**

почла, как мы знаем, присоединиться к политикѣ демократій. Ея конечныя цѣли оставались неясными, и потому было вполнѣ естественно, что в Европѣ интерес был сосредоточен на личностях двух диктаторов, международная дѣятельность которых и взаимныя отношенія между которыми должны были рѣшить в Европѣ вопросы войны и мира.

Гитлер и Сталин! Случилось так, что эти два человѣка, вышедшіе оба из неизвѣстности, грубые по натурѣ и врожденному инстинкту, лишенные культуры и образованія, сумѣли в эти дни не только сохранить то руководящее положеніе, которое каждый из них в своей странѣ занимал, но и взять в свои руки судьбу многих милліонов людей в Европѣ и во всем свѣтѣ. Оба, во имя «новаго порядка», который должен был быть создан в мірѣ, растоптали всѣ понятія права и морали, выработанныя столѣтіями человѣческой цивилизаціи. Оба провозгласили себя носителями мірового переворота во исполненіе их исторической миссіи. Оба, как будто, были предвѣстниками тѣх «сумерек богов», о которых так часто вѣщали поэты и пророки.

Как человѣческіе типы, они, однако, различны; различно их окруженіе, различны и отправныя точки их роковой дѣятельности. Один из них использовал существующій уже порядок: монархическія учрежденія, старую аристократію, испытанный генеральный штаб, богатую «буржуазію» и тѣ зажиточные слои («миттельштанд»), которые пережили послѣвоенный кризис. Другой начал свою дѣятельность среди всеобщаго разрушенія и должен был для того, чтобы начать дѣйствовать, создать какое-то подобіе порядка. Первый исходил из узкой національстической идеи избранной расы прирожденных завоевателей, чтобы поднять ее до идеи высшаго господства над міром рабов. Второй начал с самых возвышенных идей наиболѣе передовых европейских мыслителей, дабы привести человѣчество к высшей ступени совершенства, до сих пор никѣм еще не достигнутой, и кончил тѣм, что подчинил эти высшія цѣли интересам своей національной группы. Первый шел от національзма к Утопіи, второй — от Утопіи к національзму. Тѣ «динамическія» силы, которыми оба пользовались, пережили их собственныя доктрины — в прямо противоположном направленіи. Соотвѣтственно с этим различны могут быть и результаты. Политику Гитлера такой компетентный наблюдатель ея, каким был Раушнинг, назвал — правильно или неправильно, другой вопрос — «нигилистической революціей».

Да позволено мнѣ будет назвать дѣятельность другого — новой реконструкціей. Но я не могу скрыть от самаго себя факта, что многіе наблюдатели и этой политики склонны и ея конечные результаты назвать «хаотическими».

Намѣченныя цѣли могут быть различны, но методы их достиженія, несомнѣнно, сходны. В демократических странах часто, однако, сходство методов принимают за тождество систем. Коммунизм и національ-соціализм часто относят к одному классу явленій. Оба, конечно, «тоталитарны» — тоталитарные методы, по сравненію с демократическими, всюду одинаковы. Личная диктатура не допускает демократических методов — она исключает понятіе народнаго суверенитета, равно как и существованіе какой-либо другой политической партіи, кромѣ правящей, свободные выборы и независимое національное представительство; она также отрицает личную свободу и свободу мысли, независимую прессу, свободу собраній и пр. Государство, как олицетвореніе единаго представительства, облечено неограниченной властью в своих экономических, финансовых, политических, законодательных и соціальных функціях. Всѣ различія в классах, всѣ отношенія частно-правового характера исчезают, каждый гражданин-суб'ект остается с глазу на глаз с живым символом отвлеченной идеи — государством.

Все это так, но всѣ эти «символы» — живые люди, а абстрактныя государства — реально существующія страны, в которых схожіе тоталитарные методы по разному примѣняются на практикѣ. Начать с того, что диктаторы-сосѣди, воплощающіе каждый равно универсальную, но прямо противоположную миссію, неизбѣжно должны столкнуться один с другим. Вмѣстѣ с тѣм, и взаимное соперничество не исключает и подражанія. «Глуп тот, кто ничему не учится у своего врага», — сказал Гитлер. Сам он учился у Маккіавелли, у Лойолы — также у Фридриха Великаго; кое что он заимствовал из католической системы всемірнаго единства, из хитроумной политики Наполеона III, из подложных «Протоколов сіонских мудрецов», придумавших «Еврейскій Интернаціонал». Он признавал, что учился также и у Сталина, в частности использовал большевистскіе методы по выработкѣ коллективной психологіи, коллективной мысли, коллективнаго дѣйствія путем внѣдренія в массы элементарной правды (и лжи) пущенных в обращеніе лозунгов. Разумѣется, Гитлер в то же самое время страстно оспаривал центральную идею коммунистическаго ученія и дѣлал ее своей главной мишенью в борьбѣ с Россіей и с Европой.

С другой стороны, передают, что в глазах Сталина Гитлер поднялся послѣ кровавой чистки 30 іюня 1934 года. И в самом дѣлѣ, быть может, она послужила образцом для Сталина, так как его собственныя гекатомбы из старых товарищей и вождей оппозиціи послѣдовали всѣ послѣ 1934 года.

Каковы бы ни были их пункты сходства или различія, как Гитлер, так и Сталин отрицали, что в своих политических схемах они руководствовались чувством ненависти или симпатіи один к другому. Это, казалось бы, само собой разумѣется, но я должен упомянуть об этом, так как противоположное мнѣніе было высказано одним из сталинских агентов, В. Кривицким, претендующим на то, что он знал тайные планы Сталина*).

В противоположность демократіям, война и военныя приготовленія в политической работѣ обоих диктаторов играли большую роль — результаты этого мы видим в происходящей в настоящее время борьбѣ. Но и здѣсь, у обоих интерес к войнѣ был совершенно различнаго характера. Европейская соціал-демократія ожидала, что война приведет к «революціонной ситуаціи», которую легко можно будет перевести в гражданскую войну — так думал и Ленин. С паденіем вліянія Коминтерна при Сталинѣ положеніе измѣнилось. Теперь главным мотивом была овладѣвшая Москвой боязнь, что капиталистическія государства произведут нападеніе на большевизм — вот почему главной заботой Сталина были приготовленія к оборонительной войнѣ. До настоящаго времени единственными наступательными войнами СССР были тѣ, в которых была

---

*) «Сатэрдей Ивнинг Пост» опубликовала в 1939 году статью о тайной политикѣ Сталина по отношенію к Гитлеру. Статья эта вошла в интересную книгу В. Кривицкаго — «Я был агентом Сталина»... В статьѣ указывается, что Сталин всегда был поклонником Гитлера и старался добиться соглашенія с ним. Автор об'ясняет демократическую политику Литвинова желаніем Сталина добиться провокаціонным ся собом союза с Гитлером. Факты этому противорѣчат. Положеніе было гораздо сложнѣе, чѣм это казалось Кривицкому, который не находился в личных сношеніях со Сталиным и получал свою информацію, в общем, из вторых рук. Тѣм не менѣе, многія важныя обстоятельства, нам недоступныя, были ему извѣстны благодаря занима мом им положенію, как главы военной развѣдки — сначала в Россіи, атѣм в Западной Европѣ. В дальнѣйшем я воспользуюсь ею информаціей, когда она дѣлается, в самом дѣлѣ, интересной, т. е. с 1934-1935 г. д. в.

поставлена задача вернуть территоріи Россійской Имперіи, утраченныя в концѣ первой міровой войны.

Наоборот, в глазах Гитлера, согласно старой прусской традиціи, война была как бы самоцѣлью. Война — это божественное установленіе, имѣющее цѣлью повышеніе человѣческой энергіи и укрѣпленіе мужественнаго характера «избранной» расы. Гитлер заимствовал эту мысль из «Геополитики» проф. Гаусгофера. В его упрощенном истолкованіи всѣ народы дѣлились на двѣ категоріи. Одни быстро ростут численно — для них нужно новое жизненное пространство, как для существованія, так и для того, чтобы имѣть возможность развить свои высшія способности. Другіе народы, численность которых падает, обладают слишком обширным для них жизненным пространством — они должны отступить. Первые — народы «молодые» — развивают свои «динамическія» силы завоеваніями. Вторые — лишены «динамизма», они лишь прозябают, находятся в упадкѣ и разложеніи и обречены на исчезновеніе. Нѣмцы принадлежат к первой категоріи, французы — ко второй. Англичане — гдѣ-то посерединѣ. Имѣются еще «малыя» государства — нѣчто вродѣ пыли, они искусственно созданы Версалем и тоже лишены жизненнаго пространства. Они не могут существовать самостоятельно — они должны быть реорганизованы и нуждаются в покровительствѣ.

Чтобы получить схему гитлеровской иностранной политики, достаточно примѣнить эти общія принципы к картѣ міра. Но самое развитіе этой политики находилось в зависимости от роста личной власти нѣмецкаго диктатора. Для него главным средством для подготовки к войнѣ реванша явились прежде всего завоеваніе симпатій нѣмецкой молодежи и воспитаніе ея в идеях національ-соціалистической партіи. Затѣм послѣдовало самое вооруженіе Германіи. Сначала оно происходило в заговорщическом порядкѣ, затѣм было выдвинуто требованіе «уравненія» в правах с побѣдителями — на этой почвѣ была осуществлена обязательная воинская повинность. «Второй Рейх» Бисмарка уступил мѣсто «Третьему Рейху» Гитлера — это названіе было заимствовано у національстическаго писателя, Меллера ван дер Брука. «Третій Рейх» должен был включить в себя ВСѢХ нѣмцев из всѣх частей Европы. Первыми шагами в этом направленіи было присоединеніе Австріи (13-го марта 1938 г.) и судетских нѣмцев Чехословакіи (сентябрь 1938 года).

Вторая часть программы Гитлера заключала в себѣ реконструкцію Европы. Это, конечно, была болѣе трудная задача,

и «мирные» методы были для этого уже недостаточны. Центральное ядро «Третьяго Рейха» надо было окружить рядом вассальных государств, включая сюда и мелкіе историческіе куски, которые нѣсколько столѣтій тому назад принадлежали к «Священной Римской Имперіи Германскаго народа»: Эльзас и Лотарингія, три части Фландріи — Голландія, Бельгія и французская Бургундія, Швейцарія, до-военная Австрія, западная часть Польши. Балтійскія государства должны были образовать пояс вокруг «стального центра», коренной Германіи. Если возможно, большая часть всѣх этих территорій должна быть пріобрѣтена без войны, при помощи так называемой гитлеровской «расширенной стратегіи» (ложныя обѣщанія, нарушеніе обязательств, разложеніе при помощи внутренней пропаганды, подкуп и т. д.). Славянскіе элементы населенія этих территорій должны быть сосланы в Сибирь или истреблены, дабы дать мѣсто нѣмецким колонистам или обширным владѣніям нѣмецких землевладѣльцев. С возможным сопротивленіем этим планам Франціи не слѣдует считаться: Франція страна вырождающаяся, одна из первых великих держав, подлежащих «уничтоженію». Вся эта схема подверглась серьезному обсужденію уже в началѣ 1932 года.

Серьезныя затрудненія относительно той роли, которую могут при этом играть великія державы, возникли у Гитлера лишь в третьей стадіи этого проекта. На Западѣ оставалась Англія, на Востокѣ — Польша и Россія. Возможна ли одновременная борьба на два фронта и как можно это предотвратить?

Умный наблюдатель передает интимный разговор, который он имѣл с Гитлером на эти щекотливыя темы в 1934 году. Вот краткое содержаніе двух бесѣд Раушнинга с Гитлером о предстоящих трудностях:

Г.: Сохранит ли Польша нейтралитет, если я начну дѣйствія против Западных держав?

Р.: (уклончиво). Это будет зависѣть от условій политическаго сотрудничества между Берлином и Варшавой.

Г.: Если я потребую АНШЛУСС'а (с Австріей), каково будет поведеніе Польши?

Р.: Польша ничего не будет имѣть против того, чтобы германская экспансія повернулась на Запад — и чѣм дальше от польской территоріи, тѣм лучше.

Г.: Согласится ли Польша обмѣнять нѣкоторыя из своих территорій с Германіей?

Р.· Она будет рада осуществить свои собственныя требованія, касающіяся Украины, Литвы и, вѣроятно, Латвіи — с

цѣлью образовать Великую Польскую Имперію от Балтійскаго до Чернаго моря, от Риги до Кіева.

Г.: Пусть эти господа не расчитывают на Украину. Я не могу допустить созданія на наших границах военной державы; я не могу имѣть сосѣдом сильную в военном отношеніи Польшу. Какую роль она будет играть позднѣе в войнѣ с Россіей? Я заставлю Польшу пойти на уступки: в качествѣ послѣдняго средства в моем распоряженіи всегда будет новый раздѣл (с Россіей) — и Польша это знает. Всѣ соглашенія с Польшей имѣют временный характер; соглашеніе с Россіей зависит всецѣло от меня — и я раздѣлю Польшу, когда захочу. Польша мнѣ нужна лишь до тѣх пор, пока существует угроза с Запада.

Р.: Вы в самом дѣлѣ собираетесь выступить против Запада?

Г.: Для чего же мы вооружаемся?

Р.: В таком случаѣ против Германіи образуется коалиція, с которой она не сумѣет справиться.

Г.: Моей задачей как раз и является предотвратить образованіе такой коалиціи. Как это сдѣлать? Пока я этого еще не знаю. Но я этого добьюсь. Я расчитываю на нерѣшительность Англіи и на внутренніе раздоры во Франціи.

Р.: Вы увѣрены, что Англія и Франція не в состояніи сопротивляться?

Г.: (с презрительным смѣхом). Говорю вам — Англія и Франція никогда вмѣстѣ не будут вести войны против нас. Англіи нужна сильная Германія.

Р.: Но удастся ли вам пробиться через линію Мажино? Удастся ли обойти Голландію и Бельгію? В послѣднем случаѣ вы навѣрное будете имѣть Англію на сторонѣ Франціи.

Г.: Если у Англіи будет для этого время. Но я не пойду ни против линіи Мажино, ни против Бельгіи. Я буду маневрировать так, что Франція сама оставит линію Мажино — и при этом я не потеряю ни одного солдата. Но это мой секрет... Как бы то ни было, борьба с Англіей меня не пугает. Я сдѣлаю то, что не удалось Наполеону. Я сдѣлаю высадку в Англіи. Я разрушу ея города с континента. Англія еще не представляет себѣ степени своей уязвимости.

Р.: А если против вас будет союз Англіи, Франціи и Россіи?

Г.: (с раздраженіем). Этого не случится, пока я жив. Как бы там ни было — если даже мы не выиграем войны, пол-міра погибнет вмѣстѣ с нами. Мы не капитулируем ни при каких обстоятельствах. (Спокойнѣе). Но так далеко дѣло не зайдет

— во всяком скучаѣ пока я не пройду через ряд пораженій. Иначе — я не стою того мѣста, которое занимаю. Никогда я не буду об'яснять своих ошибок неудачно сложившимися обстоятельствами. Сильная воля сама управляет счастьем и руководит судьбой.

Р.: Урок 1914 года учит не ловить нѣсколько зайцев сразу. Мы не можем ставить себѣ слишком большой программы.

Г.: (нетерпѣливо). Если германская нація хочет сдѣлаться Міровой Имперіей — если она вообще хочет существовать — она должна быть совершенно независимой и суверенной. Понимаете ли вы, что это означает? Міровой Имперіи нужно пространство, нужны орудія войны. Я должен позаботиться о том, чтобы у Германіи было достаточно пространства. На Востокѣ наша власть должна распространиться до Кавказа и Ирана. На Западѣ нам нужны французское побережье, Фландрія, Голландія, Швеція. Мы не можем удовлетвориться, как это допустил Бисмарк, нашими собственными національными границами. Или мы будем владѣть Европой, или наша нація разсыпется и мы превратимся в жалкія маленькія государства. Понимаете ли Вы, почему я не могу ограничивать себя ни на Востокѣ, ни на Западѣ?

Р.: Это значит, нужно прибѣгнуть к насилію. Но мы живем не в 18-ом вѣкѣ.

Г.: (кричит). Вы, сударь, ошибаетесь! Есть одна вещь, которая не измѣняется столѣтіями: Имперіи создаются Мечом и превосходством оружія, а вовсе не политикой и мирными союзами. Взгляните на Британскую Имперію с ея знаменитой конституціей! Кто не имѣет смѣлости господствовать силой кулака и в управленіи становится слишком гуманным, тот должен отойти в сторону.

«В 1934 году, — говорил собесѣдник Гитлера, — такіе планы казались мнѣ всего лишь фантазіями человѣка, страдающаго маніей величія. Наканунѣ 1940 года нѣмцы поняли, что значительная часть этих планов начала осуществляться».

А что можно было бы сказать через два-три года? Каждое слово из приведенной выше длинной цитаты, в которой точно переданы буквальныя выраженія Фюрера, звучит как предсказаніе, с большим или меньшим успѣхом нынѣ осуществляемое. В «Голубых» и «Желтых» книгах можно найти детали происходивших изо дня в день событій, еще не закончившихся, но уже намѣченных в этой знаменательной бесѣдѣ.

Вряд ли Сталин знал карту Европы так хорошо, как Гитлер,

а если бы и знал, то не был бы способен осуществить гитлеровскую схему. Россія, повторяю, не была в Версалѣ и вовсе не была обязана, если не считать послѣдних литвиновских договоров, соблюдать «французскую систему». Она равнодушно относилась к спору между «ревизіонистами» и сторонниками версальскаго СТАТУС КВО. Но в этой войнѣ у Россіи имѣются свои особые интересы; они вовсе не сосредоточены на славянском вопросѣ, нынѣ совершенно забытом; скорѣе они связаны с вопросом о территоріях прежней Россійской Имперіи на ея западных границах — тѣх территоріях, которыя были потеряны в тот момент, когда большевики овладѣли властью. Но даже и это не могло вызвать войну за их возврат Россіи. Послѣвоенные сговоры и союзы Россіи преслѣдовали цѣли ВНУТРЕННЕЙ политики — возстановленіе Россіи или защиту коммунистической системы от вторженія иностранных «капиталистов». С коммунистической точки зрѣнія всѣ правительства были одинаково подозрительны по части «имперіализма», причем трудно было провести точную границу между возможным «агрессором» и его жертвой. Вот почему совѣтская иностранная политика оставалась пассивной. Когда Германія оказалась в положеніи ближайшаго возможнаго агрессора, Россія, естественно, была отброшена в сторону западных держав — и вовсе не потому, что это были державы демократическія, а в силу их географическаго и стратегическаго положенія на противоположном фронтѣ врага. Сталин тѣм самым оказался в положеніи Александра III — он должен был сдѣлаться союзником демократій, и вовсе не потому, что он хотѣл этим бросить вызов Гитлеру, а совершенно искренне. Этим и об'ясняется эра литвиновскаго «пацифизма».

Я пишу эти строки в тот самый день, когда Совѣтская Россія празднует день Красной Арміи, созданной двадцать четыре года тому назад. Трудно выбрать для такого чествованія лучшій момент. Восемь мѣсяцев блестящей защиты національнаго дѣла связали Россію с дѣлом европейских демократій, а оборона против страшнаго врага и возможнаго поработителя бросила новый свѣт на трудные годы, в продолженіе которых Россія готовилась к войнѣ. Эти мѣсяцы смягчили воспоминаніе о тѣх жестокостях, которыя сопровождали сталинскій эксперимент. Враг надѣялся найти в лицѣ Россіи легкую добычу в результатѣ внутренних расовых и соціальных раздоров, он думал, что народы ея не связаны с родной почвой и охотно

смѣнят политическій гнет диктатуры на экономическое рабство иностранному завоевателю — всѣ эти надежды врага были разбиты силой національнаго сцѣпленія и заново пріобрѣтенным чувством національнаго превосходства. Вторгшагося врага встрѣтили не «дикіе звѣри», а сознательные патріоты, которые научно обоснованной жестокости и суровой дисциплинѣ противопоставили твердую рѣшимость очистить родные очаги от врага или умереть под их развалинами. Умолкли презрительныя рѣчи, им на смѣну пришло удивленіе и воздаяніе должнаго — в день 24-лѣтняго юбилея Красной Арміи союзники Россіи обратились к ней с горячими привѣтствіями. Россія неожиданно оказалась защитницей демократій.

Однако, одно остается: подозрѣніе или обвиненіе падает не на армію и не на націю, а на ея правителей. Послѣдніе и под новой личиной преслѣдуют, как будто, свои прежнія цѣли міровой революціи. Этим подозрѣніем враги широко пользуются. Они увѣряют, что ведут борьбу не ради завоеванія «жизненнаго пространства» для надобностей «высшей расы», а как «крестовый поход», чтобы спасти «цивилизацію» от русских «варваров». Союзников они ищут во имя борьбы с Коминтерном. Друг Россіи, Японія, временный союзник Россіи Германія, и Италія, до послѣдняго времени союзница демократій, всѣ онѣ вдруг охвачены единственным желаніем: освободить мір от русскаго чудовища. По слѣдам этих «освободителей» пошли и малыя государства — Румынія, Венгрія, Финляндія, Кроація, Словакія и другія. По словам Риббентропа, Европа, об'единившись вокруг Гитлера, никогда еще не проявляла такой солидарности. Всѣ не-русскія національности Россіи должны быть «освобождены» от сталинскаго коммунистическаго ига. Даже среди нѣкоторых союзников и сосѣдей было распространено мнѣніе, что слишком большія побѣды совѣтскаго правительства могут сдѣлаться опасными для Европа.

На всѣ эти высказанныя опасенія Сталин — искренне или неискренне — отвѣчал молчаніем. Но мы знаем, ему было что отвѣтить. Развѣ не была отставлена в сторону прежняя ленинская идея міровой революціи, развѣ не была она замѣнена сталинской ересью «соціализм в одной странѣ»? И развѣ не заявил Сталин, что Россія еще не созрѣла для соціализма, не говоря уже о коммунизмѣ? Развѣ не был послѣ отставки Зиновьева разжалован Коминтерн и развѣ не был он отдан под надзор тайной полиціи? Развѣ политика Сталина в Испаніи не указывала на то, что он окончательно распростился с идеей міровой революціи? И тѣм не менѣе — пока существующее

в Москвѣ на Лубянкѣ учрежденіе не перестанет давать пріют центральному органу коммунистических партій всего міра, до тѣх пор каждое проявленіе террора будет приписано «приказу из Москвы», и Совѣтская Россія будет обвиняться в том, что кует ковы во всем мірѣ. Если когда-нибудь должна будет пасть преграда между Россіей и Европой, первой жертвой европеизаціи Россіи будет Коминтерн. Можно ли считать слишком смѣлым предположеніе, согласно которому именно это событіе явится слѣдствіем теперешняго сотрудничества Россіи с демократіями міра? *)

Конечно, истинныя причины вторженія Гитлера в Россію ничего не имѣют общаго со спасеніем «цивилизаціи». «Миссія» его гораздо болѣе практическаго свойства. Он сам об этом открыто заявил в одном из своих выступленій (рѣчь в Мюнхенѣ 9 ноября 1941 года). «Мы окажем великую услугу всей Европѣ, мобилизовав огромную продукцію Востока и неизмѣримыя богатства его земель». Быть свидѣтелем этого перед лицом «всей Европы», разумѣется, был призван «нѣмецкій солдат». «Нѣмецкіе солдаты могли видѣть сами, что в странѣ, гдѣ земля сама рождает богатства, достаточно и малаго приложенія труда, чтобы имѣть во много раз больше того, что мы имѣем в Германіи — там живет в жалких лачугах полуголодное рабское населеніе, во власти комиссаров, девяносто процентов из которых евреи. Когда эта опасность исчезнет, это будет не только истинным освобожденіем Европы — это принесет ей экономическое процвѣтаніе. Перед нами миссія, в которой заинтересован весь континент... И нѣт сомнѣній, что на тысячу лѣт вперед в наши дни рѣшается здѣсь судьба Европы...».

Расчитывая на «тысячелѣтіе», Гитлер нисколько не заинтересован в том, что может быть с его обѣтованной землей сейчас. Сейчас «избранная раса» может ее превратить в пустыню, чтобы потом сдѣлать ее для Европы земным раем. На самом же дѣлѣ Украина не является ни тѣм, ни другим. Вмѣстѣ со всей остальной Россіей Украина претерпѣла немало послѣ тѣх тяжких испытаній, которым ее подверг Сталин в 1928-1929 годах. Нам хорошо извѣстны результаты его политики. Перед самой войной рождаемость на Украинѣ упала, смертность возросла, рост населенія прекратился, производительность почвы и труда уменьшилась, нищета погнала крестьян из коллективизированных деревень в города, городское населеніе было

*) Это предсказаніе П. Н. Милюкова, как мы теперь видим, блестяще оправдалось. **Ред.**

вынуждено пойти на службу. Источники общественных доходов изсякли, налоги росли, деньги обезцѣнивались, цѣны на товары становились недоступными для рабочих. Огромное истребленіе человѣческих жизней, сырого матеріала и средств производства — все это должно было достигнуть высшаго предѣла и привести к экономическому и финансовому упадку. Можно было опасаться голода — не меньше того, который был в 1922 и 1923 годах, а с ним и эпидемических болѣзней. Каков бы ни был исход войны, нечего расчитывать на спасительную помощь со стороны. Для борьбы с этим правительство предоставлено своим собственным силам. Гдѣ же спасеніе?

Не в первый раз подобная катастрофа угрожала большевистской власти. Ея смысл всегда был тот же: столкновеніе между старыми и новыми особенностями режима неизмѣнно вызывали оппозиціонныя силы. Этот конфликт неизмѣнно кончался нѣкоторым взаимным приспособленіем. Это приспособленіе приводило, в свою очередь, к нѣкоторой эволюціи. В результатѣ все мѣнялось: соотношеніе сил, втянутых в борьбу, характер нападенія и защиты, методы борьбы, — все, за исключеніем самого разрушительнаго процесса и необходимости новаго очереднаго приспособленія.

Читатель знает, что я имѣю в виду. Рѣзкое столкновеніе между безоговорочным примѣненіем абстрактных доктрин и условіями реальной жизни вызвало кризис, продолжавшійся с 1917 года по 1921, гражданскую войну и иностранную интервенцію. Обѣ стороны были равно сильны, свѣжи, непримиримы и не хотѣли компромиссов. Никакой компромисс не мог остановить разрушительнаго процесса. По иниціативѣ Ленина этот компромисс принял форму «отступленія» к элементарным условіям нормальной жизни, и это отступленіе было прикрыто именем «Новой Экономической Политики» или НЭП'а. На самом дѣлѣ равновѣсіе было достигнуто приспособленіем: оба «сектора» жизни, «капиталистическій» и «соціалистическій» получили право существовать параллельно. Сторонники обѣих форм эволюціи существовали рядом в центральных органах Партіи и вели между собой парламентскую борьбу.

Но постепенно властью овладѣли партійцы, руководимые Сталиным, и началось новое наступленіе, само именовавшее себя «соціалистическим, хотя приспособленческіе элементы уже проникли в ряды сталинцев — именно они и опредѣлили его тактику. Нормальныя функціи «государства» были возстановлены Сталиным под именем Партіи. Этот процесс принес с собой новыя разрушенія — еще болѣе серьезныя, чѣм прежнія,

так как сложнѣе и труднѣе была самая задача. Результатом этого явился не только возстановительный процесс в области экономики, в арміи и в соціальных отношеніях, но и отказ от старой доктрины и окончательное уничтоженіе ея послѣдних защитников — «старой ленинской гвардіи». Старая партія, исчерпав поставленныя перед ней переходныя задачи, практически перестала существовать. Новый соціальный класс «служащих» и «совѣтской интеллигенціи» правит отнынѣ партіей «рабочих и крестьян». Прежніе красные «сановники» и невѣжды должы были уступить свои командные посты новым кадрам спеціалистов, прошедших через профессіональныя школы. Профессіоналы нужны были Сталину для проведенія его пятилѣток. Теперь они образуют новую бюрократію, размѣры которой быстро увеличиваются, чтобы удовлетворить растущія потребности государства — но особой касты эта бюрократія не создает. Вот нѣсколько цыфр, подсчитанных экономистом Юрьевским — они хорошо иллюстрируют профессіональное значеніе этой новой бюрократіи. На почтѣ и телеграфѣ в 1924 году служили 80.000. В настоящее время их 334.000. На городских службах число возрасло с 67.000 до 508.000. В отдѣлѣ охраны здоровья число служащих возросло с 250.000 до 156.000. В отдѣлѣ образованія — с 492.000 до 2.190.000. В промышленности и на общественных работах с 220.000 до 988.000. В торговлѣ с 248.000 до 1.957.000. Во всей администраціи — с 887.000 до 1.545.000. Это что-то не похоже на «90 процентов еврейских комиссаров», управляющих жалкой націей «рабов», как это себѣ представлял Гитлер. Общая численность совѣтской «бюрократіи» равна приблизительно 11.430.000, что составляет 14,3% всего населенія. Во Франціи она составляет не меньше 17%, в Германіи — свыше 21%, в Англіи свыше 26%, в Соединенных Штатах — болѣе 32%*). Никто не будет о них утверждать, что всѣ они бездѣльники. Не могут они всѣ быть сметены и побѣдоносным вторженіем. Они — необходимый орган государственной машины.

Было время, когда истребленіе бывших правящих классов земельных собственников и отсутствіе других опредѣленных в соціальном отношеніи дифференцированных групп привели Россію в состояніе анархіи и хаоса. В настоящее время Россія, вопреки совѣтской теоріи об уничтоженіи классов, отнюдь не является аморфным обществом. Не случайным является и

*) Нам не совсѣм понятны эти цифры. Мы печатаем их без измѣненія. **Ред.**

образованіе бюрократіи из спеціалистов, отобранных Сталиным из рядов «новых поколѣній». Они вышли из рабочих слоев и связаны с народом. По своему настроенію это вовсе не интернаціоналисты, какими была прежняя элита, принесенная Сталиным в жертву. Они настроены національно, как настроен сам Сталин, и раздѣляют его политическіе девизы. Они научились многому, чему надо было научиться, но одному они не научились — не научились «марксистской діалектикѣ». Она им больше не нужна, так как им вовсе не надо подгонять реальную жизнь к устарѣвшей доктринѣ.

Таково было положеніе, когда Гитлер напал на Россію, и перед Россіей встала угроза самому ея существованію. Принесенныя ею жертвы, также тѣ жертвы, которыя должны были быть принесены в далнѣйшем, дѣлали ея внутреннее положеніе чрезвычайно трудным. Из всего сказаннаго выше ясно, что неизбѣжен был новый компромисс, необходимо и неизбѣжно было очередное приспособленіе к новому страшному положенію. Линія компромисса была ясно указана прежними уступками Сталина. По существу то была линія неизбѣжной аппеляціи к частной иниціативѣ. Извѣстны осторожныя попытки Сталина оправдать частное хозяйство наряду с насильственным коллективизмом колхозов. Было об'явлено, что внутри самого колхоза свободная форма совмѣстнаго труда на землѣ, старая русская «артель», признана лучшей, чѣм «коммуна». Крестьянину было разрѣшено нести на свободный рынок излишки своего труда. Все это было очень симптоматично, но совершенно недостаточно для удовлетворенія новых нужд. Я лично предполагаю, что населенію должно быть дано и вѣроятно будет дано больше свободы в экономической области. Прежде Сталин не допускал «равенства» в заработках и оплатѣ труда на частном рынкѣ. Нынѣ должны быть открыто допущены накопленіе капитала и его использованіе в торговлѣ и промышленности. Это легко может быть сдѣлано за счет извѣстных монополій государства, но без разрушенія «плановой экономики».

Как же обстоит дѣло с проявленіями политической дѣятельности, безжалостно искореняемой всюду Сталиным, в том числѣ и в партіи? Это, конечно, наиболѣе деликатный пункт в его политикѣ. В принципѣ «однопартійная система» сохранена. Но себя Сталин оградил от партіи, он свел партію на роль государственнаго учрежденія и в государственныя учрежденія ввел, на равных основаніях с членами партіи, «безпартійных большевиков» и «совѣтских интеллигентов». Это озна-

чало само по себѣ освобожденіе от старой партійной политики. Но это вовсе не означало освобожденіе от всякой политики. Всѣ должны отнынѣ проводить лишь одну новую политику Сталина. «Новое поколѣніе» было проникнуто тѣм же національным духом, как и сам Сталин; они были энтузіастами «счастливой жизни» в этой «единственной странѣ» счастья и совершенства — согласно опредѣленію самого Сталина; они клялись словами учителя — и в этом тоже была сталинская политика. И, конечно, сами они не могли ее мѣнять по желанію. Нѣкоторые из них назывались «интеллигентами». Насколько я знаю, они не порвали всѣх нитей, связывающих их с русскими духовными традиціями. Они читают — и часто эти книги являются их излюбленным чтеніем — свѣточей до-военной русской литературы и мысли. Большинство из них еще неотесаны, они лишены утонченности. Но Россія не единственная сейчас страна, гдѣ «новое поколѣніе» неотесано — быть может, в наши дни неотесанность и является единственным средством не приходить в отчаяніе.

Как бы там ни было, но лучшіе люди этого поколѣнія в глубинѣ своих сердец могут ростить сѣмена свободы или, по меньшей мѣрѣ, моральной независимости — и когда-нибудь эти сѣмена дадут плоды. В них живет сознаніе, что они и составляют ГОСУДАРСТВО, самое ядро его, являются самыми цѣнными представителями націи, ея душой, ея мыслью. Рѣшающим может оказаться и их патріотизм и та роль, которую они играют в войнѣ. И они вспомнят тогда «чудесную» самоновѣйшую конституцію 1936 года. В ней они найдут извѣстную гарантію их личному освобожденію. На основѣ всеобщаго избирательнаго права они примут участіе в выборах в Верховный Совѣт. Партійныя санкціи могут ослабѣть, и когда писаная конституція 1936 года превратится в реальность, свободный вотум избирателя перестанет быть политическим преступленіем.

Могут сказать, что я иду слишком далеко в своих выводах. Но тѣ факты, на которых они покоятся, существуют и, мнѣ кажется, правильно мною истолкованы, как и их дальнѣйшая эволюція. Могут возразить, что нѣкоторыя из предпосылок не вполнѣ надежны. Разумѣется, мы не можем ничего предсказывать; мы можем лишь угадывать, как настоящая война кончится. Мы не знаем, будет ли и дальше существовать настоящая диктатура, усиленная военными успѣхами, или, наоборот, она рухнет под тяжестью военных пораженій. Если настоящій режим, послѣ двадцати пяти лѣт существованія, окажется спо-

собным эволюціонировать, он сможет пережить и новую катастрофу. Можно выставить против этого и другія гипотезы, но онѣ менѣе вѣроятны. Россія не может вернуться к до-революціонному періоду своей исторіи, ея прежній политическій и соціальный режим не может возродиться. Не может она управляться и германским ГАУЛЕЙТЕРОМ. Недавно один турецкій министр сказал, что, чѣм бы война ни кончилась, Турція останется Турціей. С неменьшим правом и русскій может утверждать, что Россія останется Россіей и что годы войны не будут концом ея историческаго существованія. Только невѣжды могут утверждать обратное. В темные историческіе періоды, тысячи лѣт тому назад, иностранный завоеватель мог положить начало процессу превращенія неосознавших себя этнографических племен в единую сознавшую себя націю — и этот процесс мог в конечном счетѣ увѣнчаться успѣхом. Но нація, осознавшая себя в столѣтіях общей исторической жизни, со сложившимися традиціями и с поставленными перед собой задачами, не может превратиться в неорганическую этнографическую массу. «Жизненное пространство» Россіи не превратится в пастбище, на котором будут пастись азіатскія «орды». Всѣ наши другіе выводы могут быть только предположительными. Но этот достаточно успѣшно выдержал испытаніе исторіи, и никакое краснорѣчіе колдуна из Берхтесгадена его не опровергнет.

П. Милюков.

О ЦѢЛЯХ ВОЙНЫ

Когда начинается война, мысль — если только люди сохраняют способность мыслить — продолжает быть устремленной к тѣм вопросам, которые были в центрѣ вниманія в разгар предвоеннаго кризиса. Люди продолжают судить и рядить о причинах войны и об отвѣтственности за нее государственных дѣятелей, своих и чужих.

Но нельзя воевать, «потому что» то или иное совершилось или не совершилось. Воевать, как и вообще дѣйствовать, можно только «для того, чтобы» то или иное осуществилось или было устранено из числа возможностей. И вниманіе естественно переносится с вопроса о причинах войны на вопрос о ея цѣлях. На первых порах вопрос ставится в плоскости пропаганды: надо формулировать такія цѣли, которыя могли бы воодушевить армію на фронтѣ и народ в тылу.

Но вот на горизонтѣ появляется проблеск побѣды, и вопрос о цѣлях войны начинает ставиться по иному: надо приготовиться к моменту, когда война смѣнится миром, надо формулировать его желательныя условія.

Как показывает опыт минувших войн, удачная формулировка цѣлей войны дается нелегко. Правда, сравнительно невелики трудности, если обнаруживается перевѣс в пользу той стороны, которая сыграла активную роль в предвоенном конфликтѣ: ея требованія, оставшіяся неудовлетворенными, естественно претворяются, для нея, в цѣли войны. Однако, война нерѣдко открывает возможности, неучитывавшіяся до ея начала, а, с другой стороны, требуя огромных жертв, увеличивает аппетит: побѣдителю в войнѣ естественно требовать большаго, нежели он хотѣл получить мирным путем.

Труднѣе положеніе той стороны, которая в конфликтѣ сыграла пассивную роль. Она вступила в войну только потому, что не хотѣла допустить перемѣн. Но психологически почти невозможно свести цѣли войны к востановленію статус кво анте. Во-первых, и эта сторона, при обнаруженіи перевѣса в ея пользу, начинает сознавать возможности, о которых, до войны, не приходилось мечтать. Во-вторых, самый факт вооруженнаго столкновенія показывает, что старое равновѣсіе было

непрочно и потому неудовлетворительно. Нужно замѣнить его новым, лучшим, иными словами, формулировать положительныя цѣли войны. Постепенно, не без колебаній, такія цѣли находятся, при чем в выборѣ между возможностями значительную роль играет общая система цѣнностей, господствующих в данной націи.

Затрудненія усиливаются, если война ведется коалиціей, состоящей не из гегемона и вассалов, а из нѣсколькихъ приблизительно равных по силѣ и потому равноправных союзников. Если участники коалиціи разнородны, то при формулировкѣ цѣлей войны они неизбѣжно берут за исходную точку разныя системы цѣнностей; ясно, что разными, при том несовмѣстимыми, оказываются и выводы. Так как единодушіе между союзниками является важным условіем побѣды, вожди коалиціи стараются затушевать свои разногласія по вопросу о цѣлях войны. Но рано или поздно самый ход войны приводит к тому, что эти разногласія проступают наружу. Тогда начинаются попытки их устранить, разрѣшив спорные вопросы. Не всегда это удается, и исторіи извѣстно немало случаев распада коалицій на такой почвѣ, с послѣдующей перегруппировкой участников войны.

Московское совѣщаніе руководителей иностранной политики Соединенных Штатов, Великобританіи и СССР отвѣчает критической стадіи в развитіи разногласій между участниками разнородной коалиціи. Для всѣх ея участников формулировка цѣлей войны далась нелегко, потому что всѣ они были пассивно вовлечены в конфликт: воевать они стали не потому, чтобы они требовали каких-то перемѣн, а потому что они не могли допустить перемѣн, на которых настаивали другіе, или просто потому, что на них напали. Глубина же конфликта и в особенности отсутствіе всѣм очевидной и для всѣх пріемлемой процедуры, которая могла бы привести его к разрѣшенію, зависит от разнородности жизненных принципов и политической философіи англо-саксонских демократій с одной стороны и СССР с другой.

Всѣм памятно, как долго уклонялась Англія от формулировки своих цѣлей войны. Очевидным извиненіем служило то обстоятельство, что очень долгое время перевѣс был не на ея сторонѣ, и надежда на побѣду, а, значит, и на шанс рѣшительно повліять на условія мира, зависѣла от присоединенія к ней новых союзников. С началом русско-германской войны и с окончательным присоединеніем Соед. Штатов к англо-совѣтской коалиціи, хотя на первых порах только в качествѣ «не-

воюющаго» члена, послѣднее условіе было осуществлено, и провозглашеніе цѣлей войны стало настоятельной необходимостью. Такое провозглашеніе было впервые сдѣлано в знаменитой Атлантической хартіи 14-го августа 1941 года. В этой хартіи Англія и Америка заявили: 1) что онѣ не ищут территоріальнаго или иного расширенія; 2) что онѣ не хотят допустить никаких территоріальных перемѣн без свободно выраженной воли соотвѣтствующих народов; 3) что онѣ уважают право всѣх народов выбирать форму правленія и 4) что онѣ желают видѣть возстановленными права и суверенитеты там, гдѣ они были насильственно нарушены. Положенія эти были вскорѣ подкрѣплены декларацією соединенных націй, ознаменовавшей первый день 1942 года. В дальнѣйшем заявленій равной торжественности сдѣлано не было, но из слов Рузвельта, Черчилля и К. Халля можно вывести: 1) что англо-саксонскія демократіи будут настаивать на «безусловной сдачѣ» вооруженных сил своих противников, ведущей к полному и длительному их разоруженію; 2) что колоніальная имперія Италіи окончательно ею утеряна и 3) что, напротив того, Англія не допустит распада своей имперіи. Послѣднее заявленіе было сдѣлано Черчиллем в противовѣс нѣкоторым американским энтузіастам, которые склонны были утверждать повсемѣстный конец колоніальной эры и настаивать на примѣненіи этого принципа к Великобританіи.

Что, в сущности, означают такія цѣли войны? Онѣ означают, во-первых, созданіе условій, в которых анго-американскій уклад жизни мог бы сохраниться и, на обозримое время, не подвергался бы болѣе той смертельной опасности, какой оказалось германо-японское нападеніе. Уклад же жизни, который подлежит сохраненію, можно формулировать как: 1) наличность демократіи, с ея «четырьмя свободами» и представительными учрежденіями и 2) сохраненіе частно-хозяйственнаго строя, хотя бы и сильно ограниченнаго государственным вмѣшательством.

Но, во-вторых, эта программа означает и нѣкоторое распространеніе, вполнѣ естественное, англо-американскаго уклада за тѣ границы, в которых он в силѣ: хотя Англія и Соединенные Штаты не собираются никому навязывать своих учрежденій, но они настаивают на повсемѣстной обязательности принципа святости договоров и покоящихся на них границ, равно как на разрѣшеніи всяких вопросов о границах на основѣ свободнаго волеиз'явленіи сторон, т. е. на чисто демократических началах.

Принципы демократіи, как прямо сказано в американской деклараціи независимости, в англо-саксонских странах почитаются «самоочевидными» и потому нигдѣ и никогда не отвержимыми. Такая вѣра, естественно, с особой силой направляется на союзников в войнѣ, которая, как будто, ведется за созданіе условій, необходимых для осуществленія этих принципов. В частности, не столько в Англіи, сколько в Америкѣ, сложилось было убѣжденіе, будто с заявленными ею цѣлями войны вполнѣ солидарна и совѣтская Россія, которая присоединилась к Атлантической хартіи и деклараціи соединенных націй, подписав англо-совѣтскій пакт взаимопомощи (в сущности, союзный договор) 26-го мая 1942 года и американско-совѣтскій пакт военной взаимопомощи 11-го іюня 1942 года. Иными словами, считалось очевидным, что совѣтская Россія отказалась от пріобрѣтеній, сдѣланных ею в 1939-1940 г.г. путями, далеко не демократическими: вторженіем в смертельно раненую Польшу, наступательной войной с Финляндіей и использованіем явнаго перевѣса сил над балтійскими государствами и Румыніей, в момент, когда блюстители европейской демократіи отсутствовали на восточно-европейской сценѣ. Эти акты явно подходят под насильственное нарушеніе прав и суверенитета, осужденное Атлантической хартіей. Таким образом, допускалось, что совѣтская Россія признает свои акты 1939-1940 г.г. лишенными силы, вступит в переговоры с правительствами, от них пострадавшими, и, по соглашенію с ними, пойдет на свободное, по правилам демократіи, голосованіе в спорных территоріях. Заинтересованныя правительства в изгнаніи шли еще дальше: опираясь на Атлантическую хартію, хотя и произвольно толкуя ее, они настаивали на возстановленіи законности в видѣ границ 1938 года и отвергали всякіе плебесциты. Предстоящій мирный конгресс, по их мнѣнію, должен был бы повторить дѣянія вѣнскаго конгресса 1814-1815 годов, поскольку он положил в основу своих рѣшеній принцип легитимности.

С совѣтской стороны, в самом началѣ войны с Германіей было сдѣлано одно заявленіе, допускавшее истолкованіе в духѣ американских оптимистов: в договорѣ с Сикорским совѣтское правительство признало уничтоженным германо-совѣтскій договор о раздѣлѣ Польши. Затѣм, втеченіи полутора лѣт, по вопросу о цѣлях войны московское правительство хранило молчаніе, если не считать встревожившее многих заявленіе Сталина, сдѣланное в день двадцатипятилѣтія Октябрьской революціи, о различеніи между германскими фашистами и германским народом, уничтоженія и даже разоруженія котораго

СССР не желает. К этому, само собой разумѣется, временами прибавлялись заявленія об изгнаніи нѣмцев из совѣтских предѣлов, как непосредственной задачѣ военных усилій.

В тѣ времена, когда нѣмцы угрожали Москвѣ, а затѣм прорывались на Кавказ и чуть было не перерѣзали **жизненную** артерію Россіи под Сталинградом, молчаніе Москвы было столь же понятным, как молчаніе Лондона во времена, когда бомбардировкѣ подвергался Лондон, а не Берлин, а Суэц висѣл на волоскѣ. Но вот враг был отбит, а затѣм потерпѣл жесточайшее пораженіе, приведшее к освобожденію значительной части занятой было нѣмцами русской земли. Обнаружился перевѣс, засіяла заря грядущаго торжества, и наступило время и Москвѣ сказать свое слово. Свою программу Москва, по обыкновенію, облекла не в форму офиціальной декларацiи, а в форму статей в офиціальной печати и дѣйствій, значеніе которых очевидно всякому здравомыслящему человѣку. В заявленіях и дѣйствіях обнаружилась программа, весьма далекая от ожиданій американских оптимистов.

Отвѣчая на статью К. Броуна в издающейся в Вашингтонѣ газетѣ «Ивнинг Стар», «Правда» от 8-го февраля 1943 года сравнила разсужденія о том, стремится ли СССР присоединить к себѣ Бессарабію и Балтійскія государства, с возможными разсужденіями о том, не слѣдует ли великодушно подарить Соединенным Штатам Аляску и Калифорнію. Авторы подобных статей, заявляла «Правда», как будто не знают, что связь Балтійских государств и Бессарабіи с Совѣтским Союзом зафиксирована совѣтской конституціей, и что Красная Армія доблестно сражается за честь, независимость и неприкосновенность этого Союза в его полном составѣ. Совѣтскій Союз, закончила «Правда», не ставит себѣ цѣлью захват чужих земель и не стремится навязать свою волю или свой режим славянским или иным народам, ожидающим его помощи. Позиція была формулирована с полной отчетливостью: в согласіи с Атлантической хартіей Совѣтскій Союз не стремится к территоріальному расширенію; но, при сужденіи о расширенiи, за исходную линію принимается не граница 1921-1939 г.г., а граница, существовавшая 22-го іюня 1941 года и закрѣпленная в совѣтской конституціи.

В статьѣ «Правды» западно-русскія земли, с 1921 по 1939 год составлявшія восточныя области Польши, не были упомянуты. Но польское правительство в изгнаніи отлично поняло, что заявленіе касалось и их, и 25-го февраля выступило с декларацiей о территоріальной неприкосновенности Польши, в

частности о незыблемости ея восточных границ, установленных рижским договором 1921 года. Заявленіе это послужило поводом к непріязненному обмѣну мнѣній между совѣтским и польским правительствами, который осложнился вопросом о происхожденіи польских могил, обнаруженных под Смоленском. Обмѣн мнѣній привел к разрыву с совѣтской стороны дипломатических сношеній с Польшей. В передовой статьѣ «Правды» от 28-го апрѣля, посвященной разрыву, было между прочим сказано, что польская декларація 25-го февраля была равносильна одобренію имперіалистическаго раздѣла исконных украинских и бѣлорусских областей и отрицанію права украинскаго и бѣлорусскаго народов на возсоединеніе с их братьями по крови.

Аналогичных заявленій по поводу финляндской границы не послѣдовало. Но мотивировка заявленія относительно Бессарабіи вполнѣ примѣнима и к ней. Показательно и то, что совѣтское правительство никак не откликнулось на попытки добровольных посредников подготовить совѣто-финскій мир на условіях возврата к границам 1939 года или приближенія к ним.

С другой стороны, совѣтское правительство не ограничилось заявленіями о своих взглядах на западную границу Россіи. В началѣ марта 1943 года в Москвѣ был образован Комитет Польских Патріотов, которому была предоставлена возможность издавать газету «Свободная Польша». Около того же времени совѣтское правительство демонстративно наградило за воинскую доблесть небольшой чехословацкій отряд, который позже был развернут в дивизію. Тогда же чешскому правительству в изгнаніи было дано знать, что совѣтское правительство не одобряет плана польско-чехословацкой федераціи, вообще плана какой бы то ни было федераціи народов, живущих непосредственно к западу от совѣтской границы; как бы в видѣ компенсаціи, Москва заявила готовность подписать с возрожденной Чехословакіей пакт взаимопомощи, равно как подтвердить отсутствіе каких бы то ни было поползновеній на чехословацкую территорію, в частности на Карпатскую Русь. В іюлѣ в Москвѣ был образован Національный Комитет Свободной Германіи, в который вошли столь разнородные элементы, как бывшіе коммунистическіе депутаты и аристократическаго происхожденія офицеры, попавшіе в плѣн под Сталинградом. Тѣм самым был придан новый смысл вышеупомянутому юбилейному заявленію Сталина.

Если ко всѣм этим актам присоединить состоявшійся 22-го

мая 1943 года роспуск Коминтерна, можно сдѣлать слѣдующій предположительный вывод: к западу от границы, приблизительно совпадающей с границей 1941 года, совѣтское правительство желает видѣть не какое-либо внушительное по размѣрам союзное государство, управляемое элементами, не слишком дружественными к совѣтам и коммунизму, а систему государств «версальскаго» типа, возглавляемых если не коммунистическим, то дружественными к совѣтской Россіи силами. Эти силы должны располагать арміями, которыя, в случаѣ надобности, выступили бы не против Красной Арміи, а вмѣстѣ с ней против возможнаго противника. Отсутствіе желанія видѣть эти государства коммунистическими можно вывести и из характера созданных в Москвѣ комитетов, и из только что упомянутаго роспуска Коминтерна. Есть основанія полагать, что в настоящее время Сталин отнюдь не желает коммунистическаго переворота в средней Европѣ, который по необходимости по новому поставил бы вопрос о руководствѣ коммунистической партіей. Но, с другой стороны, он отнюдь не может быть заинтересован в созданіи условій, которыя способствовали бы процвѣтанію частно-хозяйственнаго строя, излюбленнаго Англіей и Америкой.

Как видно, цѣли войны, формулированныя в Москвѣ, весьма далеки от англо-саксонских деклараціи и толкованій американских оптимистов. Московская программа не предусматривает примѣненія демократических процедур при проведеніи западных границ Россіи, но исходит из утвержденія, что онѣ уже проведены, при помощи совѣтской процедуры, которая, понятно, почитается во всяком случаѣ не худшей, нежели принятыя в демократіях. Вмѣстѣ с тѣм она стремится гарантировать Россіи и ея жизненному укладу безопасность от новых нападеній путем такого устроенія средней Европы, которое бы фактически вовлекло ее в орбиту Москвы.

Постепенное развертываніе этой программы вызвало в Америкѣ недоумѣніе, граничащее с негодованіем. Как это возможно, спрашивают себя здѣсь, чтобы совѣтское правительство, присоединившись к Атлантической хартіи и через то отказавшись от завоевательных цѣлей, продолжало настаивать на присоединеніи Карелiи, балтійских государств, восточной Польши, Буковины и Бессарабіи? От времени до времени проскальзывает мысль, что совѣтское правительство настаивает на аннексіях, потому что продолжает придерживаться старомодной программы «стратегических границ». В виду этого, совѣтскому правительству предлагается альтернативный план: Америка

присоединится к англо-совѣтскому союзному договору и всей своей мощью на 20 лѣт гарантирует Россію от новаго нападенія; получив такую гарантію, совѣтское правительство сможет отказаться от аннексій.

В таких разсужденіях проступает трагическое непониманіе, вполнѣ естественное в отношеніях между націями, жизненные уклады и политическія философіи коих рѣшительно расходятся. Совѣтское правительство полагает, что совѣтская конституціонная процедура, примѣненная в областях, присоединенных к совѣтскому союзу в 1939-1940 года, окончательно рѣшила вопрос о их принадлежности. Пойти на плебисцит по правилам «послѣдовательной демократіи» (термин и кавычки — по Ленину), под наблюденіем какой-то международной комиссіи, значило бы признать чужіе порядки болѣе совершенными, нежели свои. На это не идет ни одно правительство иначе, как под давленіем неодолимой силы. В Америкѣ же, склонной придавать абсолютное значеніе своей политической и философской системѣ, не видят, что в данном случаѣ возник неразрѣшимый по существу конфликт, неразрѣшимый потому, что не имѣется общей для обѣих сторон системы цѣнностей, на основѣ которой могло бы быть вынесено рѣшеніе и, что нѣт и не может быть арбитра над сторонами. Это как раз тот случай, когда конфликты разрѣшаются в плоскости фактов, а не логических выводов на почвѣ права.

Сущность конфликта, как видно, сводится к тому, что Россія уклонилась от слѣдованія демократическому пути, на который она было вышла в началѣ 1917 года. В том, что совѣтская Россія — не демократическая, теперь уже мало кто сомнѣвается. Правда, есть сталинская конституція с ея всеобщим, равным, прямым и тайным голосованіем и «свободами». Но кто же не знает, что всуе толковать писаную констутуцію, и что значеніе имѣет только конституціонная практика? И кто же не знает, что «свободѣ» в Россіи придано весьма своеобразное истолкованіе? Свобода вѣры провозглашена, но на практикѣ нѣт того, что составляет ея сущность, права религіозной пропаганды и религіознаго обученія. Свобода печати, по конституціи, есть свобода ея от «капитала» и означает передачу всѣх орудій тисненія в монопольное распоряженіе «авангарда пролетаріата», т. е. коммунистической партіи. В таком истолкованіи, свобода печати существовала и существует в совѣтском союзѣ, и самый придирчивый критик не нашел бы в совѣтской практикѣ ни одного случая нарушенія. Таково же положеніе по вопросу о свободѣ собраній, а свобода союзов

на практикѣ отождествлена с политической монополіей все того же «авангарда пролетаріата». При таких условіях невозможна предшествующая выборам политическая кампанія, а самые выборы обращаются в пустую церемоніальную процедуру, какими, кстати сказать, полна жизнь всѣх народов, как первобытных, так и высоко развитых.

От такого строя американцы естественно отталкиваются, и вопрос о территоріальном устройствѣ широкой полосы земель, тянущейся от финскаго залива до Карпат и Чернаго моря, пріобрѣтает нѣкоторый гуманитарный оттѣнок: можно ли пойти на то, чтобы милліоны людей, проживающих в этой полосѣ, были лишены благодѣяній демократіи и отданы под власть диктатуры? Кстати сказать, при этом легко забывается, что демократіи не было в Польшѣ и Литвѣ с 1926 года, в Латвіи с 1934 года, а в Румыніи никогда, и что милліоны людей, проживающих на спорной территоріи, подвергались преслѣдованіям, только не на классовой, а на иной почвѣ.

Но, как бы то ни было, именно в недемократической природѣ современной Россіи и заключается трудность. Будь Россія демократическим государством, спор разрѣшился бы легко: Россія не отказалась бы пойти на плебисцит, в увѣренности, что в ея пользу высказалось бы значительное большинство в спорных с Польшей и Румыніей областях, и вѣроятно и в Балтійских землях, населеніе которых до 1917 года не помышляло ни о чем большем, как об автономіи в предѣлах свободной Россіи и, напротив того, отлично сознавало выгоды принадлежности к величайшему в мірѣ политическому тѣлу.

Невольно возникает вопрос: не могут ли затрудненія разрѣшится на почвѣ возврата Россіи на пути демократіи? Если ставить такой вопрос в далекой перспективѣ, шансы такого возврата конечно имѣются. Если сталинская конституція и не дала демократіи, то на словах провозгласила ее, а такое провозглашеніе не могло было быть вызвано ничѣм иным, как явным желаніем широких масс имѣть истинное, а не символическое лишь участіе в вершеніи государственных дѣл. Вызывает надежду развитіе послѣдних лѣт в сферѣ религіозной свободы. Ея нѣт и сейчас, но все же к ней много ближе, нежели было пять лѣт тому назад. А свобода совѣсти, как учит исторія, тянет за собой и другія свободы. Склоняет к оптимизму и общая тенденція развитія русской исторіи за минувшія 150 лѣт. Всѣ великія войны, успѣшныя и неуспѣшныя, приводили к ослабленію гнета и усиленію элементов свободы, права и самоуправленія. «Дней александровых прекрасное начало» непосред-

ственно послѣдовало за блестящими побѣдами екатерининскаго вѣка и безсмертными походами Суворова. Отечественная война с ея западно-европейским завершеніем привела к дарованію конституціи русской Польшѣ (1815 г.) и, по крайней мѣрѣ, к постановкѣ вопроса о распространеніи конституціонных порядков на всю Россію (проект Уставной Грамоты 1820 года, декабристы). Эпоха великих реформ пришла за крымской неудачей, но возобновилась послѣ побѣдоносной турецкой войны, и т. д. Механизм, вызывающій такую послѣдовательность, ясен: всѣ войны, в том числѣ и побѣдоносныя, вскрывали в россійском строѣ вопіющіе недочеты и вызывали мощныя общественныя движенія в пользу реформы. Величайшіе недочеты обнаружены и настоящей войной, и трудно преположить, чтобы, побѣдив, русскій народ не поставил на очередь вопрос а об их устраненіи под своим, всего народа, непосредственным надзором. А это не означает ли поворот к демократіи?

Но все это — в сравнительно далекой перспективѣ. В короткой перспективѣ, надежд на демократическое обновленіе Россіи нѣт. Разногласія в цѣлях войны возникли и будут дальше развиваться между англо-саксонскими демократіями и совѣтской диктатурой.

В дальнѣйшем развитіи разногласія существенную роль сыграет тот факт, что по вопросу о цѣлях войны народы Россіи твердо и единодушно стоят за правительством. В 1934 году это правительство, в предвидѣніи войны, приподняло спуд, под которым оно держало національное чувство. Вскорѣ оказалось, что по закону противодѣйствія это чувство стало столь мощным, что теперь против него и правительство уже не могло бы пойти. Пока что, оно этого дѣлать и не собирается. Роспуская Коминтерн, оно не только совершило дружественный акт по адресу союзников — они временами совершаются, в перемежку с актами явнаго недружелюбія — но и дало знать народам Россіи, что их силы не будут обращены на служеніе ненавистному красному имперіализму. Ссылкой на національное чувство был в свое время оправдан раздѣл Польши с Гитлером, и им же был обоснован разрыв дипломатических сношеній с Польшей. В случаѣ надобности, пламенное національное чувство могло бы быть призвано на поддержку позицій совѣтскаго правительства по балтійскому и финно-карельскому вопросам. Правильно или неправильно, принадлежность этих земель к Россіи оправдывается так же, как американцами оправдывается аннексія Техаса и Калифорніи: подобно Соединенным Штатам, Россія — это континент, тянущійся от восточных отвѣтвленій

Атлантическаго океана до Тихаго океана, и то, что к этому континенту относится — есть неразрывная часть Россіи. Прямой намек на такую мотивировку можно найти в цитированной выше статьѣ «Правды» от 8-го февраля.

Чувствуя за собой такую поддержку, совѣтское правительство вряд ли отступит со своих основных позицій. Вряд ли отступят, однако, и руководители американской дипломатіи, ибо и их позиція вытекает из принципов, за которыми стоит американскій народ. Совѣщанія, как нынѣшнее московское, так и послѣдующія, могут привести к сочиненію документов о согласіи; но подлиннаго согласія не будет, пока в своем существѣ война для англо-саксонских держав и для Россіи не станет общей, а не только параллельной. Нельзя забывать, что в началѣ 1940 году между французскими и англійскими политическими дѣятелями обсуждался вопрос, не слѣдует ли об'явить войну СССР, как приспѣшнику Германіи, что совѣтское правительство не выбрало стороны в конфликтѣ, а было брошено на сторону демократій Гитлером, и что СССР не только не воюет, но и не обѣщает воевать с Японіей.

В условіях параллельной, а не общей войны, соперничество между участниками коалиціи вполнѣ естественно. Соперничество не исключает соглашенія, но отнюдь не требует его. В таких условіях, как уже было сказано, конфликты нерѣдко разрѣшаются прямым дѣйствіем в пользу того, кто раньше создает выгодное для себя положеніе, или в пользу того, кто болѣе другого заинтересован в опредѣленном рѣшеніи вопроса.

В данном случаѣ, по крайней мѣрѣ по вопросу о западных границах Россіи, шансы скорѣе за то, что фактически возобладает точка зрѣнія Россіи. Еще одно наступленіе, по размаху равное лѣтнему наступленію 1943 года, и Красная Армія займет хотя бы часть спорных областей. Нѣт сомнѣній, что за Красной Арміей придут совѣты, мѣстные, областные и верховные, со своими исполнительными органами, и что в этих областях потечет жизнь по правилам совѣтских конституцій, союзной и республиканских, и это вопреки протесту польскаго правительства в изгнаніи, которое из'явило согласіе на то, чтобы Красная Армія вступила на польскую территорію, но при условіи немедленнаго возстановленія законности в ея польском пониманіи. Предупредить такое развитіе могла бы только «безусловная сдача» Германіи западным демократіям, до занятія спорных областей Красной Арміей. Но весьма невѣроятно, чтобы Германія рѣшилась на такой способ выхода из войны, не попытавшись даже защитить внутренній, чисто германскій

бастіон «крѣпости Европы», и разыграть в свою пользу разногласія в цѣлях войны между своими противниками, разногласія, которыя могут обостриться как раз послѣ того, а не до того, как совѣтскія войска вступят в Прибалтику или в земли, с 1921 по 1939 г.г. составлявшія восточную Польшу.

В том же смыслѣ говорит и принцип наибольшаго интереса. Совѣтская Россія почитает закрѣпленіе границ 1941 года настолько жизненным, что ради него пошла бы на новую войну. С учетом этой возможности и строятся планы организаціи средней Европы, разрушающіе надежду на созданіе в этой истерзанной междуусобіями области каких либо прочных и жизнеспособных об'единеній. На учетѣ этой возможности покоится и до сих пор продолжающееся держаніе в секретѣ состоянія совѣтской военной машины, на что еще совсѣм недавно жаловались вашингтонскіе авторитеты. Вѣроятной такую войну совѣтское правительство не считает: оно знает, что в Англіи, скрѣпя сердце, давно примирились с мыслью о закрѣпленіи новых границ Совѣтскаго Союза, и оправдывают такое закрѣпленіе тѣм, что в значительной части новая граница совпадает с линіей Керзона, тогда как переход Бессарабіи к Румыніи никогда не был признан совѣтским правительством и потому не может считаться окончательным с точки зрѣнія международнаго права. А раз за Прибалтику, Галицію и западную Волынь откажется воевать Англія, то, по всѣм вѣроятіям, ограничится протестом и непризнаніем и великая американская демократія. К тому же, судя по себѣ, совѣтское правительство не устраняет и возможности торга: пусть западныя демократіи перестанут перечить Совѣтскому Союзу по дѣлам восточной и средней Европы, и тогда, кто знает, этот Союз найдет возможным измѣнить свое отношеніе к Японіи.

Но это опять таки болѣе отдаленныя перспективы.

Н. С. Тимашев.

ТРИ ПРОГРАММЫ АМЕРИКАНСКОЙ ВНѢШНЕЙ ПОЛИТИКИ

> Послѣ войны Америка имѣет выбор между тремя путями: международный имперіализм, означающій порабощеніе других народов; узкій національизм, неизбѣжно приводящій к потерѣ нашей собственной свободы; либо участіе в созданіи міра, в котором всѣ расы и народы будут имѣть равныя возможности и права.
>
> Wendell Willkie, "One World."

I.

В іюнѣ 1943 гда вышла небольшая книжка Вальтера Липмана «Внѣшняя политика Соединенных Штатов»*), сразу получившая широкое распространеніе и вызвавшая много откликов в печати. Липман — один из серьезнѣйших американских публицистов, и к его голосу прислушивается вся американская интеллигенція.

Отличительной чертой статей Липмана является строго-логическая послѣдовательность мыслей, изложенных ясно, сжато и выразительно. Однако, Липман страдает недостатком, нерѣдко свойственным писателям такого типа. Цѣпь его доводов логически безупречна и если принять один из них, то невозможно не согласиться со слѣдующим. Но основная посылка, на которой воздвигнута эта интеллектуальная постройка, порой оказывается недостаточно обоснованной или даже вовсе не обоснованной. Между тѣм, прочность всего зданія зависит от солидности этого фундамента.

Основная мысль новой книги Липмана, которую он не устает повторять на всѣ лады, сводится к слѣдующему: здоровая внѣшняя политика требует, чтобы военныя силы страны соотвѣтствовали обязательствам, которыя она на себя приняла. В Америкѣ в послѣднія пятьдесят лѣт это соотвѣтствіе не соблюдалось: страна взяла на себя обязательства, вызывавшія необходимость обороны отдаленных територій, но система-

*) Walter Lippmann, "U. S. Foreign Policy: Shield of the Republic" (Little, Brown and Co.), Boston 1943.

тически пренебрегала подготовкой вооруженных сил, достаточных для этой обороны. Результатом этой оплошности явился неблагопріятный ход военных дѣйствій в первый год войны. Вывод, который Липман из этого дѣлает, гласит: основой внѣшней политики Америки послѣ войны должен стать союз с сильнѣйшими участниками нынѣшней коалиціи — Англіей и Россіей, — который бы обезпечивал неприкосновенность владѣній и интересов этих трех держав в обоих полушаріях. На вопросѣ, слѣдовало ли Америкѣ брать на себя «обязательства» в отдаленных пунктах земного шара, Липман не останавливается. Не задумывается он и о том, не слѣдует ли послѣ всѣх ужасов войны попытаться создать болѣе дѣйствительныя гарантіи международных прав, чѣм усиленныя вооруженія и военные союзы, — результатом которых, как учит исторія, всегда являлись новыя войны.

Первым выступленіем Соединенных Штатов на аренѣ международной политики было провозглашеніе знаменитой доктрины Монро. В 1823 году президент Монро, послѣ совѣщанія со своими двумя предшественниками (Джеферсоном и Мэдисоном), об'явил, что Соединенные Штаты не допустят новых территоріальных захватов европейских держав в Западном полушаріи. Для выполненія этого обязательства могли понадобиться значительныя военныя силы — в частности, флот, котораго у Америки тогда не было. Но «Доктрина Монро» была об'явлена «лишь послѣ того, как англійскій министр иностранных дѣл Каннинг завѣрил американскаго посла Ричарда Руша, что Англія и англійскій флот поддержат Соединенные Штаты» (стр. 17). Поэтому Липман не возражает против рѣшенія президента Монро. Но он сожалѣет о том, что «к ущербу для воспитанія американскаго народа в духѣ реалистической внѣшней политики, об этом соглашеніи с Англіей, предшествовавшем деклараціи Монро, никогда об'явлено не было» (стр. 18).

В 1867 году Соединенные Штаты купили у Россіи Аляску. Со стратегической точки зрѣнія Аляска является островом, весьма отдаленным от территоріи Соединенных Штатов, но зато расположенным всего в нѣсколькихъ милях от русской территоріи и в нѣсколькихъ сотнях миль от японской. Трудности обороны Аляски обнаружились в нынѣшнюю войну: для ея защиты потребовались морскія силы, составляющія по тоннажу цѣлую треть всего американскаго флота в Тихом океанѣ (стр. 23). В 1898 году по парижскому мирному договору, закончившему испано-американскую войну, Испанія уступила Сое-

диненным Штатам Филиппинскіе острова. Это пріобрѣтеніе «обязывает Соед. Штаты к защитѣ обширной территоріи, расположенной в 7000-х морских миль от Калифорніи, но всего в семистах милях от китайскаго берега и в двухстах-пятидесяти милях от японскаго острова Формозы... Пріобрѣтя Филиппины, Соединенные Штаты поставили себя в географическій центр восточно-азіатских имперій и на перекресток их стратегических путей» (стр. 24). Слѣдовало ли Америкѣ принимать на себя обязательство по оборонѣ Филиппин? Принесло ли обладаніе этими островами соотвѣтственную пользу ея экономическому развитію? Липман оставляет эти вопросы без отвѣта. Он лишь вспоминает о том, что «государственная мудрость принятія на себя, поверх обязательств, вытекающих из доктрины Монро, этого колоссальнаго обязательства в Азіи, была предметом горячих дебатов в сенатѣ (в 1899 г.) и в послѣдовавшей затѣм выборной кампаніи Мак-Кинлея и Брайана. Дебатировать о ней теперь слишком поздно» (стр. 28). Однако, три четверти книги Липмана состоит из критики образа дѣйствій американских политиков в прошлом — отчего же «слишком поздно» критиковать как раз этот их акт, оказавшійся чреватым столь роковыми послѣдствіями? Интересный матеріал, относящійся к этому исходному моменту американскаго имперіализма, сообщается в работѣ Бирда, о которой рѣчь впереди.

Свыше сорока лѣт прошло между окончаніем испанской войны и вступленіем Америки в нынѣшнюю. Эти годы (1899-1941) Липман называет періодом «банкротства американской внѣшней полотики». «С того дня как адмирал Дьюи ввел флот в Манильскую бухту и до того дня, когда генерал Уэнрайт сдал японцам Коррегидор, Соединенные Штаты не сдѣлали ни единаго разумнаго, основательнаго и в отдаленной степени достаточнаго усилія, чтобы привести в равновѣсіе свои силы с принятыми на себя обязательствами» (стр. 28). Своего апогея эта безотвѣтственная политика достигла в 1939 году. За два мѣсяца до начала нынѣшней войны сенат принял два рѣшенія: одно — о разрывѣ торговаго договора с Японіей, другое — об отказѣ снять эмбарго, воспрещавшее Англіи и Франціи покупать в Америкѣ оружіе. Таким образом, сенат предупредил Японію, что Америка является ея противницей, и в то же время ослабил своих союзников в предстоящей борьбѣ. «Трудно найти лучшій примѣр полной некомпетентности в веденіи иностранной политики» (стр. 41-42).

Во второй части своей книги Липман предлагает программу внѣшней политики, на которой американскій народ, в теченіе

пятидесяти лѣт страдавшій от глубоких разногласій в этой области, мог бы, по его мнѣнію, теперь об'единиться (стр. 81*). Программа эта очень проста. По окончаніи войны, говорит Липман, если нам удастся уничтожить военную мощь Германіи и Японіи, на свѣтѣ останутся только три могущественных державы: Англія, Россія и Соединенные Штаты. Союз между ними должен остаться в силѣ послѣ заключенія мира. Если онѣ не останутся союзницами, то это будет означать, что онѣ являются «потенціальными противницами» и одна из них (а может быть и всѣ три) немедленно обратятся к политикѣ сближенія с побѣжденными державами (стр. 117-118).

Союз с Англіей необходим Америкѣ потому, что ея воздушный флот не может развиваться без удобных баз на всѣх океанах. При помощи одних воздушных сил невозможно строить, снабжать и защищать эти базы. Поэтому для обороны своей «стратегической сферы» Америка нуждается в помощи англійскаго флота. Это относится как к Атлантическому, так и к Тихому океану. Равным образом, Америкѣ необходимо военное соглашеніе с Россіей. «Историческій опыт показывает, — говорит Липман, — что Россія и Соединенные Штаты всегда были антагонистами в сферѣ политических идеологій,... но тѣм не менѣе, Америка всегда препятствовала расчлененію Россіи, а Россія — расчлененію Америки. Каждая из обѣих стран всегда желала, чтобы другая была сильна... Каждая смотрѣла на другую, как на потенціальнаго союзника в тылу у возможных противников» (стр. 143). Близкое будущее сблизит Россію с Америкой и географически: развитіе полярных воздушных путей превратит их в сосѣдей на Тихом океанѣ.

Военный союз Америки, Англіи и Россіи — не только основной, но, в сущности, единственный пункт политической программы Липмана. Вокруг этого «союзнаго ядра» будет развиваться весь грядущій уклад международнаго сожительства. Каковы будут формы и каковы руководящіе принципы этого уклада, Липман не поясняет. Правда, он обѣщает, что союз будет соблюдать «границы международнаго порядка, ограждающаго національную свободу других народов» (стр. 171), что он не будет орудіем угнетенія малых

*) Каждому политическому дѣятелю полагается думать, что в с ѣ его соотечественники могут и должны об'единиться на предлагаемой им платформѣ. Однако, Липман не скрывает, что сам он еще в недавнем прошлом стоял на другой позиціи и лишь теперь убѣдился в правильности своих нынѣшних взглядов (см. Предисловіе к книгѣ).

народов и не приведет к раздѣлу міра на сферы вліянія (стр. 172). Но основная цѣль Соединенных Штатов при созданіи союза есть защита своих собственных жизненных интересов (стр. 166).

Такова заключительная нота книги Липмана. Несмотря на легкій реверанс в сторону прав малых народов, его программа является образцом откровеннаго имперіализма. Соединенные Штаты должны думать о своих міровых «интересах». Так как им не под силу защищать их без посторонней помощи, то для их охраны нужно создать комбинацію держав, военная мощь которой была бы абсолютно преобладающей во всем мірѣ. Политику этого типа когда то называли «политикой бронированнаго кулака». Она не станет ни болѣе привлекательной, ни болѣе мудрой, если назвать ее, вслѣд за Липманом, «просвѣщенным націонализмом».

Неужели это все, что сулит нам новый міровой порядок, созидаемый Об'единенными Націями под эгидой великих англосаксонских демократій? Неужели человѣчество должно отказаться от мысли, что возможны формы обезпеченія о б щ е й безопасности, гарантирующія интересы не только «великих держав», но и остальных стран, независимо от их размѣра и от цвѣта кожи их обитателей? Неужели старая колоніальная система останется в неприкосновенности послѣ того, как Атлантическая хартія вновь обѣщала в с ѣ м народам право на самоопредѣленіе? Казалось бы, послѣ паденія Гон-Конга и Сингапура пора перестать думать, что безопасность имперій зиждется на «базах», построенных на захваченной у других народов землѣ. И можно ли не упрекнуть в бѣдности конструктивной мысли программу внѣшней политики, которая всю сущность будущаго мірового порядка видит в том, что англичане будут защищать американскія базы, а американцы — англійскія?

II.

Весной 1940 года историк Чарлз Бирд выпустил книгу, заглавіе которой «Внѣшняя политика для Америки»*) подчеркивает ея программный характер. В противоположность книгѣ Липмана, книжка Бирда при ея появленіи прошла сравнительно незамѣченной, а в настоящій момент никѣм больше не упоминается. Она явно оказалась не ко времени. Со времени

*) Charles A. Beard, "A Foreign Policy for America" (Alfred A. Knopf). New York 1940.

вступленія Соединенных Штатов в войну, идеологія изоляціонизма, которую защищает Бирд, «ушла в подполье». Но она была чрезвычайно вліятельной в недавнем прошлом и, по всей вѣроятности, воскреснет вскорѣ послѣ окончанія войны.

Чарльз Бирд — крупнѣйшій из современных американских историков*). По своим научным взглядам, он недалек от марксовскаго «экономическаго пониманія исторіи», а по политическим убѣжденіям стоит на лѣвом флангѣ среди американских либералов. Его интеллектуальная честность не вызывает ни малѣйшаго сомнѣнія. Считаю нужным отмѣтить этот момент, так как сторонников изоляціонизма часто заподазривают в служеніи реакціонным и капиталистическим интересам. Впрочем, Бирд протестует против того, что защищаемая им программа «неумѣло и неточно клеймится ложным именем изоляціонизма» (стр. 33). Он предлагает для нея другое названіе: «континентальный американизм». «Эти два слова означают, что американскіе интересы должны быть сосредоточены на американском материкѣ и что исторической задачей американскаго народа является строительство на этом материкѣ цивилизаціи, соотвѣтствующей своеобразному характеру американской жизни и американскому историческому наслѣдію». Говоря конкретно, добавляет Бирд, американскій континентализм требует, чтобы Соединенные Штаты отказались от всякаго вмѣшательства в конфликты и войны в Европѣ и Азіи и ограничили задачу своей внѣшней политики противодѣйствіем имперіалистическому вторженію европейских и азіатских держав в предѣлы Западнаго полушарія (стр. 12).

Понятый в таком смыслѣ «континентализм» лежал в основѣ политических концепцій Вашингтона, Джеферсона, Мэдисона и других основоположников американской республики. Доктрина эта, по мнѣнію Бирда, понынѣ соотвѣтствует истинным интересам Соединенных Штатов. И хотя в теченіе их полуторавѣковой исторіи было нѣсколько случаев отклоненія от этой традиціонной идеологіи, общественное мнѣніе каждый раз уже через нѣсколько лѣт возвращалось в ея русло. Народныя голосованія неизмѣнно показывали, что американскія

*) Главный историческій труд Бирда — обзор политической и культурной исторіи Соединенных Штатов, под общим заглавіем: "The Rise of American Civilization" (5 томов). Широкая освѣдомленность, мастерство историческаго синтеза и блестящее изложеніе ставят эту книгу на уровень самых выдающихся трудов европейских историков.

массы настроены враждебно ко всякому «интервенціонизму». Как на самый недавній и яркій примѣр такой реакціи, Бирд указывает на президентскіе выборы 1920 года, в которых избиратели в подавляющем большинствѣ отвергли политику Вильсона и одобрили вотум сената, отказавшаго в ратификаціи Версальскаго мирнаго договора (стр. 138-139). Чаще всего эта «здоровая реакція» наступала даже раньше, чѣм вызванное интервенціонистской пропагандой возбужденіе успѣвало претвориться в дѣйствіе.

Самую интересную главу своей книги (стр. 36-86) Бирд посвящает критикѣ американскаго имперіализма. По утвержденію Бирда, в Соед. Штатах имперіалистическая политика не была продуктом капиталистической экспансіи. Заправилы Wall Street, — к которым Бирд не чувствует ни малѣйшей симпатіи, — были против об'явленія войны Испаніи (стр. 71). Главными провозвѣстниками имперіалистической доктрины были морскіе офицеры и находившіеся под их вліяніем политики. Первое мѣсто среди идеологов имперіализма в Америкѣ принадлежит Махану. Он короткое время был на дѣйствительной службѣ во флотѣ, а затѣм долгіе годы состоял преподавателем морской исторіи и стратегіи в Военном колледжѣ. Он в теченіе десятилѣтій печатал книги, брошюры и статьи, в которых проповѣдывал морскую экспансію. Главный труд Махана, ставшій библіей американских имперіалистов, вышел в 1890 году под названіем «Вліяніе морского могущества на исторію»*). Эта книга была замѣчена и в Европѣ: она привела в восторг англійских морских офицеров, а император Вильгельм II велѣл изготовить нѣмецкій перевод книги и разослать его по всѣм флотским библіотекам. Впрочем, нѣмецкіе ученые, вниманіе которых было таким образом обращено на произведеніе Махана, не раздѣляли увлеченія своего монарха: Эмиль Даніельс называл книгу «eine Trivialitaet».

Однако, по утвержденію Бирда, это не помѣшало книгѣ Махана имѣть громадное вліяніе на политическія идеи нѣскольких американских политиков, которым суждено было сыграть замѣтную роль в исторіи Соединенных Штатов. В их числѣ был Теодор Рузвельт. Вмѣстѣ с небольшой группой друзей (сенаторами Лоджем и Бевериджем и будущим государственным секретарем Хэй), Теодор Рузвельт с начала 90-х годов

*) Alfred T. Mahan, "The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783."

стал агитировать в пользу «активной внѣшней политики». В 1897-1898 годах эта группа пустила в ход всѣ средства воздѣйствія, чтобы склонить в свою сторону президента Мак-Кинлея, характер котораго, по словам Теодора Рузвельта, имѣл «твердость шоколаднаго эклера». Ей удалось заставить Мак-Кинлея сначала об'явить войну Испаніи, а затѣм расширить театр военных дѣйствій, включив в него Филиппинскіе острова*).

Став президентом, Теодор Рузвельт продолжал свою имперіалистическую агитацію, и общественное мнѣніе временно подалось руководимой им пропагандѣ. Однако, с сенатом Мак-Кинлей и Рузвельт имѣли почти такія же трудности, как впослѣдствіи Вильсон: договор с Испаніей об аннексіи Филиппинских островов был утвержден большинством о д н о г о голоса. Также как Липман, Бирд подчеркивает роковое значеніе этого шага. Аннексія не только вынудила Америку вступить на путь созданія огромнаго флота для защиты своих новых владѣній, но кромѣ того бросила ее в имперіалистическую орбиту Великобританіи и Франціи, имѣвших стратегическія владѣнія по сосѣдству с Филиппинами. «В результатѣ, как показали событія 1917 года, Америка, — хотя ненамѣренно и сама в том не признаваясь, — кооперировала с англо-французским имперіализмом в войнѣ европейских держав за міровую гегемонію» (стр. 61-62). «Во всѣх отношеніях, — заключает Бирд, — аннексія Филиппин была явным, рѣзким и революціонным разрывом с традиціонной американской политикой» (стр. 63).

Не менѣе рѣшительно, чѣм против имперіализма, Бирд ополчается против другой программы американской внѣшней политики, расходящейся с его доктриной «американскаго кон-

*) В рѣчи, произнесенной перед конгрегаціей секты методистов, президент Мак-Кинлей в слѣдующих словах разсказывал о том, как он принял рѣшеніе об аннексіи Филиппинских островов: «Я ходил взад и вперед по Бѣлому Дому одну ночь за другой, и мнѣ не стыдно признаться вам, господа, что я не раз падал на колѣни и молил Всемогущаго о руководствѣ и просвѣтленіи. И вот однажды поздно ночью что то низошло на меня — не знаю, как это случилось, но оно пришло свыше... Мы должны взять их всѣх, и воспитать этих филиппинцев... и обратить их в христіанство и, с Божьей помощью, обращаться с ними, как с нашими братьями, за которых, как и за нас, умер Христос. Послѣ этого я лег в постель и заснул и спал крѣпко» (цитировано у Beard, The Rise of American Civilization, v. I, p. 375-376 (изд. 1927 года).

тинентализма». Он называет ее «политикой интернаціонализма» и видит ея сущность в том, что эта идеологія считает в с е-о б щ і й мир той задачей, к достиженію которой Америка должна стремиться в своих отношеніях с другими народами. Эта задача была первоначально выдвинута пацифистскими кругами американской интеллигенціи, но при президентѣ Вильсонѣ она на короткое время стала офиціальной программой американскаго правительства. Критикѣ «интернаціонализма» Бирд посвящает отдѣльную главу своей книги (стр. 87-133). В неудачах, постигших Лигу Націй, и пакт Келлога, он видит доказательство, что всѣ подобные опыты благожелательнаго вмѣшательства Соединенных Штатов в международныя отношенія на других материках безцѣльны и безнадежны.

Книга Бирда писалась в началѣ 1940 года. По странной для выдающагося историка абераціи зрѣнія, Бирду в этот момент казалось, будто Америка «медленно, но с возрастающей силой» осознает, что обѣ политическія программы, обращенныя взором во-внѣ,—имперіализм и интернаціонализм,—являются погоней за призраками. «Потенціал покупательной способности, — говорит в заключеніи своей книги Бирд, — необходимый для того, чтобы америк. промышленность и сельск. хозяйство работали полным ходом, находится в самой Америкѣ — в созданіи новых цѣнностей з д ѣ с ь, д о м а; границы экспансіи америк. предпріятій лежат в предѣлах э т о г о континента, а не в сказочных Индіях, или на Рейнѣ, на Дунаѣ и на Вислѣ; з д ѣ с ь, вокруг нас разбросан матеріал для созданія великолѣпной цивилизаціи; и наша главная задача... — дать плоть и кровь мечтѣ о цивилизаціи, осуществимой великим напряженіем сил э т о г о материка, которому незачѣм завоевывать собственную имперію или становиться сочленом старых союзов в Европѣ и Азіи» (стр. 151).

Также как Липман, Бирд проявляет много блеска в критикѣ инакомыслящих, но весьма скуп на аргументы в защиту своей собственной программы. Быть может, это болѣе простительно для представителя изоляціонистской доктрины, которая является, в сущности, программой н е д ѣ л а н і я. Однако, мы от него в правѣ требовать доказательств хотя бы того, что автаркія, о которой мечтают изоляціонисты, экономически мыслима в наши дни. Но таких доказательств Бирд не дает. Удивительнѣе всего, что Бирд в 1940 году как будто не замѣчал того, что в этот самый момент происходило в Европѣ и подготовлялось в Азіи. В то самое время, когда Гитлер, казалось, был так близок к водворенію своего «новаго порядка», авторитетный

историк предлагал нам повѣрить в то, что Америка может остаться счастливым оазисом, мирно строющим свою самобытную цивилизацію.

В своей пропагандѣ изоляціонисты всячески подчеркивают традиціонность предлагаемой ими программы, завѣщанной Соединенным Штатам их первыми президентами. Ссылки на завѣты Вашингтона и Джеферсона вообще почти столь же обязательны в американских политических программах, как ссылки на Маркса у марксистов и цитаты из Библіи у богословов. Бирд, котораго никак нельзя упрекнуть в банальности, в этом отношеніи не отступает от заведеннаго порядка. Можно ли, однако, признать такія ссылки серьезными аргументами в защиту программы в н ѣ ш н е й политики? Нисколько не умаляя мудрости основоположников американской демократіи, позволительно указать, что геополитическіе взгляды людей, хотя бы геніальных, но живших в эпоху паруснаго судна, едва ли сохраняют силу в вѣкѣ летучих крѣпостей. Притом, цитатами из Вашингтона, — также как цитатами из Библіи, — можно подкрѣплять самые различные доводы. Вальтер Липман, предлагая свою имперіалистическую программу, также ссылается на завѣты Вашингтона и даже эпиграфом своей книги берет цитату из его «Прощальнаго посланія», написаннаго в 1796 году.

III.

Три года послѣ появленія книги Бирда, весной 1943 года, вышла небольшая книжка Венделя Вилки, заглавіе которой — «Единый мір»*) — служит опроверженіем иллюзіи американскаго изоляціонизма. Как извѣстно, эта книга является отчетом об его кругосвѣтном полетѣ, совершенном осенью 1942 года. Путешествуя на бомбовозѣ, Вилки и его спутники за 160 часов полета покрыли колоссальное разстояніе в 31.000 миль, но основное впечатлѣніе, которое осталось в его памяти от этой поѣздки, — не дальность разстоянія между Америкой и другими частями свѣта, а напротив ея близость к ним.

Такое же впечатлѣніе, думает он, вынесут из нынѣшней войны американскіе солдаты: «посражавшись на всем земном шарѣ, они не вернутся домой тѣми же провинціальными американцами» (стр. 78). Эта эволюція началась уже во время первой міровой войны, но «лишь теперь мы дѣйствительно превращаемся из молодого народа, живущаго своей домашней

*) Wendell L. Willkie, "One World" (Simon and Shuster). New York 1943.

жизнью, в зрѣлую націю с международными интересами и міровым кругозором».

Как человѣк, вышедшій из дѣловых кругов, Вилки имѣет в виду главным образом не политическое, а экономическое единство міра. Картина просвѣщенной изоляціи, в которой Бирд видит идеал для Соединенных Штатов, представляется Вилки безпочвенным миражем. «Никакой народ, говорит он, не может достигнуть полнаго развитія, оставаясь один... Политическій интернаціонализм без экономическаго интернаціонализма — зданіе, построенное на пескѣ» (стр. 82). Одной из ошибок Лиги Націй было, по мнѣнію Вилки то, что она удѣляла недостаточно вниманія попыткам разрѣшить экономическія задачи. Но другой и болѣе глубокой причиной ея неудачи было то, что будучи продуктом англо-франко-американских планов, Лига «сохранила в неприкосновенности старый колоніальный имперіализм, лишь прикрыв его новыми благозвучными названіями».

Между тѣм, главный и важнѣйшій вывод, который Вилки дѣлает из впечатлѣній своего кругосвѣтнаго полета, сводится к тому, что с колоніальной системой необходимо немедленно и рѣшительно порвать. Об'ѣзжая мір в момент высшаго напряженія войны, Вилки повидимому не выбирал пунктов для будущих авіаціонных баз, о которых так заботится Липман. Но он бесѣдовал с людьми, сановными и простыми, в десяткѣ стран Ближняго и Дальняго Востока и старался уловить их политическія настроенія. Сдѣланныя им наблюденія, — хотя и мимолетныя, но чрезвычайно острыя и непредвзятыя, — заставляют его предложить своим соотечественникам удѣлить побольше вниманія этой сторонѣ картины. «Мы должны, говорит Вилки, научиться лучше понимать то, что происходит на Востокѣ — взгляды народов, новое направленіе их мыслей, исчезновеніе вѣры в законность западнаго имперіализма и в превосходство бѣлой расы и жажду свободы, ими овладѣвшую... Быть может, самый важный факт, происходящій теперь в мірѣ, это — пробужденіе Востока. С ним нам придется считаться, как бы побѣдоносно ни закончилась война» (стр. 44-45).

Липман и другіе новоявленные имперіалисты всего этого не замѣчают или не хотят замѣчать. Для них цѣль войны сводится к тому, чтобы захватить и удержать стратегически важные пункты и тѣм обезпечить господство англо-саксонских націй над міром. Только это они считают «реальной политикой». Но в дѣйствительности реализм такого порядка так же призрачен, как автаркическая утопія Бирда. Строить такіе планы

можно, по словам Вилки, только при одном условіи: «если игнорировать то, что думают о них два милліарда людей» (стр. 44). Эти «два милліарда» больше не желают иноземной опеки, хотя бы самой доброжелательной. Премьеры, министры иностранных дѣл и множество других собесѣдников почти во всѣх странах, которыя Вилки посѣтил, спрашивали его о том, как понимать заявленіе Черчиля, что принципы Атлантической хартіи «в первую очередь относятся к народам Европы». Об'ясненія, которыя он пытался давать, никого не удовлетворили. Это, меланхолически добавляет Вилки, одна из причин, по которой уже по возвращеніи в Америку его особенно огорчило извѣстное заявленіе Черчиля в Палатѣ общин: «Мы собираемся сохранить то, что мы имѣем. Я не для того стал первым министром Его Величества, чтобы предсѣдательствовать над ликвидаціей Британской имперіи» (стр. 76*). Между тѣм, по словам Вилки, если эта война есть дѣйствительно война освободительная, то она должна «положить конец властвованію одних народов над другими».

На обложкѣ книги Вилки имѣется карта земного шара, на которой нанесена черта, указывающая маршрут его кругосвѣтнаго полета. Достаточно взглянуть на эту карту, чтобы обнаружить немаловажный из'ян в полѣ его наблюденій: его путь не лежал через Европу и несшій его бомбовоз не снизился ни в одном пунктѣ европейскаго материка западнѣе Москвы. Таким образом, непосредственныя наблюденія Вилки не дают матеріала для рѣшенія самых сложных проблем послѣвоеннаго переустройства — проблем, связанных с возстановленіем и новым устроеніям Европы. Возможно, что если бы путь Вилки лежал, напримѣр, через Балканскій полуостров, то мір не показался ему столь «единым» и желанія народов столь единодушными.

Вилки не высказывается также о конкретных формах будущей международной организаціи. Но все это не лишает книгу Вилки ея программнаго значенія. В ней живо, искренне и

*) Это продолжает быть позиціей британскаго правительства. «Британское правительство, — читаем мы в официальной телеграммѣ, напечатанной в газетѣ «Нью-Іорк Таймс» от 5 сентября 1943 года, — заявляет, что оно не заинтересовано в каких-либо территоріальных пріобрѣтеніях в результатѣ войны, но в то же время оно не видит основаній, по которым оно не должно сохранить власть над какой бы то ни было из территорій, принадлежавших ему в момент, когда война началась».

талантливо высказано самое главное и основное: что внѣшнеполитическая линія Соединенных Штатов не должна вести ни в сторону имперіализма, ни в сторону изоляціонизма, но что Америка, в своих собственных интересах и в интересах всего человѣчества, долна использовать имѣющуюся у нея возможность сыграть руководящую роль в новом устройствѣ міра на началах равноправія народов и международной справедливости.

Есть ли у Америки эта возможность? Каково будет ея дѣйствительное положеніе в мірѣ в момент окончанія войны? У многих в послѣднее время возникают по этому поводу серьезныя сомнѣнія. Пессимисты, не имѣя уже возможности оспаривать несомнѣнность союзной побѣды, именно в этом вопросѣ дают волю своим мрачным предчувствіям. Но скептицизм такого рода — вода на мельницу сторонников «просвѣщеннаго націонализма» в обѣих его формах, имперіалистической и изоляціонистской*).

Возможности американскаго вліянія в послѣвоенном мірѣ основаны не только на том, что Соединенные Штаты стали «арсеналом демократіи», что они располагают могущественной арміей, флотом и авіаціей и что среди всеобщей разрухи они сохранят в неприкосновенности свой громадный промышленный потенціал и финансовую мощь. У Америки есть еще один актив, хотя и моральнаго порядка, но имѣющій большое реальное значеніе. Вилки называет этот актив «резервуаром благожелательнаго отношенія» со стороны других народов. Существованіе этого «резервуара» — важный политическій фактор. Однако, Вилки предупреждает, что он глубок, но не неисчерпаем. Ложная политика оппортунизма может повести к тому, что Америка к концу войны потеряет «вѣру народов міра в наши идеалы и наши методы» (стр. 66). И тогда ея голос потеряет значительную часть своей силы.

Есть ли основанія думать, что идеи, которыя проповѣдует в своей книгѣ Вилки, найдут достаточный отклик в американском общественном мнѣніи? Книга за короткое время разошлась

*) Вальтер Липман в одной из послѣдних статей (напечатанной в «Нью-Іорк Геральд Трибюн» и в других газетах 31 августа 1943 г.) проповѣдует необходимость «умѣрить наши претензіи». Памятуя о трагедіи, пережитой Вильсоном, «мы не должны претендовать на руководящую роль в установленіи границ, которыя мы не можем и не сможем гарантировать. Лучше предоставить эти вопросы тѣм, кто в них непосредственно заинтересован».

в небывалом количествѣ экземпляров — свыше полутора милліона — и большая часть прессы осыпает ее похвалой. Было бы, однако, неосторожным дѣлать из этого какіе либо политическіе выводы. Вспомним, что вышедшій в концѣ 1920-х годов в Берлинѣ роман Ремарка «На Западном фронтѣ без перемѣн» также получил небывалое распространеніе среди нѣмецких читателей. Тѣм не менѣе, пацифистскія настроенія германскаго народа не оказались особенно глубокими и устойчивыми.

Американское общественное мнѣніе чрезвычайно перемѣнчиво. В области внѣшней политики оно, к тому-же, отнюдь не обременено «бездной премудрости». Счастливый ход американской исторіи, — пока еще сравнительно краткой, — до сих пор не ставил его в необходимость серьезно задумываться над этими проблемами. Может быть, поэтому американцы именно в сферѣ внѣшней политики так легко поддаются пропагандѣ и так быстро мѣняют свою оріентацію. О всенародном единеніи в этой области не приходится и думать. Всѣ три программы, авторитетными защитниками которых являются Липман, Бирд и Вилки, несомнѣнно имѣют и будут имѣть милліоны сторонников среди граждан Соединенный Штатов. Тѣм важнѣе роль и тѣм тяжелѣе отвѣтственность, выпадающія на долю руководителей американской внѣшней политики, — т. е., в первую очередь, на долю президента и сената*). К счастью, обитателем Бѣлаго Дома является человѣк иного калибра, чѣм Мак-Кинлей. На этом человѣкѣ лежит сверхчеловѣческое бремя труда и отвѣтственности. Общественное мнѣніе поддержит его рѣшенія, если они будут приняты обдуманно и проведены с твердостью и прямотой.

А. Гольденвейзер.

---

*) В послѣднее время часто приходится слышать опасенія, связанныя с тѣм, что будущій мирный трактат должен быть ратифицирован сенатом. Я не могу останавливаться здѣсь на взаимоотношеніях между президентом и сенатом — это одна из основных проблем политическаго строя Соед. Штатов. Укажу лишь на то, что неутвержденіе сенатом Версальскаго мирнаго договора произошло при стеченіи обстоятельств, которое теперь едва ли повторится. Большинство в обѣих палатах конгресса принадлежало тогда враждебной Вильсону республиканской партіи, — но Вильсон не желал считаться с оппозиціей и «шел напролом». Нужны непримиримыя расхожденія, чтобы сенат снова рѣшился пред лицом всего міра дезавуировать подпись президента Соединенных Штатов.

РЕВОЛЮЦІЯ В КИТАѢ, ЯПОНІЯ И СТАЛИН.

(Из очерков по исторіи внѣшней политики Москвы).

Интервью Сталина о роли и судьбах Японіи, рѣчь о котором шла в моей предыдущей статьѣ, увидѣло свѣт не во время: оно или нѣсколько запоздало, так как угроза войны между Японіей и Соед. Штатами, в разсчетѣ на которую и была построена политика совѣто-японскаго соглашенія 20 января 1925 года, к этому времени начала разсѣиваться; или, наоборот, намного опередило событія, так как почва для политики длительнаго сотрудничества двух стран, — Японіи и Сов. Россіи,— построивших свои внутренніе порядки «по образу и подобію коренных интересов» каждаго из этих народов, была еще совсѣм не подготовлена... Ни в Японіи, ни в Сов. Россіи! И Сталину пришлось на собственном опытѣ убѣдиться в дальновидности нѣмецких геополитиков, учивших, что первым и основным условіем для веденія какой-либо страной активной внѣшней политики является созданіе ею «у себя дома» прочнаго внутренняго единства.

В Совѣтской Россіи для созданія такого единства было сдѣлано уже очень многое. В ней уже были уничтожены старые «эксплуататорскіе классы» и вся власть уже перешла в руки одной правящей партіи тоталитарнаго типа. Но внутри этой партіи «единство внѣшне-политической воли» еще далеко не стояло на той высотѣ, которая была необходима для проведенія «восточной стороны евразійской континентальной политики» с ея головоломным маневром единаго фронта «міровой революціи» и японскаго «пан-азіатства» во имя революціи «азіатской»... Для поднятія этого единства на т а к у ю ступень россійских коммунистов того поколѣнія, которое провело октябрьскую революцію, нужно было вообще истребить.

1.

Силы, противодѣйствовавшія политикѣ 20 января, работали во всѣх заинтересованных странах, — но первый жестокій удар ей был нанесен в Китаѣ.

Сунь Ят-сен, который игралъ столь большую роль в дѣлѣ

сколачиванія «азіатскаго» блока Японіи — Сов. Россіи — **Китая** имѣл вполнѣ опредѣленное представленіе о задачах и характерѣ той революціи, которую он готовил: на первом мѣстѣ для него стояла задача національнаго освобожденія Китая. Путь, который вел к этому освобожденію, был, — по концепціи Сунь Ят-сена, — длинен и сложен. Движеніе свободных масс народа играло только вспомогательную роль. Основная линія событій должна была развертываться в слѣдующей послѣдовательности: сначала — період военный, т. е. вооруженной борьбы военной силы, созданной Сунь Ят-сеном, против различных маршалов-«милитаристов», которые раздирают Китай на куски, и против западно-европейских и американских имперіалистов, которые стоят за их спиною; затѣм — період «воспитанія и организаціи», когда побѣдившая національная власть, построенная как диктатура типа просвѣщеннаго и благожелательнаго абсолютизма, будет воспитывать народ для свободы, — и только позднѣе, в качествѣ завершающаго третьяго періода, должна притти демократія, когда эта просвѣщенная диктатура добровольно сдаст власть уже в достаточной мѣрѣ воспитанному и организованному народу (1).

Таким образом время демократіи придет лишь послѣ того, как будет закончена основная работа по освобожденію Китая от «двойного зла: имперіализма и милитаризма» (слова манифеста, выпущеннаго Сунь Ят-сеном в ноябрѣ 1924 года). На очереди же стояла именно эта борьба, — и Сунь Ят-сен ко всѣм вопросам подходил с точки зрѣнія перваго из указанных періодов: военнаго. Именно с этой точки зрѣнія он подошел и к вопросу о соглашеніи с большевиками.

О переговорах между ними мы знаем сравнительно мало. Извѣстно, что единомыслія не было и что Сунь Ят-сен не только сам рѣшительно подчеркнул непримѣнимость коммунизма и совѣтской системы в Китаѣ, но и добился публичнаго заявленія Москвы о том, что и она раздѣляет эту его точку зрѣнія. В чем они полностью сошлись, это был вопрос о практических дѣйствіях для «перваго періода», — главным образом о дѣйствіях против «англо-саксонскаго имперіализма».

До 1924 года армія Сунь Ят-сена ничѣм не отличалась от арміи всѣх остальных групп, которыя вели борьбу за власть в Китаѣ, т. е. была арміей наемных солдат, сражавшихся под командой генералов, которыми руководили мотивы личнаго характера. В 1924 году была начата ея реорганизація, — под руководством совѣтских инструкторов и по планам, разработанным исходя из совѣтских образцов. Первым шагом было

созданіе на островѣ Вампу под Кантоном офицерской школы совѣтскаго типа: изученіе военных наук в ней было соединено с занятіями по гоминдановской политграмотѣ. Школа должна была воспитывать не просто офицеров, — а офицеров-граждан, сознательных участников національно-революціонной борьбы. Они должны были составить костяк новой национальной арміи.

Ближайшіе же мѣсяцы показали, насколько благодарна китайская почва для этого эксперимента. Первый выпуск осенью 1924 года дал 400 офицеров, — торжество производства провел сам Сунь Ят-сен. Вокруг них было сформировано два первых полка новой арміи, — которые в ближайшіе же дни блестяще зарекомендовали себя в бою: при подавленіи реакціоннаго возстанія так наз. «бумажных тигров». В концѣ года в школѣ было свыше 1000 курсантов, — а к веснѣ уже был развернут первый корпус національной арміи: по совѣтскому образцу, — в составѣ трех дивизій по три трех-батальонных полка в каждой. По совѣтскому же образцу был построен и аппарат политработы в арміи: с Политуправленіем, подчиненным ЦК Гоминдана, — на подобіе россійскаго ПУР'а, — во главѣ, и с партячейками Гоминдана в каждой части, до самых низов... Формально всю преобразовательную работу возглавлял Чан Кай-шек, начальник школы с первых дней ея существованія; но главными работниками были совѣтскіе инструктора со «старшим военным совѣтником кантонскаго правительства» В. К. Блюхером во главѣ. Из Москвы же шло и военное снаряженіе, и деньги...

Не меньше значенія Сунь Ят-сен придавал и другой сторонѣ своих отношеній с Москвою: вопросу об отношеніях с компартіей Китая.

Эта послѣдняя в то время была совсѣм небольшой организаціей (в 1922-1923 годах в ней числилось не больше 300-400 членов), об'единявшей преимущественно интеллигентов (профессоров, студентов, журналистов и т. д.), которые вели пропаганду коммунистических идей и помогали рабочим строить их первыя профессіональныя организаціи. В их ранних выступленіях было много примитивизма, но это были искренніе поиски, полные народолюбческой романтики. Сложные внѣшнеполитическіе разсчеты, которые стояли в центрѣ вниманія Сунь Ят-сена, им были совершенно чужды, — и когда один из піонеров китайскаго коммунизма, проф. Дай Цзи-дао, начал развивать идеи о предпочтительности японскаго имперіализма по сравненію с американским, то он встрѣтил такой отпор, что

был вынужден покинуть компартію. Ни по своей силѣ, ни по теоретической подготовленности, китайскіе коммунисты не могли претендовать на отвѣтственную роль в обще-національном движеніи, — и не претендовали на нее. Об'единенія с партіей Сунь Ят-сена, с Гоминданом, коммунисты китайскіе не хотѣли, против него они спорили.

Но судьбы китайскаго коммунизма уже тогда рѣшались не в Пекинѣ и не в Шанхаѣ, — а на берегах Москвы-рѣки. Там намѣтились двѣ основных точки зрѣнія по этому вопросу, — связанныя с двумя различными концепціями путей развитія китайской революціи. Одну из них яснѣе и ярче всего сформулировал Троцкій. Его схема развитія Китая, — старая схема русских марксистов 1890-х годов, лишь слегка приспособленная для китайских условій: теперешняя революція носит характер національно-демократической, и ея об'ективным результатом явится расчистка путей для развитія капитализма в Китаѣ:

> «Нѣт никакого сомнѣнія, — говорил он 21 апрѣля 1924 г. на собраніи студентов Коммунистическаго Университета Трудящихся Востока в Москвѣ, — в том, что если китайской партіи Гоминдана удастся об'единить Китай под національно-демократическим режимом, то капиталистическое развитіе Китая пойдет вперед семи-мильными шагами».

Этот капитализм будет обладать рядом особенностей, отличающих его от капитализма европейскаго. Его дѣйствіе будет не «постепенное и медленное, не эволюціонное, а рѣзкое, катастрофическое». Он будет ломать старые устои китайской экономики, — а вмѣстѣ с тѣм и всего быта:

> «А все это готовит мобилизацію неисчислимых пролетарских масс, которыя будут вырываться сразу же из доисторическаго полу-варварскаго состоянія и ввергаться в фабричный котел индустріи. Там не будет, слѣдовательно, времени для сохраненія и накопленія в сознаніи трудящихся мусора вѣков; нѣт, в их сознаніи как бы пройдет гильотина, которая сразу отрѣжет прошлое от будущаго и заставит их искать новых идей, новых форм, новых путей жизни и борьбы».

Тогда, — но только тогда, — придет время для «марксистско-ленинской партіи» Китая выступить на арену с испытанными средствами борьбы (диктатура пролетаріата и т. д.). Теперь же, в ожиданіи этого времени, роль китайских комму-

нистов, по мнѣнію Троцкаго, должна быть похожей на роль, которую в старой Россіи сыграла группа «Освобожденіе Труда» (Плеханов, Засулич, Аксельрод), поставившая своей задачей «развитіе сознанія производителей», т. е. разработку теоретических вопросов, пропаганду марксистских идей, воспитаніе кадров будущей партіи, содѣйствіе строительству первых рабочих организацій... Необходимость поддерживать движеніе, возглавленное Сунь Ят-сеном, Троцкій признавал, — но политическое удареніе ставил не на поддержкѣ, а на предостереженіи относительно опасностей «національно-демократическаго перерожденія», которыя на этом пути подстерегают молодых марксистов из китайских групп «Освобожденія Труда» (2).

В этих формулировках Троцкаго не мало недоговореннаго, — быть может, даже недодуманнаго. Далеко не над всѣми «і» поставлены нужныя точки. Опираясь на эти посылки можно дѣлать и «лѣвые» (в стилѣ «перманентной революціи»), и «правые» (в направленіи самоограниченія одной пропагандистской работой) выводы, — и сам Троцкій в теченіи послѣдующих лѣт колебался между первыми и вторыми. Но генеалогія концепціи в ея цѣлом ясна: она — приспособленный для Китая варіант меньшевистской концепціи 1905 года об отношеніи к власти в эпоху буржуазно-демократической революціи. Такая революція — очень хорошее и нужное дѣло; пролетаріат должен активно в ней участвовать и поддерживать всѣ прогрессивныя силы в борьбѣ против стараго порядка, — но эта поддержка не должна принимать формы участія во власти, пока революція остается в рамках буржуазно-демократическаго преобразованія. Его задача в этой обстановкѣ — готовить свои силы для будущаго, — для схваток той эпохи, когда об'ективное развитіе поставит вопрос о преобразованіи соціалистическом... Троцкій, который в отношеніи Россіи еще в 1905 году дѣлал попытки вырваться из об'ятій этой концепціи, который в 1917 году явился одним из главных ея ниспровергателей, — в отношеніи Китая 1922-1924 годов был полностью во власти ея!

Вторая концепція полностью была развернута и теоретически обоснована только позднѣе, — в 1926-1929 годах. В 1922-1923 годах к ней подходили лишь ощупью, со стороны практическаго вывода. Этот вывод был в достаточной мѣрѣ элементарен и по существу сводился к мысли о необходимости активно участвовать во власти даже в эпоху буржуазно-демократической революціи: для того, чтобы извнутри оказывать вліяніе на политику власти. Аргументація была обычно повто-

реніем той или иной группы аргументов из старой брошюры Ленина: «Двѣ тактики соціал-демократіи в демократической революціи»... В конечном счетѣ, на китайском вопросѣ в эти годы развертывалось продолженіе стараго спора 1905 года между Плехановым и Мартовым, с одной стороны, и Лениным, с другой...

В 1922-1923 годах побѣдил, конечно, пестрый блок сторонников ленинской концепціи. Это рѣшило судьбу китайских коммунистов: они должны были пойти в органы китайской національно-революціонной власти, а для этого должны были вступить в Гоминдан. Рѣшеніе было закрѣплено в резолюціи Исполнительнаго Комитета Коминтерна от 12 января 1923 года:

> «...Поскольку независимое рабочее движеніе в странѣ (Китай) еще слабо и поскольку центральной задачей для Китая является національная революція против имперіалистов и их внутренних феодальных агентов, и, далѣе, поскольку рабочій класс заинтересован в разрѣшеніи этой національно-революціонной проблемы, но еще недостаточно дифференцирован, как совершенно независимая соціальная сила, — ИККИ считает необходимым координировать дѣйствія между партіей гоминдан и молодой компартіей Китая».

Формы координаціи возможны различныя, — и возможно, что нѣкоторые из членов ИККИ в момент принятія резолюціи предполагали торговаться с Сунь Ят-сеном, выговаривая какую-то степень независимости для коммунистов. Но здѣсь они натолкнулись на непреклонную волю Сунь Ят-сена: послѣдній хотѣл имѣть коммунистов в рядах своей партіи, — но только на условіи их полнаго подчиненія жесткой — «военной», как говорил Троцкій в своих воспоминаніях, — дисциплинѣ Гоминдана:

> «Поскольку китайская партія, — диктовал Сунь Ят-сен свои условія во время переговоров с Марингом, представителем Коминтерна для Китая, — присоединилась к Гоминдану, постольку она должна подчиняться его дисциплинѣ и не смѣет открыто критиковать Гоминдан. Если коммунисты откажут в повиновеніи, я должен буду исключить их из Гоминдана. Если Сов. Россія станет на сторону коммунистов, я должен буду выступить против Совѣтской Россіи».

Проф. Чен Ду-сю, один из основателей компартіи Китая и ея общепризнанный вождь в 1921-1927 годах, позднѣе, — когда его исключили из Коминтерна за «оппозиціонность», — разсказал какому давленію тогда подверг Коминтерн китайских коммунистов, чтобы добиться их согласія на условія Сунь Ят-сена. Китайскій ЦК единогласно отверг вступленіе в Гоминдан на этих условіях, — но был вынужден подчиниться, так как Маринг поставил вопрос: признает ли он для себя обязательной дисциплину Коминтерна (3).

Настойчивость, проявленная в этом вопросѣ и Сунь Ят-сеном, и Коминтерном, об'яснима только в одном случаѣ: если мы поймем, что запрещеніе критики Гоминдана должно было относиться прежде всего к в н ѣ ш н е й политикѣ Сунь Ят-сена. Стремясь к соглашенію с Японіей для совмѣстных дѣйствій против «англо-саксонскаго имперіализма», Сунь Ят-сен не мог оставлять незащищенным свой тыл от коммунистов Китая, которые только что перед тѣм устранили из своих рядов людей, склонных к установленію благожелательной для Японіи градаціи в отношеніи к японскому и англо-саксонскому имперіализмам. Поскольку ту же политику принимал и Сов. Союз,

Послѣдній лично руководил работами в обоих указанных постольку Коминтерн не мог не поддержать Сунь Ят-сена. направленіях, — и по реорганизаціи арміи, и по установленію совмѣстной работѣ с коммунистами: только дождавшись первых результатов и убѣдившись в их солидности, — он пустился в свое большое путешествіе на Сѣвер, — в Пекин через Японію. Сов. Россія в этот момент настолько тѣсно связывала себя с Сунь Ят-сеном, что этот послѣдній в прощальной рѣчи к собравшимся организаторам Гоминдана (25 ноября 1924 года) настоятельно совѣтовал смотрѣть на Бородина, как на своего замѣстителя и слушаться его совѣтов, учиться у него. Неофиціалный, но тѣм болѣе полномочный представитель совѣтскаго правительства при правительствѣ кантонском, Бородин в то же время занимал посты особаго совѣтника и ЦК Гоминдана, и кантонскаго правительства, — и был дѣйствительно самым вліятельным человѣком в Кантонѣ, исключая лишь Сунь Ят-сена. Причина была, конечно, не только в том, что Бородин был старым личным другом Сунь Ят-сена, — еще со времен совмѣстных скитаній в эмиграціи. Сын «извѣчно стараго народа со всей порочностью и со всѣм лукавством четырехтысяче-лѣтняго культурнаго и соціальнаго опыта» (как выразился однажды К. Хаусхофер о Китаѣ), Сунь Ят-сен совсѣм не принадлежал к числу сентиментальных людей, способных в

государственных дѣлах руководствоваться личными чувствами. Бородина он выдвигал потому, что считал Москву прочной союзницей для своих далеко идущих планов, — и имѣл всѣ основанія быть в этом увѣренным (4).

2.

Встрѣчи в Японіи подорвали оптимизм Сунь Ят-сена. В том же направленіи дѣйствовала и обстановка, найденная им в Пекинѣ. Блок, разгромившій осенью 1924 года У Пей-фу, ставленника «англо-саксонскаго имперіализма», трещал по всѣм швам. Чжан Цзо-лин, некоронованный король Манчжуріи, состояніе котораго тогда оцѣнивалось уже в 60 милл. долл., не хотѣл авантюр и с явным недовѣріем смотрѣл не только на Фын Юй-сана, который обнаруживал чисто юношескую влюбленность в совѣтское золото, но и на Сунь Ят-сена. Интервью, которыя этот послѣдній давал в тѣ дни, показывают, гдѣ он видѣл очередную опасность: он уже не рисовал далеких перспектив пан-азіатской революціи, а пытался убѣдить японцев, что китайская революція не грозит их интересам в Манчжуріи.

Смерть, пришедшая в сутолокѣ переговоров (12 марта 1925 года) спасла «стараго Суна» от многих дальнѣйших испытаній. Перед смертью он подписал завѣщаніе, в котором главной задачей об'являл борьбу против «того международнаго строя, основы котораго издревлѣ коренятся в рабовладѣльчествѣ, войнах и несправедливости», — за «освобожденіе Китая и других эксплуатируемых стран от имперіалистическаго гнета», — и прибавлял, что надежными союзниками китайскаго народа в этой борьбѣ могут быть только тѣ народы, которые относятся к Китаю, «как равные к равным». Спеціальные привѣты он слал Сов. Россіи, — об Японіи не упоминал ни словом. Сунь-Ят-сен уходил из жизни, глубоко разочарованным в «Черном Драконѣ» своей юности...

Основаній было больше, чѣм достаточно. В политикѣ Японіи по отношенію к Китаю за послѣднія десятилѣтія боролись двѣ линіи: политика далеких перспектив совмѣстной борьбы в будущем за далекія Южн. Моря и реалистическая политика защиты интересов сегодняшн. дня. Будучи послѣдовательно развита, первая обязывала к союзу с національно-возродившимся Китаем и к поддержкѣ движенія, ставившаго своей цѣлью такое возрожденіе, — хотя это и было связано с риском для «реальных интересов», которые Японія имѣла в Китаѣ сегодня; вторая требовала ослабленія Китая для полученія именно сегодня воз-

можно больших барышей от хищнической его эксплуатаціи. Между этими двумя политиками было много промежуточных ступеней, много всевозможных оттѣнков, — но на концах цѣпи стояли именно онѣ. Проповѣдниками первой в тѣ годы были главным образом юные романтики из журналистов и суровые практики из контр-развѣдок, — которые и положили начало организаціям типа «Чернаго Дракона», завлекая в их сѣти революціонную китайскую молодежь. Проводниками второй были реальные политики, представлявшіе правящіе классы старой Японіи. Конечно, и послѣдніе были рады при случаѣ сдѣлать пакость «бѣлым дьяволам»; временами и они кокетничали «пан-азіатскими» фразами, используя их в своих интересах, — но по существу они не чувствовали никакого желанія итти на рискованныя авантюры в погонѣ за «синею птицею» Тихаго Океана, освобожденнаго от «англо-саксонских імперіалистов»... Эти двѣ политики тянули Японію в разныя стороны: первая подставляла ножку второй, вторая срывала первую.

В 1924 году угроза войны с Соед. Штатами заставила реальных политиков сдѣлать ряд авансов «романтикам», — но с неизмѣнной оглядкой на «реальные интересы» Японіи в Китаѣ:

> «Японія — бѣдная страна, — просвѣщал в 1926 году старый японскій дипломат Дебучи своего молодого совѣтскаго коллегу Бесѣдовскаго, — мы не можем отказаться от тѣх капиталов, которые вложили в Китаѣ».

Этих капиталов было не мало: японских фабрик на территоріи Китая было много больше, чѣм фабрик всѣх остальных иноземцев, взятых вмѣстѣ. Это вело к послѣдствіям, все значеніе которых Японія почувствовала как раз в 1925 году.

Китайским пролетаріям, продававшим свои рабочія руки, чаще всего приходилось сталкиваться с японским хозяином, с японским мастером. Эти столкновенія будили мысли совсѣм не о пан-азіатской солидарности: условія труда на японских фабриках были много хуже, чѣм на других. Дѣло было не только в том, что рабочій день у японцев был замѣтно длиннѣе, чѣм, напримѣр, у англичан (14 час. вмѣсто 10-11), что санитарныя условія были там значительно худшими и т. д. Важнѣе было, что японцы сохраняли режим тѣлесных наказаній на фабриках: китайскаго пролетарія, пробуждавшагося к сознательной жизни, острѣе всего оскорбляла бамбуковая палка в руках японскаго надсмотрщика... Именно она была дѣйствительной причиной взрыва 1925 года.

В литературѣ о событіях тѣх лѣт зарисована небольшая сценка с натуры: на собраніе шанхайских студентов-коммунистов, обсуждавших вопрос о чествованіи Сунь Ят-сена, который задержался в Шанхаѣ на пути в Японію, явился ученик-наборщик с разсказом об условіях труда на японских фабриках. Он призывал собравшихся «перестать пѣть о любви, скинуть длинные (студенческіе) халаты и пойти в гущу рабочей массы»... Его призыв упал на благодарную почву. В глуши «китайской трущобы» Шанхая, около «соломенных бараков», гдѣ ютилась самая безпросвѣтная голытьба и куда не рисковала показываться ни одна из многочисленных шанхайских полицій, ежевечерне шли собранія. Сначала говорили студенты, смѣнившіе длинные халаты на рабочее отрепье; затѣм начали выступать и рабочіе. Всѣ били в одну точку. Каждый оратор начинал с напоминанія о том, что «я п о н ц ы нас бьют и в щеку и в ухо»; каждая рѣчь заканчивалась призывом к борьбѣ с я п о н с к и м имперіализмом (это слово тогда впервые пустили в китайскую рабочую массу), — и при каждом упоминаніи об японцах по особому всколыхивалась толпа на полянкѣ. Японцев здѣсь ненавидѣли особо острой ненавистью! Было положено начало профсоюзу текстильщиков, который повел агитацію за забастовку: «не позволим я п о н ц а м бить китайцев!» Элементы протеста соціальнаго неразрывно сплетались с протестом національным. В процессѣ самоутвержденія против Японіи рождался рабочій Китай.

Первая частичная стачка вспыхнула в февралѣ, — в видѣ протеста против избіенія дѣвочки-работницы. Рабочіе требовали прежде всего отмѣны тѣлесных наказаній и публичнаго извиненія японцев, — и когда стачка кончилась, рабочіе молча стояли у станков, в ожиданіи, что хозяин, мастера и надсмотрщики, согласно условіям мира, обойдут всѣ мастерскія, принося извиненія. — «Большая стачка» в маѣ началась, как отвѣт на убійство японскими полицейскими китайскаго рабочаго, который пришел на фабрику делегатом от профсоюза. Ея лозунгом было: «Японскія фабрики — назад в Японію!» Она быстро распространилась на всѣ японскіе предпріятія, — а послѣ 30 мая, когда международная полиція убила 4 и ранила 24 участников демонстраціи протеста, движеніе приняло обще-національный характер: к рабочим присоединились студенты, интеллигенція, торговцы... Из Шанхая движеніе перекинулось на юг, — в Кантон, в Ханкоу и т. д.... К оружію стачки присоединилось оружіе бойкота иностранных товаров (5)...

Эти событія открыли новую эпоху в развитіи китайской

революціи: на авансцену выходили рабочія массы Китая, начинавшія строить свои свободныя организаціи и пытавшіяся говорить языком свободнаго европейскаго движенія. Они были факторомъ, котораго не предусматривали схемы Сунь Ят-сена. Им была чужда надуманная дипломатія послѣдняго. Их внѣшняя политика была только функціей их борьбы за насущнѣйшіе интересы текущаго дня. Это было крайне примитивно, — но такой примитивизм оказался болѣе надежным путеводителем в запутанной обстановкѣ, чѣм сложныя книжныя теоріи. Он вѣрнѣе подводил к правильному пониманію дѣйствительных національных интересов Китая. Так показала историческая повѣрка: по существу, — если брать большія линіи развитія, — война, которую теперь ведет Чан Кай-шек, внутренней логикой связана с внѣшне-политической стратегіей шанхайских рабочих, выставивших лозунг: «японскія фабрики — назад в Японію!», а не со стратегіей пан-азіатской революціи «стараго Суна».

Эти стачки путали внѣшне-политическую игру Гоминдана, — и были первопричиной ряда конфликтов внутри послѣдняго. В началѣ был сдѣлан ряд попыток затушить движеніе. Эти настроенія не были чужды и руководителям компартіи: извѣстно, что тогдашній лидер ея, Чен Ду-сю, к этому времени уже занявшій видный пост в аппаратѣ Гоминдана, рѣшительно возражал против расширенія шанхайской стачки и особенно против устройства демонстраціи 30 мая. Когда стало ясно, что движенія не остановить, руководители Гоминдана усвоили болѣе мудрую тактику: они встали во главѣ движенія, — чтобы направить его по руслу, которое соотвѣтствовало их политикѣ. С большой энергіей они раздували движеніе на югѣ, куда оно перебросилось в началѣ в видѣ демонстрацій симпатій к шанхайцам: на югѣ японцев почти не было, и движеніе против «иностранных имперіалистов» здѣсь неминуемо превращалось в движеніе против «англо-саксов». Наоборот, на сѣверѣ, — в районах, гдѣ Японія имѣла преимущественные интересы, они принимали всѣ мѣры, чтобы движеніе затушить. К сѣверу от Шанхая движеніе вообще не пошло. Даже в самом Шанхаѣ, гдѣ он ударил бы и по Японіи, бойкот широкаго примѣненія не получил, и даже стачки закончились относительно скоро (торговцы бастовали 3 недѣли, рабочіе — около 4 мѣсяцев). За то в Кантонѣ, гдѣ был центр торговых интересов Англіи, стачка и бойкот, поддержанные Гоминданом, продолжались 16 мѣсяцев и нанесли дѣйствительно жестокіе удары и британскому престижу и британской торговлѣ.

В итогѣ движеніе, начавшееся, как ярко анти-японское, оказалось выгодным для Японіи. О шанхайских рабочих было позабыто. Их борьба за права человѣка была сведена на нѣт. Всѣ удары направлялись только против «англо-саксов»: бойкотировали только британскіе порты, только англійскіе товары, — а японскіе купцы наживали сверх-смѣтные барыши, увеличивая свой вывоз в Китай...

Это был реванш «Чернаго Дракона», — но реванш явно за счет насущных интересов китайскаго національно-освободительнаго движенія. Односторонне направленное движеніе бойкота приковывало всѣ силы южно-китайской демократіи к борьбѣ с внѣшним врагом, — и препятствовало ея активному выступленію на внутреннем фронтѣ, в борьбѣ за единый Китай. Острѣе всего это ощущала молодая армія, — и отнюдь не случайность, что именно вожди послѣдней уже с весны 1926 года вступают в конфликты с тѣми лидерами Гоминдана, которые все вниманіе сосредоточили на безграничном затягиваніи бойкота. Сил на все не было: приходилось выбирать или бойкот, или движеніе армій на Сѣвер. Во главѣ сторонников послѣдняго оказался Чан Кай-шек, — и логика событій его толкала и ко все болѣе и болѣе примиренческому взгляду на «англо-саксов», и ко все болѣе и болѣе отрицательному отношенію к Японіи. Горячими сторонниками бойкота и проянонской оріентаціи вообще были «лѣвые» гоминдановцы, — во главѣ с Ван Цзин-веем, которые все болѣе и болѣе полно сливали свою политику с политикой Японіи в интерпретаціи «Чернаго Дракона» (6). Китайскіе коммунисты плелись в хвостѣ у этих «лѣвых».

3.

Событія в Шанхаѣ не только для Китая были связаны с попыткой вырваться из орбиты политики «пан-азіатскаго блока». Они дали толчек для аналогичной попытки и в Совѣтской Россіи.

В этой послѣдней вѣсти о событіях в Шанхаѣ произвели огромное впечатлѣніе. Газеты пестрѣли заголовками: «Пробужденіе рабочаго Китая», «Китайскій 1905 год» и т. д. Очень характерно: острѣе других на событія реагировала не совѣтская «большая пресса», не «Правда» с «Извѣстіями», а печать, связанная с профсоюзами, — «Труд», «Рабочая Газета» и др. Она же была болѣе опредѣленна и в подчеркиваніи анти-японскаго характера движенія. Профсоюзы первыми проявили ини-

ціативу по сбору пожертвованій в пользу бастующих. Быстро была создана делегація, — которая уже 11 іюля пустилась в путь в Китай...

Конечно, и в то время в Сов. Россіи ни один большой шаг не предпринимался без рѣшенія Политбюро. Тѣм не менѣе, в свѣтѣ позднѣйших событій нѣт сомнѣній, что инціативная роль профсоюзов не была случайностью.

Компартія Сов. Россіи в это время уже господствовала над всею страною, — по диктаторски безраздѣльно. Никаких других партій, никаких иных политических образованій она не терпѣла. Но в ея собственном пóстроеніи еще сохранялись элементы демократизма: как пережитки от того времени, когда она еще не стояла на почвѣ тоталитаризма. Существованіе фракцій, правда, уже было запрещено. Не допускалось и возникновенія органов, вокруг которых могли формироваться идеологическія группировки. Но свободу мнѣній в извѣстных предѣлах еще терпѣли, — и группировки, складывавшіяся не по фракціонно-политической линіи, еще играли видную роль в жизни партіи.

Среди этих группировок видное мѣсто занимала группировка профессіоналистов. Профсоюзы Россіи к этому времени уже были вычищены от не-коммунистов. На VI с'ѣздѣ профсоюзов в 1924 году впервые не было ни одного делегата из меньшевиков и с.-р. Руководящіе посты повсюду были заняты коммунистами, — но это были коммунисты из старых рабочих, связанных в прошлом с профдвиженіем, по своему дорожившіх традиціями послѣдняго. В партіи они держались особой группой, — в извѣстной мѣрѣ обособляя себя не только от правительственнаго аппарата, но и от остальных частей своей же партіи. Они гордились своей пролетарской родословной в прошлом, своей связанностью с рабочим классом в настоящем, — и держали себя, как люди, призванные защищать р а б о ч і е интересы в партіи, р а б о ч у ю линію в политикѣ страны. Партійные центры признавали за ними право на извѣстную автономію, и комфракція ВЦСПС фактически по своей волѣ подбирала руководящіе кадры для профсоюзов, редакторов профсоюзных газет и т. д.

В области политики внѣшней для них было характерно стремленіе установить непосредственное общеніе между профсоюзами Сов. Россіи и профсоюзами других стран. Наиболѣе извѣстным этапом этой политики было созданіе англо-русскаго рабочаго комитета. Но дѣло не ограничивалось им одним: в принципѣ профессіоналисты были склонны раскинуть сѣть та-

ких комитетов по всему міру, — и замѣнить ими не только Профинтерн, но, быть может, и Коминтерн.

Эту политику можно расцѣнивать по разному, — в зависимости от того, с какой точки зрѣнія к ней подходить. Ея значеніе дѣйствительно было не одинаково: одно для Россіи, другое, напр., для Англіи. Но если брать ее со стороны Россіи, то два момента этой политики вырисовываются с особенной отчетливостью. В ней прежде всего ясно видны элементы стремленія задержать процесс поглощенія классовых рабочих организацій аппаратом совѣтскаго государства: поддерживая непосредственныя сношенія с рабочими организаціями других стран, гдѣ эти организаціи были независимы от государства, профсоюзы россійскіе утверждали и свое собственное право на извѣстную степень независимости от государства в странѣ «рабоче-крестьянской диктатуры». И в то же время, вводя в систему сношенія с рабочими не-коммунистическими организаціями заграницы, профсоюзы россійскіе признавали эти организаціи классовыми рабочими организаціями и принимали на себя обязательство при выработкѣ внѣшне-политической стратегіи Сов. Россіи в какой то мѣрѣ считаться с интересами рабочаго движенія в других странах, — не дѣлать шагов, которые наносят вред послѣднему.

Это вело к весьма важным выводам.

Как мы видѣли в предыдущей статьѣ, политика Сталина в отношеніи Японіи в 1924-1925 г.г. обнаружила тенденцію соціальные конфликты ставить в подчиненное положеніе по сравненію с конфликтами междугосударственными: об'ективное (как он его понимал) значеніе выступленія Японіи (в том видѣ, как она существовала) против «англо-саксонскаго имперіализма» толкало Сталина на путь пересмотра вопроса о значеніи соціальных конфликтов внутри самой Японіи. Политика профессіоналистов по самым основным своим посылкам была антагонистична этой тенденціи: во всѣх соціальных конфликтах они оставались на сторонѣ рабочаго класса, — и значеніе соціальных конфликтов для них было опредѣляющим при рѣшеніи вопросов и об отношеніях междугосударственных.

В этой обстановкѣ иниціативная роль профсоюзов в кампаніи поддержки китайских рабочих не могла быть случайностью. Конечно, это дѣло к ним относилось больше, чѣм к кому-либо другому; конечно, симпатіи к Китаю тогда не могли не быть общими для всѣх слоев россійских коммунистов; — и все же несомнѣнно, что, демонстрируя свои симпатіи к шанхайским рабочим, которые вели борьбу против японских фаб-

рикантов, руководители совѣтских профсоюзов в какой то мѣрѣ демонстрировали и против политики сближенія Москвы с Японіей, за ликвидацію «верхушечной» игры в «пан-азіатскую революцію», за оріентацію на свободное революціонное движеніе китайских рабочих и народных масс.

Обстановка, сложившаяся к этому моменту внутри партіи, усилила эффективность выступленія профессіоналистов: партія переживала «кризис руководства». В теченіи послѣдних двух лѣт перед тѣм бразды правленія держала «тройка» в составѣ Зиновьева, Каменева и Сталина. Именно ею был взят курс на «пан-азіатскія» авантюры, — как составная часть общаго курса на авантюры, который Коминтерн пытался продолжать и послѣ крушенія надежд на революцію в Германіи. Но весною 1925 года тренія внутри этой «тройки» между Сталиным, с одной стороны, и Каменевым-Зиновьевым, с другой, приняли особенно рѣзкій характер. Ребром был поставлен вопрос: «кто кого?» — и Сталин впервые примѣнил тот пріем, которым он с неизмѣнным успѣхом пользуется и понынѣ: прибѣг к «перепряжкѣ коней на ходу», — к смѣнѣ группы, которая его поддерживает. По тогдашнему составу Политбюро новая группа могла создаться только в том случаѣ, если в нее войдет Томскій, признанный вождь профессіоналистов, — близким сотрудником и единомышленником котораго (и при том как раз в вопросах внѣшне-политических) был Лепсе, один из руководителей союза металлистов и глава делегаціи, посланной в Китай. Чтобы сохранить власть, Сталин пошел на союз с Томским, сдѣлав цѣлый ряд уступок в вопросах политических. Созданный таким путем блок далеко не был внутренне однородным, — но он значительно увеличил реальную силу лично Сталина: к «единству внѣшне-политической воли» правящей партіи Сталин шел по пути созданія своего единовластія.

Это «смутное время» на верхах партіи было причиной «смут» и в политикѣ страны, — в том числѣ и в ея внѣшней политикѣ на Тихом Океанѣ. Всматриваясь в послѣднюю с исторической перспективы нельзя отдѣлаться от впечатлѣнія, что ее в 1925-1927 г.г. дѣлало одновременно нѣсколько человѣк не только друг с другом несогласных, но и сводивших на ней свои счеты друг с другом. Со старой политикой оріентаціи на пан-азіатскую революцію в союзѣ с Гоминданом далеко не все кончено. Китайскіе коммунисты идут в ногу с «лѣвыми» гоминдановцами, — тѣм болѣе дружно, чѣм опредѣленнѣе прояпонская оріентація послѣдних. И в то же время выступленія в Китаѣ профсоюзной делегаціи (а вскорѣ затѣм и делегаціи

кооперативной) окрашены в опредѣленно анти-японскіе цвѣта. Еще больше разнобоя в политикѣ, которая ведется китайскими «милитаристами», получающими деньги от Сов. Россіи и выполняющими заданія послѣдней, а что касается до совѣтских дипломатов, то их взаимная борьба доходит до прямого «вредительства» (7). Несмотря на созданіе при Политбюро особой «комиссіи тов. Уншлихта» для об'единенія дѣятельности всѣх учрежденій по вопросам, связанным с Китаем (характерно, что основной работой Уншлихта в это время было руководство военно-развѣдывательным дѣлом, — Развѣдупром), — разныя инстанціи, несомнѣнно, давали различныя инструкціи. Страна потеряла руль политики, — и причиной было отсутствіе у партіи опредѣленнаго единаго взгляда по основному вопросу: о перспективах китайской революціи. Старое большинство, которое провело рѣшенія в 1923 году, было разбито, — новое только складывалось.

Особняком стоял Троцкій. Ему казалось, что вѣтер шанхайских событій дует в его паруса, — и он выступил с требованіем выхода компартіи из Гоминдана. Он не имѣл успѣха: не только потому, что к этому времени между ним и партійным аппаратом уже был вырыт ров взаимнаго недовѣрія. Важнѣе было, что лозунг ухода, как лозунг негативный, никаких проблем не рѣшал, никакого выхода не указывал. Такіе уходы порою бывают хороши для мирных эпох в конституціонных странах, гдѣ партія, отзывая своих представителей из правительства, перестает нести отвѣтственность за дѣйствія послѣдняго и может спокойно копить силы для будущаго. В эпохи революціонныя это не дано. Уход из правительства во время революціи бывает оправдан только во одном случаѣ: если он связан с переходом к прямому штурму власти. К такому штурму Троцкій не звал: хотя в его выступленіях этих лѣт по китайскому вопросу и зазвучали ноты «перманентной революціи», — но чувствовалось, что он и сам понимает нереальность «перманентной» диктатуры пролетаріата в современном Китаѣ. Формально очень «лѣвый», его лозунг поэтому мог привести только к весьма «правым» послѣдствіям: коммунисты Китая, перейдя на положеніе безотвѣтственной оппозиціи, если не становились на путь авантюр, должны были заняться болѣе или менѣе удачной защитой повседневных интересов рабочих. В историческом аспектѣ безспорно, что для судеб рабочаго движенія в Китаѣ это было бы самым лучшим выходом, — но убѣдить в этом русских коммунистов 1925 года не было возможности. Особенно нельзя было это сдѣлать тѣми «лѣвыми» фразами,

которыми козырял Троцкій: несоотвѣтствіе этих фраз с неминуемым результатом было легко вскрыть.

Внутри того блока, который сложился в 1925 году в Политбюро, основныя расхожденія шли по другим линіям, разобраться в которых можно только в свѣтѣ позднѣйшей полемики. Основных групп намѣтилось двѣ: одну чаще всего в печати и на собраніях представлял Бухарин, в это время особенно тѣсно сближавшійся с Томским и Рыковым; другую — Сталин.

Первый во главу угла ставил вопросы, связанные с проблемой в н у т р е н н я г о развитія Китая: соотношеніе классовых сил, слагающихся в процессѣ этого развитія, их перегруппировки. В основѣ он склонен оставаться вѣрным ленинской концепціи 1905 года и подчеркивает, что китайская революція, по своему об'ективному содержанію, носит «буржуазно-демократическій характер», хотя к этому итогу идет путями «болѣе широкаго соціальнаго движенія». Китай ближайшаго будущаго «будет представлять собою демократическую диктатуру пролетаріата, крестьянства и других эксплуатируемых классов». Основная проблема, это — проблема сотрудничества между пролетаріатом и крестьянством. Сам Бухарин желательное рѣшеніе проблемы видит, несомнѣнно, в том же самом направленіи, в каком он его искал для Россіи, т. е. на путях широкаго развитія кооперації, в которой пролетаріат, играет роль опекуна и учителя крестьянина. Неизбѣжным выводом из этих посылок является представленіе о «китайской національной революціонно-освободительной борьбѣ», как о длительном историческом процессѣ. Этот процесс, конечно, входит «составной частью» в «великій историческій преобразовательный процесс», в «процесс международной революціи», — но и эта послѣдняя для Бухарина «растянута на цѣлую историческую эпоху» (цитаты взяты из рѣчи Бухарина на 7-ом пленумѣ Исп. Ком. Коминтерна). Политическое ударение в обоих случаях ставится на прилагательном: «длительный». Бухарин отнюдь не принадлежит к принципіальным противникам насилія в области хозяйственных отношеній; но он стремится ввести его в опредѣленныя рамки; возведеніе в систему «военно-феодальных методов» насилія (это выраженіе Бухарин употребил позднѣе в примѣненіи к русским дѣлам) Бухарина явно пугает, — в особенности, когда насиліе направлено против широких масс крестьянства. Для Бухарина все это — лишь частные выводы из его общаго представленія о

революціи, которую он мыслит, как движеніе широких народных масс, — пролетаріата или пролетаріата и крестьянства.

Подход Сталина в его основах діаметрально противоположен. Тенденціи внутренняго развитія Китая для него имѣют совсѣм подчиненное значеніе. Он и его сторонники во главу угла ставят междугосударственную стратегію. Явно полемизируя против Бухарина, хотя, конечно, и не называя его по имени, ближайшій соратник Сталина по руководству Коминтерном, Мануильскій, на том же 7-ом пленумѣ ИККИ (декабрь 1926 г.) говорил:

> «Китайскую революцію мы разсматривали до сих пор с точки зрѣнія внутренних перспектив ея развитія; мы недостаточно учитывали значеніе ея, как фактора, революціонизирующаго тихо-океанскія отношенія».

Говоря так, Мануильскій лишь популяризировал мысли, развитыя самим Сталиным в китайской комиссіи того же Пленума: разбирая там различные проекты тезисов (в их числѣ и тезисы Бухарина), Сталин основным их недостатком об'явил, что они всѣ

> «обходят вопрос об имперіализмѣ в Китаѣ: Если хорошенько вчитаться в тезисы, то можно подумать, что в Китаѣ в настоящее время нѣт, собственно говоря, имперіалистической интервенціи, а есть лишь борьба сѣверян с южанами или одной группы генералов против другой группы генералов» (8).

Для самого Сталина основное значеніе имѣла именно эта «имперіалистическая интервенція», — т. е. общая обстановка междугосударственных противорѣчій, развертывавшихся на Тихом Океанѣ.

Анализируя эту обстановку, Сталин попадает в орбиту Сунь ят-сеновской концепціи пан-азіатской революціи, — с тѣм отличіем, что основным врагом для него является не Англія, а Соединенные Штаты.

Его отношеніе к этим двум странам неодинаково. Англію он, конечно, ненавидит:

> «Англійскій капитализм всегда был, есть и будет наиболѣе злостным душителем народных революцій. Начиная с Великой французской революціи конца XVIII вѣка и кончая происходящей нынѣ китайской революціей, англій-

ская буржуазія всегда стояла и продолжает стоять в первых рядах громителей освободительных движеній человѣчества».

Но Англія Сталину страха не внушает. Он знает, что она

«не любит воевать собственными руками. Она всегда предпочитала войну чужими руками» (9). «Англійскій имперіализм в Китаѣ, — говорил не без пренебреженія Мануильскій, — уже битая собака. Он, поджав хвост, еще оглядывается по сторонам, нельзя ли унести утащеннаго куска при отступленіи».

Совсѣм иначе обстоит дѣло с Америкой. Здѣсь вражда соединена со страхом, в который вплетаются ноты своеобразнаго восхищенія:

«Теперь, — говорил Сталин в декабрѣ 1925 года на XIV с'ѣздѣ компартіи — центром финансовой эксплуатаціи міра являются, главным образом, Соедин. Штаты Сѣверн. Америки. Это государство растет во всѣх отношеніях: и в смыслѣ производственном, и в смыслѣ торговом, и в смыслѣ накопленія».

Оно уже подчинило своей хозяйственной диктатурѣ весь мір: «государства Европы, будучи обязаны Америкѣ выплатой процентов, вынуждены усилить гнет и эксплуатацію в колоніях и зависимых странах». Поэтому борьба за уничтоженіе этого гнета должна быть борьбою прежде всего против Америки.

Именно на этих посылках выростает вся тихо-океанская стратегія Сталина! Американскій имперіализм, — «самый страшный, самый хитрый, самый сильный враг трудящихся масс Китая», — ведет наступленіе на азіатскій материк. Америка видит в Китаѣ силу, которую можно привлечь на свою сторону для борьбы против Японіи. Китайская революція Америку не пугает.Она готова пойти на соглашеніе даже с Гоминданом: она увѣрена, что Китай от нея не уйдет, так как и в случаѣ побѣды національной революціи об'единенный Китай будет нуждаться в капиталах, вложить которые туда сможет только Америка.

Здѣсь стратегія геополитическая скрещивается у Сталина со стратегіей соціальной: какія силы внутри Китая склонны поддаться на посулы Америки? У Сталина имѣется отвѣт: потенціальными сторонниками Америки являются всѣ, кто

будущее Китая собираются строить на базѣ частно-хозяйственных отношеній. Именно через эти двери может войти в Китай Америка; необходимо захлопнуть эти двери, необходимо строить Китай будущаго на базѣ государственнаго капитализма. Китайское правительство, должно методами революціоннаго насилія подавить частно-хозяйственныя тенденціи и направить страну по пути не-капиталистическаго развитія.

Сталин, конечно, видит трудности этого предпріятія, — но он полагает, что особенности китайской революціи дѣлают это возможным. Анализ этих особенностей, даваемый Сталиным, очень важен для пониманія той новой концепціи революціи, которая сложилась у него в тѣ годы:

> «Раньше, в XVIII и в XIX столѣтіях, революціи начинались так, что обычно возставал народ, большею частью безоружный или плохо вооруженный, и сталкивался он с арміей стараго режима, каковую армію он старался разложить или, по крайней мѣрѣ, частично перетянуть на свою сторону. Это — типичная форма революціонных взрывов в прошлом. То же самое имѣло мѣсто у нас в Россіи в 1905 году. В Китаѣ дѣла пошли иначе. В Китаѣ не безоружный народ стоит против войск стараго правительства, а вооруженный народ в лицѣ его революціонной арміи. В Китаѣ вооруженная революція борется против вооруженной контр-революціи. В этом одна из особенностей и одно из преимуществ китайской революціи. В этом же кроется особое значеніе революціонной арміи в Китаѣ».

Сталин не говорит прямо, в чем именно состоит это «особое значеніе»; но в другом мѣстѣ той же своей рѣчи он указывает, какой должна быть роль революціонной арміи в деревнѣ:

> «Революціонная армія Китая является той силой, которая первой проникает в новыя провинціи, которая первой проходит по самой гущѣ крестьянства и по которой судит прежде всего крестьянство о новой силѣ власти, об ея плохих или хороших качествах. От поведенія революціонной арміи, от ея отношенія к крестьянству и к помѣщикам, от ея готовности помочь крестьянам, — зависит прежде всего отношеніе крестьянства к новой власти, к Гоминдану и вообще к революціи в Китаѣ.
>
> Коммунисты Китая и вообще революціонеры Китая должны принять всѣ мѣры к тому, чтобы нейтрализовать

анти-крестьянскіе элементы арміи, сохранять за арміей ея революціонный дух и вести дѣло к тому, чтобы армія помогала крестьянам и подымала их на революцію».

Сталин говорит, конечно, и о других формах воздѣйствія на крестьянство. Но основное удареніе его рѣчи стоит именно на роли арміи: революціонная армія для него является основной силой внесенія революціи в деревню: Отсюда легко понять «особое значеніе» революціонных армій в его концепціи революціи вообще: эти арміи не только уничтожают «вооруженную контр-революцію—, но и являются положительным фактором строительства новых хозяйственных отношеній. Армія выростает в центральную дѣйствующую фигуру революціи вообще: революція и война в концепціи Сталина сливаются в одно неразрывное цѣлое, — но основным движущим фактором его революціи становится армія, т. е. тѣ же массы, но одѣтыя в солдатскіе мундиры и подчиненныя солдатской дисциплинѣ. Именно эта армія поведет страну по пути не-капиталистическаго развитія. Отсюда понятно и основное требованіе, которое Сталин пред'являет китайским коммунистам: вплотную взяться за изученіе военнаго дѣла и стремиться занимать в революціонной арміи «т а к и л и и н а ч е руководящіе посты».

На этом 7-м Пленумѣ Сталин и его послѣдователи вставили в резолюцію о Китаѣ слова о том, что

«результатом китайской революціи н е должно быть обязательное созданіе таких соціально-политических условій, которыя поведут к капиталистическому развитію страны»,

что «революціонное анти-имперіалистическое правительство» может явиться «правительством перехода к не-капиталистическому (соціалистическому) развитію».

Для пониманія взаимосвязанности событій весьма важно, что именно этот же пленум принимает резолюцію и о событіях в Англіи в связи со стачками 1926 года, — резолюцію, которая, по существу, предрѣшает взрыв англо-русскаго рабочаго комитета: переход Сталина в наступленіе на Тихом океанѣ связан с разгромом внѣшней политики «профессіоналистов».

4.

Сопоставляя взгляды Сталина на пути развитія китайской революціи с его взглядами на пути развитія Японіи, легко установить, что его п о с ы л к и в обоих случаях остаются

неизмѣнными: та же связанность идеи госхозяйственнаго развитія с представленіем о характерѣ грядущей войны; то же недовѣріе к свободному движенію свободно организованных масс и тѣ же поиски силы, которая может стать ведущей силой новой политики не в демократических слоях населенія, а в том новом правящем слоѣ, который создается вокруг правительства, имѣющаго за собою армію и готовящаго войну.

Под вліяніем сдвигов в общественном мнѣніи партіи, вызванных событіями в Шанхаѣ, Сталин был вынужден на время отсрочить приложеніе на практикѣ тѣх схем, которыя у него сложились для дѣятельности в странах Дальняго Востока. Но от своих идей он не отказался. В 1925-1926 годах, по существу, он испытывал степени пригодности китайской революціи для приложенія его концепціи. Эта революція была огромной силой, — и физически, удѣльным вѣсом 450 милл. массы, и морально, огромным ореолом, которым было окружено ея имя в тѣ годы. Имѣть эту силу на своей сторонѣ, было крайне важно. Но старое недовѣріе к свободным движеніям свободно организованных масс у Сталина было настолько прочно, что он, — повидимому, — по существу ни одной минуты не поддавался большим иллюзіям: как мы увидим, от японской карты он ни на один момент не отказывался...

Его игра с Гоминданом в основѣ ясна: он провѣряет его вождей по двум линіям, — по линіи внѣшне-политической (враждебность к «англо-саксам») и по линіи внутри-политической (склонность к госхозяйству). Эта послѣдняя склонность в лагерѣ Сунь Ят-сена всегда существовала, — в видѣ оріентаціи на самобытные пути развитія. В своих работах, написанных послѣ міровой войны, Сунь Ят-сен опредѣленно высказывается за госкапитализм, как наиболѣе предпочтительный путь развитія Китая. Соціалистическаго в этом, конечно, было столь же мало, как, напр., в госкапиталистических мѣропріятіях Витте. В Гоминданѣ госкапиталистическія тенденціи поддерживались главным образом «лѣвыми», т. е. тѣми, кто оріентировался на Японію, и находили выраженіе, главным образом, в симпатіях к автаркіи. Отход от этой оріентаціи неизмѣнно бывал связан с отходом от симпатій к госкапитализму.

Болѣе конкретно вопрос был поставлен только послѣ 7-го пленума Исп. Комит. Ком. Инт. (гдѣ представитель Гоминдана офиціально заявил о сочувствіи послѣдняго концепціи не-капиталистическаго пути развитія), — и сыграл большую роль в дѣлѣ политической подготовки выступленія «правых»

во главѣ с Чан Кай-шеком против «лѣваго» большинства в ЦК Гоминдана (март-апрѣль 1927 г.). Интересные дебаты по вопросу развернулись в апрѣлѣ мѣсяцѣ, — в аграрной комиссіи, которая была создана ЦК Гоминдана. Особенно ясно значеніе вопроса для Китая вскрыто в рѣчи «лѣваго» проф. Гу Мын-юй.

> «Китайское крестьянство, — говорил он, — сейчас противостоит международному финансовому капиталу. От исхода этой борьбы будет зависѣть дальнѣйшій путь промышленнаго развитія Китая. Суб'ективно это — борьба китайскаго крестьянства с международным имперіализмом. Об'ективно, это — вопрос о путях индустріализаціи Китая. Здѣсь могут быть два пути: первый — привлеченіе в большом количествѣ иностраннаго капитала; второй — борьба против иностраннаго капитализма и созданіе своей собственной промышленности. Второй путь, — метод, примѣняемый в Сов. Россіи. Хотя для Китая путь индустріализаціи будет несомнѣнно труднѣе, чѣм для Сов. Россіи, но тѣм не менѣе его можно осуществить. Для этого нужно продукцію китайскаго сельскаго хозяйства, экспортируемую за границу, обмѣнять на орудія производства, на машины, на фабричное оборудованіе. До сих пор в виду того, что крестьянство было лишено всякой политической власти, оно легко подвергалось эксплуатаціи иностраннаго имперіализма. Сельско-хозяйственная продукція вывозилась заграницу и взамѣн ее ввозились главным образом предметы роскоши и оружіе. Надо, чтобы крестьянство обладало политической властью и чтобы был рѣшен земельный вопрос. Тогда можно будет вести опредѣленную экономическую политику, при которой крестьянство не будет терпѣть от эксплуатаціи иностраннаго капитала, и, с другой стороны, благодаря этой политикѣ, мы сможем развить нашу собственную промышленность.

Из этой цитаты видно анти-крестьянское значеніе идеи не-капиталистическаго развитія: как и в Россіи с ея «пятилѣтками», индустріализацію в ея госкапиталистическом варіантѣ в Китаѣ можно было провести только за счет крестьянства: отчуждая продукцію крестьянскаго хозяйства. Радикальная аграрная реформа, которую выдвигал Сталин, должна была играть ту самую роль, какую лозунг «ликвидаціи кулачества как класса» играл в Россіи в годы «сплошной коллективизаціи»: разжигать внутренніе конфликты в средѣ крестьянства, под шум которых только и можно было провести операцію, вредную

для крестьянства, как цѣлаго... В этих условіях неудивительно, что лишь наиболѣе фанатичные сторонники «пан-азіатской революціи» соглашались итти за коммунистами по пути «некапиталистическаго развитія». Как легко догадаться, в числѣ их едва ли не дольше всѣх оставался уже извѣстный нам Ван Цзинвей. В литературѣ имѣется разсказ о том, как он пришел на 5-ый с'ѣзд компартіи Китая, гдѣ спеціальная делегація Коминтерна во главѣ с М. Н. Роем, прилагала всѣ усилія, чтобы добиться принятія резолюціи в духѣ не-капиталистическаго развитія. Ван Цзин-вей внимательно слушал рѣчи, — а в своем словѣ, заявив о старых симпатіях Сунь Ят-сена и его учеников к идеѣ развитія, минуя капиталистическую фазу, в отношеніи трактовки этой идеи Сталиным ограничился постановкой вопроса: считают ли коммунисты, что китайская мелкая буржуазія, как она существует, способна бороться «за не-капиталистическій путь развитія»? Отвѣт Роя далеко не отличался политической внятностью: курс на разрыв с Гоминданом в Москвѣ уже был предрѣшен, — и коммунистам китайским, как бы они не находили «безтактными» выступленія Роя и других представителей Коминтерна, предстояло подчиниться (11).

5.

Эти теоретическіе споры о путях развитія революціи в будущем проходили под аккомпанимент совсѣм не теоретической только борьбы в лагерѣ китайской революціи вокруг «большого сѣвернаго похода», начатаго арміями Чан Кай-шека.

Я уже отмѣтил выше, что вопрос об этом походѣ еще весною 1926 года вставал, как вопрос, срывавшій бойкот англичан в Кантонѣ, — и требовавшій общаго высвобожденія китайскаго освободительнаго движенія от подчиненія его интересам оріентирующейся на Японію политики «пан-азіатской революціи». Весною 1927 года необходимость такого высвобожденія встала с еще большей ясностью.

Зимой 1926-1927 года, послѣ подготовительных операцій в районах, лежащих вблизи Кантона, арміи Чан Кай-шека начали болѣе значительныя операціи наступательнаго характера, которыя быстро развернулись в общій поход на Сѣвер в цѣлях об'единенія всего Китая. Поход развертывался блестяще, — и в началѣ 1927 года національная армія была у ворот Шанхая. Здѣсь он вступил в полосу кризиса, — разросшагося в тот кризис всей китайской революціи, который переломил спинной хребет послѣдней.

«Лѣвые» гоминдановцы, которые относились весьма сочувственно к походу на первых его этапах, пока борьба шла на югѣ, теперь начали мѣнять свое отношеніе. Из **их** рядов пошли разговоры об опасностях слишком поспѣшнаго продвиженія вперед, о необходимости «углубленія» и «укрѣпленія» революціи в уже занятых районах и т. д. Причины этого поведенія были тѣ же, что и причины поведенія «лѣвых» в період шанхайских стачек: сторонники оріентаціи на Японію были очень довольны побѣдами Чан Кай-шека, когда это были побѣды над «милитаристами» — сторонниками Англіи. Но им мало улыбалось появленіе армій Чан Кай-шека в районах «преимущественных интересов» Японіи.

Руководящая группа китайских коммунистов, работавших на отвѣтственных постах в Гоминданѣ, полностью раздѣляла настроенія «лѣвых» гоминдановцев и шла вмѣстѣ **с ними.** Но на территоріи Китая появились новыя птицы из Коминтерна и зазвучали новыя пѣсни. Немедленно же послѣ 7-го **пленума** ИККИ из Москвы выѣхала большая делегація, — международная по своему составу. Вѣрнѣе, было двѣ делегаціи: одна прямо от Коминтерна во главѣ с Роем и другая от Профинтерна в составѣ Т. Мана от англичан, Доріо от французов и Э. Браудера от американцев. Очень характерно, что наиболѣе активная и отвѣтственная роль выпала на долю делегаціи Профинтерна. Ея дѣятельность в извѣстных отношеніях дублировала дѣятельность делегаціи русских профсоюзов в 1925 году, — с открытыми выступленіями на массовых митингах и т. д. Но в ней было немало и совсѣм отличнаго. Политически центр тяжести ея ударов был направлен против «англо-саксов», — причем против Англіи наиболѣе рѣзко говорил англичанин, против С.-Штатов — американец. Японцев среди этих делегатов не было, — не было и выступленія против Японіи. Сопоставленіе этих выступленій с выступленіями 1925 г. дѣлает ясным, что совсѣм не случайно теперешняя делегація организована не ВЦСПС с Томским, а Профинтерном с Лозовским во главѣ, — тѣм самым, который на 7-ом пленумѣ полностью поддерживал Мануильскаго: делегацію от Профинтерна Сталин и тогда мог подобрать цѣликом в духѣ своих желаній, — чего он не мог сдѣлать даже с делегаціей Коминтерна (не говоря уже о делегаціи русских профсоюзов).

Как мы знаем из разсказов Гитлова (12), на обязанностях делегаціи Профинтерна лежала дѣятельность не только агитаціонная: она приняла активное участіе в подготовкѣ тѣх кровавых событій, ареной которых сдѣлался Шанхай в мартѣ-

апрѣлѣ 1927 года, — хотя они прошли совсѣм не по тому плану, по которому их готовили Браудер и др.

Закулисная сторона этих событій разсказана Бесѣдовским. Оказывается, что в началѣ 1927 года Бородин вызвал к себѣ совѣтских военных инструкторов, состоявших при арміи Чан Кай-шека, дал им спеціальные шифры для сношенія только с ним и предложил выполнять их «военно-техническую работу в зависимости от политической обстановки и в тѣсном контактѣ с агентурой Коминтерна». Дѣйствительный смысл этого «предложенія» — не вызывал сомнѣній: подготовлялось нанесеніе удара в спину Чан Кай-шеку. Это вызвало почти бунт со стороны военных инструкторов, — из которых Блюхер за эти годы стал личным другом Чан Кай-шека. Отказываясь вѣрить, что подобныя директивы шли из Москвы, Блюхер обратился с телеграммой лично к Сталину. Оттуда немедленно пришел самый категорическій и строгій отвѣт с требованіем безусловнаго подчиненія указаніям Бородина. Кое кто из строптивых инструкторов был даже подвергнут наказаніям.

Во время боев под Шанхаем один из старших военных инструкторов, дѣйствовавшій в Китаѣ под именем Даровскаго, получил от Бородина шифрованную телеграмму с предложеніем подвести Чан Кай-шека под разгром. Какими то путями эта телеграмма стала извѣстна послѣднему: повидимому, он не довѣрял Москвѣ и установил секретную слѣжку за инстукторами. Разразился скандал. Даровскій был арестован. Одновременно переарестовали и других инструкторов (13)...

Повидимому, Чан Кай-шеку была извѣстна и другая часть плана: устройство возстанія в Шанхаѣ, для чего компартія, руководимая делегатами от Профинтерна, создала большую красную гвардію... Войдя в Шанхай, арміи Чан Кай-шека устроили кровавую рѣзню, уничтожив не только красную гвардію, но и всѣ рабочія организаціи вообще...

Конечно, с этого момента между Чан Кай-шеком и Сталиным сношенія прервались. А всего только за нѣсколько недѣль до этих событій Сталин послал Чан Кай-шеку свой портрет с дружеской надписью. Троцкій и др. оппозиціонеры жестоко за этот портрет нападали на Сталина. Они упустили из вида одну деталь: сопоставленіе дат дѣлает несомнѣнным, что в момент посылки портрета Сталин уже отдал приказ военным инструкторам относительно удара в спину Чан Кай-шеку. Таким образом портрет и дружеская надпись были только маскировкой.

(Окончаніе слѣдует)

ПРИМѢЧАНІЯ

(1) М. Н. Рой: «Китайская революція и Ком. Инт.». Москва, 1929, стр. 52 (доклад на 5 конгрессѣ компартіи Китая в маѣ 1927 г.).

(2) Л. Троцкій: «Запад и Восток. Вопросы міровой политики и міровой революціи». Москва, 1924, стр. 32-35.

(3) Политическій отчет Чен Ду-сю (в связи с его исключеніем из Коминтерна), из котораго взяты приведенныя выше цитаты, дан в подробном изложеніи в № 15-16 «Бюлетеня Оппозиціи» (Троцкій). Маринг — псевдоним извѣстнаго голландскаго коммуниста Снефлита, позднѣе ставшаго оппозиціоннером и тоже исключеннаго из Коминтерна (в печати этот псевдоним, насколько извѣстно, еще не был раскрыт); в 1940 году Снефлит разстрѣлян нѣмцами в Голландіи за активную антифашистскую дѣятельность. — Его позиція в китайских дѣлах нашла отраженіе в его статьях, напечатанных в «Ком. Инт.», за 1922-1925 г.г. («Револ. -націон. движеніе в Южном Китаѣ» и др.).

(4) Почти несомнѣнно, что политику соглашенія с Японіей в это время одобрял и Троцкій: Іоффе был полностью под его вліяніем, а Іоффе был одним из первых и наиболѣе активных сторонников «тройственнаго азіатскаго союза» (эти идеи он развивал еще в 1922 году в бесѣдѣ с американским журналистом Уптон Клоз, — см. «Ивнинг Пост», Нью-Іорк, от 12 марта 1927 г.). Быть может, именно этим об'ясняется, почему в полемикѣ послѣдующих лѣт Троцкій совсѣм не касается Японіи: он был связан своей позиціей в прошлом.

(5) Детали о внутреннем содержаніи движенія взяты из доклада о профдвиженіи в Шанхаѣ («Матеріалы по китайскому вопросу», изд. на правах рукописи Кабинета Востоковѣдѣнія при Университетѣ Трудящихся Китая ,Москва, вып. 7 от октября 1927 г.) и из біографій участников шанхайской стачки («Націон.-колон. проблемы», вып. 1, за 1937 г., стр. 128-132).

(6) Современная большевистская литература об'являет Ван Цзинвея, преемника Сунь-Ят-сена на посту предсѣдателя Гоминдана, прямым агентом Японіи начиная едва ли не с 1905 года (см. статью Вань-сина: «Измѣнник просчитался» в № 2 «Міровая политика и міровая литература» за 1939 г.). На основаніи имѣющихся матеріалов трудно рѣшить, правильно или нѣт это утвержденіе (в том, что политически Ван Цзин-вей все время оріентировался на Японію, сомнѣній, конечно, нѣт: в настоящее время он глава «кукольнаго» правительства, созданнаго японцами в Нанкинѣ). Но если оно правильно, то тѣм болѣе многозначительным является его поведеніе в

1925-1926 г.г., — а так же борьба против него, начатая Чан-Кай-шеком еще в мартѣ 1916 году. — Конечно, особый оттѣнок пріобрѣтает в этом случаѣ и его тогдашняя дружба с коммунистами.

(7) Ряд ярких примѣров дает Бесѣдовскій, в мемуарах котораго особенно интересен один эпизод: приняв в маѣ 1925 года свой пост в Токіо, Бесѣдовскій в бумагах предшественника (В. Коппа) нашел письма Литвинова; в одном из них послѣдній, сообщая Коппу о каком то рѣшеніи Политбюро, которое казалось Литвинову вредным, давал Коппу совѣт «внушить японцам», что если они возьмут «твердый тон в своей печати», то Политбюро струсит и пересмотрит рѣшеніе. («На путях к термидору», т. 2, стр. 45). — Из разсказа Бесѣдовскаго, к сожалѣнію, не ясно, о каком рѣшеніи шла рѣчь (очень похоже, что оно было связано с профсоюзной делегаціей), но несомнѣнно, что рѣшеніе Политбюро было в какой то мѣрѣ направлено против политики сотрудничества с Японіей, — и замнарком по иностранным дѣлам, с этим рѣшеніем несогласный, вмѣстѣ с сов. полпредом помогал японцам сорвать это рѣшеніе! Надо добавить: знакомство с политической біографіей Литвинова заставляет считать совершенно исключенным мысль о том, что на путь подобных авантюр он становился на свой риск, не перестраховав себя на всѣ возможные случаи и потому почти несомнѣнно, что и в данном случаѣ он имѣл весьма вліятельную заручку на самых верхах партіи. Во всяком случаѣ характерно, что разоблаченіе указаннаго эпизода в воспоминаніях Бесѣдовскаго Литвинову ни в какой мѣрѣ не повредило.

(8) Эта рѣчь напечатана в «Большевикѣ» № 24 за 1926 г.

(9) Сталин: «Замѣтки на современныя темы» («Правда» от 28 іюля 1927 г).

(10) «Матеріалы по крестьянскому вопросу», вып. 7 от окт. 1927 г., стр. 112.

(11) О выступленіи Ван Цзин-вея см. П. Миф: «Китайская революція», Москва, 1932 г., стр. 118. — Доклад М. Роя и его отвѣт Ван Цзин-вею, см. М. Н. Рой: «Китайская революція и Ком. Интерн.», 1929, стр. 70-85. — Выступленіе Ван Цзин-вея имѣло мѣсто 4 мая 1927 года.

(12) Болѣе полные сообщенія по этому вопросу он дѣлает не в своих мемуарах («I confess»), а в показаніях перед комиссіей Дайеса, протоколы, т. 7, стр. 4680 и др.; ср. так же его статью в «Нью Лидер» от 8 февраля 1941 года и др.

(13) Под псевдонимом Даровскій в Китаѣ дѣйствовал Черепанов, имя котораго, как талантливаго военноначальника, нѣсколько

раз мелькало в сводках настоящей войны. — Необходимо сказать нѣсколько слов об общем характерѣ воспоминаній Бесѣдовскаго: они, несомнѣнно, правдивы, — в том смыслѣ, что разсказываемое им соотвѣтствует истинѣ. Во всяком случаѣ всѣ тѣ эпизоды из его разсказа, которые можно провѣрить другими путями, подтверждаются с тою полнотою, какая обычна для мемуаров вообще (в частности такое подтверждение имѣется и для нѣкоторых частей его разсказа о Китаѣ). Но он говорит, несомнѣнно, не всю правду. В частности, при изученіи его разсказа о тихо-океанских внѣшне-политических комбинаціях, становится несомнѣнным, что он умалчивает о многом весьма существенном, — причем умалчивает, главным образом, о таких фактах, разглашеніе которых было бы вредно для интересов не Сов. Россіи, а главным сбразом Японіи (и, несомнѣнно, Германіи). Игру Японіи и роль Германіи он несомнѣнно хорошо понимает; о них он знает во всяком случаѣ много больше, чѣм показывает, — но не хочет им мѣшать. Не случайно его воспоминанія изданы и в Германіи, и в Японіи (по англійски и по японски).

СОВѢТСКАЯ СФЕРА БЕЗОПАСНОСТИ*).

I.

Война в Европѣ закончится не тогда, когда Германія будет побѣждена, а вѣроятно тогда, когда на континентѣ создадутся, кромѣ сов. Россіи, по меньшей мѣрѣ одна, а вѣроятно, двѣ великія державы.

Таков неизбѣжный результат политики трех основных Соединенных Націй, но раньше всего это вывод из принципов международной политики Сов. Союза. Вся политика сов. правительства к концу войны и послѣ войны — полагая, что в характерѣ этого правительства не произошло радикальных измѣненій — будет опредѣляться его представленіем о характерѣ ближайшаго историческаго періода. Наступает-ли эра мирнаго сожительства народов, долгіе годы хозяйственнаго процвѣтанія? Или, может быть, идет закат Европы, неизбѣжный регресс стараго свѣта? Или предстоят многія войны? От отвѣтов на эти вопросы зависит курс политики; в особенности это вѣрно для Россіи, гдѣ большія концепціи играют существенную роль.

Возможно — по этим теоріям — что европейскій континент, может быть даже Германія выйдут из войны без революціи. Но тогда новый мирный договор, гласит московская концепція, будет не болѣе, а вѣроятно еще менѣе прочным, чѣм договор Версальскій. Он может скоро сдѣлаться клочком бумаги. Не потому, чтоб сов. правительство предполагало обязательно нарушать его, а потому, что все остается в основном неизмѣненным в европейской машинѣ. Если старая соціальная система останется незыблемой, а старыя партіи останутся у власти, их интересы будут толкать их, в разных новых, самых неожиданных комбинаціях, на новые внѣшне-политическіе конфликты и неизбѣжныя войны, быть-может еще болѣе кровавыя, чѣм мір видѣл до сих пор.

Не будет прочнаго мира послѣ войны: это есть твердое

---

*) Настоящая статья представляет с небольшими сокращеніями главу из книги Russia and Postwar Europe, выходящей вскорѣ в изданіи Yale University Press.

убѣжденіе в Москвѣ, подкрѣпляемое еще и теоретическими соображеніями. Надо помнить, что обычное внѣ Россіи раздѣленіе исторіи послѣдних 30-ти лѣт на періоды мира и войны не пріемлется Москвой. В общем представленіи первая міровая война тянулась четыре года; потом 21 год продолжался період мира; затѣм война стала вновь разгораться, начиная с 1939 г. Періоды мира и войны рѣзко отгранчены. В Москвѣ иначе смотрят на этот вопрос.

Войну 1914-1918 годов смѣнили сперва — согласно этой концепціи — два года войны с Россіей и пять лѣт революціонных потрясеній в Европѣ, когда ни политика, ни хозяйство не могли быть устойчивыми. Затѣм, между 1923 и 1928 годами достигнута была нѣкоторая стабилизація, которая впрочем лишь отдаленно напоминала солидную устойчивость довоеннаго періода. Эти пять лѣт были единственными, говорят в Москвѣ, на протяженіи всѣх послѣдних 29 лѣт, когда могло казаться, что старая Европа обрѣла силы для нормальнаго развитія на Версальско-капиталистических путях. С конца 20-х годов эта устойчивость вновь исчезла. Депрессія углублялась, милліоны безработных, банкротства, безвыходность. Из глубокаго экономическаго кризиса вырос еще болѣе глубокий кризис политическій: внутри-политическій фашизм, и внѣшне-политическіе кризисы, непримиримость противорѣчивых интересов; наступленіе Японіи, начиная с 1931 года; аспираціи Германіи. Наконец — согласно этой концепціи — уже в 1937-1938 году началась новая міровая война: в Азіи — с момента агрессіи Японіи в Китаѣ, в Европѣ — с момента первых территоріальных захватов Гитлера (а не с момента военнаго конфликта с Польшей). Таким образом, за исключеніем немногих лѣт, весь мір живет вот уже почти 30 лѣт, в царствѣ хаоса: войн, революцій, анти-революціонных диктатур, гражданских войн, реваншизма, воинствующаго націонализма, в глубокой нищетѣ и безработицѣ. Мір мечется, содрогается, бьется в конвульсіях, ищет выхода и не находит его.

В этой сгущенной, стилизованной и преувеличенной картинѣ міровых бѣдствій стираются острыя грани войн и мирных періодов. Послѣ войн наступает полу-мир; полу-мир — полувойна. Все сливается в одну сплошную массу.

Почему-же весь мір, начиная с 1914 года, не перестает метаться и содрогаться? В отвѣтѣ на этот вопрос — смѣшана вѣра с теоріей, но в ней больше вѣры, чѣм теоріи, и это именно обстоятельство придает ей большую политическую силу. Для коммунистической интеллигенціи строй соціальнаго неравен-

ства, поляризація богатства и бѣдности, экспансіонныя стремленія государств, построенных на фундаментѣ эксплоатаціи, дѣлают, вот уже нѣсколько десятилѣтій, всѣ міровыя отношенія неустойчивыми и войны неизбѣжными. Внутренній двигатель цивилизованных стран работает со все большими перебоями. Весь соціальный строй этих стран им представляется мотором громаднаго танка: он нѣкогда совершал чудеса, но он постепенно приходил в негодность; то поршни отказываются работать, то смазочное масло не достигает цѣли, то горючее не воспламеняется. Мелкія починки дают ему лишь маленькое, лишь временное улучшеніе. Он может протянуть, с мучительными перебоями, еще столько-то миль. Но рѣшеніе задачи состоит в том, чтобы гордому танку дать новый мотор. Вся задача исторіи состоит в том, чтоб нашелся Механик, сил котораго хватит на то, чтоб отвинтить старый мотор, поднять и выбросить его на свалку, а затѣм поставить новый на его мѣсто. Найдется такой механик — иниціативное меньшинство угнетенных слоев — и мір двинется вперед в гармоническом развитіи. Не найдется, или пока не найдется, — человѣчество будет биться в конвульсіях, будет исходить кровью, будет опускаться все ниже и ниже.

Эта перспектива предопредѣляет и будущую политику сов. правительства. Оно никогда не относилось с довѣріем к пацифизму какого-либо другого правительства; оно скептически, даже иронически, относилось к завѣреніям в истинной дружбѣ; оно укрѣпилось в этом своем отношеніи в послѣдній період. Поэтому скептическое и осторожное отношеніе к замиренію всего свѣта послѣ окончанія новой войны является лишь дальнѣйшим продолженіем, развитіем и укрѣпленіем основных линій внѣшней политики совѣтскаго правительства. А выводом из этого является такая программа мирных договоров, которая дала бы Россіи новыя стратегическія позиціи на наступающій, новый період больших міровых конфликтов.

Ни на минуту сов. правительство не полагается на прочность послѣвоенных союзов, и ни малѣйшаго довѣрія оно не имѣет к завѣреніям в дружбѣ и к договорам о коллективной безопасности. Поэтому оно ищет, и чѣм дальше тѣм больше будет искать, обезпеченія своих интересов на путях расширенія своих сфер вліянія в Европѣ — на той территоріи, которая отдѣляет Россію от Германіи и Италіи. Признаніе за Россіей права контроля над этими территоріями является первой цѣлью ея внѣшней политики к концу войны; в этой цѣли войны для сов. правительства соединяются — как и раньше — идея

обороны, так называемой стратегической границы, с идеей расширенія соціалистической сферы в Европѣ. Это и есть вопрос о Польшѣ, Югославіи, Чехословакіи и Болгаріи, а затѣм и о Румыніи, о Венгріи и Финляндіи; вмѣстѣ с тѣм это — новая, модернизированная форма соціальной революціи.

В этом отношеніи сов. правительство неизмѣнно слѣдует принципам, которые лежали в основѣ его политики в первый період европейской войны. Опасаясь нападенія Германіи, сов. правительство тогда искало обезпеченія своих интересов не в анти-гитлеровском союзѣ с воюющей англо-французской коалиціей, а в расширеніи своих территорій на западѣ в тѣх областях, которыя отдѣляли сов. Россію от Германіи и Италіи. Оно заключило в августѣ и сентябрѣ 1939 года не опубликованное до сих пор соглашеніе о раздѣлѣ «сфер интересов» с Германіей, при чем в сов. сферѣ оказались шесть различных территорій с населеніем свыше 23 милліонов человѣк. Границы сов. Союза передвинулись далеко на запад; онѣ часто назывались в міровой печати «стратегическими границами», хоть опыт первых недѣль войны с Германіей сдѣлал потом стратегическую цѣнность этих новых границ сомнительной.

Тѣм же договором сов. Россія обязалась, однако, воздержаться от «совѣтизаціи» нѣкоторых из областей своей сферы, в частности Прибалтійских стран. Сов. правительство тогда дѣйствовало поэтому осторожно. Заключив договор о взаимной помощи с этими тремя странами и расположив там свои гарнизоны, оно воздерживалось сперва от вмѣшательства в их внутреннюю жизнь. На мѣстѣ оставались старыя правительства; много коммунистов оставалось в тюрьмах; Красная Армія воздерживалась от всякаго контакта с мѣстными рабочими организаціями; строй частной собственности не подвергался сомнѣнію. Лишь через 8 мѣсяцев международная обстановка позволила совершить слѣдующій шаг: когда Гитлер был полностью занят на Западѣ (іюль 1940 г.) совѣтское правительство приступило к полному поглощенію и совѣтизаціи Прибалтики, а также и Бессарабіи.

Пріобрѣтеніе этих территорій было реальным расширеніем сферы сов. коммунизма. В теченіе нѣскольких мѣсяцев во всѣх вновь пріобрѣтенных областях ликвидирована была частная промышленность, торговля, банки. Соціальный переворот, который в Россіи имѣл мѣсто между 1918 и 1920 годами, произошел и здѣсь, но как извнѣ привнесенный готовый плод, без народных движеній. «Соціально-вредный элемент» насе-

ленія, прежніе крупные и мелкіе торговцы, посредники и т. п., были высланы на восток.

«Капиталистическому міру придется потѣсниться!» с тріумфом восклицал Молотов в Верховном Совѣтѣ. Это был новый метод экспансіи совѣтскаго соціализма; это был эрзац не наступающих соціальных революцій, но эрзац, дающій, казалось, лучшіе, во всяком случаѣ болѣе быстрые результаты. Военная сила в м ѣ с т о народных движеній, давленіе извнѣ вмѣсто давленія изнутри; но развѣ — думали в Москвѣ — это существенно? Важен только результат, — смерть капитализма в рядѣ стран и областей, с населеніем вдвое большим, чѣм всѣ три скандинавскія страны. Это-ли не побѣда міровой революціи?

Побѣда без гражданской войны, без опасной народной мечты о сочетаніи соціализма со свободой, без внутри-коммунистических партійных кризисов. Весь вопрос только в реальных возможностях. Рецепт для Прибалтики гласил: 90% Красная Армія и 10% коммунизм; опыт оказался успѣшным. В Испаніи, по многим условіям, рецепт пришлось дать иной: 10% военной помощи из Россіи, и 90% — роль мѣстных сил. Опыт оказался неудачным. Весь вопрос, слѣдовательно, в том, каковы реальныя возможности и ожидаемыя комбинаціи в разных странах.

II.

Новая цѣль войны, совѣтская сфера безопасности или сфера вліянія (эти термины замѣнят вѣроятно нѣмецкій термин 1939 года «сфера интересов»), обнимает в основном тѣ-же области, которыя были программой русской политики в 1914-16 годах. Географическія карты, разработанныя в то время, имѣют силу и сейчас. Различіе относится лишь к двум пунктам: во-первых, к Проливам, в связи с про-союзным нейтралитетом Турціи во второй міровой войнѣ; во-вторых, путь на Балканы ведет сейчас не через Турцію, а через Румынію, которая была союзником в первой міровой войнѣ. Впрочем, и тогда, и теперь схема территоріальных измѣненій, начертанная во время войны, может быть лишь очень приблизительной; окончательная программа возможна лишь по окончаніи военных дѣйствій.

Это совпаденіе с программой прошлой войны, конечно, не случайное, оно диктуется общими условіями. Но оно происходит и не безсознательно; по многим признакам можно констатировать, что в Наркоминдѣлѣ очень внимательно изучают

сейчас относящіеся сюда дипломатическіе матеріалы прошлой войны, в частности, отношеніе Англіи и Франціи к территоріальным притязаніям Россіи, пред'явленным, как чисто-національныя, а не революціонно-соціальныя цѣли*). Указанная «сфера безопасности» включает семь малых и средних государств; союз с ними (система договоров о взаимопомощи с Сов. Россіей) был-бы юридическ. формой сферы безопасности. Но из этих стран три не-славянскія страны состоят в германской коалиціи; поэтому, в період войны подготовка новых стратегических границ Россіи сдѣлалась пропагандой союза Сов. Россіи со славянскими странами Европы**) — новое всеславянское движеніе.

«Славянское движеніе» 1941-1942 годов очень мало напоминает старый панславизм 19-го вѣка. В новом движеніи нѣт мистической вѣры в особыя свойства славянской души, нѣт рѣчи об особой миссіи, возложенной исторіей на славянскіе народы, нѣт принципіальнаго антагонизма к Западу. Вообще, элементов идеологіи мало в новом движеніи. Оно является оппортунистической конструкціей — для даннаго политическаго момента; оно больше выражает реально-политическую программу Москвы, чѣм національную философію.

Первый Всеславянскій Митинг был созван в Москвѣ 10-11 августа 1941 года. В нем уж сказалась главная цѣль новаго движенія — аппеляція также и к не-коммунистическим элементам славянских стран в пользу союза с сов. Россіей. Рѣчи на митингѣ произносили не эмигранты-коммунисты, а профессора, писатели, поэты. Алексѣй Толстой, самый большой из современных русских писателей, был первым, за ним послѣдовали: польскій генерал Янушайтис (это был еще медовый мѣсяц отношеній с Польшей), чешскій профессор Зденек Неедлы, сербскій профессор Божидар Маслярич и др. В рѣчах говорилось лишь о войнѣ с Германіей, о германской опасности для славян, ни слова не было, конечно, сказано о коммунизмѣ или революціи. Всеславянскій Комитет, избранный в качествѣ по-

---

*) Буквально за нѣсколько часов до революціи в Петербургѣ была получена телеграмма от французскаго правительства с формулой, которая была-б идеальной и для нынѣшняго русскаго правительства: «Правительство французской республики признает за Россіей полную свободу опредѣленія ея западных границ».

**) Нейтралитет самой малой из этих стран, Болгаріи, не вносит существенных измѣненій в эту схему.

стояннаго органа, включал преимущественно писателей, поэтов, музыкантов.

Затѣм, в теченіе восьми мѣсяцев славянское движеніе ничѣм себя не проявляло; этому мѣшало продвиженіе Германіи, а также и нежеланіе создавать новые конфликты с лондонскими правительствами славянских стран. Но с весны 1942 года Всеславянскій Комитет, в связи с измѣненіем общей ситуаціи, сдѣлался болѣе активным. Второй Всеславянскій Митинг состоялся 4-5 апрѣля 1942 года. И рѣчи, и ораторы были почти тѣ же, и тон рѣчей был такой-же. Но рѣшено было начать выпуск ежемѣсячнаго журнала, а обращеніе Ко Всѣм Славянам кончалось словами:

Свѣт идет с Востока!
Побѣда будет за нами!

Третій Всеславянскій Митинг состоялся 9 мая 1943 года, непосредственно послѣ разрыва с правительством Сикорскаго. Здѣсь было уж об'явлено о созданіи новой польской Арміи, и Ванда Василевская по адресу польскаго правительства говорила об «измѣнниках, которые готовы сотрудничать с Германіей». Алексѣй Толстой прислал письмо, в котором он говорил:

> «Проклятье тѣм, кто ради собственных интересов готов измѣнить своему народу, как это сдѣлали извѣстные члены польскаго правительства и польскія офиціальныя лица».

Журнал «Славяне», который начал регулярно выходить в іюнѣ 1942 года, являлся существенным органом совѣтской дипломатіи. Здѣсь исторія славянских народов служила не только фоном для анти-германских выводов, но и аргументом в пользу самаго тѣснаго сближенія с Россіей. Сотрудниками были, кромѣ русских, тѣ оппозиціонные славянскіе политики, которые, в разрѣз с политикой своих правительств (польскаго, сербскаго, болгарскаго) выступали за союз с Москвой. Писатели-коммунисты ничѣм не проявляли своей партійности, скорѣе напротив. Болѣе извѣстныя славянскія имена, связанныя с исторіей Коминтерна (Димитров, Коларов и др.) не были допущены вообще в этот журнал. Но в журналѣ участвовали и тѣ офиціальные дѣятели славянских стран, которые пріяли, быть может, на словах, совѣтскую позицію (чехи, в частности, Эдуард Бенеш).

Это дополнялось систематическим радіовѣщаніем на сла-

вянских языках, но в особенности поощреніем новых организацій, вродѣ Союза Польских Патріотов, югославских партизан и др. Той-же цѣли служило и созданіе чешскаго батальона, польской дивизіи (послѣ разрыва с правительством Сикорскаго). Это была уж практическая подготовка будущей Зоны Безопасности. Орган Союза Польских Патріотов, напр., указывал на необходимость для Польши не только побѣды над Германіей, но и выбора между побѣдителями, — в пользу Совѣтскаго Союза:

> «Національные интересы Польши требуют, чтоб она опиралась (послѣ войны) на нашего великаго демократическаго сосѣда, — Совѣтскій Союз. Всякая политика, имѣющая цѣлью связать судьбу Польши с судьбой какого-либо имперіализма... должна неизбѣжно привести к новой національной катастрофѣ»*).

Таков-же, в основѣ своей, был смысл движенія югославских партизан, с точки зрѣнія Москвы. Дѣятели испанской гражданской войны, заслужившіе полное довѣріе, составляли хребет этого движенія, и вскорѣ послѣ его первых успѣхов, в Москвѣ с удовольствіем констатировали, что самую активную роль играли в нем не только «вернувшіеся из Испаніи 33 лейтенанта и 39 сержантов», — но и «15 политических комиссаров»**). В день 25-лѣтія ноябрьской революціи «бойцы, командиры и политкомиссары югославских Партизан» переслали привѣт Сталину, а в то же время совѣтская дипломатическая нота всѣм союзным правительствам (14 октября 1942 года), упоминая глухо о партизанской борьбѣ в оккупированных странах, особо выдѣляла Югославію. «Партизаны клянутся сражаться за свою Югославію и бороться вмѣстѣ с Красной Арміей» — писал Коммунистическій Интернаціонал в маѣ 1942 года.

Югославское правительство обратилось в августѣ 1942 г. к совѣтскому правительству с дипломатически-завуалированной просьбой воздѣйствовать, «если-б нашлись возможности», на партизан и удержать их от выступленій против четников. Совѣтское правительство отвѣтило в январѣ 1943 году, что оно, разумѣется, лишено этой возможности, но что сообщаемые югославским правительством факты «неправильно изложены».

---

*) «Вольна Польска», № 3.

**) «Коммунистическій Интернаціонал», 1942 г., № 8-9.

Аналогично складывались и военныя цѣли по отношенію к Финляндіи. Включенная Гитлером в «совѣтскую сферу интересов», Финляндія уже в октябрѣ 1939 года получила предложеніе о заключеніи договора о взаимной помощи с Россіей, по образцу балтійских пактов. Компромиссное окончаніе зимней войны 1939-1940 годов не дало Москвѣ этого пакта; но новая большая война подняла вновь всѣ старые вопросы, и это выяснилось в неудачных переговорах весны 1943 года, в которых принимали участіе Вашингтон, Лондон, Берлин, Москва и Гельсинки. По нѣкоторым свѣдѣніям (об этом сообщал и Нью Іорк Таймс) в началѣ этих переговоров, Черчиль, послѣ конференціи с президентом Рузвельтом в Казабланкѣ, встрѣчался в Турціи с финляндским послом Иріо Коскинен для обсужденія условій эвентуальнаго мира Финляндіи с Россіей. В связи с этим, послѣ выборов финляндскаго президента (15 февраля 1943 года), устранен был прежній про-германскій министр иностранных дѣл, Рольф Виттинг, и правительство Финляндіи зондировало почву за-границей, при чем одним из условій мира, по финляндским предположеніям, должна была служить «гарантія границ Соедин. Штатами». Финляндія обратилась, однако, в Берлин с запросом, как Германія отнесется к выходу ея из коалиціи, и получила от Риббентропа очень категорическую угрозу. Этого было для нея достаточно, чтоб отказаться от идеи сепаратнаго мира или перемирія; а Соединенные Штаты реагировали на это поведеніе финляндскаго правительства отзывом почти всего персонала своего представительства из Гельсинки.

В этих переговорах, которые тянулись от февраля до апрѣля 1943 года выяснилось однако, что и позиція Москвы сдѣлала-бы предполагавшееся соглашеніе невозможным, ибо и ея требованія шли дальше границ 1940 года и общее отношеніе к финляндскому вопросу дѣлало невозможной никакую постороннюю гарантію, т. е. вмѣшательство третьих держав. Среди московских условій фигурировала и сдача всего вооруженія, поскольку этого потребует Россія; это было фактически требованіе «безусловной капитуляціи». В результатѣ Вашингтон пришел к выводу, что «Соединенные Штаты не будут выступать в качествѣ посредника (между Финляндіей и Россіей), так как нѣт основаній ожидать, что Россія измѣнит свою позицію»*).

Эту позицію выразило офиціальное агентство ТАСС послѣ

*) «Нью-Іорк Таймс», 28 апрѣля, 1943 г.

выборов финляндскаго президента, а также московское радіо по-англійски 19 февраля. Оно говорило о «комедіи президентских выборов»; выборы эти — «грубое нарушеніе демократіи». Но если выборы незаконны, то и правительство не имѣет под собой легальнаго базиса.

III.

Фактическая и юридическая конструкція «зоны безопасности» возможна очень различная, начиная от очень тѣсной и кончая очень поверхностной связанностью с Москвой. Самая желательная для совѣтскаго правительства была-бы, конечно, первая форма — простое включеніе ряда территорій в состав Совѣтскаго Союза, т. е. простая замѣна во всѣх взаимоотношеніях с этими странами норм международнаго права и внѣшней политики нормами государственнаго права и внутренней политики Совѣтскаго Союза. Но реализація всей этой программы вообще, т. е. формы и нормы будущих взаимоотношеній зависит также и от великих держав-побѣдительниц, и от общественнаго мнѣнія міра. Поэтому совѣтское правительство, проявляя большую гибкость и уступчивость без сомнѣнія согласится и на всякую другую конструкцію, если она даст ему реальное первенство в политической жизни данной сферы. Оно, напримѣр, готово будет, вѣроятно, взять на себя обязательство воздержаться от «совѣтизаціи» этих стран; оно без сомнѣнія подтвердит свою готовность воздержаться вообще от всякаго вмѣшательства извнѣ во внутреннюю политику, в борьбу партій, в парламентскую жизнь, в мѣстное самоуправленіе, в организацію полиціи. Принцип независимости и сейчас уже обѣщан в московских рѣчах и статьях. Но тот минимум, который в московском пониманіи был-бы необходим, чтобы превратить этот конгломерат государств в сферу совѣтской безопасности, означал бы раньше всего обязанность правительств сферы безопасности согласовать свою внѣшнюю политику с внѣшней политикой Москвы. Конечно, нѣкоторыя гарантіи, т. е. возможность принудить к выполненію этого обязательства, если нужно и военной силой были бы необходимы.

В какой мѣрѣ обязательство не выходить за эти рамки было б выполнимо, это другой вопрос. При московской тенденціи к строгой унификаціи и централизму, — свобода критики совѣтской политики в прилегающих странах Сферы и неизбѣжныя в них тенденціи к эмансипаціи не смогли-б не

вызвать контр-мѣр с совѣтской стороны. С другой стороны, сохраненіе там основ старой экономической системы, но без шансов на большой заграничный кредит, бѣгство капиталов, большая безработица — все это было-б стимулом для того, чтоб совершилась быть-может разрозненно и постепенно, в подходящій момент унификація с нормами Совѣтскаго Союза. Для этого нужен был-бы лишь подходящій момент в міровой политикѣ, напримѣр, обостреніе Тихоокеанской войны или т. п.

Пакты взаимопомощи были в 1942 и 1943 годах предложены Кремлем всѣм трем славянским государствам, оккупированным Германіей. Весной 1942 года проект договора с Югославіей был уж готов, и предполагалось, что Молотов, посѣщая Лондон в маѣ этого года, подпишет его (этот проект был конструирован, как дальнѣйшее развитіе совѣтско-югославскаго договора от 5-го апрѣля 1941 года, который не успѣл быть ратифицирован). Однако, это не состоялось. Англійское правительство, поддержанное Вашингтоном, возражало против созданія совѣтской сферы в восточной Европѣ. Лишь послѣ неудачи этой попытки началась самая тяжелая полоса борьбы югославских партизан с Михайловичем.

Что касается Польши, то через недѣлю послѣ разрыва дипломатических отношеній с правительством Сикорскаго, 4-го мая 1943 года, Сталин публично предложил ей пакт взаимопомощи; чтоб не обострять конфликта с Англіей и Америкой, он заявил, что относит его заключеніе к послѣ-военному періоду.

Переговоры с Чехословакіей оказались болѣе успѣшными, благодаря особой позиціи правительства Эдуарда Бенеша. Чехи, самый западный из славянских народов, вел в своей долгой исторіи тяжелую борьбу с нѣмцами, но в отличіе от поляков никогда не имѣл дѣла с «русской опасностью». Уже начиная с декабря 1942 года Бенеш стал охладѣвать к Польшѣ, с которой его связывал договор 1940 года, и сближаться с Москвой. Когда оказалось ,что его идея одновременнаго союза с обоими этими правительствами не осуществима, чехословацкое правительство постановило 8-го апрѣля 1943 года пойти на «соглашеніе между Чехословакіей и Совѣтским Союзом». С цѣлью подготовить это соглашеніе, Бенеш посѣтил Вашингтон и вел переговоры в Лондонѣ; ему очень нелегко было убѣдить Англію и Америку. В Москвѣ считали его правительство вѣрным союзником, и в предвидѣніи пакт взаимопомощи, в Москвѣ стал издаваться двухнедѣльник Ceskoslovenske Listy на чешском языкѣ, который в своей первой передовой статьѣ

(август, 1943 г.) заявил, что «Совѣтскій Союз является главной опорой в борьбѣ чехословацкаго народа за его будущее».

Вполнѣ естественно, что всѣ эти договоры, подготовляемые в военное время, носили характер договоров между двумя равными и независимыми странами. В них не было в частности, военных гарантій для Совѣтскаго Союза. Свое развитіе и необходимыя, с совѣтской точки зрѣнія, дополненія, они могли-б получить лишь послѣ рѣшающих побѣд над Германіей.

IV.

Эта глава совѣтских военных цѣлей начала обсуждаться еще в концѣ лѣта 1941 года. В то время, как совѣтское правительство стремилось к скорѣйшему выясненію этих вопросов (оно надѣялось на окончаніе войны максимум в теченіе одного года), англійское правительство было, наоборот, склонно уклоняться от обсужденія проблем мира вообще. К тому-же провозглашенная в эти мѣсяцы Атлантическая Хартія дѣлала для него затруднительной уступку совѣтской точкѣ зрѣнія. По мѣрѣ того, однако, как выяснилось для общественнаго мнѣнія Британіи значеніе Красной Арміи, сопротивленіе ослабѣвало. Антони Иден, посѣтившій Сталина в декабрѣ 1941 года, обсуждал с ним вопрос о раздѣлѣ Европы на сферы вліянія; соглашенія не послѣдовало, но вскорѣ уже в британском Военном Совѣтѣ большинство создалось в пользу нѣкоторых совѣтских требованій, причем Винстон Черчиль оказался в меньшинствѣ; а в англійской прессѣ раздавались громкіе голоса в пользу гораздо больших еще уступок Москвѣ. Трудно сказать, все-ли это было искренне и сколько было в этом дипломатических уловок.

Тѣм временем Соед. Штаты вступили в войну и голос Вашингтона пріобрѣтал все большее значеніе. Обсужденіе совѣтских проектов шло не только между Москвой и Лондоном, но и между Лондоном и Вашингтоном; в Америкѣ совѣтскія требованія встрѣтили серьезное сопротивленіе. Рѣшеніе вопроса оказалось невозможным, и в результатѣ очень затянувшегося обсужденія, 26 мая 1942 года подписан был в Лондонѣ англо-совѣтскій договор, идея котораго исходила из Вашингтона. Он не заключал в себѣ ни территоріальных уступок, ни раздѣла Европы на сферы.

Наоборот, его основная идея состояла в том, что только совмѣстно Англія и Россія будут рѣшать послѣ войны всѣ вопросы организаціи Европы, в том числѣ, слѣдовательно, и

вопросы европейскаго востока; предусмотрѣно было в договорѣ «желаніе обѣих сторон об'единиться послѣ войны с другими, одинаково настроенными государствами», т. е. образованіе нѣкоторой над-государственной организаціи. Если-б послѣднее почему-либо не удалось, англо-совѣтскій союз (и его рѣшающая роль в Европѣ) сохраняет силу на 20 лѣт. Привлеченіе новых государств к этому союзу, т. е. превращеніе его в большой Совѣт или Лигу поставлен был в зависимость от согласія обѣих основных держав, и возраженій одной из сторон было-б достаточно, чтоб сдѣлать его невозможным.

Таким образом, этот англо-совѣтскій договор являлся лишь формой, схемой, которую можно будет наполнить самым различным содержаніем; всѣ проекты границ, федерацій, національных государств, могли-б найти себѣ мѣсто в этих рамках, — но могли-б быть и отвергнуты. И дѣйствительно, послѣ заключенія этого договора продолжалось в средѣ правительств обсужденіе тѣх-же вопросов; через пол-года в Лондонѣ ощущалось, что «англо-русскій договор не разсѣял русских подозрѣній»*).

Единственное, что представляло как-будто историческую сенсацію, была готовность Англіи не искать на континентѣ равновѣсія сил, а признать совѣтскую Россію единственным континентальным побѣдителем; доминирующее вліяніе ея Англія согласилась уравновѣсить не другой континентальной державой, а самою собой. Это было оригинальное построеніе, никого не удовлетворившее ни в Лондонѣ, ни в Москвѣ.

Дѣйствительно, дискуссія продолжалась и эмигрантскія правительства нѣкоторых стран, лежащих в восточной полосѣ, проявляли немалую активность. С другой стороны, роль Россіи в войнѣ возростала, а вмѣстѣ с тѣм в Лондонѣ усиливались голоса за признаніе за Россіей права на контролированіе восточной Европы. Когда очень обострились совѣтско-польскія отношенія и дѣло явно шло к разрыву, обозначились в Англіи обѣ точки зрѣнія.

Про-совѣтскую концепцію выразил лондонскій «Таймс»**) в передовой статьѣ. Если в Англіи считают, — говорилось в ней, — что британская граница лежит на Рейнѣ, то «русская граница — на Одерѣ». Поэтому «страны между русскими границами и границами Германіи» должны управляться «правительствами и народами, дружественными» к Россіи. Из этого

*) «Нью Іорк Таймс», 23 января 1943 г.

**) 10-го марта 1943 г.

можно-бы заключить, что правительства, которыя не будут придерживаться послѣдняго принципа, не должны признаваться и существовать (Польша, Югославія, Финляндія). Это и была классическая формула совѣтской сферы влаянія.

Совѣтская пресса подхватила эту декларацію. Наоборот — Антони Идеи отмѣтил, что «Таймс» не выражает мнѣнія правительства, а Черчиль, категорически отвергавшій с самаго начала публичное обсужденіе цѣлей войны, счел нужным неожиданно сдѣлать заявленіе по этому вопросу. 21 марта, когда, под вліяніем Москвы распалась польско-чешская комбинація, Черчиль в большой рѣчи, предусматривал, вмѣсто раздѣла Европы на сферы вліянія, образованіе «конфедерацій государств, бок о бок с великими державами». Эти конфедераціи должны быть членами будущаго «Европейскаго Совѣта», который, таким образом, должен состоять «из государств и групп государств».

«Мы должны будем уважать, — говорил Черчиль, — и считаться с правами болѣе слабых и малых государств, и ни одна нація не будет имѣть возможности достигнуть полнаго удовлетворенія своих особых пожеланій».

«Я очень надѣюсь, что нам удастся достигнуть максимальной степени сотрудничества и связанности между народами Европы без того, чтобы разрушить индивидуальныя особенности и традиціи многих ея старых и исторических народов».

Черчиль предусматривал, таким образом, созданіе европейской над-государственной организаціи, в которой совѣтское правительство имѣло бы дѣло не с Англіей одной, как предусмотрено договором, а с представителями многочисленных государств. «Конфедераціи», о которых говорил Черчиль, должны были быть союзами меньших государств для сохраненія своей независимости, вмѣсто включенія их в совѣтскую сферу. Больше того, Черчиль выражал желаніе видѣть и Соединенные Штаты в европейском Совѣтѣ, очевидно для усиленія позиціи Британіи.

Эта декларація Черчиля вызвала, через нѣкоторое время, энергичныя возраженія Москвы. Проект восточно-европейской федераціи получил горячую поддержку со стороны поляков, и московская полемика по адресу польских эмигрантов в Лондонѣ мѣтила в англійское и американское правительства. Московскій журнал «Война и Рабочій Класс», начавшій выходить непо-средственно послѣ закрытія «Коммунистическаго Интернаціонала», обрушился в августѣ 1943 года, во-первых, на «планы образованія Соединенных Штатов Европы», в которых Россія

была-б, как в Лигѣ Націй, лишь одним из очень многочисленных элементов; во-вторых также на идею «федерацій, конфедерацій и регіональных блоков государств». В особенности журнал отвергал идею «Восточно-Европейской Федераціи, которая была-бы политическим союзом демократической Чехословакіи с феодальной Венгріей, республиканской Польшей и монархической Румыніей... Проект Восточно-Европейской Федераціи направлен против Совѣтскаго Союза».

Совѣтская политика издавна уж публично ставит себѣ цѣлью сдѣлать невозможными в восточной Европѣ всякіе союзы между сосѣдями Россіи. Под сильным нажимом Молотова, напримѣр, не состоялся «Сѣверный Союз» между Финляндіей и Скандинавскими странами, а «Балтійскій Союз» между Латвіей и Эстоніей был одним из аргументов в пользу совѣтской оккупаціи эти стран в 1940 году. Этот принцип, в примѣненіи к послѣвоенному періоду, означает: государственные союзы в этой части Европы допустимы только с Совѣтским Союзом; нити, связывающіія столицы, могут имѣть лишь восточно-западное направленіе, но никак не сѣверо-южное.

В проектѣ Восточно-Европейской Федераціи, цѣлью которой является оборона против германской опасности, Москва видит, и совершенно справедливо, также и анти-совѣтское остріе. Эта федерація является попыткой возрожденія Австро-Венгріи без нѣмцев, т. е. очень слабаго союза,способнаго развѣ лишь к оборонѣ, но никогда не к солидарной агрессіи. Тѣм не менѣе он противорѣчит идеѣ совѣтской сферы безопасности и поэтому «мы были бы вынуждены разсматривать всякую попытку созданія какой-либо федераціи по образцу Австро-Венгерскаго союза как реакціонную попытку, которая была бы вредна и не могла бы осуществиться»*).

Позиція Черчиля в этом вопросѣ — это традиціонная политика Британіи. Пока Англія не потерпит военнаго пораженія, она не примирится с конструкціей европейскаго континента, в котором одна держава обладает большей военной силой, чѣм всѣ прочія, и в которой всѣ остальныя націи остаются малыми, слабыми или-же разрушенными государствами. Война с Германіей может закончиться полным пораженіем послѣдней; тогда на момент суррогатом второй великой державы сдѣлаются англо-америк. оккупац. арміи. Но онѣ не покинут континента, пока не перенесут своих функцій в европейском лабиринтѣ на другія, вновь созданныя государственныя силы.

---

*) «Вольна Польска», 25 августа 1943 г.

VI.

В совѣтской программѣ мира скажется, как и во всѣх вопросах русской политики, различіе тенденцій національных и требованій коммунистических. Россія, как таковая, не нуждается в каких либо новых территоріях ни в какой формѣ — даже и не как «сферы безопасности». Включеніе этих націй в свою государственную систему создало бы трудности и опасности, значительно превосходящія всѣ выгоды. Не всякое завоеваніе или расширеніе государства увеличивает государственную мощь; порой оно дѣлается источником слабости.

Надо имѣть в виду, что в средѣ 170-милліоннаго населенія Россіи (наканунѣ второй міровой войны) даже самыя крупныя не-славянскія національности все-же были очень невелики, напримѣр, узбеки — 4,8 милліонов, татары — 4,3 милліона, евреи — 3 милліона и т. д. Десятки націй, стоящих и по сей день на болѣе низкой культурной ступени, без трудности были проглочены и переварены доминирующим гигантом; иныя націи, болѣе культурныя, не могли не примириться со своим положеніем по условіям географическим (когда онѣ живут островом в русском морѣ), либо по своей малочисленности*). Поэтому многонаціональная Россія знает поразительно мало національных сепаратизмов (кромѣ, развѣ, кризисных лѣт 1917-1923).

Національности, живущія вдоль западных границ, занимают другое положеніе. Включеніе в сферу безопасности полосы центральной Европы с населеніем свыше 100 милліонов человѣк, явилось бы для Россіи средоточіем центробѣжных сил, а компактная масса чуждых національностей сдѣлалась бы источником слабости для Россіи. Их союз между собой, до сих пор бывшій невозможным, сдѣлался бы реальностью, когда он имѣл бы общую цѣль освобожденія от государственной зависимости, хотя бы и в прикровенном видѣ.

Но в Москвѣ, повидимому, держатся на этот счет другого взгляда и склонны преуменьшать эти опасности, поскольку рѣчь идет о коммунистической странѣ. Да, гласит эта теорія, русскій

---

*) Я не могу останавливаться здѣсь на украинском и бѣлорусском вопросах. Отмѣчу лишь, что по множеству причин эти вопросы стоят особняком, что Украина и Бѣлоруссія в основном освоены общерусским государством, и что сепаратизм здѣсь является поэтому лишь поверхностным явленіем.

царизм, который подавлял національные языки и національную культуру, создавал себѣ враговъ изъ покоряемыхъ націй, ибо ему не дано было освоить ихъ. Но совѣтская политика не подавляет націй, как таковых, и открывает національной интеллигенціи широкіе просторы; она аппелирует к опредѣленным элементам рабочих, и, привлекая их на свою сторону, замѣняет политическое единство аннектируемой націи другими межнаціональными единствами, проводящими горизонтальный разрѣз внутри всѣх націй Союза. В коммунистической идеологіи, совѣтское правительство уже само по себѣ является правительством всѣх націй Союза и, таким образом, совѣтская эра открывает пути к освоенію новых, даже больших націй. Больше того, прогресс человѣчества требует, согласно московской концепціи, такой экспансіи, которая равнозначуща ликвидаціи капитализма.

Это вновь было повторено в нынѣшнем, 1943 году. «Раньше принято было считать, — и опыт многих стран это показал, — что наличіе различных народов и національностей в рамках одного государства, дѣлает это государство слабым и уязвимым для врагов. Но построенное... на основах ленинскаго ученія, развитаго впослѣдствіи Сталиным, многонаціональное совѣтское государство, опрокинуло это представленіе и отвергло этот опыт»*).

Эта теорія не только ошибочна, но и очень опасна. Невѣрно, будто вопросом о языкѣ исчерпываются національныя стремленія, и в особенности это невѣрно по отношенію к тѣм націям, которыя имѣют за собой большую исторію и государственное бытіе в прошлом. Ирландія боролась и борется за независимость, несмотря на самую широкую автономію, ей предоставленную. Австрійская монархія даже поощряла нѣкоторыя из своих націй, но это не примирило послѣдних с національной зависимостью. Примѣров таких много в исторіи. Ко всему этому в совѣтских условіях присоединяется еще соціальный переворот, неизбѣжно связанный с суровыми политическими репрессіями. К національно-центробѣжным тенденціям не могут не присоединиться и послѣдствія чуждой, принесенной с востока экономической системы, и в сознаніи данных народов это будет тройной гнет вмѣсто простого національнаго гнета. Если в рамках Совѣтскаго Союза національный вопрос до сих пор стоял на втором мѣстѣ, по сравненію с вопросами общей внутренней и экономической политики, то это имѣло

*) «Коммунистическій Интернаціонал», 1943 г., № 1, передовая статья.

свои причины в характерѣ и исторіи тѣх націй, которыя живут в составѣ сов. Россіи.Но это отнюдь не распространяется на новую ситуацію и на другія большія національности.

Что для коммунизма расширеніе его сферы желательно, даже необходимо — не подлежит сомнѣнію. Но с обще-народной точки зрѣнія оно не только не желательно, но в высшей степени опасно. Самоограниченіе в момент военной побѣды, хотя подчас и очень трудно, столь же необходимо, как и сама побѣда.

Д. Далин.

АМЕРИКАНСКІЯ ЗАТРУДНЕНІЯ

Выраженіе это - - the American Difficulty — создалось во время міровой конференціи в Парижѣ в 1919 г. Разумѣлись при этом особенности американской конституціи, связанныя с процедурой утвержденія международных договоров и осуществленіем в жизни Соединенных Штатов обязательств, которыя вытекают из соглашенія с другими странами.

Такого рода трудности возникают повсюду, гдѣ одни органы власти ведут переговоры и заключают договор, а другіе его утверждают. Гдѣ ведущіе переговоры о мирѣ его и заключают, и утверждают, — там, естественно, таких трудностей не возникает. Их не было в неограниченных монархіях, гдѣ вся полнота власти сосредотачивалась в однѣх руках — или мозгах, — как их нѣт и в нынѣшних тоталитарных государствах. Гитлер, Хирохито, Сталин, Чан Кай Шек пользуются услугами и знаніями своих консультантов и довѣренных лиц, но обязательным и рѣшающим для них является их собственный «внутренній голос». И то, о чем о н и договорятся с другими, становится законом и для им подвластных.

Гдѣ установлен в той или иной формѣ режим политической демократіи, там положеніе принципіально иное, и затрудненія там неизбѣжны. Как и в других демократіях, имѣются затрудненія и в Соединенных Штатах; имѣются здѣсь и свои особыя, специфическія.

Переговоры о мирѣ демократическія страны, как правило, ведут не на площадях и публичных митингах, а за опущенным занавѣсом, путем дипломатических сношеній. Но то, к чему приходят в результатѣ «тайных» переговоров, требует обязательно одобренія и утвержденія законодательнаго учрежденія прежде, чѣм вступить в силу. В европейских демократіях обычно требовалось одобреніе обѣих палат парламента. В Швейцаріи международные договоры при извѣстных обстоятельствах требуют утвержденія со стороны народа — прямым народным голосованіем. В Америкѣ, в Соединенных Штатах и рядѣ южноамериканских стран, чтобы договор вошел в законную силу, необходимо одобреніе его лишь второй палатой, сенатом. Но участіе народно-представительнаго органа в утвержденіи меж-

дународнаго соглашенія требуется всюду, гдѣ режим претендует быть демократическим: даже диктаторіальныя страны стараются создать видимость того, что и у них международныя обязательства возлагаются на страну волею самого народа, а не усмотрѣніем только «Фюрера» или «Отца Народов».

В тот самый день, 10 іюня 1940 г., когда Муссолини напал на изнемогавшую Францію, президент Рузвельт оповѣстил о предложеніи, которое он сдѣлал италіанскому диктатору, если бы тот воздержался от предательскаго нападенія: президент обѣщал удовлетворить справедливыя территоріальныя претензіи Италіи и гарантировать ей равноправное участіе в конференціи мира. Муссолини отверг это предложеніе, положившись на силу своей арміи и предпочтя Рузвельту Гитлера. Предложеніе отпало, и Муссолини проиграл. Остается, однако, отвлеченный, но далеко не праздный вопрос: было ли обѣщаніе президента Соединенных Штатов прочно обоснованным? Можно ли было быть увѣренным на всѣ 100%, что с обѣщаніями Рузвельта не произошло бы на конференціи мира того же, что случилось с аналогичными по искренности и убѣжденію обѣщаніями Вильсона?...

В этом и заключается трудность, осложненная специфически-американской конституціей.

Чтобы об'явить войну, конституція Соединенных Штатов требует одобренія простого большинства обѣих палат конгресса. Но чтобы заключить мир или международный договор, необходимо одобреніе квалифицированнаго большинства — двух третей — сената. Президент уполномочен вести переговоры и рекомендовать договор, но 33 сенатора (одна треть общаго их числа плюс единица) могут парализовать волю президента и лишить договор законной силы.

12 средне-западных, равнинных и гористых штатов, с населеніем в 8.300.000 человѣк (по данным 1930 г.), имѣли в сенатѣ 24 представителей, тогда как штат Нью Іорк, с 12.500.000 населенія, представлен был всего 2 сенаторами. За нью-іоркскими двумя сенаторами стоит в 125 раз больше населенія, чѣм за таким же числом сенаторов, которые представляют штат Неваду.

Не надо думать, что эта «трудность», которую справедливѣе было бы назвать иначе, стала ощущаться американским общественным и даже официальным мнѣніем лишь со времени міровых войн нынѣшняго вѣка. Приведу слова Джона Гэя, сказанныя им, когда он занимал должность государственнаго секретаря, в 1899 году: «Непоправимая ошибка нашей кон-

ституціи предоставила власти одной трети плюс один сената категорическое вето по отношенію ко всякому договору, о котором вел переговоры президент, даже если договор имѣет одобреніе девяти десятых населенія страны».

Отчетливо представлял себѣ американскія конституціонныя трудности, конечно, Вудро Вильсон. Еще в своей классической работѣ "Congressional Government", написанной в 28-лѣтнем возрастѣ и по сей день остающейся непревзойденной в наукѣ американскаго государственнаго права, Вильсон теоретически критиковал тѣ самыя особенности американской конституціи, от которых ему лично пришлось так жестоко пострадать на закатѣ своей жизни, в 1919-1920 годах.

На конференціи мира в Парижѣ идеалистическая концепція Вильсона столкнулась с реалистическими опасеніями Клемансо. Французская делегація всячески настаивала на снабженіи будущей международной организаціи аппаратом принужденія для предотвращенія насилія и защиты от нападенія. Французы предлагали надѣлить будущую Лигу Націй военной силой. Это встрѣтило рѣшительную оппозицію со стороны громадного большинства делегацій. Французы предложили тогда создать, в интересах общей безопасности, хотя бы международный военный штаб или, по крайней мѣрѣ, — международную инспекцію, которая слѣдила бы за состояніем вооруженных сил в различных государствах. И это не встрѣтило сочувствія конференціи.

Рѣшающій обмѣн мнѣній произошел 11 февраля 1919 года при заключительном обсужденіи проекта Ковенанта Лиги Націй. Возражая французской делегаціи, президент Вильсон сказал: «Мы должны различать между тѣм, что возможно и невозможно. Ни одна нація не согласится на контроль. Что касается нас, американцев, мы не можем согласиться на контроль в силу нашей конституціи. Мы должны сдѣлать возможное для обезпеченія безопасности міра... Допустимо, чтобы Франція сохранила пропорціонально большую военную силу, нежели другія страны, в силу географическаго риска, о котором здѣсь упоминалось. Но созданіе об'единеннаго военнаго аппарата в мирное время — это совершенно другой вопрос... Предложить единое командованіе на время мира, значило бы сдѣлать предложеніе, котораго не примет ни одно государство. Конституція Соединенных Штатов воспрещает президенту посылать вооруженныя силы за предѣлы страны (в мирное время). Если Соединенные Штаты сохранили бы армію, всегда

было бы неизбѣжно промедленіе в посылкѣ ея в страны, куда армія потребовалась бы».

Как бы провидя будущее, Вильсон продолжал: «Возможно, что нѣмцы снова сумѣют создать свою военную мощь. Если эта война не разрушила милитаристское безуміе, нам может угрожать новая опасность». Однако, даже допуская такую возможность, Вильсон отказывался принять французское предложеніе, — логически и технически вытекавшее из системы коллективной безопасности, на которой Вильсон и другіе хотѣли построить новую организацію мира. «Если мы станем организовывать международную армію, это покажет, что мы международным милитаризмом замѣстили національный», — заявил Вильсон. «Наиболѣе распространенный довод против Лиги Націй, который мы слышим в Америкѣ, это тот, что армія Соединенных Штатов окажется в распоряженіи международнаго совѣта, что американским войскам может быть отдан в какой-то момент приказ сражаться за дѣла, о которых они не имѣют ни малѣйшаго понятія. И эта перспектива волнует наш народ. Поэтому нѣт другого пути, как принять систему, согласуемую одновременно и с нашей конституціей, и с взглядами нашего общественнаго мнѣнія».

Неправильно было бы думать, что мнѣніе Вильсона было подсказано его профессіей — ученаго юриста и государствовѣда — или его офиціальным положеніем президента, вынужденнаго считаться с лично ему враждебным и нерасположенным в пользу коллективной безопасности сенатом или с несогласными с ним ближайшими сотрудниками: статс-секретарем Лансингом, полковником Хаузом, Вильямом Буллитом и др. Аналогичный взгляд развивал и «второй наиболѣе вліятельный человѣк в странѣ» — предсѣдатель Американской Федераціи Труда Сэмюэль Гомперс, возглавлявшій на мирной конференціи комиссію по выработкѣ Хартіи Труда.

Гомперс и Вильсон предсѣдательствовали в разных комиссіях, имѣли дѣло с разными вопросами и различными оппонентами. Но и исходная точка зрѣнія, и аргументація, и выводы у того и другого были одинаковы, — американскіе.

Гомперса в его комиссіи поддерживали лишь представители Канады и Кубы. Представители рабочаго класса Франціи, Италіи, Бельгіи, Англіи и др., несогласные с взглядами своих правительств и часто друг с другом, были солидарны в оппозиціи американцам. Генеральный секретарь французской Конференціи Труда Леон Жуо выражал общее пожеланіе, когда требовал, чтобы «всѣ государства, участвующія в конференціи труда,

обязались в теченіе года провести у себя (в своем національном законодательствѣ) то, что будет одобрено большинством двух третей конференціи. За правительствами останется право обжалованія рѣшеній конференціи исполнительному совѣту Лиги Націй, который может потребовать пересмотра вопроса. Вторичное рѣшеніе конференціи обжалованію уже не подлежит».

Американская делегація никак не хотѣла с этим согласиться. Гомперс, как и Вильсон, выдвигал конституціонныя препятствія, мѣшавшія американской делегаціи согласиться не только с «латинскими», болѣе революціонно настроенными делегаціями, но и с англійскими представителями, тоже настаивавшими на том, чтобы одобренныя международной организаціей конвенціи имѣли силу международнаго обязательства и закона. К этим аргументам Гомперс прибавлял и другіе, вытекавшіе из общаго представленія американскаго трудящагося относительно того, как должна строиться всякая организація — профессіональная или международная. Организація может возникнуть лишь по д о б р о в о л ь н о м у согласію своих участников и она не в правѣ вторгаться в компетенцію своих сочленов — в автономію отдѣльных юніонов в такой же мѣрѣ, как и в предѣлы государственнаго суверенитета.

В процессѣ спора и возник этот термин — «американскія затрудненія». Под этим разумѣлось, что одобренный конгрессом закон может быть признан верховным судом противорѣчащим американской конституціи; что штатныя законодательныя собранія не станут проводить мѣры, необходимыя для осуществленія вытекающих из международной конвенціи обязательств; и что закон, принятый штатным законодательством, может подвергнуться измѣненію со стороны слѣдующей легислатуры.

Американскую точку зрѣнія поддерживали, повторяю, очень немногіе. Тѣм не менѣе побѣдила, в конечном счетѣ, именно она. Послѣ чрезвычайно бурных об'ясненій между представителями американской и англійской делегацій, едва не кончившихся полным разрывом и крахом всей рабочей конференціи, «компромисс» был найден в предложеніи американскаго профессора Шотвелля. За международной организаціей труда сохранено было право принимать не обязывающія кого-либо рѣшенія, а лишь «рекомендаціи», которыя подлежат представленію властям, в компетенцію коих входят соотвѣтствующія законодательныя и иныя мѣропріятія.

Поставленный перед выбором между двумя соперничаю-

щими началами — верховенством международной организаціи для сохраненія общаго мира и суверенитетом государства для обезпеченія безопасности страны, Вильсон выбрал — может быть не мог не выбрать — послѣднее. Тѣм самым судьба Лиги Націй в значительной мѣрѣ была предрѣшена. Своей непослѣдовательностью — или уступчивостью — Вильсону не удалось склонить на свою сторону упорствовавших противников в сенатѣ. 19 марта 1920 года дѣло Вильсона — попытка организовать мир на началах коллективной безопасности — было окончательно провалено меньшинством сената (37 голосами). Прежде, чѣм Лига Націй была создана, ее отдали на волю случая и стихіи — во власть заложенных в ней и взрывавших ее противорѣчій.

Так было в 19-ом году.

Как обстоит дѣло сейчас?

***

Конституція Соединенных Штатов по всей справедливости является исключительным документом — замѣчательным свидѣтельством человѣческаго творчества и достиженій. Американцы имѣют полное право гордиться своей конституціей — и не только по естественному чувству «любви к отечеству и народной гордости». Американская конституція, об'ективно говоря, чрезвычайно оригинальна и прогрессивна. Это общепризнано в американской литературѣ — офиціальной и неофиціальной. Это признают и иностранцы. Гладстон отзывался об американской конституціи, как «замѣчательнѣйшем твореніи человѣческаго мозга, созданном в опредѣленное время».

Но и самое выдающееся произведеніе рук и ума человѣческих несет на себѣ печать своего времени. И конституція, созданная в концѣ 18-го столѣтія тринадцатью малонаселенными и бѣдными колоніями, никак не мечтавшими о своей матеріальной-технической гегемоніи или политически-ведущей роли через каких-нибудь полтораста лѣт, — эта конституція не могла не обнаружить своих дефектов, когда радикально измѣнились всѣ условія и обстановка, для которых она была предназначена.

Дефекты американской конституціи подмѣтили не только иностранцы — и, в в первую очередь, англичане: от Джона Милля до Харольда Ласки и от Бэджгота и Брайса до лондонскаго «Экономиста». Иностранцам со стороны было многое, конечно, видиѣе. Но и американцы сами обратили вниманіе на

опасности и угрозу, которыя подстерегают их особенно в, так называемые, критическіе періоды исторіи. Тѣ же иностранцы, критикуя американскую конституцію, ссылаются как правило, на статьи Мадисона в «Федералистѣ», на «Комментаріи» судьи Стори и т. д. Вудро Вильсон, Уильям Макдональд, Ньютон Бекер, Франк Кобб, Уолтер Липман, Уолтон Гамильтон, Реймонд Клепер, Генри Хазлит и другіе американцы с большей или меньшей яркостью одинаково доказывали и доказывают, что американская конституція никак не созвучна темпу новѣйшей исторіи. Такое несоотвѣтствіе сильно вредит самим Соединенным Штатам. Еще больше оно вредит міру.

Когда писали американскую конституцію, исполнительная власть представлялась не только Америкѣ, но и в Европѣ властью анти-народной, чужеродной, по самой своей природѣ склонной к злоупотребленію и насилію. Против такой власти необходимо защищаться. Необходимо ей противоставить возможно больше препятствій, тормазов, отсрочек. Всемірно-прославленная американская система «сдержек и противовѣсов» и была направлена к тому, чтобы воспрепятствовать власти сдѣлать что-либо злое, — а не к тому, чтобы способствовать ей сдѣлать что-либо благое.

Американская конституція извѣстна тѣм, что она послѣдовательнѣе другой провела начало раздѣленія властей, при котором одна власть «останавливает» другую, предупреждая тѣм самым ея злоупотребленіе. Положительныя дѣйствія власти не привлекали к себѣ вниманіе отцов конституціи. Между тѣм, при осложненном темпѣ событій 20-го вѣка часто бывало предпочтительнѣе несовершенное или даже ошибочное, но своевременное дѣйствіе, нежели бездѣйствіе или дѣйствіе болѣе совершенное, но запоздалое.

Американская конституція распредѣлила власть между разными органами без того, чтобы можно было всегда с точностью установить, какой из них отвѣтственен в итогѣ всѣх «сдержек и противовѣсов». Исполнительная власть не обязана политически отвѣчать перед законодательной, а законодательная не может быть провѣрена, путем перевыборов, исполнительной, с цѣлью узнать, — соотвѣтствует ли мнѣніе законодателей мнѣнію страны и избирателей. До истеченія положенных конституціей сроков ни члены палаты представителей, ни сенаторы, ни президент не могут быть смѣщены, как бы страна ни нуждалась в согласованіи их взглядов и политики. При несогласіи президента с большинством конгресса, и президент, и конгресс безсильны провести свою политику, но каждая

сторона достаточно сильна, чтобы помѣшать проведенію не ея политики. «Рутинныя» дѣла еще идут, но для болѣе важных и спорных создается иногда тупик, из котораго нелегко найти выход — даже запоздалый, даже компромиссный.

Трудности возникают не только от того, что до истеченія положенных сроков нельзя ни администрацію смѣнить, ни состав конгресса измѣнить. Трудности осложняются еще тѣм, что одобренныя федеральной властью мѣры проводятся в жизнь на мѣстах, в штатах, — которые и фактически, и юридически могут тормозить и саботировать осуществленіе нежелательных им реформ. Наконец, — last but not least — верховный суд Соединенных Штатов. Он обладает большей властью, чѣм суд в какой-либо странѣ, и, по мнѣнію многих американских авторитетов, частично узурпировал прерогативы власти законодательной и исполнительной. Как выразился в свое время судья Брус (Bruce), верховный суд произвольно признал себя «хранителем нѣкоторых естественных прав или нѣкоторой сверх-конституціи», с точки зрѣнія коих он оцѣнивает законность принимаемых президентом и конгрессом мѣр.

Самое возникновеніе гражданской войны в Америкѣ многіе склонны об'яснять несовершенством американской конституціи. Когда не нашелся легальный выход из противорѣчій, которыя раздѣлили сѣвер и юг, одинаково апеллировавшіе к тексту и буквѣ конституціи, — выход пришлось искать путем физическаго одолѣнія противника. Не одни только теоретики или идеологи отмѣчали пробѣлы и дефекты конституціи. Это неоднократно признавали сами американскіе законодатели. Так, еще в 1880-1881 годах сенат создал спеціальную комиссію Пандлетона для обслѣдованія тупика, в который загонялась власть под давленіем конституціонных «сдержек» и слишком послѣдовательнаго раздѣленія власти. Интересно, что одной из мѣр, которую рекомендовал доклад этой комиссіи, подписанный и республиканцами, и демократами, было предложеніе допускать к дебатам Конгресса начальников отдѣльных департаментов, или министерств.

Конституціонныя трудности Америки безмѣрно возрастают, когда приходится имѣть дѣло с международным договором или соглашеніем о мирѣ. Здѣсь требуется уже согласованность не только между американскими властями, но и согласіе с другими государствами, у которых свои конституціонныя затрудненія.

Американская конституція очень сдержанно говорит о контролѣ над внѣшне-политическими функціями власти. И это

неудивительно, если знать и помнить, что творцы новаго государства и отцы конституціи считали наиболѣе желательным доведеніе всякой внѣшней политики до возможнаго минимума. Всяческое отдаленіе Америки от европейскаго зла — от европейских войн и дипломатических интриг — считалось самоочевидной и неопровержимой политической мудростью задолго до доктрины Монро (1823). В этом пунктѣ Томас Пэн, Вашингтон, Джеферсон, Мадисон и Адамсы были в общем согласны. Поскольку же внѣшняя политика не могла быть упразднена вовсе, отцы конституціи и в этом пунктѣ вдохновлялись отталкиваніем от англійскаго образца. Если в монархической Англіи вся внѣшняя политика сосредоточена в руках главы государства, революціонное своеобразіе республиканской Америки должно сказаться в ограниченіи внѣшне-политических прерогатив президента. К этому надо добавить отталкиваніе американской конституціи и от англійскаго парламента. Вѣдь самая американская революція произошла в процессѣ борьбы колоній не столько с британской короной, сколько с британским парламентом, который настаивал на своем правѣ облагать налогами колоніи без предоставленія им представительства в англійском парламентѣ. Отсюда и тѣ путы, которыя конституція наложила на заключеніе международных договоров.

Правило об одобреніи международнаго договора двумя третями сената первоначально не давало себя чувствовать. До 1860 года не было случая, когда сенат отклонил бы договор, предложенный ему президентом. Сводка, составленная государственным департаментом, показывает, что из 969 договоров, представленных на утвержденіе сената с 1789 по 1935 год, сенат отклонил всего 15 договоров и внес поправки, в большинствѣ случаев не слишком серьезныя, к 173. Достаточно вспомнить, однако, что среди «всего 15» находился и Версальскій договор 1919 года, чтобы по достоинству оцѣнить нормальныя трудности американской конституціи при заключеніи не-рутиннаго международнаго договора о мирѣ.

***

В Европѣ привыкли критически относиться и даже клеймить парламентаризм. На парламентаризм, в частности, взваливают — и не одни только вишійцы — вину за катастрофу, постигшую Францію и другія демократическія страны. Наиболѣе уязвимым в парламентаризмѣ было, конечно, то, что подотчетное парламенту и в любое время смѣняемое прави-

тельство не дает устойчивости власти, лишая ее тѣм самым и увѣренности в себѣ: живя изо дня в день, она не может планировать даже не слишком отдаленное будущее.

Основной порок американской или, так называемой, президентской системы — как раз в обратном: в ея исключительной негибкости или твердости. Что бы ни случилось: революція, война, другая катастрофа, — никто не властен ничего измѣнить или кого-либо смѣстить; все подлежит естественному ходу событій, до исполненія времен и сроков, предусмотрѣнных 154 года тому назад. Неслучайно всю исторію Соединенных Штатов дѣлят на періоды, когда президенты были настолько пассивны, что подчинялись настроеніям Конгресса, или были настолько активны, что не считались с ними или даже открыто нарушали права конгресса. С гражданской войны и до самаго 20-го вѣка всѣ президенты, кромѣ Мак Кинли, были пассивны. В текущем же вѣкѣ оба Рузвельта и Вильсон являют примѣр активных президентов, вынуждавшихся иногда обстоятельствами к нарушенію, если не буквы, то духа тормозящей власть конституціи.

Когда в сентябрѣ 1942 года президент Рузвельт потребовал от конгресса спѣшнаго пересмотра закона о контролѣ цѣн — не позднѣе 1-го октября, — он предостерегающе прибавил: «в случаѣ, если конгресс этого не сдѣлает или сдѣлает это не надлежащим образом, отвѣтственность возьму я и буду (сам) дѣйствовать». Это был язык необходимости, продиктованной войной и — несовершенством конституціи, составленной с иной цѣлью и совсѣм, совсѣм в другой, можно сказать, в примитивной обстановкѣ: исторической, технико-юридической, политической, соціально-экономической.

Трагическій прецедент — конфликт между главой исполнительной власти в Соединенных Штатах и властью законнодательной, Сенатом, — разыгравшійся в 1919-1920 годах, продолжает по сей день стоять кошмаром и душить всѣ начинанія и помыслы о лучшем устроеніи міра послѣ войны. Как выйти из положенія и предотвратить повтореніе прошлаго — устранить угрозу, нависающую над грядущим договором о мирѣ? Этот вопрос волнует общественное мнѣніе Америки и всего міра. Он не сходит со страниц печати. Много существует частных предложеній и общих проектов, как измѣнить положеніе.

Стараясь пробиться сквозь препятствія, нагроможденныя на пути к новой и отвѣтственнѣйшей роли Соединенных Штатов в организаціи международнаго порядка послѣ войны,

рекомендуют измѣнить конституцію и для этого прежде всего измѣнить процедуру измѣненія конституціи — принять поправку к конституціи, которая облегчила бы приспособленіе конституціи 18-го вѣка к нуждам 20-го вѣка и к роли, выпавшей в мірѣ на Соединенные Штаты.

С 1791 года, когда приняты были первыя десять поправок к американской конституціи, так называемый "Bill of Rights", за всѣ 152 года сдѣлано было всего 11 поправок; однѣ из них малосущественны, другія отмѣняли предшествующую поправку. Всѣ поправки, за исключеніем послѣдней, 21-ой, отмѣнявшей запрет изготовлять, продавать и провозить спиртные напитки, прошли по процедурѣ, которую принято считать нормальной. Согласно этой процедурѣ, одобренная двумя третями каждой из палат конгресса поправка поступает на разсмотрѣніе штатных законодательных собраній и, если получает одобреніе не меньше трех четвертей штатов, становится конституціонным законом. 21-ая поправка (отмѣнявшая 18-ю) прошла в 1933 году в другом порядкѣ: она вошла в силу послѣ одобренія трех четвертей штатов не в обычных законодательных собраніях (легислатурах), а на спеціально созванных штатных конвентах.

Конституція предусматривает еще два других способа принятія поправок, когда иниціатива может исходить не из центра, от конгресса, а с мѣст — от штатов. По предложенію двух третей штатных законодательных собраній, конгресс должен созвать Національный Конвент, и принятыя на нем поправки, чтобы войти в конституцію, должны получить одобреніе не менѣе трех четвертей штатов в их законодательных собраніях (процедура № 3) или на штатных конвентах (процедура № 4). Эти двѣ процедуры настолько во времени неопредѣленны и технически сложны, что за все время существованія конституціи к ним ни разу не прибѣгали.

Но достаточно тягучими были и первыя двѣ, вѣрнѣе, — первая процедура. В среднем принятіе поправки отнимало до 22 мѣсяцев! Была и такая, которая затянулась на 4 года. Мыслимы ли такіе сроки в критическія эпохи національной жизни? Неудивительно, что на это давно уже было обращено вниманіе, и, в частности, Американская Федерація Труда, внѣ всякаго отношенія к заключенію международных договоров, еще в 1923 году выступила с требованіем облегчить процедуру принятія поправок к конституціи, которая не могла предусмотрѣть соціальнаго развитія Америки в том направленіи, в каком оно пошло: не могла предусмотрѣть будущаго рабочаго

законодательства, вопросов страхованія, патентов, международных картелей и т. д.

Наиболѣе естественным и логичным было бы, конечно, измѣнить порядок измѣненія конституціи и внести в нее то, что диктуется обстоятельствами и эпохой. Но этот наиболѣе естественный и логичный путь сейчас как будто уже не дан для облегченія заключенія будущаго мира. И не только потому, что пропущены сроки, но и потому, что вопрос об измѣненіи конституціи — и даже порядка ея измѣненія — глубоко и остро политическій вопрос.

Умаленіе роли меньшинства в сенатѣ (одна треть плюс один) знаменовало бы собой перестановку общественно-политических сил в странѣ и усиленіе федеральнаго начала по отношенію к власти штатов. Тѣ, кто идеологически этого не пріемлют или отвергают по партійным мотивам, будут, естественно, апеллировать к исконнему американскому традиціонализму, противящемуся такому радикальному новшеству. Партійно-политическая обстановка 1943 г., предшествующаго году избранія президента и выборов в конгресс, почти предопредѣляет невозможность устраненія конституціонных трудностей Америки к заключенію мира путем внесенія соотвѣтствующих измѣненій в ея конституцію.

Отсюда попытки, если не преодолѣть, то обойти трудности, в которых отдают себѣ ясный отчет всѣ отвѣтственные государственные и политическіе дѣятели Америки. Не будем останавливаться на всѣх безчисленных предложеніях обойти трудности принятіем соотвѣтствующей, связывающей конгресс или сенат резолюціи, которая явила бы міру свидѣтельство того, что Соединенные Штаты 1943-1944 г.г. — не Соединенные Штаты 1919-1920 и послѣдующих годов. Упомянем только два.

Бывшему члену верховнаго суда, Бернсу (Byrnes), занимающему сейчас пост экономическаго «диктатора», принадлежит план созданія конгрессом особаго комитета для совѣстной с исполнительной властью работы по веденію войны. Избранный обѣими палатами комитет должен, в идеѣ, олицетворять собой волю конгресса, и в его компетенцію должно войти, конечно, и планированіе будущаго мира. Предполагается, что соглашеніе, достигнутое в самом комитетѣ и между комитетом конгресса и главой исполнительной власти, будет обязательным и для всѣх членов конгресса; таким образом угроза отклоненія будущих договоров меньшинством сената (одной третью плюс один) отпадает.

Что согласованіе планов и мнѣній законодательной и исполнительной власти желательно, этого не приходится доказывать. Но что образованіе проектируемаго комитета обезпечит такое согласіе и соотвѣтственное голосованіе со стороны всѣх членов Конгресса, участвовавших в избраніи членов комитета, — это болѣе чѣм сомнительно. Этому противится партійно-политическая практика Соединенных Штатов. Свидѣтельством тому — многочисленныя голосованія по самым ответственным вопросам, когда и партійная дисциплина оказывалась безсильной обезпечить согласную подачу голосов. То, наконец, обстоятельство, что, несмотря на авторитет лица, и на скромность самого предложенія Бернса, оно за три мѣсяца не получило осуществленія, тоже показывает, что Конгресс либо не видит в нем выхода из положенія, либо не склонен итти даже на такое «самоограниченіе».

Другое предложеніе являло собой результат соглашенія в подкомиссіи по внѣшним дѣлам сената между обѣими партіями, республиканцами и демократами, и государственным департаментом. Соглашеніе состоялось относительно того, что конвенція о помощи пострадавшим Об'единенных Націй не нуждается в одобреніи двух третей сената, а требует одобренія лишь простого большинства обѣих палат. Изысканы были и соотвѣтствующіе прецеденты, доказывающіе правомѣрность такого толкованія: аннексія Техаса в 1845 и Гавайских островов в 1897 годах. Открылась соблазнительная щель для будущаго договора о мирѣ: признать договор конвенціей, и губительное правило об одобреніи двух третей отпадет.

Искусственность всѣх таких расчетов совершенно очевидна. Передовая «Нью Іорк Таймс» от 19 іюля, на слѣдующій же день как появилось предложеніе, — с исчерпывающей убѣдительностью это вскрыла. «Выраженія конституціи ясны и недвусмысленны. Наиболѣе опасный прецедент — пытаться изнасиловать или обойти конституцію заговорщическим пріемом, путем переименованія будущих договоров в простыя «соглашенія»... Если позднѣе суды признают, что вступившій уже в силу договор недѣйствителен, потому что он был одобрен неконституціонным порядком, результат может быть много болѣе пагубным, чѣм еслибы договор никогда не был ратифицирован».

К этим словам нечего прибавить, развѣ только, что — самое это предложеніе с исключительной яркостью вскрывает трудность, чтобы не сказать законодательную безвыходность, создавшагося положенія. И характерно, как «Нью Іорк Таймс»

намѣчает выход! Отвергнув путь словеснаго преодолѣнія трудностей — переименованіем договора в конвенцію, — «Таймс» возвращается к исходному пункту всѣх затрудненій. «В концѣ концов, существует конституціонная процедура для измѣненія конституціонной процедуры? Почему не воспользоваться ею?... Соотвѣтствующая поправка могла бы быть предложена «конвентам» штатов, что равнозначно, как показала отмѣна поправки о запрещеніи продажи спиртных напитков, прямому опросу народа»...

Как не вспомнить сказку про бѣлаго бычка?

И «Нью Іорк Таймс», в редакцію коего входит Генри Газлит, спеціально занимающійся уже ряд лѣт этой проблемой и выпустившій в прошлом году книгу "A New Constitution Now", с изображеніем американскаго орла в путах и подписью: «Наша нынѣшняя правительственная система — анахронистична, несгибаема и безотвѣтственна; она опасным образом бездѣйственна даже в мирное время и фатально несоотвѣтствует тотальной войнѣ», — и «Нью Іорк Таймс» не имѣет отвѣта, как выйти из положенія немедленно, в предвидѣніи того, что в ближайшее время откроется возможность или необходимость для Соединенных Штатов связать себя международными обязательствами на десятилѣтія.

***

Теоретически разсуждая, нетрудно указать, в каком направленіи должна была бы измѣниться государственно-правовая структура Соединенных Штатов, чтобы оказаться на уровнѣ требованій и отвѣтственности, которыя к Соединенным Штатам предъявляют событія — эпоха и цивилизація, Америка и весь мір. Это направленіе — парламентаризм англо-австралійскаго типа. Это не было бы вовсе отказом от американскаго традиціонализма — от системы раздѣленія властей и сдержек; это было бы лишь подчиненіем структуры управленія — его цѣлям и задачам.

И в Англіи существует раздѣленіе властей: англійскій суд независим и авторитетен, и компетенція англійской администраціи, кабинета, возглавляемаго и руководимаго премьером, все расширяется в об'емѣ и протяженіи. Но в Англіи раздѣленіе властей не затмевает отвѣтственности за любое дѣйствіе власти, в конечном счетѣ всегда восходящей к парламенту. При парламентаризмѣ всѣ начала и концы ведут к одному центру или основѣ — к парламенту, который, по англійскому

выраженію, всемогущ: может все, — кромѣ как превратить женщину в мужчину.

При президентской системѣ ни конгресс, ни верховный суд, ни президент не играют роли, которая в парламентарной системѣ принадлежит парламенту. Неудивительно, что теоретики вопроса давно уже подмѣтили фактическое несоотвѣтствіе между тѣм, что американская конституція утверждает, и тѣм, как та же конституція живет. Профессор іэльскаго университета Уолтон Гамилтон,еще в бытность свою профессором в Чикаго, описал экстраконституціонную жизнь американской конституціи, которая живет внѣ постановленных ей и ею рамок.

Практически Соединенные Штаты международные договоры, конечно, заключали — тот или иной выход всегда находили. И побѣдоносное завершеніе нынѣшней войны тоже будет так или иначе закрѣплено и для Соединенных Штатов в международном договорѣ о мирѣ. Весь вопрос в том только и состоит, как он будет закрѣплен: так или иначе?

В послѣднем счетѣ и политика, и право, и экономика диктуются психологіей. И юридическія препятствія для заключенія длительнаго демократическаго мира тоже могут быть преодолены психологическим напряженіем страны, народа, правителей и законодателей. Все зависит от того, найдется ли соотвѣтствующая психологическая зарядка для созданія нужных условій — в ближайшіе же исторические сроки.

Марк Вишняк.

5.IX.43.

КАК БОРОТЬСЯ С ФАШИЗМОМ?

1.

Как будто странно задавать такой вопрос во время войны. Развѣ не борются с ним сейчас пушками, танками, бомбовозами — и развѣ его военный разгром не вырисовывается уже явственно на горизонтѣ — хотя и не близком?

Не знаю, много ли сейчас оптимистов, вѣрящих в то, что побѣда рѣшает всѣ вопросы мира, и что пораженіе Германіи есть окончательное пораженіе фашизма. Чтобы думать так, нужно быть увѣренным в том, что настоящая война есть война чисто идеологическая, что она идет между фашизмом и демократіей, и, наконец, что Германія и фашизм одно и то же.

Да, было время, когда раздѣленіе между воюющими народами проходило довольно четко по политическому водораздѣлу. В 1939 году, дѣйствительно, демократія об'явила войну фашизму. Это создавало необыкновенно чистую политическую атмосферу, в которой самые трезвые и отвѣтственные государственные люди мечтали вслух о федераціи свободных народов. За эту чистоту мы заплатили дорогою цѣною. Фашизм оказался сильнѣе демократіи. Франція пала его жертвой — пала прежде всего потому, что сама не готова была к «чистой» войнѣ. Она сама разрывалась внутренним фашизмом и скрытой классовой войной. Ея верхи были за Гитлера, низы за Сталина — тогда шедших вмѣстѣ. Ея демократія оказалась без защитников.

Эта чистая, но почти безнадежная ситуація измѣнилась с развитіем войны. Для всѣх почти народов Европы война приняла характер борьбы за существованіе. Даже Англія почувствовала это лѣтом 1940 года. Но в такой борьбѣ не приходится особенно приглядываться к чистотѣ своих союзников; дорожат всякой силой, какую можно использовать. Фашистскія и полуфашистскія страны оказались союзниками демократій. Одна, по крайней мѣрѣ, демократическая страна — Финляндія — идет с Гитлером. Карты перепутались с момента нападенія Гитлера на Россію. И лишь с этого момента явились шансы на нашу побѣду.

Но факт остается фактом. Сейчас не приходится говорить об идеологической чистотѣ. Война за демократію*) — за свободу — сплелась с войной за существованіе; и не однѣ демократіи будут строить будущій мір.

Это, конечно, не лишает настоящую войну ея идеологическаго содержанія. Она остается освободительной войной прежде всего, и сейчас всѣ надежды на сохраненіе свободы в мірѣ попрежнему связаны с побѣдой союзников. Вѣдь, совершенно ясно, что с побѣдой Гитлера в Европѣ не осталось бы ни одной свободной страны; побѣда же союзников обезпечит свободу, по крайней мѣрѣ, на извѣстной территоріи, создавая возможность для ея укрѣпленія и расширенія в мірѣ.

С пораженіем Германіи уничтожается один из самых гнойных очагов фашистской заразы, откуда она расползалась во всѣ страны, соперничая, и очень успѣшно, с распространеніем коммунизма. Но фашизм остается: остается как строй в одних государствах, как угроза или скрытая болѣзнь в других. В 1918 году демократія имѣла всѣ основанія торжествовать побѣду над реакціей. Но именно война, как мы теперь видим, нанесла ей тяжелый удар. Рожденіе фашизма и его постепенное развитіе в Европѣ есть одно из слѣдствій первой войны. Экономическій хаос, созданный войной, нищета и классовыя столкновенія в побѣжденных странах, самый дух насилія, в котором воспитывался цвѣт Европы в теченіе четырех лѣт — привычка рѣшать всѣ вопросы мечем, а не сговором — создавали условія для фашистских революцій.

Настоящая война застает правительства демократій болѣе зрѣлыми, болѣе подготовленными к послѣвоенным кризисам. Но кризисы ожидают нас — кризисы подобные 1918-1919 г.г., но, может быть, болѣе острые. Всѣ тѣ проблемы — капитализма, безработицы, національных и расовых конфликтов — пред которыми мір стоял в безсильной прострації в 1939 году, встрѣтят его на слѣдующем поворотѣ исторіи. Ничто не рѣшено, все ожидает рѣшенія — в условіях еще болѣе трудных, чѣм до войны. Ибо, хотя война о б ' е к т и в н о дѣлает болѣе податливой, пластичной соціальную массу, она же создает новыя о б ' е к т и в н ы я препятствія для работы над ней: безмѣрно увеличивая сумму отрицательных, отталкивающих сил — сил ненависти и злобы. Но в этой ядовитой послѣвоен-

*) В настоящей статьѣ слово «демократія» вездѣ употребляется в смыслѣ политической свободы — терминологія, м. б., неправильная, но всюду принятая.

ной атмосферѣ и размножаются фашистскіе микробы, первоначально ничтожные и незамѣтные. Кто мог бы разгадать будущее нацизма в 1925 году или большевизма в мартѣ 1917 года?

2.

Нѣт, демократія не может расчитывать на однѣ «пушки» (простите за архаизм). Генералы могут только расчистить, или слегка очистить для нея поле дѣйствій: «Теперь ваше дѣло, господа. Вам дается исторіей еще десять — много двадцать лѣт — послѣдняя передышка. Не сумѣете справиться, пеняйте на себя». И эти воображаемыя слова, которыя слышатся уже теперь сквозь грохот снарядов, должны звучать не безнадежностью, а вызовом. В них призыв к дѣйствію, к борьбѣ, в них живет послѣдняя, доступная нам надежда.

Демократія должна напрячь всѣ силы своего ума, воображенія и воли в борьбѣ со своим страшным врагом. И прежде всего отказаться от иллюзій, все еще соблазняющих ее, — эти иллюзіи стоили уже нам так дорого. Видѣть правду, видѣть истинное лицо врага — самое элементарное условіе побѣды. дон-Кихоты не побѣждают; всего менѣе Дон-Кихоты, жаждущіе покоя. У демократій сейчас слишком много льстецов, убаюкивающих ее, по рецепту Горькаго, «золотыми снами». Но ей нужны, прежде всего, безпокойные и безтактные оводы, жалящіе ее, как Сократ афинян. Если народныя массы будут попрежнему отравляться иллюзіями военнаго времени, то к моменту мира онѣ будут неспособны к политическому дѣйствію. Или же дѣйствіе их сведется к новому самоубійству демократіи...

Вопрос о том, как бороться с фашизмом, рѣшается различно, в зависимости от того, что понимают под фашизмом. Если фашизм это Германія, или Японія, то рѣшеніе заключается в конечном уничтоженіи этих стран. Впрочем, для цѣлаго ряда народов Европы главный враг, подлежащій истребленію, носит другія имена, заслоняющія или дополняющія Германію: Италія, Венгрія, Румынія, Болгарія ,даже Сербія (для хорватов)... Стоит ли останавливаться на этих заблужденіях, хотя и широко распространенных, но столь явно несостоятельных: они подмѣнивают анализ внутренняго недуга, угрожающаго существованію нашей цивилизаціи, указаніем внѣшних врагов — отличных для каждой страны, — руководясь голосом національнаго чувства. Германію легко вынести за скобку: в этой странѣ произошла, дѣйствительно, кристаллизація міровых фашистских

энергій. Но онѣ всегда могут найти другіе фокусы, другіе очаги.

Болѣе серьезно и столь же вредно другое представленіе, широко распространенное в рядах демократій: это убѣжденіе в том, что фашизм приходит справа, являясь боевой организаціей консервативных сил стараго общества. Из этого убѣжденія вытекает непосредственно, что главной мѣрой антифашистской обороны является об'единеніе всѣх «лѣвых» сил, созданіе «народных фронтов» и нанесеніе правым как можно болѣе сокрушительных ударов. В результатѣ происходит — опыт был продѣлан неоднократно — сплоченіе реакціонных сил, их дѣйствительная фашизація и созданіе атмосферы гражданской войны, в которой рождается фашистская диктатура.

Роковая ошибка этого взгляда — в том, что фашизм не есть консервативная, а скорѣй революціонная сила, что он стремится не к сохраненію стараго, буржуазно-либеральнаго общества, а к построенію новаго, принципіально отличнаго. А так как он берет для этой постройки нѣкоторыя крайне-правыя идеи и сочетает их с другими, крайне-лѣвыми, то обычныя характеристики лѣваго и праваго к нему абсолютно не подходят. Азбука современной политической грамотности должна начинаться с того, чтобы отучиться от этих опредѣленій, сложившихся в эпоху борьбы буржуазнаго либерализма с абсолютизмом. Для соціальной революціи нашей эпохи, которая по своим тенденціям противоположна либеральным революціям стараго времени, нужны совершенно другія опредѣленія.

Движущія силы фашизма, тот динамит, которым он взрывает старое общество, не создаются, а находятся им в его нѣдрах. Эти силы доселѣ разрывали общество на части, распредѣляясь между обоими лагерями гражданской войны. Правые имѣли монополію націоналистических чувств, лѣвые — соціальной справедливости. Фашизм берет оба этих самых могучих рычага нашей эпохи и соединяет их для своего революціоннаго дѣйствія. В этом секрет его успѣхов. Эти силы, законныя и подчас благородныя сами по себѣ, в условіях великаго кризиса, уже взвинчены, доведены до болѣзненнаго пароксизма. Фашизм берет их в этом раскаленном состояніи, и направляет их на разрушеніе всѣх слоев культуры, которые могли бы оказать сопротивленіе их неограниченному разливу. Отсюда его революціонность, которую он постоянно подчеркивает. Он, дѣйствительно, разрушает старую собственность, семью, церковь, аристократическіе классы, что дѣлали, или пытались дѣлать революціонеры 19-го вѣка. Но он распространяет свое разрушеніе

и на науку, искусство, нравственное сознаніе гуманистическо-христіанской эры, перед чѣм останавливались самыя смѣлыя из революцій прошлаго. Сообразно своему двуликому характеру, фашизм притягивает к себѣ людей противоположных лагерей. К нему идут націоналисты, для которых мощь («величіе»!) страны дороже привилегій господствующих классов. К нему идут соціалисты, для которых организація общественнаго хозяйства дороже свободы. Крайних правых и лѣвых об'единяет вкус к насилію и динамическій имморализм. Ничше, Сорель и Ленин являются их учителями. Если насиліе Ничше кажется нам скорѣе «правым», а насиліе Ленина — лѣвым, то Сорель, пришедшій слѣва, отливает всѣми цвѣтами политическаго спектра. В этом смыслѣ он является подлинным предтечей фашизма.

Типическая обстановка, в которой рождается фашизм, есть ожесточенная борьба обоих соперников. Исход этой борьбы опредѣляют средніе, умѣренные слои, которые, по соображеніям оппортунизма и выбора меньшаго зла, оказывают поддержку одному из флангов. Обычно, консерваторы предпочитают правый фашизм, радикалы и соціалисты — фашизм лѣвый. Борьба кончается не союзом между двумя врагами, но чѣм-то политически равнозначным такому союзу. Побѣдитель, кто бы он ни был, утолив свою ярость в крови противника, берет к себѣ на службу всѣх перебѣжчиков, вмѣстѣ с ними осуществляя подавленіе средних слоев. Консерваторы и демократы одинаково вырѣзываются, в прямом или переносном смыслѣ, в награду за свое малодушіе. Не только люди, но и идеи побѣжденной партіи используются для наступленія «новаго порядка». Націонализм становится соціалистическим, соціализм пріобрѣтает національную окраску. Через нѣсколько лѣт или десятилѣтій они сближаются почти до тождества, если отвлечься от національных особенностей, которыя окрашивают фашизм в каждой странѣ.

Имя «фашизм» создано в Италіи, и не принимается германскими наци, а тѣм болѣе коммунистами. Но если согласиться употреблять его в широком смыслѣ, обнимающем хотя бы Италію и Германію вмѣстѣ, то всякое опредѣленіе фашизма, которое могло бы быть органически выведено из анализа новаго строя этих двух стран, неизбѣжно покроет всѣ тоталитарные режимы нашего времени. Возьмем политическій строй, столь характерный для фашизма и небывалый в исторіи: соединеніе единоличной диктатуры вождя, единой правящей партіи и пассивно-революціоннаго возбужденія масс, непрерывно поддер-

живаемаго аппаратом партіи. Эта система создана, конечно, Лениным и воспринята всѣми его соперниками — учениками. Сама идея тоталитарности, т. е. государственнаго всевластія во всѣх сферах культуры — тоже революціоннаго происхожденія. Всякая «великая» революція (т. е. Французская и Русская — других еще не было) развивает тоталитарность из своих собственных нѣдр: из пафоса абсолютнаго разрушенія и абсолютно новаго творчества. Но революціонный абсолютизм, вооруженный мощью современнаго государства, ищет в исторіи оправданія и образцов. И он находит их в тоталитарных культурах древности: в Римской Имперіи, в германском средневѣковьѣ, в Москвѣ Ивана Грознаго. Уже этот суммарный анализ показывает, какой осмос происходит между силами «реакціи» и «революціи», между правыми и лѣвыми ядами, разлагающими демократію.

3.

Из этого анализа прямо вытекает первый постулат антифашистской обороны: необходимость б о р ь б ы н а о б а ф р о н т а. Фашизм приходит справа и слѣва одновременно. Всѣ односторонніе «народные» или «національные» фронты в настоящее время кончаются гибелью демократіи. Врат вводится внутрь осажденной крѣпости и рано или поздно открывает ворота для штурмующих колонн (какой архаизм!). Так погибли, на наших глазах, демократіи в Россіи, в Германіи, во Франціи. В Германіи правые пытались использовать Гитлера, во Франціи и правые и лѣвые опирались на фашистских или коммунистических союзников. Не всегда это дѣлается по наивности и слѣпотѣ. Можно не ошибаться в истинных намѣреніях временных союзников и все же предпочитать их. Из чувства слабости, из невѣрія в свое собственное знамя, люди начинают выбирать меньшее зло. Начинаются нескончаемые и глубоко безнравственные споры: что лучше — фашизм или коммунизм? Не то, чтобы спор был совершенно безпредметным, многое можно сказать по существу pro и contra. Безнравственна молчаливо-подразумѣваемая готовность покориться без боя одному из врагов — менѣе страшному. Можно безошибочно сказать: гдѣ начинается спор о том, кто лучше, там уже совершается, сознательно или безсознательно, предательство демократіи. Люди, повѣрившіе в то, что Гепеу лучше Гестапо, или наоборот, начинают постепенно идеализировать предмет своего выбора и в рѣшающій момент склонятся перед ним. Идеализація фашизма среди демократіи самое распростра-

ненное явленіе. В настоящее время почти всѣ книги, которыя пишутся о Россіи, наносят раны демократіи в своей странѣ — в Америкѣ или в Англіи. То же самое можно было наблюдать до войны по отношенію к Германіи. Невѣрно то, что будто бы только консерваторы содѣйствовали успѣхам гитлеризма. Среди радикальной молодежи Англіи и Франціи, особенно на почвѣ пацифизма, было широко распространено стремленіе «понять и простить». Люди, не принимавшіе антисемитизма и націоналистической истерики, восторгались идеализмом гитлеровской молодежи, ея жертвенностью, ея «горѣніем». Сознавая слабость жертвенности в своей собственной, демократической средѣ, они готовы были преклоняться перед жертвенностью, направленною на ложныя или прямо преступныя цѣли. Впрочем, и эти цѣли начинали казаться не столь отвратительными на фонѣ радикальнаго отрицанія собственнаго, домашняго зла. Нетерпѣніе и желчность, характерныя для демократическаго радикализма, заставляют многих разсуждать: «Хоть хуже, да по-иному». Или: «Хуже не может быть». Отсюда один шаг до прямой измѣны. И вот юный «идеалист» записывается в фашистскую или коммунистическую партію. Впрочем, и не дойдя до этого, он оказывается пятиколонником, подготовляющим наступленіе врага.

Итак, вторая заповѣдь анти-фашизма: н е п р и м и р и м о с т ь. Надо предоставить историкам их опасную об'ективность и воздержаніе от нравственной оцѣнки. Послѣдній или абсолютный суд принадлежит Богу. Но для того, чтобы жить человѣческой, а не животной жизнью, надо судить себя и других. Общество, утратившее способность оцѣнок, умирает, т. е. поглощается другим, болѣе жизнеспособным, хотя бы и болѣе примитивным. Когда дѣло идет о самом существованіи культуры, т. е. нашей іерархіи цѣнностей, тогда приходится быть суровым в самозащитѣ: ни признаніе полуправд и полуистин, ни сочувствіе молодой біологической энергіи, ни любовь к родинѣ не должны смягчать нашего отвращенія, ужаса, нашей ненависти к злу. Мы всѣ знаем: зло и добро не распредѣляются начисто между партіями, націями, культурами. Но, может-быть, никогда еще в исторіи внутренній, незримый водораздѣл не приближался так близко к культурно-политическому. Защищая демократію, мы не себя защищаем и не существующее общество со всѣм его злом; а великіе принципы, на которых оно построено, и великія возможности, которыя в нем заключены.

Третья заповѣдь лойяльнаго демократа нашего времени — т о ч н а я м ѣ р а вещей и слов. Преувеличеніе, которое было

недавно законной риторической фигурой и необходимой формой радикальнаго и революціоннаго слова, становится общественной опасностью. Я имѣю в виду прежде всего соблюденіе мѣры в отрицаніи, в критикѣ, но также и в сравненіи соціальных явленій. Сколько раз приходилось слышать, напримѣр, что положеніе свободнаго пролетаріата хуже рабства или средневѣковаго крѣпостничества. И вот он, дѣйствительно, закрѣпощен во всѣх фашистских странах, и наполовину он сам виноват в своем закрѣпощеніи: потому что повѣрил демагогам, твердившим ему, что его свобода хуже рабства. Развѣ не приходилось слышать, что ГПУ (или Гестапо) ничѣм не хуже Intelligence Service'а или других полицій демократических стран? Ваше указаніе на милліоны замученных жертв отводится ссылкой на избіенія во всѣх полицейских участках міра. В философском обществѣ принято снобировать аргументы от количества. Но развѣ не количеством зла, насилія, лжи измѣряется относительное нравственное достоинство культуры? Развѣ все равно для меня, для каждаго из нас, — даже если мы являемся абсолютными противниками смертной казни, — казнит ли государство одного человѣка в мѣсяц или тысячи в одну ночь? Или как казнит: по суду ли, с возможностью законной защиты, или в глухом застѣнкѣ, без свидѣтелей, без отчета, даже без интенціи справедливости? Стереть всѣ отличія, размѣшать все в грязной кровавой водицѣ, чтобы в ней ловить свою рыбу, — такова тактика фашистских демагогов, на которых работает, к несчастью, столько прекраснодушных или озлобленных, но честных людей.

Но, говоря о точной мѣрѣ вещей, надо имѣть в виду и другое нарушеніе мѣры: в раздутіи, «инфляціи» подлинных цѣнностей. Фашистскія государства паразитируют на нѣкоторых подлинных человѣческих цѣнностях. Главныя из них, как мы сказали выше: любовь к родинѣ и к справедливости (равенству). Вырванныя из цѣлостной полноты органических культур, развиваясь безмѣрно за счет остальных тканей общественнаго организма, эти подлинныя цѣнности становятся раковыми опухолями, несущими культурную смерть. Процесс ракообразованія начинается уже в демократическом обществѣ, в его предфашистской стадіи. С потерей духовнаго равновѣсія и цѣльности, самыя законныя и даже великія вещи становятся смертоносными. Болѣзненно-распухшая любовь к справедливости дѣлает ленинистом или троцкистом, любовь к родинѣ — гитлеровцем или сталинцем. Даже в любви к добру нужна мѣра, ибо и добро нерѣдко становится источником человѣко-

ненавистничества. Все эти «прекрасныя уродства» могли быть терпимы в нѣдрах старой, прочной культуры, могли придавать ей вкус и остроту: сейчас все пряное, терпкое, ѣдкое становится отравой. Національнзм, равенство, возмездіе — мы должны быть насторожѣ по отношенію ко всѣм законным и даже прекрасным вещам, если онѣ притязают на суверенитет.

4.

Вышеуказанныя максимы анти-фашистскаго поведенія относятся и к обывателю и к политику, к каждому из нас. Всѣ мы, и граждане и безправные бѣженцы, в личных отношеніях, в серьезных рѣчах и праздной болтовнѣ содѣйствуем образованію извѣстной общественной ауры, благопріятной или враждебной фашизму. Недостаточно проклинать фашизм на словах, если вся психическая установка разлагает демократическое сопротивленіе. Это особенно относится к нам, русским — с нашей горечью пораженій, с нашим скептицизмом и обостренным національным чувством. Блюсти себя, дисциплинировать свое воображеніе, свои страсти, свой язык — это наш первый долг, выражающійся в этих трех — конечно, примѣрных — заповѣдях: на два фронта, непримиримость, чувство мѣры.

Но, конечно, не обывателю одолѣть фашизм. Борьба с ним требует величайшаго напряженія всѣх политических и духовных сил демократіи. Анализ фашизма показывает, что он рождается из глубоких внутренних недугов нашей цивилизаціи. Исцѣленіе их, всестороннее обновленіе жизни и культуры — не будем употреблять двусмысленнаго слова «революція» — единственно вѣрная побѣда над фашизмом. Борясь с ним — словом, властью, оружіем — надо строить, сейчас уже, немедленно, новое общество, строить под огнем войн и революцій, как евреи строили нѣкогда стѣны разрушеннаго Іерусалима — с мечом в рукѣ. Консервативная установка не только не достаточна, она просто губительна. Старая жизнь, привычный уклад, — business as usual, — со всѣм придется проститься в поисках новой жизни. Ибо старая жизнь безнадежно обветшала, и не может даже держаться на инерціи. Говорят, это поняли в Англіи. Поймут ли это до конца войны и в других странах демократіи? От этого зависит, в конечном счетѣ, судьба міра, не одной демократіи.

В строительствѣ новой культуры фашизм является не просто чортом, от котораго открещиваются, но и Мефистофелем, к которому надо прислушаться. В своей критикѣ стараго міра

фашизм, или коммунизм, во многом прав. Без этой правды отрицанія он не мог бы повести за собой молодыя поколѣнія. Но и в своей положительной, или разрушительной работѣ, гдѣ он выявляет свое звѣриное лицо, он может ставить вѣхи для будущих путей демократіи. Дѣло в том, что основныя проблемы современнаго общества вездѣ однѣ и тѣ же. Онѣ поставлены жизнью, а не прихотью революціонеров. Было бы безумiем отмахиваться от них только потому, что фашизм сдѣлал на них свою карьеру. Да он и родился то на свѣт только потому, что мы не сумѣли рѣшить их, или даже понять их значенія. Вот почему одна из опасностей послѣ-военнаго времени — это опасность консервативно-либеральной реакціи, как ни странно звучит сочетаніе этих слов. Я разумѣю под этим возвращеніе к традиціям прошлаго вѣка, оживленіе — не свободолюбія — а либерализма, в отрицательном смыслѣ этого слова: невмѣшательства, бездѣйствія, стихійности соціальных процессов, ведущих к пропасти. Отвращеніе к фашизму легко может привести к возрожденію ложной либеральной установки на 10-20 лѣт, до новаго революціоннаго или военнаго взрыва. Борьба с фашизмом осложняется еще болѣе этими положительными задачами. Тот фонд либерализма, который давно стал натурой средних классов буржуазнаго общества, этот фонд, наиболѣе надежный в смыслѣ анти-фашистской сопротивляемости, сам становится серьезной опасностью. Средніе классы должны проснуться к сознанію революціонной ситуаціи міра, чтобы имѣть надежду справиться с ней. Если радикалы должны научиться смотрѣть на фашизм с отвращеніем, то консерваторам-либералам не мѣшает кое-чему поучиться у фашизма: пониманію остроты современных проблем.

В каком направленіи слѣдует искать выхода из тупика: фашизм-либерализм, может уяснить бѣглый взгляд на основныя из проблем, поставленных, но не рѣшенных фашистской революціей.

А. Проблема власти и свободы.

Основная трудность состоит в том, что борьба за свободу требует частичной жертвы свободой. Эта жертва противна всѣм вкусам и привычкам демократіи, — и это очень хорошо, что противна. Но демократія, не способная принести эту тягостную жертву, погибает: жертва свободой необходима, как в борьбѣ с наступленіем фашистской революціи, так и в тяжелом трудѣ построенія новаго общества. Фашизм, пользуется

свободой, предоставляемой ему демократіей, чтобы раздавить эту свободу. Вооруженныя арміи революціи маршируют по улицам столиц, совершают нападенія, убійства, репетируя гражданскую войну, и шаг за шагом разрушают всю, и без того слабую оборонительную организацію государства. Но закрытіе фашистскаго листка, роспуск митинга вызывают крики о «диктатурѣ», попираніи свободы. Потеряв в этой игрѣ три-четыре величайших государства Европы, демократіи должны бы стать умнѣе. Равенство оружія в войнѣ необходимо — все равно, гражданской или международной. Слово не оружіе против кулака, кулак против пулемета. Это ясно. И все же даже во время ужасной войны, потрясающей всѣ основанія міра, журналисты демократіи жалуются на военную цензуру, которая мѣшает им разбалтывать военныя тайны или, ради сенсаціи, сѣять раздор между союзниками.

Каковы предѣлы необходимаго ограниченія свободы в самооборонѣ демократіи? Их нельзя указать заранѣе; онѣ диктуются степенью опасности. Даже прямая диктатура не противорѣчит принципам демократіи, но является ея необходимым и крайним дополненіем — подобно цареубійству в самодержавной монархіи. Вашингтон и Клемансо были демократическими диктаторами. В Римской Республикѣ диктатура, точно ограниченная временем, была гражданской магистратурой.

Но говорят: — ограниченіе свободы воспитывает тоталитарныя привычки. Оно разрушает тѣ самыя цѣнности, за которыя мы боремся. Фашизм смѣняет легко буржуазную диктатуру, созданную для противодѣйствія ему (примѣр — Австрія).

Опасность, безспорно, существует. Мір знает немало примѣров, когда демократическій диктатор превращался в тирана. Но принципіальный отказ от диктатуры равняется самоубійству демократіи, т. е. сдачѣ той же самой тираніи без боя.

Думается, выход из противорѣчія лежит не во внѣшних ограниченіях диктатуры, а в ея духѣ. Если пафос ея — подлинно пафос свободы, тогда можно не бояться ея суровости. Она сама ощущает свою миссію как временное, необходимое зло. Она почти стыдится того, что дѣлает по необходимости. Демократія в диктатурѣ подобна демократіи на войнѣ. Она не может любить войны — там, гдѣ рождается культ войны, свобода умирает. Умирает она и там, гдѣ рождается культ власти. Два пафоса — власти и свободы — несовмѣстимы. Не только одна из них должна подчиниться, но, в категоріях абсолютнаго, одна должна представляться для другой злом. Для христіанской демократіи свобода есть абсо-

лютное благо, власть — относительное зло. Что не мѣшает, конечно, иным формам свободы становиться тоже относительным злом, которое должно подавляться относительным злом власти. Для тоталитарнаго сознанія власть абсолютное благо, свобода — зло, в лучшем случаѣ терпимое. Разница именно в пафосѣ, т. е. в морально-религіозном отношеніи. Скептическое отношеніе к свободѣ опаснѣе самаго суроваго ея подавленія. Интеллигент, пожимающій плечами при словѣ «свобода», и отказывающійся понять ея смысл («слово без всякаго содержанія»), худшій врат свободы, чѣм диктатор, ее распинающій. Внѣшнее насиліе может пробуждать любовь к свободѣ в охладѣвших к ней сердцах — при условіи, если не угасла ея послѣдняя искра. Но фашизм стал возможным в Европѣ потому, что цѣлое поколѣніе философов, юристов, писателей развѣнчивали свободу. В странах, оставшихся вѣрными ей, она утверждается религіозно. У нея есть защитники, которых не покинул дух пророчества. Это дает надежду, что они не предадут ее и тогда, когда вынуждены будут взяться за меч для ея защиты.

Власть — относительное зло, становящееся относительным добром в защитѣ свободы, жизни и справедливости. В наше время ея значеніе вырастает не только в оборонѣ демократіи, но и в строительствѣ новых, прежде всего экономических форм жизни. В теченіе вѣков демократія, в буржуазном обществѣ, развивалась в борьбѣ с монархическим и полицейским государством прошлаго. Все ея отношеніе к государству и власти было построено на недовѣріи. Военно-судебно-полицейскія функціи исчерпывали призваніе государства. В капиталистическом обществѣ свободная иниціатива брала на себя все остальное. Чѣм меньше власти, тѣм лучше. Такова была демократическая установка 19-го вѣка — благородная и соотвѣтствующая своей эпохѣ. Теперь другое дѣло. Частное хозяйство достигло такой мощи, которая в дезорганизованности своей взрывает и общество и государство. Для спасенія свободнаго общества государство вынуждено взять на себя геркулесовское бремя соціальной реорганизаціи. Современная демократія нуждается в твердой власти, но вся прошлая традиція ея учрежденій оставила ей в наслѣдство власть слабую, раздѣленную, подорванную систематическим недовѣріем. Для настоящей эпохи всѣ демократическія учрежденія нуждаются в реформах. Здѣсь не мѣсто обсуждать сравнительное достоинство различных проектов. Скажем только, что консервативная позиція анти-фашистскаго либерализма просто самоубійственна. Если во Франціи, напримѣр, возстановить строй, существовавшій до разгрома

и внутренне разложившійся до конца, он не выдержит перваго толчка и будет сметен любой фашистской волной.

Чтобы провести сложную и глубокую перестройку экономических основ общества, которая была бы эквивалентом «соціальной революціи», власть должна обладать авторитетом и прочностью, обезпечивающими ее на долгіе годы кризиса. Вынужденная глубоко ранить интересы всѣх классов ради общаго спасенія, власть не должна зависѣть от смѣняющихся настроеній общественнаго мнѣнія. Получившая от націи мандат на New Deal или на «Соціальную Революцію», демократическая власть должна вести твердой рукой свой народ, как Моисей через пустыню, сквозь всѣ лишенія и жертвы переходнаго времени. Народное представительство, поддерживающее власть, перестает быть представительством интересов и настроеній, а становится отбором компетентностей. В какія окончательныя формы выльется демократія трудового общества, это дѣло будущаго. Идеал 19-го вѣка, идеал безвластія, имѣет для себя большое нравственное оправданіе. Но он не для нашего времени, не для эпохи борьбы и странствій. Нужно помнить: если демократія не сумѣет создать власти, способной провести соціальное преобразованіе, тогда останется только путь революціи. А в наше время революція — это фашизм.

Б. Проблема новаго соціальнаго строя.

Здѣсь по необходимости приходится быть еще болѣе кратким. Современныя экономическія проблемы отличаются чрезвычайной сложностью. Профану трудно говорить о том, в чем нѣт и тѣни согласія между спеціалистами. Но говорить нужно, потому, что жизнь каждаго из нас, и жизнь общества в цѣлом зависит от рѣшенія этих проблем. Профану ничего не остается, как изложить свое убѣжденіе или результат своего жизненнаго опыта.

Мы были свидѣтелями таких событій, которыя должны раскрыть глаза и тѣм, кто не хочет видѣть противной истины.

Настоящая военно-революціонная полоса исторіи открылась в 1929 году сначала американским, потом міровым экономическим кризисом. Этот кризис был видимо безпричинным, то-есть имѣл какую-то глубокую органическую причину. Одно из возможных и, нам представляется, наиболѣе вѣроятное об'ясненіе состоит в том, что современный капитализм не может развиваться без непрерывной внѣшней экспансіи. Но внѣшніе рынки постепенно закрываются для него вмѣстѣ с индустріализаціей отсталых и колоніальных стран: Россіи, Японіи, Канады,

Вост. Европы, даже Индіи. Внутренній рынок не может поглотить продуктов непрерывной капиталистической экспансіи. Но стабилизировать капитализм, или заморозить его энергію значит убить самую его душу. Это конец капитализма. Милліоны или десятки милліонов безработных, уничтоженіе продуктов и искуссвенное пониженіе техники — не временное, а нормальное состояніе его одряхленія. Это означает для масс, если не голод, то потерю вѣры в будущее, деклассированность и отчаяніе. Англія спаслась от революціи, взяв на государственное содержаніе милліоны рабочих, и тѣм унижая и развращая их. Америка пошла, было, смѣло по пути перестройки всего народнаго хозяйства. Здѣсь рисовался просвѣт в будущее — не только для нея, но и для всѣх стран демократіи. Это развитіе было пріостановлено — не только войной, но и реакціей всѣх капиталистических сил, страшно могущественных в этой странѣ и вернувших себѣ свою самоувѣренность с выходом из кризиса.

Сейчас эта хозяйственная реакція идет под лозунгом свободы. Экономическая свобода, похороненная вездѣ в мірѣ, лишь в Америкѣ имѣет шансы продлить свое существованіе. Эти шансы даются войной, опустошеніями войны и возможностями послѣвоенной экспансіи американскаго капитала. На сколько лѣт: два — три года, пять лѣт? Об этом не думают люди, для которых жизнь без власти — без экономической власти — не жизнь, а прозябаніе. Если они побѣдят, война между капиталом и трудом неизбѣжна, со всѣми ея хорошо знакомыми послѣдствіями.

Из всѣх проблем нашего времени, вопрос о «хлѣбѣ» (тоже архаизм) или обезпеченности, является самым острым. Мы довольно повидали на нашем недолгом вѣку, чтобы понимать, что для масс хлѣб дороже свободы. Всегда был и, вѣроятно, долго будет. Массы всегда, во всѣх странах, пойдут за тѣм, кто обѣщает им обезпеченность — хотя бы цѣной рабства. Выбор предстоит не между свободой 19-го вѣка и фашизмом, а между самоограниченіем экономической свободы в демократіи и ея полным подавленіем в фашизмѣ. Дѣйствительно, демократія дает возможность использовать частную иниціативу на службѣ общества, при условіи отказа от прибыли и частнаго интереса, как цѣли и нормы раціональнаго хозяйства. Организація хозяйства при условіи согласованія и ограниченія частных свобод представляет неизмѣримо большія трудности, чѣм всякая фашистская организація, которая ни с чьей свободой не считается. В наших глазах, однако, это преимущество покупается слишком дорогой цѣной. Надо спасти человѣка в соціальной революціи

— спасти его не только как гражданина, но и как хозяйствующаго суб'екта. Рабочій, ремесленник и предприниматель — в какой-то мѣрѣ — должны сами опредѣлять свой труд, свою жизнь. В какой мѣрѣ, может показать только опыт. Во всяком случаѣ, сегодняшній день и здѣсь — может быть, еще в большей мѣрѣ, чѣм в политикѣ — требует жертвы свободой, ради сохраненія самой возможности свободы.

В. Проблемы культуры и духа.

Политическія и хозяйственныя проблемы неотложны. Рѣшать их необходимо сегодня. Но их рѣшеніе еще не спасает. Политико-экономическіе кризисы являются лишь отраженіем болѣе глубокаго кризиса, протекающаго во всѣх сферах культуры. Их источник в тяжелом недугѣ духа, который творит эту культуру. Уже давно она начала терять свое единство, свою связанность а в послѣднее время и вѣру в себя. Она пыталась утвердиться на наукѣ, но наука раскололась на отдѣльныя, безсвязныя сферы, еще пригодныя технически, но неспособныя дать цѣльный образ міра. Ея искусство, в лихорадочных поисках новых форм и ощущеній, проникается прямой ненавистью к жизни и к человѣку. Ея политическіе идеалы — свобода, равенство и братство — коренящіеся в христіанской традиціи, с потерей этой традиціи, обезсмысливаются. Современное воспитаніе, не имѣющее цѣли в нормативном образѣ человѣка, перестало быть воспитаніем, бросая ребенка и юношу беззащитным в страшный мір, его окружающій. Пустота и безцѣльность заполняются лишь внѣшне напряженными трудовыми процессами.

Фашизм притязает заполнить эту пустоту, и успѣх его тоталитарных мифов показывает всю остроту религіознаго голода современнаго человѣка. Он хочет молиться — хотя бы пенькам, — до того невыносимо жить в метафизической пустотѣ.

Далеко не всѣ страны достигли того духовнаго опустошенія, которое дѣлает их легкой добычей фашизма. Но «предфашистская ситуація» существует вездѣ. Преодолѣніе ея возможно лишь с возрожденіем духовных энергій, нѣкогда создававших нашу культуру и далеко еще не исчерпавших себя.

Борьба идет, глубокая, не слишком бросающаяся в глаза, но исход ея в большей мѣрѣ, чѣм исход войны, опредѣлит судьбу свободы в нашем культурном мірѣ. Если бы христіанскія силы в настоящій день были только пережитком, тогда борьба с фашизмом была бы безнадежной. Но христіанство не

только пережиток; оно и возрожденіе. Оно еще теряет в количествѣ, но выигрывает в качествѣ: в чистотѣ, мужествѣ и разумѣ своих вождей. Его возрожденіе замѣтно для всѣх во многих тоталитарных странах, гдѣ оно является одним из самых твердых носителей анти-фашистскаго сопротивленія. В англосаксонских демократіях христіанство проявляет не столько героизм, сколько большую проницательность и широту соціальнаго сознанія. Самыя прогрессивныя соціальныя программы Англіи и Америки вынашиваются в нѣдрах церквей.

Схематическій взгляд на духовное состояніе Америки поможет уяснить соотношеніе сил в духовной войнѣ за свободу. Свобода в этой странѣ была нѣкогда **утверждена на Библіи,** горстью пуритан, которые понимали ее как свободу вѣры. Пуританство в Америкѣ до послѣдняго времени было огромной силой. Оно гуманизировалось в теченіе столѣтій, восприняло не мало от свѣтских принципов французской демократіи, но в основном оставалось вѣрно библейско-протестантскому своему происхожденію. Отголоски Библіи слышатся и понынѣ в рѣчах политических вождей Америки. Бѣлый Дом до сих пор может быть символом христіанской свободы.

За послѣднія поколѣніія, в реакціи против узости и нетерпимости пуританской провинціи, выросла новая Америка: Америка чистаго, т. е. безбожнаго гуманизма. Она внесла свою струю свѣжаго воздуха в спертую пуританскую среду, но подобно Европѣ, разлагается сама своим релятивизмом и безвѣріем. Эта Америка представлена «передовой» школой, журналистикой, кино и театром — точнѣе, театральными подмостками. Бродвей и Холливуд сейчас ея духовные центры, ея символы.

Усталая толпа, жаждущая зрѣлищ и острых слов, сейчас с ними. Это они создают «предфашистскую ситуацію», на словах отрекаясь от фашизма — впрочем, только праваго. Но настоящая фашистская опасность угрожает Америкѣ не от разгромленнаго Бунда и разных цвѣтных рубашек, а от либеральнаго Бродвея, т. е. того духовнаго опустошенія, которое этот символ выражает. За Бѣлым Домом стоят всѣ нравственныя силы страны; трудовой подвиг рабочаго и фермера, горѣніе идеалистов соціальной справедливости, пророческое слово проповѣдников обновляющагося христіанства. Окидывая взглядом эту армію Божьих воинов, мы далеки от безнадежности. Но настоящая борьба еще впереди. Она по ту сторону войны. Это борьба между Бѣлым Домом и Бродвеем.

Г. Федотов.

О ТВОРЧЕСТВѢ ФОКИНА И О РАБОТѢ С НИМ ХУДОЖНИКА

С М. М. Фокиным, раннія петербургскія постановки которого я почти всѣ в свое время видѣл, мнѣ в первый раз пришлось встрѣтиться в общей работѣ для балета в 1914 году в Парижѣ. Тогда Фокиным уже были созданы в русских балетах Дягилева всѣ самыя замѣчательныя его произведенія, в тѣсном сотрудничествѣ, главным образом с Алекс. Бенуа и Бакстом, а также с Рерихом, Коровиным, Головиным и Анисфельдом*).

«Русскій сезон» 1914 года в Парижѣ был особенно бле-стящ: многіе из этих прославленных балетов продолжали идти и в этом сезонѣ. Тогда же Фокин сдѣлал еще четыре послѣднія свои постановки у Дягилева: Легенду об Іосифѣ (декорація Се рта), Золотого Пѣтушка (декор. Гончаровой), Papillons и Мидаса. Послѣдніе два балета и были поставлены с моим сотрудничеством.

Балет Papillons на музыку Шумана был за два года до этого поставлен Фокиным на Маріинской сценѣ. Декораціи и костюмы в парижской постановкѣ предполагались Бакста. Он успѣл сдѣлать рисунки костюмов, но декорацію дѣлать отказался: был тогда крайне переутомлен, нервничал и, кажется, была какая-то очередная размолвка с Дягилевым. По его совѣту и по совѣту Бенуа Дягилев обратился ко мнѣ. Еще в Петербургѣ я успѣл сдѣлать эскиз и затѣм был вызван Дягилевым в Париж для исполненія декорацій, которыя там и написал с помощью искуснѣйшаго О. К. Аллегри.

У меня уже был театральный опыт в театрѣ Комиссаржевской и в Московском Художественном театрѣ, для балета же мнѣ пришлось работать впервые.

---

*) С Бенуа Фокин поставил Павильон Армиды, Жизель и Петрушку; с Бакстом — Клеопатру, Карнавал, Шехерезаду, "Spectre de la Rose", Нарцисса, Dieu Bleu и др.; с Рерихом — Половецкія пляски; с Коровиным — Les Festins; с Головиным — Жар-Птицу; с Анисфельдом — Садко. Фокиным было поставлено у Дягилева 20 балетов.

Так как хореографія Фокиным была уже приготовлена, тут у меня с ним не могло быть большого контакта, — моя задача была лишь дать соотвѣтствующій «романтическій» фон и сочетать цвѣта декорацій с цвѣтами костюмов Бакста; то, что мной было задумано — лунный парк с храмиком Амура у озера и с двумя боковыми розовыми павильонами с освѣщенными окнами и сходами лѣстниц, счастливо совпало с мизансценами Фокина.

Этот прелестный его балет (который был как бы продолженіем «Карнавала»), имѣл большой успѣх и надолго остался в репертуарѣ Дягилевских балетов*).

В самом концѣ того же сезона 1914 года в Парижѣ мнѣ пришлось сдѣлать вторую работу в балетѣ и на этот раз уже в тѣсной связи с Фокиным, хотя и почти экспромптом: декораціи и костюмы к «Мидасу». Было всего 10 дней, чтобы ему сочинить и поставить балет, а мнѣ сдѣлать эскизы и по ним все выполнить. Всѣ мы находились тогда в особенном под'емѣ, энтузіазм Дягилева, который обожал подобные экспромпты, заражал всѣх, но помимо этого было столько собственной энергіи и задора, что этот фантастически-короткій срок не смущал ни Фокина, ни меня. Я очень быстро «переварил» задачу, прослушал с Фокиным музыку Штейнберга, вчитался в Метаморфозы Овидія, и предложил М. М. сдѣлать постановку в духѣ Кватроченто. Музыка в данном случаѣ не обязывала ни к какому опредѣленному стилю и мнѣ казалось это остріе и проще, чѣм пускаться в мало мнѣ знакомую область античной Эллады, тѣм болѣе, что это уже блестяще было использовано Бакстом во многих балетах, да и гдѣ было время, чтобы взяться за подобную задачу?

Фокин посвящал меня во всѣ созрѣвавшіе у него планы, с которыми и встрѣчались мои замыслы: пещеры, центральнаго холма, в родѣ как в «Парнасѣ» Мантеньи, образов нимф и богов.

Эта спѣшная и увлекшая меня работа шла в условіях очень трудных . Были всяческія задержки, но всѣ препятствія были преодолѣны. Декорація была по своей конструкціи очень несложной и, увидѣв ее на сценѣ, Дягилев радостно говорил, что такой простой декораціи у него еще не было. Ее

*) Перешел он впослѣдствіи и в балет де Базиля и до сих пор держится в репертуарѣ «Русскаго Балета в Монтекарло». Показывается и все та же моя старая декорація, которая послѣ стольких лѣт конечно потеряла уже совершенно свою прежнюю свѣжесть и краски.

превосходно написал по моему эскизу Н. Б. Шарбе, но готова она была лишь в день спектакля, а костюмы появились в Grand Opéra только в антрактѣ перед самой премьерой! Понятно, что было много волненій и страха, и было много забавных исторій. Но «il y a un Dieu au théatre», и все сошло очень удачно.

«Мидас» послѣ Парижа был показан и в Лондонѣ, но в репертуарѣ Дягилева не удержался. Музыка, справедливо или нѣт, была сурово раскритикована прессой и, как впослѣдствіи мнѣ признавался М. М., она тут и не очень его вдохновила. А он всегда в своей хореографіи исходил прежде всего от музыки. Между тѣм то, что создал в этом балетѣ Фокин, было чрезвычайно красиво: и танцы бывшей в полном своем расцвѣтѣ Карсавиной — нимфы, и торжественное шествіе Судій-богов, и выход Аполлона с 9 музами, и группировки и позы Дріад, Гамадріад и Ореад, которыя поднимались неожидан-ным явленіем из-за обломков скал на фонѣ «блаженных» Мантеньевских далей.

Александр Бенуа в своей книгѣ «Reminiscences of the Russian Ballet (London 1939) посвятил слѣдующія строки забытому теперь «Мидасу»: «Невниманіе, оказанное этому балету, крайне незаслуженно. Правда, музыка «Мидаса» да-лека от геніальности, но была все же пріятной, а сам спектакль был очарователен и превосходнаго вкуса. Фокин создал хоре-ографію в необычайно короткій срок, но, как часто у него бывает, эта «импровизація» придала исключительную прелесть балету» (дальше слѣдуют лестныя для меня строки относительно декораціи и костюмов).

Только через 27 лѣт послѣ «Мидаса», в концѣ 1941 г. я снова об' единился с Фокиным в общей работѣ для балета. За эти годы я участвовал в цѣлом рядѣ балетных постановок и давно вошел в ставшую мнѣ столь любимой область. В Лон-донѣ я видѣл многія произведенія Фокина послѣдних лѣт — «Epreuve d'amour», «Дон Жуана» Моцарта, «Les Eléments» Баха, «Золушку», а в Нью-Іоркѣ его новую версію «Золотого Пѣтушка», поразительнаго «Паганини» на музыку Рахманинова и веселую и остроумную «Синюю Бороду» и во всем был прежній его всесторонній геній. Я был, конечно, счастлив его предложенію поставить вмѣстѣ новый балет на музыку Прокофьева для Ballet théatre.

Мы оба, как потом друг другу признались, нѣсколько опасались, что послѣ стольких лѣт (цѣлой жизни!) мы не найдем «общаго языка», что каждый из нас слишком устан о-

вился в самом себѣ, как художник, и что не случится того, что так важно — общаго пониманія и, главное, взаимной уступчивости. Но на дѣлѣ у меня рѣдко с кѣм образовывалось такое тѣсное сближеніе в работѣ как с ним.

В подобном дружном сотрудничествѣ иногда нельзя вспомнить, кому принадлежит та или иная идея, и отпадает желаніе отстаивать свое только потому, что оно «свое». Так бывало у меня в лучшіе моменты работы в театрѣ со Стани-славским, Немировичем-Данченко, Мих. Чеховым, и в иных памятных случаях, так было и теперь.

Очень часто в современном балетѣ декорація и ея кон-струкція сводится к обычной традиціи: боковым кулисам и «заднику», чтобы дать наибольшій простор движеніям. Это мы видим нерѣдко и в самых «передовых» постановках. Тут декорація является лишь живописным фоном для костюмов, увеличенным эскизом, «оживленной картиной» — что конечно может создавать большіе красочные и декоративные эффекты, хотя не обязательно всегда театральные и гармонирующіе с дѣйствіем ... Фокинскіе балеты всегда отличались режиссерской изобрѣтательностью, план сцены и конструкція декорацій тре-бовала изобрѣтательности и от художника. В этом балетѣ задачи художника были непосредственно связаны с развитіем драматическаго дѣйствія и потому были особенно сложными.

В основу задуманнаго Фокиным балета была положена им музыка С. Прокофьева, написанная к «Поручику Киже». Музыка эта для Фокина являлась гораздо значительнѣе сю-жета «Киже», в сущности анекдота, и подсказала ему совер-шенно иное содержаніе балета. Эту музыку мы прослушали много раз (по дискам Бостонскаго симфоническаго оркестра Кусевицкаго), и я видѣл, что Фокин изучил каждый ея такт В этой начальной стадіи работы я еще раз мог убѣдиться, какой исключительной была музыкальность Фокина*).

Это произведеніе Прокофьева дѣйствительно могло на-вѣять цѣлый рад образов. В ней слышатся все время мотивы страданій и печали, которые смѣняются то звуками военной музыки, то лирическими и мирными музыкальными картинами то веселыми и плясовыми мелодіями; в концѣ снова звучит тема тоски, которая переплетается с живыми и бодрыми темами и в заключеніе замирает в безнадежности. Фокина «озарило» показать все это на сценѣ как смерть забытаго раненаго сол-

*) Многіе, вѣроятно. не знают, что он изучил теорію музыки и занимался сам композиціей.

дата, с его предсмертным бредом — видѣніями пережитаго прошлаго, — с его агоніей и послѣдней тягой к жизни.

Такова была канва созданнаго Фокиным балета, который вылился у него в своеобразную, стоящую особо в его творчествѣ, форму. В этом произведеніи — балетѣ и пантомимѣ одновременно, — главное мѣсто отведено групповым танцам и сценам и есть лишь одно центральное дѣйствующее лицо (если не считать фигуры Смерти): Солдат. Балет этот можно назвать «балетом кордебалета» и в то же время **«Монодрамой»,** т. к. по существу, в идеѣ, он представляет картины переживанія одного лица.

Одной из технических и декоративных задач в этой постановкѣ было найти способ незамѣтных и быстрых переходов от одних сцен к другим, — от реальных к видѣніям, — во время самого дѣйствія*). Нам обоим пришла мысль использовать в этих цѣлях возможности прозрачнаго тюля; написанная на нем декорація может, в зависимости от освѣщенія, **«таять»** и **исчезать на глазах у зрителя, замѣняться другой, видимой сквозь этот тюль, и затѣм вновь «оживать».** Мы примѣнили также и эффект движенія декорацій во время дѣйствія — опусканіе и подыманіе их, чѣм, кстати ска-зать, сравнительно рѣдко пользуются в современном театрѣ. Все это могло придать извѣстную иллюзію «видѣніям» солдата — появленію вмѣсто пустыннаго поля («реальнаго» фона его агоніи) — картины парада с подымающимся памятником, «всадника смерти», встающаго среди пашен, и сцены деревенекой **свадьбы.**

Одновременно с этим конструкція двухярусной сцены давала Фокину возможность, ставя хореографію в двух плос-костях, создать тот «контрапункт» двух одновременных дѣйствій, отвѣчающій и музыкѣ, что явилось одним из замѣчатель-ных его достиженій в этой постановкѣ.

Послѣ того, как всѣ задачи ясно вырисовались в эскизах и планах, мы самым тщательным образом разработали в связи с музыкой и хореографіей всѣ перемѣны декорацій и освѣщенія (их было болѣе 20-ти в теченіе всего короткаго балета). М. М. составил подробнѣйшую схему этих перемѣн и исчислил в минутах и даже секундах время каждаго переодѣванія артистов во время дѣйствія (обязывало к этому недостаточное число танцующих). Балет создавался на моих

---

*) Тут я считаю нелишним подробно сказать о той «кухнѣ твор-чества», которая обыкновенно остается неизвѣстной публикѣ.

глазах. Я присутствовал на всѣх почти репетиціях и имѣл возможность видѣть ту сторону работы Фокина, которая обычно скрыта от непосвященных: когда он в своем неизмѣн-ном «светерѣ» весь в поту и с клавиром в руках, испещренном замѣтками, устанавливал малѣйшія детали и все показывал сам, воплощаясь в каждую роль. Вся эта «миніатюрная» и кропотливая работа дѣлалась им в самом тѣсном соотвѣтствіи с каждым тактом музыки, и подобная четкость создавала всегда необычайно выдержанный стиль Фокинской хореографіи. Вмѣстѣ с тѣм, что являлось всегда замѣчательным в его мастерствѣ, — эта «математичность» совмѣщалась с широтой и свѣжестью его композицій, ку да он вкладывал весь свой темперамент и душу. В этой постановкѣ я видѣл, что он требовал от исполнителей не только техническаго совершенства, но и **душевной выразительности,** которая была цѣннѣйшей чертой всего творчества Фокина.

Было трудно найти названіе этому балету. М. М. хотѣл назвать его «Неизвѣстный Солдат», но это могло показаться слишком спеціальным символом, вызывающим опредѣленныя ассоціаціи, и пришлось остановиться на названіи «Русскій Солдат». Оно было уже темы балета, гдѣ представлена смерть солдата, не героя, а человѣка, жертвы войны, chair à canon.

При этом не было мысли подчеркнуть современность (на что могло намекать названіе). И без какой либо безвкусной точки на і зритель свободен дѣлать желаемыя сравненія и выводы. Налет же историзма — тут была взята Павловская эпоха (единственное что оставалось от сюжета «Киже») и «пейзанскіе», не современные и не этнографическіе костюмы крестьян, — как бы расширял и углублял тему человѣческих страданій и смерти; все представлялось как бы через вуаль условнаго отдаленія.

Для этой же цѣли, там, гдѣ надо было показать не реальное, «сновидѣнія», в мои декораціи я ввел нѣкоторыя черты «игрушечности» (сцена парада на фонѣ кубиков казарменных зданій) или оттѣнок «лубочности» (сцена свадьбы с разно-цвѣтной избой в духѣ русских старинных народных картинок).

Очень странно, что этот балет, идея котораго принад-лежит всецѣло Фокину и который в жизни его был послѣдним (если не считать «Елены Троянской» — этой постановки никто и не увидѣл на сценѣ) — весь был построен на темѣ Смерти, на борьбѣ с ней и на ея неизбѣжной побѣдѣ. Когда перед постановкой «Солдата» высказывалось мнѣніе, что балет слишком мрачен, что публикѣ он не может понравиться, М. М. не

шел ни на какіе компромиссы и был, как всегда, в своем твор-чествѣ ясен и художественно честен. Как его ни уговаривали измѣнить финал, он не хотѣл никакого смягченія, ни, тѣм болѣе, «апофеоза» умирающаго солдата, по той причинѣ, что музыка к этому не давала рѣшительно никакого повода.

Тѣсно и дружески занимаясь с М. М., я имѣл случай видѣть и всю подготовительную работу его и его поиски. Он говорил мнѣ, что для тѣх сцен, гдѣ фигурируют жнецы и косари, он прочитал немало по агрикультурѣ, воспользовавшись случаем, чтобы узнать и эту область, и шутя хвастал, что теперь он освѣдомлен почти как агроном. То же продѣлано было им и по русскому фольклору (свадебные обряды), и по военному артикулу Павловскаго времени. Так же и в других постановках, знакомясь с той или иной эпохой, ея стилем и бытом, он изучал предмет с подобным же вниманіем и деталь- ностью, и всегда шире, чѣм это требовалось для даннаго слу-чая: т. к. конечно, лишь зная больше чѣм надо, возможно по настоящему проникнуть в эпоху, почувствовать ея подлин-ный стиль и духовную суть, стать как бы ея современником. и, главное, быть свободным в ея интерпретаціи. Фокин давал примѣры чисто художественнаго а не археологическаго подхода к источникам, когда именно глаз художника, откидывая все ему ненужное, умѣет найти то сокровище, которое скрыто и от ученаго глаза. Этим своим проникновеніем он поражал и специалистов.

Не только этот наш петербургскій ретроспективизм роднил Фокина с тѣм, что опредѣленно связано с именем «Міра Ис-кусства». Он как артист и реформатор балета «родился» и ху-дожественно вырос в том общем под'емѣ, когда в Петербургѣ создавалась неповторимая культурная и боевая атмосфера нашего художественнаго Возрожденія, и сам он был одной из его активнѣйших сил, направленных «против теченія».

Все то, что в творчествѣ Фокина развернулось в порази-тельно широкую картину, начато было им в Петербургѣ, в Императорском классическом балетѣ, плотью от плоти кото-раго он сам был. Именно там впервые в живой пластикѣ Фокиным было показано новое и свѣжее пониманіе античности, были воскрешены, также по новому и Египет, и древняя Русь, и очарованіе XVIII века, и поэзія эпохи романтизма*). Фокин, ин-

*) Первыя выступленія Фокина (с 1905 года) на экзаменаціонных спектаклях учеников Театральнаго Училища и на благотворительных спектаклях, потом и на сценѣ Маріинскаго Театра.

спирируемый на первых шагах своей дѣятельности столь различными эпохами искусства, открыл в них и забытые, и совершенно новые элементы танца. В то же время, будучи сам чистокровным классиком, он в своей новой хореографіи оставался вѣ рен самому прочному фундаменту балета — клас-с икѣ, — но, очистив ее от рутины, вдохнул в нее душу и смысл и по новому геніально оживил. Все это произвело революцію в балетѣ и положило начало новой эрѣ в русской, а затѣм и міровой хореографіи.

Дальнѣйшій самый замѣчательный період дѣятельности Фокина протекал почти все время заграницей*), гдѣ ему открылись гораздо болѣе широкія возможности и гдѣ творчество его достигло своего апогея. Но и тут его искусство не только по своему источнику и корням, но и по духу оставалось неизмѣнно русским искусством.

Фокина можно назвать художником в настоящем значеніи этого слова и по его непрерывному внутреннему горѣнію. «Фокин — огонь», говорил Бенуа. И на фонѣ нервознаго и бездушнаго современнаго эстетизма он оставался настоящим русским художником, может быть одним из послѣдних могикан того русскаго искусства, одна из главных цѣнностей котораго — духовность и душевность. Многія идеи Фокина уже органически вросли в современную хореографію, но сберечь в неприкосновенности созданные им балеты, как цѣльныя худо-жественныя произведенія, теперь, послѣ его смерти, зависит лишь от исполнителей и руководителей. Станиславскій сказал однажды: «театр груб по природѣ», и, дѣйствительно, каждый театральный человѣк знает, что малѣйшее ослабленіе «вожжей» опасно чрезвычайно, и когда нѣт живительной «единой воли» все фатально само собою грубѣет. Техническая память от-дѣльных танцоров и «коллективная память» ансамблей часто поражает своей точностью, но всетаки не гарантирует от ошибок. Очень часто бывает, что нѣкоторыя измѣненія в

Эти первыя его постановки были: Ацис и Галатея, Сон в лѣтнюю ночь, Шопеніана (будущія Сильфиды), Оживленный Гобелен (превратившійся впослѣдствіи с Ал. Бенуа в Павильон Армиды), Времена Года Чайковскаго, Эвника, Египетскія Ночи (Клеопатра у Дягилева), Карнавал и Половецкія Пляски.

*) В то же время, в Маріинском театрѣ, в 1912 году (когда у Фокина был временный разрыв с Дягилевым) были поставлены им: Исламей, Стенька Разин, Франческа и Аррагонская Хота и в 1917 году танцы в Руслан ѣ.

ганцах возникают незамѣтно даже для исполнителей, понемногу сами собой утверждаются, и только сам автор хореографіи может «возстановить истину». Творчество Фокина, хотя и зафиксировано во множествѣ его замѣток, планов и схем и увѣковѣчено в фотографіях и в фильмах*), но весьма многое в его хореографіи держалось именно его «вожжами», его живой памятью и освѣжалось его личным воздѣйствіем. Эта живая связь с Фокиным была самым крѣпким цементом в его постановках и вливала душу в балеты. Тѣм болѣе хрупким кажется теперь оставленное им наслѣдство и только самое бережное и полное піэтета отношеніе к его творчеству может сохранить балеты Фокина в том видѣ, в каком они блистали при его жизни. Это остается единственной надеждой. Но сейчас, в тяжелых условіях художественной жизни русскаго балета заграницей, надежда эта вызывает, к сожалѣнію, очень тревож- ныя сомнѣнія.

Впрочем, невольно думается, что многое в том утончен-ном искусствѣ, которое представляет собой современный балет, к сожалѣнію недолговѣчно, точно есть какіе то сроки жизни этих произведеній ... И это не потому, что в них, как мы видим на примѣрѣ фокинских балетов, все неразрывно связано с личностью их творца и гдѣ столь многое зависит от нюансов внутренних переживаній: — многіе балеты Фокина, как Шехе-разада, Карнавал, Петрушка, требуют от всѣх участников того самого настроенія, под'ема и общаго пониманія, в которых они были создаваемы. Без этого, даже если и сохраняется их хореографическая форма — она остается лишь внѣшней оболочкой и балеты лишаются их главнаго художественнаго смысла и очарованія.

Но возможно ли требовать, особенно теперь, уже без их автора и вдохновителя, чтобы послѣ стольких лѣт, силами уже совершенно других людей, новаго поколѣніія, с иной психологіей и вкусом, — каждый раз могли воскресать и прежнія видѣнія 1001 ночи, и шумановская романтика, и гофманская поэзія Петербургской Арлекинады? Можно ли ожидать, чтобы все это оживало на сценѣ с той же самой свѣжестью, остротой и ароматом, как это было у Дягилева при Фокинѣ, Бакстѣ и Александрѣ Бенуа? Классическій балет с его незыблемыми

*) Драгоцѣнныя свѣдѣнія о каждой работѣ М. М. бережет и память В. Ѳ. Фокиной, которая была непрерывно, с начала его творчества, самой близкой сотрудницей его постановок, была, как говорил М. М., его «записной книжкой».

формами кажется единственно долговѣчным и в то же время могущим эволюціонировать: многое в творчествѣ Фокина, одухотворившаго классику, доказывает это и несомнѣнно, что новая хореографія найдет еще множество источников вдохновенія и «отправных точек» именно в области классическаго танца. В этой связи — залог и чистоты мастерства и вѣчной неувядаемости балетнаго искусства.

М. Добужинскій.

НА СТРАЖѢ ИСКУССТВА СТАРИНЫ

В 1909 году, в Петербургѣ, группа об'единенных любовью к старинѣ и ея памятникам лиц, идейными вдохновителями которой являлись выдающійся молодой историк искусства бар. Н. Н. Врангель и редактор-издатель журнала «Старые Годы» П. П. Вейнер, образовала спеціальное общество для охраны памятников искусства и старины.

В Россіи не было особаго учрежденія, которое вѣдало бы этими вопросами. Участь художественнаго состоянія многих безцѣнных памятников древняго зодчества — церквей, монастырей, казенных, общественных и частных зданій, внѣшній вид улиц, площадей, скверов, монументов, оград и многаго другого, созданнаго творческим геніем больших мастеров строительства, были предоставлены на волю судеб. От усмотрѣнія лиц и органов, большей частью в вопросах искусства совершенно некомпетентных, или к ним равнодушных, зависѣла их судьба .

Талантливые писатели по искусству бар. Н. Н. Врангель, В. А. Верещагин, С. К. Маковскій, П. П. Вейнер, С. А. Тройницкій, художники Александр Н. Бенуа, Н. К. Рерих, архитектора И. А. Фомин и В. А. Щусев и нѣсколько серьезных любителей искусства рѣшили взять это дѣло в свои руки. Они сформировали «Общество Защиты и Сохраненія в Россіи Памятников Искусства и Старины». Учредители Общества избрали Совѣт в слѣдующем составѣ: предсѣдатель — великій князь Николай Михайлович, извѣстный своими научными изслѣдованіями по исторіи и искусству; товарищи предсѣдателя — Ал. Н. Бенуа, Н. К. Рерих и управляющій Кабинетом его величества Е. Н. Волков, по своему служебному положенію ближайшаго помощника министра двора близко стоявшій к дѣлам высшаго управленія придворнаго вѣдомства, попеченію котораго были ввѣрены многія области искусства; члены Совѣта — свѣдущіе в вопросах искусства лица — профессіоналы и любители; секретарь — бар. Н. Н. Врангель и помощник секретаря — я. В задачи Общества, просвѣтительныя и реставраціонныя, входила самая широкая пропаганда идей любви к искусству и его старинѣ путем устройства докладов, публичных лекцій,

выставок, спектаклей, а также энергичное наблюденіе за тѣм, чтобы интересы Общества не нарушались.

В короткій срок в одном Петербургѣ в члены Общества вступило нѣсколько сот человѣк, кромѣ того во многих крупных провинціальных центрах были сформированы отдѣленія Общества, через которыя установлена была связь с мѣстными археологами и историками. Управленіе дѣлами Общества было ввѣрено Совѣту, который распредѣлял работу так: под общим наблюденіем великаго князя Николая Михайловича административными функціями вѣдал Е. Н. Волков, научно-художественная часть была в руках бар. Н. Н. Врангеля, а все дѣлопроизводство вел я. Раз в недѣлю, под предсѣдательством Волкова, собирался Совѣт, обсуждались текущія дѣла и коллективно принимались тѣ или иныя рѣшенія. Мы вступали в переговоры и переписку с Министерствами, Главными Управленіями, Синодом, Департаментами, Губернаторами, Градоначальниками, Городскими Думами и Управами, Земствами, Архіереями, общественными организаціями и частными лицами и горячо отстаивали наши задачи.

Первыми нашими мѣропріятіями была полная регистрація художественных памятников Петербурга, Москвы и всѣх тѣх губерній, в которых имѣлись отдѣлы Общества; реставрація в Петербургском храмѣ Св. Пантелеймона икон знаменитых Петровских живописцев Никитина, Мичурина и Самарина, ремонт замѣчательнаго обелиска на Румянцевском скверѣ на Васильевском островѣ в Петербургѣ и учрежденіе комиссій со сціально отпущенными для этого средствами по реставраціи храма Св. Василія Блаженнаго в Москвѣ, древняго Ферапонтова Бѣлозерскаго монастыря и дворца гетмана Разумовскаго в городѣ Батуринѣ, Черниговской губерніи. Какими только безчисленными дѣлами нам не приходилось заниматься! За давностью лѣт многаго я не могу припомнить. Однако, нѣсколько ярких примѣров, все таки, выплывает из забвенія. Благодаря нашим усердным заботам сохранилась в своей неприкосновенности величавая пустынность Дворцовой площади в Петербургѣ, которую чуть было не погубило рвеніе бездарнаго придворнаго архитектора Мельцера. Пользуясь своими связями у Министра Двора, он добился согласія послѣдняго на постройку вокруг Александровской колонны громадной рѣшетки, рисунок которой был самаго дурного вкуса. Граф Фредерикс, не слишком хорошо разбиравшійся в таких тонкостях, рисунок этот одобрил и уже готовил доклад для высочайшаго утвержденія. К счастью, Е. Н. Волков во время об этом узнал, и наше

Общество провалило проект Мельцера. Таким же образом удалось пріостановить перекраску зданія Министерства Внутренних Дѣл, которая совершенно испортила бы цѣлость ансамбля всей Театральной улицы, стилем и цвѣтом связаннаго с Александринским театром и другими зданіями на той же улицѣ единаго архитектурнаго плана геніальнаго зодчаго Росси. Чудесная рѣшетка, огораживавшая сад на Казанской улицѣ возлѣ собора и принадлежавшая творчеству строителя собора Воронихина, много лѣт была закрыта какими то ничтожными павильонами. Мы выхлопотали уничтоженіе этих павильонов и открытіе рѣшетки. Замѣчательное произведеніе искусства — Тріумфальныя ворота в Иркутскѣ, воздвигнутыя при Александрѣ Первом, пришли в ветхость и, по постановленію мѣстной Городской Управы, были назначены к уничтоженію. Благодаря нашим ходатайствам, ворота были не только не снесены, но та же самая Управа ассигновала на их реставрацію пять тысяч рублей. В Ростовѣ Великом, знаменитом звоном своих церковных колоколов, самый древній и самый замѣчательный по звуку колокол, по прозванію «Козел», дал трещину и был предназначен к сплаву. Наш мѣстный представитель А. А. Титов, извѣстный знаток Ростовской старины, поднял тревогу, дал знать нашему Совѣту, и вандализм был пріостановлен: колокол реставрировали и возстановили его звон, хорошо знакомый многим знатокам русской церковной древности.

Подобных явленій было великое множество, и наше Общество дѣйствовало всегда очень настойчиво и энергично. Высокое положеніе нашего предсѣдателя, служебныя связи Волкова, научный и художественный авторитет членов нашего Совѣта очень облегчали нашу дѣятельность. Не будет преувеличеніем сказать, что, не имѣя правительственных функцій, Общество наше в то же самое время являлось чѣм то в родѣ полуофиціальнаго учрежденія, стоявшаго на стражѣ интересов искусства и зорко слѣдившаго за их нарушеніями. Газеты и журналы оказывали нам самое широкое содѣйствіе, неизмѣнно давая в своей художественной хроникѣ самыя интересныя свѣдѣнія о нашей дѣятельности, и мы всегда могли разсчитывать на их помощь, если нужно было провести ту или иную кампанію в прессѣ.

Трудно было найти человѣка болѣе подходящаго для завѣдыванія дѣлами Общества, чѣм был Е. Н. Волков. Хотя сам он острил по поводу себя и говорил, что все его образованіе ограничилось «Лошадиной Академіей» (он окончил Николаевское Кавалерійское Училище), тѣм не менѣе его знаніям по

искусству, безпредѣльной любви к нему и отличному вкусу мог позавидовать любой профессіонал. Кромѣ того он был превосходным и энергичным администратором, отличался широтой и независимостью взглядов, мог очень талантливо говорить и писать и умѣл замѣчательно вести засѣданія и собранія. Я знал его очень близко не только по дѣлам Общества, но и по моей службѣ в Кабинетѣ его величества, и я не помню случая ,чтобы какой нибудь вопрос, соприкасавшійся с искусством — а их в Министерствѣ Двора, в связи с Академіей Художеств, Императорскими театрами, музеями и дворцами, было не мало — не встрѣтил бы в его лицѣ самаго горячаго друга и заступника. Если б в табели о рангах бывшей Россійской имперіи существовал чин «генерала от искусства», то Е. Н. Волков должен был бы имѣть этот чин вмѣсто своего чина генерал-лейтенанта гвардейской кавалеріи.

Общество не имѣло своего помѣщенія. Поэтому Совѣт собирался обыкновенно на квартирѣ у Волкова, а вся переписка и дѣла хранились у меня и на мой адрес шла вся корреспонденція. Для очередных открытых собраній членов Общества и их гостей, на которых дѣлались научные доклады и популярныя сообщенія по вопросам художественной старины и разным отраслям искусства, нам предоставляли свои помѣщенія Кружок Любителей Изящных Русских Изданій и Императорское Общество Поощренія Художеств. Стремясь придавать таким собраніям как можно больше интереса, мы привлекали в качествѣ докладчиков людей с крупными научными и художественными именами, и у нас выступали академики, профессора, писатели, художники, археологи, артисты и самые разнообразные дѣятели искусства и литературы. Послѣ докладов шел оживленный обмѣн мнѣній.

Громадный интерес вызвали картинныя выставки, устроенныя Обществом под руководством нашего секретаря барона Врангеля в залах Императорскаго Эрмитажа и Музея императора Александра Третьяго. Первая выставка была посвящена картинам родоначальника русской бытовой живописи А. Г. Венеціанова (1770-1847), находившимся в частных собраніях Петербурга и Москвы. На второй удалось соединить до 150 работ одного из замѣчательнѣйших художников-портретистов Россіи О. А. Кипренскаго (1783-1831), собранных из Петербурга. Москвы, Кіева, Воронежа, Риги и нѣкоторых русских имѣній. Считая, что задача каждой выставки не только популяризировать, но и регистрировать произведенія искусства, Врангель составил монографіи о Венеціановѣ и Кипренском

с репродукціями со всѣх картин этих блестящих художников, находившихся у частных лиц. Монографіи эти, роскошно изданныя, служили вмѣстѣ с тѣм каталогами выставок и продавались в пользу Общества. Другія двѣ выставки посвящены были рѣдчайшим произведеніям итальянской, французской, голландской и фламандской школ из безцѣнных собраній наслѣдника великой княгини Маріи Николаевны — С. В. Шереметьева и С. В. фон-Ден и коллекцій сенатора П. П. Семенова-Тянь-Шанскаго. Наконец, послѣдняя выставка показала полное собраніе рисунков В. А. Сѣрова, широкой публикѣ неизвѣстных. К открытію всѣх этих выставок тоже были выпущены художественно изданные каталоги со всѣми воспроизведеніями и об'яснительными статьями того же Врангеля, написанными со свойственной этому автору увлекательностью изложенія.

Для поддержанія все болѣе и болѣе широкаго распространенія наших задач, мы рѣшили устраивать спектакли, которые разыгрывались бы любителями, но обставлялись бы по возможности профессіонально. Член нашего Общества, графиня Е. В. Шувалова имѣла в своем особнякѣ на Фонтанкѣ № 21, близ Аничковскаго моста, театральный зал. Особняк этот, построенный Гваренги, представлял собою чудо красоты. При Александрѣ Первом он принадлежал его возлюбленной М. А. Нарышкиной, и весь вид его, включая домашній театр, сохранял блеск Александровской эпохи. Гр. Шувалова предоставила нам свой театр в полное наше распоряженіе, что как нельзя болѣе отвѣчало нашим планам. Организація дѣла была поручена Совѣтом двум своим членам-дамам — В. А. Волковой и княгинѣ О. А. Оболенской — и мнѣ. Я составил небольшой комитет, куда вошли Врангель, артист и режиссер Александринскаго театра Ю. Э. Озаровскій и художник М. В. Добужинскій — оба члены нашего Общества. Мы стали искать пьесу из стараго русскаго репертуара и остановились на комедіи Загоскина «Урок Матушкам». Это забытое произведеніе автора «Юрія Милославскаго» носило наивную прелесть старины и в то же время обладало сценическими достоинствами. Работа быстро закипѣла. Наши дамы помогли мнѣ составить труппу из наиболѣе опытных и способных Петербургских артистов-любителей, Добужинскій принялся за эскизы декорацій и рисунки костюмов, Врангель стал подбирать реквизит и мебель из подлинных предметов старины, имѣвшихся в частных собраніях, а Озаровскій начал репетировать. На мнѣ лежало об'единеніе всѣх работ и наблюденіе за постановочной и административной частью спектакля. Репетиціи шли чуть ли не каждый вечер, велись очень серьез-

но и носили совершенно профессіональный характер. Среди исполнителей нѣкоторые обладали настоящими сценическими талантами, а остальные, под опытным, культурным и терпѣливым руководством Озаровскаго, составили хорошій ансамбль. Через театральную дирекцію я получил разрѣшеніе заказать всѣ костюмы в мастерских Императорских театров, кромѣ того мнѣ было обѣщано электрическое оборудованіе, гримеры и рабочіе сцены Александринскаго театра. Из Маріинскаго театра я пригласил балетнаго артиста Преснякова для постановки танцев, а из придворнаго оркестра — дирижера и 25 музыкантов. Добужинскій создал очаровательные эскизы, по которым писались декораціи в мастерской театра Коммиссаржевской, его рисунки костюмов приводили в восхищеніе и исполнителей, и устроителей. Врангелю были обѣщаны мебель и обстановка, имѣвшія музейную цѣнность. Так прошло нѣсколько мѣсяцев работы в атмосферѣ настоящаго художественнаго содружества и артистической взволнованности. В печати шла большая кампанія, которая до того разожгла интерес к спектаклю, что по мѣрѣ приближенія срока постановки стало ясно, что, несмотря на громадныя цѣны — 25 рублей за билет, — ни одного свободнаго мѣста не останется. Так как нам хотѣлось показать спектакль многим артистам, писателям и дѣятелям искусства, которым такая плата была бы не под силу, то мы рѣшили устроить публичную генеральную репетицію с платой по рублю за билет. Наконец, все было готово, постановочныя и закрытыя генеральныя репетиціи прошли вполнѣ благополучно и подошел день публичной генеральной. Зрителей набрался полный зал. Был на лицо, что называется, «Весь Петербург» из художественнаго и артистическаго міра, чье мнѣніе было особенно цѣнно для моих сотоварищей и меня. Успѣх превзошел всѣ ожиданія: самые строгіе и придирчивые критики, люди, так сказать, «дѣлавшіе погоду» на первых представленіях в театрах, сошлись на том, что было создано зрѣлище, отличавшееся рѣдкой стройностью и гармоничностью.Не только пьеса, вѣявшая стариной и разыгранная в манерѣ нѣсколько приподнятой сентиментальной театральности, типичной для сценическаго представленія тридцатых годов прошлаго вѣка, но и все остальное давало полную иллюзію, далекую от современности: Гваренговскій колонный зал, желтая штофная мебель и такой же занавѣс, мягкіе звуки музыки Моцарта и Боккерини, предшествовавшей каждому акту и игравшейся в сценѣ бала, декораціи, строго выдержанныя в эпохѣ, и изысканные костюмы, отличавшіеся тонким вкусом, характерными для творчества

Добужинскаго, мебель и обстановка, волновавшія воображеніе антикваров и радовавшія глаз каждаго, даже программы с воспроизведеніем рѣдкаго портрета Загоскина и отпечатанныя Елизаветинским шрифтом на старинной бумагѣ...

На слѣдующій день состоялся сам спектакль. Публика напоминала пріем в Зимнем Дворцѣ или раут в посольствѣ великой державы. Мѣст не хватило и многіе стояли. Успѣх, как и на генеральной репетиціи, был громадный. Во всѣх газетах вышли хвалебные отзывы, единодушно отмѣчавшіе, что спектакль носил совершенно профессіональный характер. Рецензіи не ограничились газетами, но даже попали в еженедѣльные и ежемѣсячные журналы. Живописная сцена бала второго акта была увѣковѣчена в открытых письмах популярнаго издательства Общины Св. Евгеніи; рисунок Добужинскаго был воспроизведен в красках. Отклик нашего спектакля донесся даже до современности: в одной из книг по искусству, изданных лѣт двѣнадцать тому назад в Россіи, я нашел упоминаніе об нем, как о художественном событіи того далекаго времени.

Первая театральная антреприза Общества сильно помогла его популярности и увеличила его средства на пять тысяч рублей. Кромѣ того мнѣ удалось продать театральной дирекціи наши костюмы за довольно крупную сумму, которая тоже поступила в пользу Общества.

Война настолько захватила все, что интересы сегодняшняго дня сразу отодвинули на задній план всякую работу по искусству прошлаго. Журнал «Старые Годы» признал несвоевременным продолжать свое существованіе и закрылся. Общество ниже не закрывалось, но дѣятельность его страшно с'узилась. Большинство из наших активных дѣятелей были или на фронтѣ, или, оставаясь в тылу, отдавали все свое свободное от непосредственных обязанностей время на служеніе военным цѣлям.

К концу перваго вода войны нас постигла тяжкая утрата: бар. Н. Н. Врангель, работавшій в Красном Крестѣ на Варшавском фронтѣ, тяжко заболѣл и скончался. Наше Общество лишилось одного из главных своих создателей и крупнѣйшаго идейнаго руководителя. Совѣт отмѣтил его кончину спеціальным засѣданіем в Академіи Наук, гдѣ ближайшіе друзья и товарищи Врангеля по работѣ выступили с докладами об его жизни, литературной, художественной и научной дѣятельности. Всѣ докладчики подчеркивали, какую незамѣнимую потерю понесла наша наука и культура со смертью этого человѣка, в котором глубокія, разностороннія знанія сочетались с ярким художественным талантом. В его трудах, как образно отмѣтил

А. Ф. Кони, прошлое всегда оживало с силой настоящаго. Будучи человѣком науки и строгаго, усидчиваго труда, он в то же время совершенно не являлся затворником своего кабинета. Наоборот, он страстно любил жизнь, общеніе с людьми, отличался рѣдкой энергіей, был отличным организатором, всюду и вездѣ бывал, всѣм интересовался, постоянно куда то спѣшил, вѣчно ему надо было с кѣм то видѣться. Читая его многочисленныя статьи и книги, требовавшія большой предварительной научной подготовки и кропотливых архивных изысканій, трудно было понять, когда же он находил время для всего этого? А вѣдь помимо всего прочаго он ежедневно бывал на службѣ в Эрмитажѣ, гдѣ работал в качествѣ одного из хранителей в отдѣлѣ живописи. Его знанія по искусству были исключительны, и когда бы в Эрмитаж ни поступали запросы из заграничных музеев, картинных галлерей и хранилищ по поводу каких нибудь сомнѣній и экспертиз, администрація Эрмитажа неизбѣжно обращалась к авторитету Врангеля. В жизни, со своей насмѣшливой улыбкой и неизмѣнным моноклем, он производил впечатлѣніе человѣка разсѣяннаго и даже, как будто, легкомысленнаго. В трудѣ он отличался рѣдкой систематичностью и организованностью. По просьбѣ его матери я помог ей разобрать оставшійся послѣ него обширный архив, переданный потом цѣликом в Пушкинскій Дом Академіи Наук, и был поражен тѣм образцовым порядком, в котором находились его бумаги. Как будто он предвидѣл смерть и заранѣе позаботился о том, чтобы его культурное наслѣдство попало в достойное мѣсто. Между прочим, послѣ него остался грандіозный карточный каталог литературных матеріалов по искусству, представлявшій громадную цѣнность для искусствовѣдов и историков.

Доклады и воспоминанія о Врангелѣ, прочитанные на засѣданіи в Академіи Наук, были изданы нашим Обществом книгой под заглавіем «Вѣнок Врангелю» с иллюстраціями Е. Е. Лансере.

Затянувшаяся война постепенно свела дѣятельность «Общества Защиты и Сохраненія в Россіи Памятников Искусства и Старины» на нѣт, а разразившаяся в Февралѣ 1917 года революція положила ему конец.

Сергѣй Бертенсон.

Холливуд, 1943.

ПРОГРЕССИВНЫЯ ТЕНДЕНЦІИ В ТВОРЧЕСТВѢ РАХМАНИНОВА.

«Я органически не в состояніи понять модернистическую музыку, а потому не могу и любить ее, — так-же как я не могу любить, напримѣр, какой-нибудь совершенно чуждый мнѣ по построенію и смыслу язык».

Таковым был, в общих чертах, один из типичных отвѣтов Рахманинова его друзьям, знакомым, случайным посѣтителям и газетным интервьюерам, вопрошавшим его из года в год об его отношеніи к современной музыкѣ. Фразеологія отвѣта, естественно, варіировалась в каждом отдѣльном случаѣ, но сущность его оставалась, при всѣх обстоятельствах, неизмѣнной.

Разсматриваемый чисто внѣшне и совершенно изолированно, отвѣт этот не вызывает, как будто, никаких сомнѣній насчет основной позиціи его автора по указанному пункту. Принципіально и категорически Рахманинов как-бы отмежевывается непроницаемой стѣной от современной (модернистической) музыки вообще, не дѣлая исключенія, стало быть, и для самых выдающихся и общепризнанных ея образцов.

Нѣт, поэтому, ничего удивительнаго в том, что лица вполнѣ довольствовавшіеся этим прямолинейным отвѣтом, внѣ его внутренней связи с жизнью, личностью и творчеством композитора, неизбѣжно пополняли собою ряды тѣх, кто уже и без того относили Рахманинова к стану чистѣйших консерваторов, а, нерѣдко, и «реакціонеров» музыкальнаго искусства. Этот широко распространенный взгляд на Рахманинова — как композитора хоть и значительнаго, но, по своим внутренним склонностям, не прогрессивнаго — явственно ощущался также и в нѣкоторых некрологах, посвященных его памяти минувшей весной.

Но был-ли Рахманинов музыкальным консерватором в подлинном значеніи этого слова? Таилось-ли в нем исключительное и упорное тяготѣніе к сохраненію тѣх музыкальных норм, кои почитались общепринятыми ко времени его появленія на композиторском поприщѣ? Обнаруживал-ли он на протяженіи всей своей артистической карьеры этот единственно наводящій признак, который только и мог-бы послужить дока-

зательством якобы свойственнаго ему по природѣ консерватизма?

Вопросы эти являются отнюдь не столь праздными, каковыми они могут показаться с перваго взгляда. Ибо, вопреки ходячему мнѣнію, вся совокупность документально установленных фактов из жизни Рахманинова далеко не говорит в пользу рѣзко отмѣченнаго, в его духовном обликѣ, консерватизма; а нѣкоторые из них, к тому-же, прямо указывают на наличіе в нем каких-то тенденцій явно прогрессивнаго — если и не радикальнаго — характера.

Не подлежит никакому сомнѣнію, что в рядовое представленіе о подлинной сущности творческаго устремленія Рахманинова вкралась какая-то неточность. И принадлежит она, видимо, к тому типу исторических погрѣшностей, которыя, будучи приняты однажды без достаточнаго основанія в качествѣ «самоочевидных истин», проявляют не только рѣдкую живучесть, но и возрастающую способность к самоукрѣпленію в сознаніи широких масс. Стоит, поэтому, внимательно, и без дальнѣйших отлагательств, разобраться в историко-біографическом матеріалѣ, имѣющем отношеніе к этому предмету, и произвести соотвѣтствующій корректив, прежде чѣм создавшаяся еще при жизни Рахманинова легенда о его прирожденном и безспорном консерватизмѣ стала, с теченіем времени, глубоко вкоренившимся предразсудком.

***

Из многочисленных литературных источников, трактующих о бытовой и художественной жизни Москвы за послѣднее двадцатипятилѣтіе прошлаго вѣка, нетрудно составить себѣ ясное представленіе о той музыкальной атмосферѣ, в которой рос и созрѣвал талант С. В. Рахманинова. Сколько нибудь исчерпывающее описаніе этой «атмосферы» могло-бы, разумѣется, послужить темой совершенно самостоятельной работы; для нашей цѣли, однако, достаточно будет ограничиться указаніем на наиболѣе характерные ея признаки.

Среди послѣдних отмѣтим, в первую очередь, всеобщій и чуть-ли не всепоглощающій культ Чайковскаго — культ не только его музыки, но, повидимому, и его личных музыкальных воззрѣній. Достаточно консервативный в своем творчествѣ, Чайковскій был, пожалуй, еще болѣе «неподатлив», — а, вдобавок, и не слишком дальновиден, — в своих общих взглядах на музыкальное искусство. Он преклонялся перед классиками.

любил в мѣру представителей романтической школы, но оставался холодным и внутренно непримиримым к композиторам, считавшимся, в его эпоху, музыкальными новаторами. Из иностранцев, принадлежавших к послѣдней категоріи, Чайковскій относился с большой долей скептицизма к Листу, Берліозу, и с открытой непріязнью к Вагнеру, в музыкѣ котораго видѣл, за рѣдким исключеніем, «невѣроятный сумбур», «гармоническіе фокусы» и «пакостный хроматизм». Не признавал он, в цѣлом, и композиторов т. н. новой русской школы — Балакирева, Римского-Корсакова, Бородина; Мусоргскаго-же с его «грубостью», «музыкальной грязью», и «гармонической неурядицей» он почти не выносил, хотя природнаго дарованія ни в нем, ни в остальных своих «ультра-либеральных» современниках не отрицал.

Вся эта идеологія Чайковскаго всецѣло раздѣлялась музыкантами-москвичами его собственнаго поколѣнія, а также и его болѣе молодыми соратниками, из коих двоим — Танѣеву и Аренскому — суждено было вскорѣ оказаться преподавателями Рахманинова в различных областях композиторской тренировки. Танѣев, в особенности, прилагал не мало старанія к тому, чтобы распространять идеи своего великаго учителя, и, притом, нерѣдко, с собственной и характерной для него «расцвѣткой». Так, к аттестаціям Чайковскаго о Вагнерѣ и Мусоргском, Танѣев добавлял, что музыка перваго из них представляет собою нѣчто «безпозвоночное», «противоестественное», по своей сложности, какое-то «безцѣльное блужданіе», а второго — просто на просто «безпомощную дрянь» и «притворство». Соотвѣтствующим образом квалифицировалось им и творчество остальных поборников «новаго искусства».

Принимая во вниманіе, что юный Рахманинов и сам безпредѣльно обожал Чайковскаго, а Танѣева считал величайшим послѣ него авторитетом, не приходится, конечно, сомнѣваться в том, что, на первых порах, он без остатка впитал в себя и общую им обоим музыкальную идеологію. Для нашей темы, однако, единственно существенным является вопрос — в какой мѣрѣ Рахманинов остался вѣрен этой идеологіи в своих музыкальных вкусах и творческих склонностях? Ибо само собой понятно, что только степенью этой вѣрности на послѣдующих этапах его артистическаго пути можно измѣрить прочность приписываемаго ему консерватизма. И обратно: всякій отход Рахманинова от этой идеологіи максимальнаго «сохраненія» однажды установленных музыкальных норм слѣдует разсматривать как отталкиваніе его от незыблемых основ консерва-

тизма, и, тѣм самым, как ту или иную степень обращенія его в сторону музыкальнаго обновленія и прогресса.

Что касается музыкальнаго обновленія вообще, то процесс его может протекать — и фактически протекает в исторіи — по многим и различным направленіям, но нигдѣ, разумѣется, самый элемент «новизны» не ощущается с такой явственностью, а иногда и остротой, как в области гармоніи. Ибо, в силу нѣкоторых психофизических причин, о которых здѣсь не мѣсто распространяться, наш музыкальный слух склонен воспринимать т о л ь к о гармоническія явленія в аспектѣ болѣе или менѣе твердо установившихся взаимоотношеній можду звуковыми полярностями (в данном случаѣ — консонансами и диссонансами) и реагировать самым чутким образом на малѣйшія измѣненія в относительно привычных методах их примѣненія. Освѣщеніе композиторскаго пути Рахманинова преимущественно с этой стороны пріобрѣтает для нас, поэтому, совершенно особый интерес.

***

В небольшом мемуарном очеркѣ, опубликованном болѣе десяти лѣт тому назад бывшим товарищем Рахманинова по московской консерваторіи, М. Е. Букиником, мы находим чрезвычайно цѣнную запись, отражающую с кристальной ясностью то непосредственное впечатлѣніе, которое производили на сверстников композитора его совсѣм еще раннія гармоніи. Касающаяся одноактной оперы «Алеко» — выпускной работы Рахманинова, назначенной к частичному исполненію ученическими силами на экзаменаціонном концертѣ весною 1892 года — запись эта гласит: «я был (тогда) в оркестровом классѣ, и мы, репетируя (отрывки из рахманиновской оперы), не только восхищались, но и гордились его смѣлыми гармоніями и готовы были видѣть в нем реформатора». Воистину, поразительная, по своей неожиданности, реакція консерваторской молодежи на музыкальное сочиненіе, которое в наши дни расцѣнивается едва-ли многим больше, чѣм чисто юношеское, хоть и весьма талантливое, подражаніе Чайковскому!

Об'яснить столь малопонятное нам впечатлѣніе прошлых лѣт можно лишь предположив, что даже и в этом раннем произведеніи Рахманинова имѣются нѣкіе «зерна прогрессивности», какіе-то неиспользованные еще тогда звучанія или обороты, сравнительно с гармоніями Чайковскаго и его послѣдователей. Если элементы эти и не поддаются уже точному

аналитическому учету на полустолѣтнем историческом отдаленіи, то все-же они, очевидно, способны были как-то ощущаться слушателями — быть может, в формѣ едва уловимой гармонической свѣжести — в період их появленія. Укажем, мимоходом, что это именно качество — «импонирующая свѣжесть гармоніи» — было подмѣчено автором вышеприведенной записи еще в первом фортепьянном концертѣ Рахманинова, сочиненном, примѣрно, за год до окончанія им консерваторіи, и исполненном на одном из ученических концертов под управленіем Сафонова.

Столь-же для нас неожиданным, но, повидимому, нормальным для той эпохи, является отзыв Цезаря Кюи о гармоніи рахманиновской «Молитвы» из цикла шести пѣсен (op. 8), написанных в 1893 году. «Вкус Рахманинова — пишет этот извѣстнѣйшій, тогда, критик — не мог оградить его от притворных капризов, от модуляціонных странностей, доведенных до степени явнаго уродства». Отзыв Кюи подтверждает, косвенно, наши соображенія о «неиспользованных звучаніях или оборотах» в творчествѣ молодого Рахманинова, о каких-то его отклоненіях от казенных гармонических стандартов.

Быть может, нѣкоторое представленіе о характерѣ этих с трудом уже нынѣ различимых отклоненій можно составить себѣ из критическаго заключенія одного из близких нашему времени музыкальных писателей, Л. Сабанѣева, усмотрѣвшаго кое-какіе слѣды вліянія Бородина, Мусоргскаго, Листа, и даже (horribile dictu) Вагнера, как в оперѣ Рахманинова «Алеко», так и в его оркестровой фантазіи «Утёс» (op. 7), сочиненной почти одновременно с упомянутой выше «Молитвой» (1893).

В дополненіе к сказанному, отмѣтим также и краткое указаніе литературнаго сотрудника рахманиновских «Воспоминаній», О. фон-Риземана, нашедшаго «изобрѣтательныя гармоническія измѣненія» в популярной «Славѣ» — послѣднем из шести фортепьянных дуэтов (op. 11), написанных композитором годом позже (1894).

Впрочем неизмѣримо болѣе показательными свѣдѣніями, касающимися композиторских тенденцій Рахманинова в этом начальном періодѣ его творчества, являются тѣ, что сообщены им самим в связи с сочиненіем, исполненіем и художественным провалом его первой симфоніи (op. 13). Произведеніе это — к слову сказать, цѣликом базирующееся на русских православных мотивах — написано Рахманиновым в 1895 году, и исполнено было в первый (и единственный) раз в Петербургѣ, под управленіем Глазунова, осенью 1897 года.

Обращает уже на себя вниманіе, во время работы Рахманинова над этой симфоніей, проникнутое немалым творческим «дерзаніем» самосознаніе композитора, воображавшаго, по его словам, что отнынѣ для него «нѣт ничего недоступнаго» в сферѣ музыкальной композиціи. Тогда-же, видимо, вышел он и из под незримой художественной опеки столь авторитетнаго для него, доселѣ, Танѣева; ибо, показав ему свою оконченную симфонію, Рахманинов нисколько не был смущен его весьма неблагопріятным о ней отзывом, и ни на іоту не измѣнил, в ту пору, своего «высокаго мнѣнія» об этом произведеніи.

Однако, самой примѣчательной подробностью, недвусмысленно свидѣтельствующей о тогдашнем отношеніи Рахманинова к своей симфоніи, является слѣдующее о ней сообщеніе, сдѣланное им (как и всѣ прочіе) на страницах своих «Воспоминаній»: «я б ы л у б ѣ ж д е н — заявляет он без всяких оговорок — ч т о о т к р ы л з д ѣ с ь с о в е р ш е н н о н о в ы е п у т и в м у з ы к ѣ». Крайняя смѣлость, чтобы не сказать «революціонность», этого ранняго убѣжденія композитора, звучала-бы, пожалуй, достаточно вызывающе даже в нашу, видавшую всякіе виды, эпоху. Но с сугубой рельефностью выступает она на фонѣ музыкальных умонастроеній окружавшей его среды, о которых Сабанѣев, между прочим, пишет: «быть искателем новых путей, т. е. новатором, считалось (в то время) чуть-ли не позором и, во всяком случаѣ, нарушеніем хорошаго тона».

Правда, дѣлая свое сенсаціонное заявленіе (которое едвали могло относиться к одному лишь голому факту заимствованія им, для симфоніи, церковных напѣвов), Рахманинов не указывает прямо в чем, именно, заключались его «новые пути». Но то, что они имѣли, по крайней мѣрѣ, частичное отношеніе к каким-то «совмѣстным звучаніям»подсказывается, прежде всего, той частью его грустнаго разсказа об исполненіи этой симфоніи, — глубоко разочаровавшей его уже во время репетиціи — гдѣ он повѣствует о «самом агонизирующем часѣ своей жизни», через который он должен был вновь пройти на самом концертѣ: «в нѣкоторые моменты — говорит он — я затыкал пальцами уши, дабы не слышать своей музыки, д и с с о н а н с ы которой буквально раздирали меня». (Курсив наш).

Еще болѣе явственные указанія по той-же линіи мы находим в критическом отзывѣ «пожурившаго» его уже однажды Цезаря Кюи, который сначала разражается, по поводу этой музыки, слѣдующей колоритной тирадой: «Если-бы в аду

существовала консерваторія, Рахманинов получил-бы там первый приз за свою симфонію, — столь дьявольски звучали тѣ диссонансы, которые он нам в ней преподнёс». А вслѣд затѣм, Кюи упрекает молодого композитора еще и в «чудовищном модернизмѣ», т. е. пользуется выраженіем, которое обычно примѣняется в музыкѣ к чрезмѣрным гармоническим вольностям (для каждой эпохи, конечно, различным). Слѣдует, впрочем, замѣтить, что даже Римскій-Корсаков, сам слывшій, в тѣ времена, модернистом, нашел это сочиненіе Рахманинова «совершенно непріемлемым», как он лично и заявил композитору, но, к сожалѣнію, не указал к чему, точно, относилось его замѣчаніе.

Как извѣстно, первой симфоніи Рахманинова не суждено было увидѣть свѣт печатнаго станка, а ее единственный рукописный экземпляр остался, во время россійской революціонной катастрофы, в московской квартирѣ композитора, откуда, надо полагать, был своевременно переведен мѣстными властями в какое-либо государственное музыкохранилище. Мы, поэтому, лишены возможности, в данный момент, воочію разобраться в тѣх «диссонансах», которые столь сильно потрясли как самаго композитора, так и его критика.

Но даже и не заглядывая в эту рукопись, мы едва-ли ошибемся в своих догадках, сказав, что, хотя содержащіеся в ней диссонансы и способны были когда-то произвести вышеописанный эффект, все-же они были-бы, вѣроятно, отнесены современными нам музыкантами к разряду болѣе или менѣе «безобидных» звучаній. Обстоятельство это, однако, нисколько не снижает значимости, для нас, самого факта постепеннаго и несомнѣннаго нарастанія музыкальной «прогрессивности» Рахманинова. Ибо для вѣрной оцѣнки начальной творческой стадіи всякаго художника, ставшаго впослѣдствіи крупной величиной, самыми существенными показателями являются не столько его актуальныя достиженія (тѣм болѣе с точки зрѣнія позднѣйших эстетических норм), сколько его суб'ективныя тенденціи.

Не противорѣчит прогрессивному духу этих тенденцій в Рахманиновѣ и внезапное разочарованіе его в своей симфоніи, новаторской, в каком-то смыслѣ, для него, и модернистической, в ея «дьявольских звучаніях», для одного, по крайней мѣрѣ, из его слушателей. Ибо, судя по показаніям стараго композитора в различные годы его жизни, собственное его отношеніе к музыкѣ этого сочиненія было не совсѣм постоянным. Так, напримѣр, вспоминая полученное им впечатлѣніе во время

репетированія этой симфоніи перед ея злополучной «премьерой», Рахманинов говорит: «вслушиваясь в это произведеніе, я нашел его инструментовку отвратительной, но я понял, что и уровень его музыки был не высок». А, между тѣм, через 12 лѣт послѣ этого безнадежнаго, казалось-бы, впечатлѣнія, композитор выражает свое мнѣніе о цѣнности того-же сочиненія в слѣдующих словах, опубликованных интервьюировавшим его московским критиком Гр. Прокофьевым: «в этой симфоніи много удачнаго по музыкѣ, но инструментована она болѣе чѣм слабо, что и явилось причиной ея неуспѣха при исполненіи в Петербургѣ». (Этот же критик передает со слов Рахманинова, что послѣдній разсчитывал пересмотрѣть, а впослѣдствіи, может быть, и напечатать свою первую симфонію).

Таким образом, вполнѣ достовѣрным, в этом произведеніи, можно считать лишь отмѣченное, в обоих случаях, несовершенство его инструментовки, но никак не то или иное качество его музыки, каковым оно представлялось критическому взору композитора. Строгая об'ективность вынуждает нас даже к допущенію, что, быть может, многіе из пресловутых «диссонансов» рахманиновской симфоніи, вызвавших однажды столь жестокую отповѣдь со стороны прессы, слѣдует отнести за счет ея чисто оркестровых неблагозвучій, которые, вообще говоря, мыслимы вѣдь и в условіях гармонически к о н с о н и р у ю щ и х звукосочетаній.

Как бы там ни было, но никогда уже за всю свою композиторскую карьеру Рахманинов не имѣл болѣе случая быть обвиненным — ни официальной критикой, ни публикой — в злоупотребленіи диссонансами или вообще в каких-либо «чрезмѣрных гармонических вольностях».

Было-бы, однако, ошибочно вывести из этого поспѣшное заключеніе, что, с момента провала первой симфоніи, Рахманинов раз навсегда отказался от музыкальных «обновленій» — даже весьма значительных — в своем творчествѣ. Мы, правда, не находим в нем, послѣ этого эпизода, прежних посягательств на «открытіе совершенно новых путей в музыкѣ». Да и вообще, весь его юношескій пыл, вкупѣ с творческими дерзаніями и безграничной самоувѣренностью, начал, видимо, смѣняться, к тому времени, болѣе глубоким и сдержанным отношеніем к главному дѣлу его жизни. К этой внутренней перемѣнѣ относится, вѣроятно, и собственное замѣчаніе композитора о том, что «случай» с первой симфоніей сыграл рѣшающую роль в его дальнѣйшем развитіи. Но, вмѣстѣ с тѣм, музыкальные обозрѣватели, близко знакомившіеся со всѣми послѣдующими

сочиненіями Рахманинова, не переставали отмѣчать постепенно нарастающую усложненность его композиторскаго письма в самых различных направленіях, включая сюда и наиболѣе существенную для нас область гармоніи.

В этом отношеніи, заслуживают вниманія болѣе настойчивые, чѣм прежде, утвержденія Сабанѣева о дальнѣйшем проникновеніи «вагнеризованных гармоній» в зрѣлые уже произведенія Рахманинова. Но еще сильнѣе заостряется тѣм-же критиком факт гармоническаго усложненія в рахманиновском творчествѣ, когда он высказывает мнѣніе, что в романсах композитора написанных в началѣ десятых годов «появляется нѣкоторое тяготѣніе к умѣренному модернизму» (рѣчь идет, очевидно, о циклѣ четырнадцати пѣсен, ор. 34, изданных в 1912 году). Кромѣ того, Сабанѣев находит кое-какіе оркестровые пріемы, родственные совсѣм еще недавнему модернисту, Рихарду Штраусу, в рахманиновских «Колоколах» — хоровой симфоніи (ор. 35), сочиненной в 1913 году.

Характерной в смыслѣ внесенных Рахманиновым в свое творчество «обновленій» является и написанная им в том-же году вторая фортепьянная соната. Достаточно сказать, что даже в глазах петербургскаго критика В. Каратыгина, относившагося с нескрываемой враждебностью почти ко всей музыкѣ композитора, это произведеніе оказалось, как он говорит, «не вовсе лишенным довольно необычных для Рахманинова гармоній и контрапунктов».

На испытанные Рахманиновым вліянія Вагнера указывает еще и Риземан, который замѣчает их впервые в «Прелюдіи» второй фортепьянной сюиты, ор. 17, и в кантатѣ «Весна», ор. 20 (сочинены в 1901-1902 годах). Удѣляет он не мало вниманія и дальнѣйшему обогащенію и утонченію рахманиновских гармоній, — в особенности, начиная со времени сочиненія им третьяго фортепьяннаго концерта (1909) и упомянутых уже «Колоколов». «Неожиданное расширеніе музыкальнаго кругозора — пишет Риземан по поводу этого періода — позволило Рахманинову запечатлѣть в нотах то, от чего он всего лишь десяток лѣт тому назад отвернулся-бы с содроганіем». По мнѣнію этого писателя, дальнѣйшіе измѣненія в гармоническом мышленіи композитора (до его переселенія в Америку) сказались наиболѣе замѣтным образом в его фортепьянных Etudes Tableaux, ор. 33 и 39, написанных в 1911-1917 годах, и в двух циклах пѣсен: ор. 34 (о котором говорилось выше) и ор. 38, сочиненном в 1916 году.

Всѣ эти ссылки на вагнеризованныя гармоніи Рахманинова,

на его умѣренный модернизм, на постепенное обогащеніе и утонченіе его гармоническаго матеріала, и т. д. говорят, конечно, ни о чем ином, как о неуклонно возраставшей, в его произведеніях, х р о м а т и з а ц і и звуковой ткани. Оговоримся, впрочем, тут-же, что его неоднократно упомянутое сходство с Вагнером было, в этом отношеніи, чисто внѣшним, и выражалось, собственно говоря, лишь в самом фактѣ широкаго примѣненія обоими композиторами хроматических гармоній, но рѣдко в характерѣ и взаимосвязи послѣдних.

Не слѣдует забывать, что, в наиболѣе типичных своих проявленіях, хроматизм Вагнера представляет собою, главным образом, результат искуснаго лавированія композитора гдѣ-то м е ж д у различными (и, предпочтительно, далекими) тональностями, без ощутительной задержки на каждой из них в отдѣльности. Наоборот, хроматизм Рахманинова вытекает, большей частью, из многосторонняго использованія им альтерированных звукосочетаній, послѣдованій, и смѣлых модуляціонных отклоненій в п р е д ѣ л а х какой-либо единой, или, во всяком случаѣ, длительно эксплуатируемой тональности. Иначе говоря, хроматизм Рахманинова является, по преимуществу, в н у т р и - т о н а л ь н ы м, и тѣм отличается как от и н т е р - т о н а л ь н а г о хроматизма Вагнера, так и, кстати сказать, от в н ѣ - т о н а л ь н а г о хроматизма крайних модернистов (атоналистов), самая характерная особенность которых в области гармоніи заключается в болѣе или менѣе полном отрывѣ от принципа тональности вообще. Эта специфическая черта в гармоническом стилѣ Рахманинова вмѣстѣ с интенсивнѣйшим тяготѣніем композитора к діатонической мелодикѣ и являются общей причиной того, что его хроматическія гармоніи, даже когда они достаточно сложны и обильны, все-же не столь сильно ощутимы, как у Вагнера и его музыкальных преемников.

В произведеніях Рахманинова, написанных в послѣдній (американскій) період его жизни, замѣтна еще большая, чѣм прежде, изобрѣтательность в использованіи гармонических средств по линіи внутри-тональнаго хроматизма. Особенно ярко сказалась она в его «Рапсодіи на тему Паганини», но тѣм-же качеством проникнуты многія страницы его «Варіацій на тему Корелли», третьей симфоніи, и т. д. Здѣсь, многія характерныя сопряженія аккордов, находящихся в далекой функціональной связи, производят даже, иногда, впечатлѣніе мимолетнаго сопоставленія разнотональных созвучій. Но возникающіе, при этом, хроматизмы так идеально согласованы с законами есте-

ственнаго голосоведенія, и так логично вплетены в діатоническій контекст, что ухо не всегда способно сразу уловить то великое мастерство «кажущейся простоты», которое неизмѣнно присутствует во всѣх манипуляціях композитора весьма усложненным, в дѣйствительности, звуковым матеріалом. Своеобразіе Рахманинова в этой спеціальной области гармонической и контрапунктической техники не превзойдено, как кажется, ни одним из русских композиторов, не исключая и новѣйших.

***

Нерѣдко приходится сталкиваться с мнѣніем, что, внѣ зависимости от чисто технических достиженій Рахманинова, консервативным остается, все равно, дух его творчества; что музыка его насыщена упадочными настроеніями и «перепѣвами» Чайковскаго; что, по самой сути своей, она тянется к «застоявшимся» переживаніям прошлаго, но слабо отражает настоящее, и, во всяком случаѣ, лишена предощущеній будущаго. Однако, при тщательном изслѣдованіи, оказывается, что даже и в этом направленіи позднѣйшая музыкальная мысль начинает вносить какія-то поправки и находить в творчествѣ Рахманинова то, что трудно было-бы сыскать у его непосредственных музыкальных предшественников. Послушаем, напримѣр, что говорит о духѣ рахманиновской музыки один из самых передовых музыковѣдов нашего времени, Игорь Глѣбов:

> «Основными тонами эмоціональной гаммы Рахманинова являются интонаціи тихой, свѣтлой грусти — с одной стороны, а с другой — интонаціи возмущенія и протеста. ...Слѣдует обратить вниманіе на характерные рахманиновскіе акцентированные начала многих его романсов — приступом, наскоком с подчеркнутым ямбом и повелительным тоном, как зов, окрик, пробужденіе. Этот пафос конца 90-х годов и первых предреволюціонных годов 20-го вѣка слышался и в литературѣ, напримѣр, в ранних разсказах Горькаго, по различному выраженный, но один и тот-же по смыслу: порыв в даль, к неизвѣстному, стремленіе сдвинуться, сорваться и помчаться прочь от застоявшейся жизни. ...Пафос Рахманинова, особенно в его втором фортепьяном концертѣ, явился полным и ярким выраженіем этого чувства протеста.

Нельзя не согласиться, что эта новая интерпретація духа рахманиновскаго творчества, разыскавшая в нем безспорно прогрессивныя тенденціи, и даже чуть-ли не какіе-то элементы предчувствія грядущих бурь, весьма далека от той якобы

самоочевидной, но, на самом дѣлѣ, устарѣвшей концепціи, которая удѣляет композитору сравнительно ограниченное мѣсто представителя (а то и просто эпигона) школы Чайковскаго. Ни у кого, разумѣется, не может появиться серьезнаго намѣренія отрицать ту колоссальную роль, которую сыграл Чайковскій — художник и человѣк — в формированіи композиторскаго облика Рахманинова. Но, вмѣстѣ с тѣм, было-бы ошибочно разсматривать всѣ, рѣшительно, стороны его творчества, включая и «дух» его музыки, через призму міроощущенія его великаго друга и наставника. Нѣт надобности обладать каким-то особенно острым чутьем для уясненія той простой истины, что, в нѣкоторых музыкальных аспектах, Рахманинов не только полностью сравнялся с Чайковским, но и замѣтно перерос его.

Правильность установки на Рахманинова как музыкально-историческую фигуру, по существу своему, скорѣе прогрессивную, чѣм консервативную, подтверждается, косвенно, и цѣлым рядом бытовых подробностей из біографіи композитора, проливающих дополнительный свѣт на истинную природу его внутренних устремленій. Взятыя в отдѣльности, подробности эти, быть может, и не всегда покажутся достаточно значительными, но их совмѣстное сплетеніе создает уже весьма характерный, и показательный для нашей темы, психологическій узор.

Так,напримѣр, не вяжутся с приписываемым Рахманинову духом консерватизма его серьезныя и многочисленныя усилія встрясти и обновить из'ѣденныя рутиной оперныя постановки московскаго Большого Театра, а, отчасти, и артистическій быт этого учрежденія, в котором ему довелось быть, одно время, дирижером (в 1905-1906 годах). Не гармонируют с атмосферой консерватизма и его настойчивыя попытки, в качествѣ вице-предсѣдателя Имп. Русск. Муз О-ва, влить свѣжую струю в потускнѣвшую художественную жизнь провинціальных музыкальных училищ; в особенности-же — его увѣнчавшаяся успѣхом забота о преобразованіи кіевской музыкальной школы в консерваторію (в 1909 году), чему правящіе круги противились тогда по политическим (анти-сепаратистским) мотивам. Не обличает в нем консервативно настроеннаго композитора и имѣвшая мѣсто (в 1910-1911 годах) критика высшим духовенством его «Литургіи» (ор. 31) за «дух новшества», и, как результат, недопущеніе этого сочиненія к исполненію в стѣнах православной церкви. Не похоже на вспышку консерватизма и его внезапное рѣшеніе во время похорон Скрябина (1915 г.)

совершить концертное турнэ по всѣм крупным городам Россіи с сочиненіями почившаго композитора — пусть даже и причисляемыми к группѣ «умѣренных» по модернизму, но все-же вышедшими из под пера завѣдомаго новатора. Не принадлежит к типу консервативных актов и выбор им (около 1908 года) опернаго сюжета по пьесѣ Метерлинка «Монна Ванна», — произведенію хоть и с историческим содержаніем, но не лишенному характерных для этого писателя (и «модернистических», по тѣм временам) элементов художественнаго символизма. Не укладывается в рамки консерватизма и то обстоятельство, что Рахманинов воспользовался текстами поэтов-декадентов: Бальмонта, Блока, Брюсова, Бѣлаго, Сологуба, и эго-футуриста Сѣверянина для всего цикла своих пѣсен (ор. 38), написанных в 1916 году, когда на всѣх этих авторах лежала совсѣм еще свѣжая печать новизны, а, в значительной степени, и «лѣвизны».

Перечислив эти спеціально отобранные, по признаку «прогрессивности», факты из жизни Рахманинова, нельзя, конечно, обойти молчаніем и его изумительное исполнительское искусство, об исключительной о р и г и н а л ь н о с т и, с м ѣ л о с т и, и н о в и з н ѣ котораго — особенно в области піанистической — неустанно твердила, до конца его дней, печать всего міра. Трудно как-то допустить, чтобы качества этого рода могли корениться и процвѣтать в душѣ консервативнаго, по своим природным устремленіям, артиста.

***

Нѣт, в сущности, ничего необычнаго в том, что творчество большого художника подвергается, время от времени, какому-то частичному (а иногда, и кардинальному) пересмотру. Ибо разнаго рода ошибки, недомыслія и даже пристрастія, в дѣлѣ оцѣнки всякаго значительнаго явленія, совершенно естественны, а, на близком историческом разстояніи, вѣроятно, и неизбѣжны. Положеніе это примѣнимо, в частности, и к Рахманинову, основное творческое устремленіе котораго не было, повидимому, всеохватывающим образом понято многими из его современников. Но в наши дни, когда сам Рахманинов, как и цѣлая плеяда других музыкантов его поколѣнія, начинают постепенно отходить вглубь исторіи, гораздо легче установить не только истинную природу этого устремленія, но и дѣйствительныя причины былых, насчет нея, заблужденій.

Так, можно теперь уже не сомнѣваться, что заблужденія эти болѣе всего обязаны тому чрезвычайно ускоренному темпу,

с которым произошло измѣненіе музыкальных вкусов, за послѣднія три-четыре десятилѣтія, среди рьяных, хоть и искренних, искателей художественной новизны во всѣх странах міра. Здѣсь, сейчас, не мѣсто разбираться в особых исторических и соціальных условіях нашего вѣка, которыми, безспорно, вызвано было, в большой степени, это неожиданное для всѣх ускореніе. Важно то, что послѣднее естественным образом выдвинуло на авансцену музыкальной жизни представителей крайне «лѣвых» композиторских теченій и, одновременно, вовлекло в орбиту своего вліянія не малое количество профессіональных обозрѣвателей музыки, чья дѣятельность является, часто, столь могущественным фактором в формированіи общественнаго мнѣнія.

В новом и рѣзко измѣненном окруженіи, обозрѣватели эти — а с ними и многочисленные цѣнители музыки среди широкой публики — не могли не потерять, в отношеніи к творчеству Рахманинова, чувства исторической перспективы. Вмѣстѣ с композиторами из крайняго модернистическаго лагеря, всѣ они оказались как-бы сидящими в стремительно мчащемся экспрессѣ, для которых (как в реальном путешествіи) всякій пассажир, находившійся в любом ином, хотя-бы и попутном, но лишь менѣе быстро идущем поѣздѣ, производил иллюзорное впечатлѣніе двигающагося в противоположном направленіи.

Вслѣдствіе этой именно иллюзіи, любителям предѣльных скоростей в эволюціи музыкальнаго искусства трудно было, в свое время, отдать себѣ ясный отчет в том, что **Рахманинов,** продвигавшійся болѣе медленно и осмотрительно по пути измѣненія своих композиторских методов, внес ощутительный и своеобразный вклад в общее дѣло обновленія, усложненія и утонченія гармоническаго языка. Не могли они, слѣдовательно, постичь до конца и ту неизмѣримо болѣе очевидную, нынѣ, истину, что, как по специфическим особенностям использованных им музыкальных и технических средств, так и по всему складу своей творческой личности, Рахманинов должен быть отнесен, по крайней мѣрѣ, к категоріи композиторов умѣренно прогрессивнаго, но никак не откровенно консервативнаго, порядка.

Впрочем, даже и эта осторожная формулировка, опредѣляющая мѣсто Рахманинова в общем композиторском «реестрѣ», не может еще почитаться окончательной, — особенно, в свѣтѣ явно происходящих сдвигов на стезѣ новѣйшаго звукотворчества. Ибо, повинуясь каким-то невѣдомым законам

исторической логики, измѣняется уже по иным, чѣм прежде, эстетическим принципам музыкальная панорама наших дней, и, в связи с этим, весьма замѣтно стал замедлять свой стремительный бѣг ничѣм не сдерживаемый, доселѣ, «модернистическій экспресс». Легко может, поэтому, случиться, что в нарождающейся новой схемѣ соотношеній между «правыми» и «лѣвыми» композиторскими теченіями самая с т е п е н ь рахманиновской прогрессивности обрѣтет, в конечном счетѣ, болѣе высокій экспонент, чѣм тот, который в состояніи видѣть в ней, покуда, даже самые об'ективные наблюдатели музыкальной жизни современья.

***

Сравнивая наши заключенія с приведенным в началѣ этой статьи заявленіем Рахманинова, читатель останется, возможно, в нѣкотором недоумѣніи. Если эти заключенія справедливы — скажет он — то каким образом мог Рахманинов «органически не понимать» (другое дѣло — не любить!) современных ему модернистических произведеній, которые, в качествѣ крайних проявленій музыкальной прогрессивности, должны вѣдь отличаться от умѣренно прогрессивнаго творчества Рахманинова лишь по степени, а не по существу? Да и как, вообще, может большой и знающій музыкант, внѣ зависимости от своих личных вкусов, не понимать хотя бы тѣх образцов модернистической музыки, которые уже около четверти вѣка как прочно установились в репертуарѣ симфонических концертов — серьезных и популярных, — а, за послѣдніе годы, воспринимаются в значительном количествѣ (и, очевидно, без особаго усилія) самыми широкими слоями публики при посредствѣ радіо, граммофона, равно как и в формѣ сопровожденій к балетным спектаклям и даже кино-фильмам?

Аргументація этого рода несомнѣнно имѣет свою послѣдовательность. Как таковая, она невольно заставляет предположить существованіе каких-то не совсѣм обычных причин непониманія Рахманиновым радикальных теченій в современной музыкѣ, — причин, коренившихся, быть может, в особом, «строѣ» его души, или, если угодно, в каком-то своеобразном состояніи его психики. Предположеніе это тѣм болѣе вѣроятно, что Рахманинову были, видимо, чужды какія-либо личныя или «экстра-музыкальныя» предубѣжденія против композиторов-модернистов, о творчествѣ коих он был, к тому-же, в достаточной степени освѣдомлен, и за которыми он даже готов

был, иногда, признать немалую долю таланта. Однако, столь-же несвойственны были ему несерьезность и неискренность в высказываніи — тѣм болѣе публичном и повторном — своих взглядов и убѣжденій по различным вопросам, касающимся музыкальнаго искусства. Это обстоятельство автоматически вынуждает нас принять в самом буквальном смыслѣ и то нѣсколько озадачивающее заявленіе Рахманинова, о котором здѣсь идет рѣчь.

Но как, тогда, примирить возникающія, в связи с этим заявленіем, противорѣчія и неувязки? И в чем, наконец, могла заключаться подлинная сущность постулируемых нами в Рахманиновѣ «необычных причин» «непониманія» им современной музыки?

Вопросы эти, конечно, вполнѣ законны и умѣстны со стороны читателя, и, кромѣ того, весьма существенны в дѣлѣ изученія личности Рахманинова вообще. Но отвѣты на них лежат уже в плоскости не музыкальной, а чисто психологической, и потому выходят за предѣлы той спеціальной и, поневолѣ, ограниченной темы, которой посвящена настоящая статья.

Іосиф Яссер.

КОМАНДИРЫ КРАСНОЙ АРМІИ.

Когда в 1917 году рухнул, не справившись с войной, царскій режим, шум от его обвала был вскорѣ продлен и усилен топотом милліонов ног бойцов, в безпорядкѣ устремившихся с передовых позицій. Попытки новой власти ввести эту сѣрошинельную лавину в берега хотя бы формальной демобилизаціи удавались плохо, наталкиваясь на глухую стѣну непониманія и недовѣрія. Картина распада стараго режима в обстановкѣ незаконченной войны и революціи была позже возсоздана многими писателями (см. романы Б. Пильняка, С. Малышкина, Л. Сейфулиной и др.). Для большинства этих описаній характерно стремленіе сдѣлать понятным право народных масс на самочинный выход из чуждой им, сверху навязанной войны. Такое стремленіе понять и оправдать массы было бы законно, если бы оно не сопровождалось каррикатурным изображеніем («наемники капитала», «лакеи буржуазіи») всѣх тѣх, для кого такой стихійный выход из войны был «національным позором», «измѣной». Только очень немногіе среди писателей отважились заглянуть ближе в души таких людей (**А. Толстой** «Хожденіе по мукам», **М. Булгаков** «Бѣлая Гвардія», **М. Шолохов** «Тихій Дон»).

Когда Колчак, пишет А. Толстой, выступая на митингѣ, «в качествѣ русскаго патріота» требовал продолженія войны с нѣмцами, матросы слушали адмирала «будто он говорил покитайски». И капитан Рощин в том же произведеніи, наблюдая неудержимый развал арміи, с горьким надрывом подводил итог: «Великая Россія перестала существовать с той минуты, когда народ бросил оружіе. Великая Россія — теперь: навоз под пашню. Все надо — заново: войско, государство, душу надо другую втиснуть в нас». Хотя отчаяніе и ненависть к большевикам, своей агитаціей ускорившим развал арміи, и были господствующими в средѣ тогдашняго офицерства, наряду с этим имѣлись и другія настроенія. Так, однополчанин Рощина, подполковник Тетькин, созерцатель по натурѣ, глубже об'ясняет разыгравшуюся драму: «великой Россіей» гордятся Рощины, Тетькины, Телѣгины, т. е. люди, знающіе «великое прошлое Россіи», читавшіе ее исторію, но вот «100 милліонов мужиков книг этих не читали и не гордятся; они

желают имѣть свою собственную исторію, развернутую не в прошлыя, а в будущія времена».

Перипетіи вскорѣ вспыхнувшей гражданской войны, в огнѣ которой выковалась Красная Армія, подтвердили правоту Тетькиных. Замѣчательно схвачено рожденіе этой новой «своей исторіи» **Дм. Фурмановым** в одной сценѣ «Чапаева». Дѣло происходит в Бузулукѣ в 1920 году, куда стягивались тогда силы для нанесенія удара по Колчаку. Перед выступленіем Чапаев созывает в залѣ мѣстнаго кинематографа красноармейскій митинг. Он выступает с одной из своих незамысловатых, но пользовавшихся неизмѣнным успѣхом, рѣчей: он, Чапаев — «не старый генерал», который, сидя в тылу, отдает приказы своим солдатам, он «завсегда впереди» своих бойцов и, так как всякая душа «жизни просит и умирать никому не хочется», он такое мѣсто выберет для боя, чтобы всѣ цѣлы были и чтоб он, Чапаев, тоже не погиб зря. Вслѣд за Чапаевым выскакивает какой-то гармонист и на охрипшей, заигранной гармоникѣ разражается таким «Камаринским», что ноги сами ходуном ходят. Не выдерживает Чапаев: «сперва лебедем с изгибом, а потом впритопку» пускается в пляс, а за ним и его бойцы; зал сотрясается от аплодисментов: «вот такой свой — люб командир». Свидѣтельство Фурманова в данном случаѣ об'ективно: приставленный к Чапаеву в качествѣ политкомиссара, Фурманов неизмѣнно относился к «Чапаю» с двойственным чувством: Фурманова и плѣняла стихійная сила Чапаева и боялся он слѣпого анархическаго поигрыванія этой силы.

Чапаев не был одинок: много **«народных командиров»** выбросила из своих нѣдр крестьянская Россія во время гражданской войны. Чапаев на Волгѣ, Махно, Уляляев, Боженко, Котовскій, Щорс — на Украинѣ, Гладких, Бредюк, тысячи «народных командиров» в Сибири, на Дальнем Востокѣ, — многіе из них нашли свое изображеніе в художественной литературѣ («Уляляевщина» **И. Сельвинскаго,** «Дума про Опанаса» **Э. Багрицкаго,** «Хмурое утро» **А. Толстого**, «Послѣдній из Удэге» **А. Фадѣева**).

Безстрашные атаманы, талантливые самоучки, надѣленные сильным, но примитивным соціальным чутьем, хитрые и наивные, подозрительные и дѣтски-довѣрчивые, эти командиры были самыми яркими выразителями крестьянской вольницы и вмѣстѣ с тѣм были (вѣрнѣе, хотѣли быть) **дозорными крестьянства,** ревниво наблюдавшими за тѣм, как бы в разгулявшейся стихіи революціи не сѣли на шею мужикам прежніе «господа» или смущавшіе мужиков «комиссары». У этих отдаленных по-

томков Пугачева были большія преимущества и перед «коммунистами», и перед «бѣлыми»: они знали мѣстное крестьянство и крестьянство знало их и довѣряло им. Они и стали организаторами первых крестьянских революціонных отрядов и частей, позже влившихся в Красную Армію. Называя себя «большевиками», эти «народные командиры» исподлобья поглядывали на представителей совѣтской власти, политика которых в деревнѣ (знаменитая «продразверстка») встрѣчала активный отпор вовсе не только «кулаков» (см. «Барсуки» **Л. Леонова**). Суб' ективно эти вожди-атаманы чувствовали себя представителями «крестьянской республики», третьей, **«зеленой силой»,** нашедшей свое крайнее выраженіе в дви-женіи Махно.

Ненависть к старому режиму, у вождей крестьянства вы-ражалась не только прямо — в жестокой расправѣ с офицерами, но и окольно — в отталкиваніи от всѣх требованій дисциплины. Об этом разсказывает не только Фурманов, но и всѣ писатели, вблизи наблюдавшіе партизанскую борьбу: «Що, це старый режим?» — обиженно роптал батько Боженко, сподвижник Щорса, когда тот пытался уломать его проводить директивы и дисциплину, рекомендовавшіеся Троцким. Сложны были вообще взаимоотношенія между народными командирами и центральной властью. По свидѣтельству **А. Фадѣева,** разно-гласія эти никогда не были мелкими, а «обнимали коренные вопросы движенія», в которых **«узлом спора был вопрос о власти».** Всякое вмѣшательство власти в этой накаленной атмосферѣ воспринималось, как посягательство на крестьян-скую свободу, которую они, крестьянскіе партизаны, добывают себѣ в трудной борьбѣ «против золотопогонников». И нѣко-торые из них не без ехидства замѣчали, что «не слыхать у нас, чтобы в городѣ возстанія были», «бьемся мы — крестьянство и трудовое казачество».

Обѣ воюющія стороны — красные и бѣлые — не могли не считаться с существовавшими настроеніями. Одни старались использовать ненависть крестьянской массы к офицерам, дру-гіе — изображали большевиков поборниками сплошного коммунизма, при котором не только не будет частной собствен-ности, но и «жены будут общими». Ненависть к старому пере-силила отталкиваніе крестьянства от новой власти. Но только знаніе живой, противорѣчивой дѣйствительности, которым во-оружают нас художественныя произведенія тѣх лѣт, помогает понять, почему центральная власть насаждала при этих под-линно народных командирах своих политкомиссаров, почему

так часты были переходы от «красных» к «зеленым», сопровождавшіеся убійством политкомиссаров, почему, наконец, из этого перваго, столь многочисленнаго призыва народных командиров только очень немногіе (Пархоменко, Тимошенко, Буденный) попали на руководящіе посты в создававшейся тогда Красной Армии. Не будет преувеличеніем сказать, что шанс занять такой пост имѣли только тѣ из командиров, кто, как Щорс или Котовскій, готовы были итти на далеко идущій компромисс с центральной властью. Но за эту близость с Москвой вожди крестьянских отрядов платили дорогую цѣну: они теряли часть своей популярности в крестьянских массах (см. **Е. Герасимов** и **М. Эрлих** «Щорс», **В. Лебедев** «Командарм». 1941 г.).

Невѣрно представленіе о гражданской войнѣ, пущенное в ход в началѣ революціи, будто по одну сторону были рабоче-крестьянскія массы, а по другую — бѣлые офицеры с помѣщиками и буржуазіей (к которой была причислена и вся интеллигенція). Революціонная дѣйствительность была много сложнѣе, пестрѣе и богаче. Немало кадровых офицеров не только не примкнули к «бѣлым», но в тяжких для себя морально-политических условіях недовѣрія и террора активно помогали строить новую, молодую армію. Рѣчь идет при этом вовсе не об исключеніях, каким был, напримѣр, выдающійся офицер-революціонер Тухачевскій, а о многочисленной группѣ офицеров, т. н. «военспецов». Об участіи их в организаціи Красной Арміи до недавняго времени в совѣтской печати как то не принято было говорить. Но в художественной литературѣ мы встрѣчаем таких офицеров-кадровиков. Хотя они и зарисованы бѣгло, самое разнообразіе характеров свидѣтельствует о том, как много их было в живой дѣйствительности.

Одним из первых писателей такого офицера-кадровика набросал **Ю. Либединскій** в повѣсти «Комиссары». Правда, начальник курсов для политработников арміи Арефьев нынѣ сам коммунист. Но показать сумѣл писатель в Арефьевѣ только строевого офицера. Арефьев знает и любит свое дѣло, требователен к себѣ и своим подчиненным. Его конфликт с комиссарами-курсантами неизбѣжен: выдвинувшіеся в гражданской войнѣ, привыкшіе командовать, комиссары мало склонны внимать поученіям Арефьева, что только тот может быть хорошим начальником, кто сам в любой момент готов стать заурядным бойцом. Для нѣкоторых из этих комиссаров Арефьев — живое воплощеніе того, что «прошли наши дни, втираются к власти золотопогонники», «офицерня опять в чести». И тѣм не менѣе,

при поддержкѣ командующаго округом Власова Арефьеву удается обуздать «бузотеров».

Болѣе часто и в литературѣ, и в жизни можно было встрѣтить не Арефьева, а разновидность провинціальнаго армейскаго служаки, каким и является командир батальона Ковтуненко в повѣсти **С. Михайлова** «Бригадная роща» (1929 г.), описывающей быт Красной Арміи в період Нэпа. Участник русско-японской и германской войны, Ковтуненко кое-как перенес потрясенія гражданской войны, найдя под конец пристанище в одном из полков, расквартированных в провинціи. Никаких особых звѣзд Ковтуненко с неба не хватает, но дѣло свое знает и старым офицерским званіем «слегка гордится». Есть у него и своя завѣтная мечта: «повоевать за родную землю», хотя и знает он, что мечта эта «не созвучна эпохѣ» (повѣсть появилась в 1929 году, когда «родная земля» вовсе не была в фаворѣ!), когда надо «строить соціализм». Но что дѣлать, признается он, «снаряд ревет — слышу, а соціализма не слышу!»

Еще живучѣе оказался Лермонтовскій Максим Максимович, с подкупающей теплотой выведенный **Н. Тихоновым** в образѣ стараго полковника Ведерникова в разсказѣ «Бирюзовый полковник». Революціонная гроза застала Ведерникова на окраинѣ государства — в Туркменіи. Так как стойких и грамотных коммунистов в пустынѣ не оказалось, Ведерников не только обучает красноармейцев воинскому дѣлу, но не за страх, а за совѣсть преподает им и «политграмоту», которую сам он предварительно заучил наизусть. Позже начальство все-же отстранило его от этого, но единственно «за происхожденіе»: неудобно, мол, чтобы «такой крупный обломок стараго строя» преподавал политграмоту!

На этих второстепенных образах офицеров старой армии можно было бы не останавливаться, если бы художественныя новинки, посвященныя нынѣшней германо-совѣтской войнѣ не обнаружили, что офицеры старой арміи не только сражаются в Красной Арміи на многих отвѣтственных постах, но — может быть, впервые за истекшее 25-лѣтіе — признаны равноправными членами общества. Когда в пьесѣ **Конст. Симонова** «Русскіе люди» (1942 г.), один из коммунистов (позже оказавшійся шпіоном) пытается навести тѣнь на майора Васина за его «старорежимное прошлое», другой коммунист рѣзко останавливает его: «Старика обижать никому не позволю... А он, что-же, не наш, что-ли? Ты под столом ползал, когда он за то, что нѣмцев бил, три 'георгія' имѣл, понятно?».

За время нынѣшней войны не появилось почти ни одного сколько-нибудь замѣтнаго произведенія, в котором не фигурировал бы офицер старой арміи. В превосходных очерках **В. Гроссмана,** посвященных оборонѣ Сталинграда («Сталинград. Сентябрь 1942 — Январь 1943 г.»), среди героических защитников сражается артиллерійскій полковник Гуртьев, сухощавый 50-лѣтній человѣк, участвовавшій в качествѣ офицера в 1-ой мировой войнѣ. «28 лѣт своей жизни посвятил полковник военному дѣлу, воевал и учил командиров. Два сына его лейтенантами ушли на войну». В одну из особенно тревожных для Сталинграда ночей на командном пунктѣ Гуртьев случайно встрѣчает нѣсколькихъ друзей своей молодости, с которыми не видался больше 20 лѣт: «Двое из них командовали дивизіями, третій — танковой бригадой. Они обнялись, и всѣ кругом, начальники их штабов и ад'ютанты, и майоры из оперативнаго отдѣла, увидѣли слезы на глазах сѣдых людей. — Какая судьба, какая судьба! — говорили они». «И в самом дѣлѣ — замѣчает и сам взволнованный писатель — что-то величественное и трогательное было во встрѣчѣ друзей юности в грозный час, среди пылавших заводских корпусов и развалин Сталинграда. Видно, правильной дорогой шли они, если встрѣтились вновь при исполненіи высокаго и тяжелаго долга»*.

Хотя эта реабилитація офицеров старой арміи и ограничена личными заслугами отдѣльных офицеров, трудно не разслышать в приведенных отрывках отзвук больших сдвигов морально-политическаго порядка, происшедших в верхушкѣ Красной Арміи и, конечно, в рудоводящих кругах совѣтскаго общества. Было бы, однако, наивностью думать, что этот поворот — результат какой-то механической побѣды «правды» над «кривдой» или слѣдствіе борьбы самих офицеров. Подавляющее большинство из них, много передумав о старом и о новом, внутренно приблизившись к народу, политически пассивны, хотя и искренніе патріоты. Вот почему их сегодняшнее «признаніе» слѣдует расцѣнивать как **побочный продукт** болѣе глубокаго соціальнаго развитія. Нынѣшняя война, однако, несомнѣнно усилила **моральный резонанс** этого признанія, невольно оживив воспоминанія о 1-ой міровой войнѣ, заставив глубже вдуматься в позицію тѣх, кто в 1918 году так остро переживали сепаратный мир с Германіей. Раньше считалось признаком хорошаго тона, разсказывая о человѣкѣ старшаго

*) Гуртьев убит в началѣ августа 1943 года во время боев под Орлом.

поколѣнія, подчеркивать, что в войну 1914 года он был, конечно, **«пораженцем».** А теперь лучшей рекомендаціей и для командира, и для бойца является его активное участіе в войнѣ 14-го года. Вот только нѣсколько примѣров:

О нынѣшнем маршалѣ Георгіи Жуковѣ **В. Ставскій,** во «Фронтовых записках» (1942 г.) сообщает:«За 26 лѣт военной службы т. Жуков прошел всѣ ступени (не минуя ни одной) от рядового бойца до поста командующаго фронтом... С нѣмцами генерал арміи встрѣчается не впервые. Солдат-кавалерист в царской арміи, он участвовал в боях на германском фронтѣ в 1915-16 годах». Тоже самое писала «Красная Звѣзда» о маршалѣ Тимошенко. О генералѣ Панфиловѣ, погибшем геройской смертью, защищая подступы к Москвѣ, тот же Ставскій (сам коммунист!) пишет, что Панфилов погиб с возгласом: «Умираю за родину!» и что он в войнѣ 14 года был унтер-офицером, потом фельдфебелем и участвовал в боях против нѣмцев на юго-западном фронтѣ. Герой Совѣтскаго Союза полковник Некрасов, читаем мы в статьѣ «Извѣстій» (от 12-го сентября 1941 года), «принадлежит к плеядѣ старших командиров Красной Арміи. Ему 49 лѣт, он 23 года в большевистской партіи; в 1914-1916 году он дрался с нѣмцами под Лодзью, Вильно и Варшавой».

Всякій понимает, что количество участников 1-й міровой войны в сегодняшней Красной Арміи, даже среди командиров, не может быть велико. Но потребность связать нынѣшнюю войну с прошлой, **возстановить непрерывность развитія, взорванную Октябрьской революціей,** настолько сильна, что біографіи болѣе молодых командиров украшаются подлинными и вымышленными **«завѣщаніями»** отцов. Так, ненависть к нѣмцам завѣщал командиру Марку Близнюку его отец, вернувшійся из 1-ой міровой войны контуженным и вскорѣ умершій. «Теперь, став командиром, Марк Близнюк воевал за родину, он мстил за отцовскія раны и смерть» («Извѣстія», октябрь, 1941 г.). Полковник Гонтаренко (ему теперь 40 лѣт) ребенком случайно будто бы присутствовал при смерти легендарнаго «батьки» Боженко. За нѣсколько часов до смерти, разсказывает **К. Финн** в «Извѣстіях» (от 19-го сентября, 1941 г.), он будто бы разработал подробный план наступленія на нѣмцев в районѣ Коростеня, сказав: «Це, буде добрый план». План этот и собирается осуществить теперь полковник Гонтаренко. Но из болѣе ранних произведеній о гражданской войнѣ на Украинѣ извѣстно, что «батькѣ» перед кончиной было не до стратегических планов: он был отравлен и почему-то очень

стыдился, что «отравили як падло» и за нѣсколько часов до смерти он просил Щорса: «Только не кажи, що мене отравили, скажи, что умер батько от тифа» (см. «Щорс» **Е. Герасимова** и **М. Эрлих**). На фонѣ этих настроеній естественно и появленіе нового романа **Сергѣева-Ценскаго** «Брусиловскій прорыв» и очень сочувственные отклики критики, подчеркивающей, что Брусилов был «искренним, честным патріотом, иниціативным, рѣшительным военачальником» и, что нѣмецкое командованіе дорого заплатило, «недооцѣнив мощь русскаго оружія в 1916 году».

Пьесу, посвященную генералу Брусилову, написал и поэт **И. Сельвинскій** («Брусилов»). Она шла в истекшем весеннем сезонѣ в Ярославлѣ. Перекличка исторіи с современностью сознательно подчеркивается в письмѣ из Ярославля **Г. Фалковским** («Литература и Искусство», 8-го мая 1943 г.): «Наступленіе продолжается, — сказал полководец и глаза его загорѣлись веселым, боевым пылом. — Наступленіе продолжается. Ни шагу нѣмецкому звѣрю по русской землѣ! Коли умирать, так уж головой вперед!...». Не успѣли еще утихнуть аплодисментцы в залѣ — разсказывает Фалковскій — как на сцену вбѣжал взволнованный человѣк: «Товарищи! В послѣдній час... Наши войска заняли... И доброе громовое 'ура' раздалось в старом театрѣ». Многое в этом спектаклѣ — продолжает Фалковскій — злободневно: «Злободневность эта — в общем духѣ пьесы. Живая современность, которой насыщен спектакль, с особой силой заключена в центральном образѣ произведенія». Пріѣхавшіе с фронта и ѣдущіе на фронт командиры и бойцы «внимательно всматриваются в Брусилова (его играет П. Гайдебуров): Так вот он — выдающійся русскій генерал...».

Для пониманія процессов, происходящих внутри общества и Красной Арміи, необходимо знать, что начало всей этой переоцѣнки относится еще к первой половинѣ 30-х годов, когда в связи с появленіем «Замѣчаній» Сталина, Жданова и Кирова об учебниках русской исторіи (1934 г.) начался поход против «вульгарных соціологов», не умѣвших вселить любовь к родной исторіи. Тогда, между прочим, появился роман **А. Лебеденко** «Тяжелый дивизіон», встрѣченный очень сочувственно, в котором впервые за много лѣт сдѣлано отступленіе от принятаго в изображеніи войны 14-го года трафарета. Молодой офицер из студентов Андрей дѣлится в нем своими переживаніями во время войны. Пока русская армія отступала, Андрей почти потерял вѣру в силу своей страны и арміи. Он чувствовал, что разгром на фронтѣ приближает революцію,

которой в военной обстановкѣ он боится. Но когда начинается русское наступленіе, ему опять кажется, что еще возможен **«другой путь развитія»:** «Побѣда над тевтонами, братскій союз с великими демократіями и новая свѣтлая эра Россіи». Андрей вѣрит, что «руки побѣдоносной войны окажутся сильнѣе хрупких рук Софьи Перовской и дружба с Англіей выроет могилу восточному автократу. Медлительная исторія сама, без истерических террористов, сломит голову самодержавію».

Тогда же, очень осторожно, но все-таки ощутительно для читательскаго слуха, писатели, касаясь событій конца 1917 года, приступили к подбору новых героев тѣх драматических дней. Семен Котко в повѣсти **В. Катева** «Я сын трудового народа», солдат царской арміи, позже ставшій начальником крупнаго завода в Запорожьѣ, вовсе не бѣжал с фронта в 1917 году, а степенно дождался демобилизаціи и, вернувшись в родную украинскую деревню, стал во главѣ партизанскаго отряда, боровшагося против нѣмецкой оккупаціи. В серіи новых произведеній о гражданской войнѣ, появившихся в 1938 году (т. е. послѣ разстрѣла Тухачевскаго и др.), соціальный характер этой войны мѣстами совсѣм исчезает, уступая мѣсто борьбѣ против нѣмцев. Отсюда до утвержденія, что «в боях с нѣмецкими оккупантами родилась и окрѣпла Красная Армія» (см. статью «Рожденіе Красной Арміи» в «Красной Звѣздѣ» от 19-го февраля 1942 г.) — уже дѣйствительно недалеко.

В произведеніях, дѣйствіе которых развертывается там, гдѣ в 1919 году не было нѣмцев, подчеркивается мощь организаціи самой Красной Арміи, как арміи **русской.** Так, в романѣ молодого писателя **Аркадія Первенцева** «Над Кубанью» (1941 г.) на замѣчаніе ад'ютанта Романовскаго, что «вот большевики так дерутся удивительно», — генерал Деникин желчно отвѣчает: «Ничего удивительнаго, Иван Павлович, — русскіе люди». И автор тут же приводит апокрифическую характеристику Красной Арміи, данную Деникиным: «Я вижу, на нас наступает новая армія, каких еще не было в исторіи, армія, рѣшительнѣе армій Петра, Суворова, Кутузова и, к сожалѣнію, возсозданная большевиками».

Размѣры настоящего очерка не позволяют подробно остановиться на борьбѣ, которая велась на верхах Красной Арміи и закончилась кровавой чисткой 1937-1938 годов. Но нѣт сомнѣнія в том, что переход на рельсы **національной** идеологіи связан был с этой чисткой. Разстрѣл Тухачевскаго и других видных руководителей Красной Арміи означал одновременно коренной поворот во всем идейно-политическом воспитаніи ар-

міи, разрыв с революціонно-демократическим духом, господствовавшим в ней до середины 30-х годов. Неудачи в Финской войнѣ 1939-1940 г.г. подсказали растерявшимся руководителям Красной Арміи необходимость дальнѣйшей и еще болѣе углубленной переоріентаціи. Что это так, убѣждает нас изученіе военной публицистики за год, предшествовавшій началу германо-совѣтской войны.

В статьѣ «Герои 1940 года» **П. Корзинкин** («Красная Звѣзда» от 1-го января 1941 года) пишет: «Минувшій год, впервые по настоящему поставив перед современной Красной Арміей проблему серьезной войны, значительно обогатил наш боевой опыт. Из этого опыта Красная Армія сдѣлала далеко идущіе выводы. Вмѣстѣ с тѣм необходимо отмѣтить еще одно обстоятельство — в 1940 году в нашем обиходѣ появилось новое выраженіе — 'Герой и Маршал Совѣтскаго Союза'. Сочетаніе этих слов знаменует собою высшую ступень совѣтскаго героизма — отвагу, соединенную с умѣніем. Именно этого требует от героев Сталин. Таким полководцем, сочетающим в себѣ отвагу и умѣнье, является народный комиссар обороны т. С. К. Тимошенко». Так, «Красная Звѣзда», бывшая в это время органом Тимошенко и его реформ, дипломатически намекала на тогда уже готовившуюся опалу маршалов Буденнаго и Ворошилова.

Так как это был період оккупаціи Красной Арміей прибалтійских стран, то в «Отдѣлѣ пропагандиста» усиленно внѣдрялась мысль, что Красная Армія со дня своего возникновенія была задумана, как армія «наступательной стратегіи» и что она по самой своей природѣ является **«самой наступательной арміей в мірѣ».**

Особенно поучительны и интересны в этом органѣ были статьи **Г. Невскаго** «Мысли о военном воспитаніи». В этой серіи автор умѣло подводит читателей к мысли, что сила всякой арміи не только в техникѣ, в обученіи и в вооруженіи, но в идейном воспитаніи бойцов. В этой области в Красной Арміи много недостатков. Давно пора — говорит Невскій — начать культивировать в каждом отдѣльном полку его «боевыя традиціи», которые должны говорить командирам и бойцам не только о былой славѣ их полка, но и быть живым напоминаніем их обязанностей перед лицом этой славы. Много мѣр, примѣнявшихся в старой арміи, полезно воскресить и в Красной Арміи. Нужно очистить **отданіе чести** командиру от того привкуса, который оно пріобрѣло в началѣ революціи. Нужно понять, что отданіе чести — не «холуйство», а выраженіе

законнаго уваженія к своему командиру. Возстановить надо и такое старое понятіе, как **«честь мундира»,** наполнив его тѣм содержимым, которое ему было присуще вначалѣ. Словом, если капитан Рощин из упомянутаго в началѣ романа А. Толстого еще жив, он не раз, читая статьи Невскаго, шептал про себя: «нынѣ отпущаеши».

На одной мысли Невскаго нужно остановиться особо. В полках старой арміи существовал кое гдѣ обычай на вечерней повѣркѣ вызывать имя погибшаго героя, служившаго в этом полку и своим геройством прославившаго свой полк. Этот обычай надо было бы ввести и в полках Красной Арміи, распространив его и на живых героев полка. Представьте себе — говорит Невскій — полк, гдѣ служил в молодости Тимошенко. Идет вечерняя перекличка и вызывают «красноармейца Семена Тимошенко» и полк хором отвѣчает: «Служит Совѣтскому Союзу Героем Маршалом и Народным Комиссаром Обороны». — Что-ж, обычай сам по себѣ вовсе не плох, но сколько героев, позже разстрѣлянных или оклеветанных как **«враги** народа», служили в первых полках молодой Красной Арміи, заработав ей славу!...

Именно невозможность в условіях совѣтской дѣйствительности создать прочную спайку на **живой исторіи** Красной Арміи, на революціонном прошлом и настоящем, и толкнула мысль официальных идеологов в сторону сугубаго почитанія «національных героев русской исторіи». Уж кто-кто, а Александр Невскій, Дмитрій Донской, Суворов и Кутузов — не подведут!

Не надо все-же преувеличивать размѣры популярности этих героев прошлаго ни внутри Красной Арміи, ни в самом обществѣ. Из мимолетно оброненных замѣчаній по поводу исторических пьес или повѣстей чувствуешь, что тематика эта и, особенно, усердіе не по разуму, проявляемое литературными дядьками, мало трогают командиров. Живые и энергичные — они интересуются не столько прошлым, сколько своим настоящим. И тут надо сказать, что многое в осуществленной реформѣ Красной Арміи пришлось им по сердцу. Реформа 1940 года и связанныя с ней новшества несомнѣнно способствовали росту офицерскаго самосознанія. Это сказалось не сразу. Сперва неудачи перваго военнаго года, большая тревога за судьбу самой страны одним мощным порывом, казалось, развѣяли всю «проблематику» реформы, высвободив и обнажив глубинный патріотизм, присущій каждому здоровому народу.

В сегодняшней Красной Арміи имѣются двѣ разных возрастных группы командиров. Самые старшіе среди них выдви-

нулись еще во время гражданской войны и были позже посланы в спеціальныя военно-учебныя заведенія или в Военную Академію. С ними тѣсно связаны командиры, пришедшіе в Красную Армію послѣ окончанія гражданской войны, оставшіеся в ней и позже командированные в высшія учебныя заведенія.

Эта старшая группа командиров в большинствѣ своем крестьянскаго происхожденія. Таков командир прославившейся под Москвой Панфиловской Гвардейской дивизіи Утвенко — «сын машиниста локомобиля, батраковавшій с малых лѣт — чуть в штаны влѣз» («Фронтовыя записки» **В. Ставскаго**). Такова же біографія генерала Мерецкова, полковника Бондарева — защитника Ленинграда, генерала из Донских казаков Курносова, командиров Батлуковых (см. **Б. Галин** «Бог войны», 1942 г.) и многих других, чьи краткія біографіи встрѣчаются в «Извѣстіях» и в «Правдѣ» и частью используются писателями для их очерков и разсказов.

Для самочувствія этих старших командиров характерно, что они помнят о своем крестьянском происхожденіи и немного гордятся этим. Это хорошо подмѣчено **В. Гроссманом** в повѣсти «Народ безсмертен»: дивизіонный комиссар Чередниченко любил появляться в театрѣ с пріѣхавшей к нему в гости старухой-матерью из деревни и слышать почтительный шопот людей позади: «это — его мать».

Командиры из **рабочих** — болѣе рѣдкое явленіе. Старшіе среди них молодыми парнями ушли в Красную Армію и послѣ окончанія гражданской войны получили военное образованіе в артиллерійских школах, как напримѣр полковник Грачев у **В. Ставскаго** («Фронтовыя записки»). Командиры из рабочих относительно чаще встрѣчаются в авіаціи. Послужной список таких командиров из рабочих приблизительно таков : работал на заводѣ или на шахтѣ, послан был в аэроклуб, гдѣ обнаружил способности и был командирован в лётную школу (см. краткія свѣдѣнія о Героѣ Совѣтскаго Союза ст. лейтенантѣ Мошковском в «Извѣстіях» от 12-го сентября 1941 г.).

Младшее поколѣніе командиров, из котораго в ходѣ войны многіе уже, конечно, продвинулись и на болѣе высокіе посты, в подавляющем большинствѣ **дѣти совѣтской интеллигенціи,** т. е. дѣти инженеров, директоров, военных, педагогов **и т. д.** Они выросли в городѣ и до войны крестьянскую Россію знали мало. Типичны в этом смыслѣ лейтенант Костя Мирович, сын одного из руководителей промышленности, и Алеша Смагин, сын профессора, в романѣ **Ю. Либединскаго** «Гвардейцы» (1943 года), лейтенант гвардіи Сережа Горлов в пьесѣ **А. Корнейчука**

«Фронт» (1942 г.), лейтенант Тимофей Трунов — сын военнаго в романѣ **А. Первенцева** «Испытаніе».

Среди этой группы молодежи имѣются, конечно, и дѣти крестьян. Один из них зарисован В. Ставским в его «Фронтовых Записях»: лейтенант Бутко о себѣ разсказывает, что до войны он «жил на хлѣбах у отца-колхозника из под Кіева, учился в средней школѣ, учился в военном училищѣ». Но самочувствіе этих молодых командиров крестьянскаго происхожденія отлично от міроощущенія их старших родичей. Тонко передано это Ю. Лебединским в упомянутом романѣ «Гвардейцы». Старшій лейтенант Велигур в минуту откровенности признался своим товарищам по батареѣ, что до недавняго времени он не находил общего языка с ними, и для примѣра привел свои отношенія с Алешей Смагиным. «Отец его (т. е. Смагина) — знаменитый профессор математики. Алексѣй — комсомолец, как и я. Но никто у нас в батареѣ не был дальше от меня, чѣм он. Я пас скотину, а он бѣгал в школу. Я добрался до трактора, а он кончил среднюю школу. Он учился в университетѣ, а я работал на тяжелых молотах у жарких печей. 'Баловень ты' — так думал я о нем». И тѣ же мысли бродили в головѣ Велигура, когда он глядѣл на других товарищей — младших лейтенантов, ему казалось, что «меж собой или со своими бойкими городскими дѣвушками смѣются они надо мной. Есть-де у нас командир батареи товарищ Велигур — чушка с глазами».

На пространствѣ всего нѣсколькихъ строчек здѣсь много сказано. Дѣтям совѣтской интеллигенціи конца 30-х годов дѣйствительно жилось неплохо. И искренно вырвалось у Алексѣя Смагина, когда он приглядѣлся к жизни на фронтѣ, что он и ему подобные раньше «жили, как дѣти в саду». Этому третьему поколѣнію, революціи, особенно его привилегированному слою, жилось много легче, чѣм их отцам и чѣм жилось их сверстникам — крестьянской и рабочей молодежи. **Рѣчь** здѣсь идет вовсе не об одной лишь матерьяльной сторонѣ жизни. Рѣчь идет об общей атмосферѣ. Она хороша передана **Р. Фраерманом** в повѣсти «Дикая собака Динго или повѣсть о первой любви» (1939 г.) и **Арк. Гайдаром** в «Военной тайнѣ». Послѣ годов лишеній революція в их ощущеніи наконец перевалила через какой-то таинственный «Урал», послѣ котораго уже невозможно повтореніе прежних испытаній и перед страной открываются перспективы быстраго под'ема. Стал налаживаться быт, окрѣпла семья, в воздухѣ повѣяло первыми признаками новаго упрочивающагося порядка...

И вот грянула большая война с ее первым страшным,

«незабываемым» годом. Перед молодыми командирами встала страна в огнѣ пожарищ и разрушеній. Огонь пожирал не только прекрасные дворцы труда и красивые клубы, а великое множество бѣдных изб, — нищую, крестьянскую Россію. Та страна, которая открылась перед ними на дорогах войны, **выжгла** в их душѣ слѣд на всю жизнь. Лучше других всю горячую сумятицу ощущеній от встрѣчи с этой страной на горькой дорогѣ отступленія выразил молодой поэт из военных **Конст. Симонов:**

«Не знаю как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и пѣснею женскою
Впервые война на проселках свела».

Эти же настроенія хорошо передают многіе военные стихи **А. Суркова** (особенно его «Письма в далекое», «Ключи к сердцу»), «Стихи о Россіи» **Н. Рыленкова,** «Русскіе мы» **А. Яшина.**

Та привязанность к странѣ, которая родилась в душѣ молодых командиров на войнѣ, не имѣет ничего общаго ни с сусальной совѣтской романтикой, которая была им свойственна прежде, ни с шумным «совѣтским патріотизмом», о котором так много говорит совѣтская печать. Сурков, повидимому, совершенно вѣрно улавливает состояніе «солдатской души», когда говорит:

«Когда снѣга багрились кровью ало,
С души солдатской — что таить грѣха! —
Как мертвый лист по осени, упала
Красивых слов сухая шелуха.
— — — — — — — — — — — — — — —
На сквознякѣ больших событій стоя,
В звѣзду свою повѣрив до конца,
Лишь слово правды, честное, простое,
Готовы мы принять в свои сердца...».

Официальные идеологи знают об этих настроеніях. Пока положеніе на фронтѣ оставалось тяжелым, они не препятствовали выявленію этих настроеній и даже покровительствовали им. Об этом свидѣтельствует самый факт опубликованія в «Правдѣ» такой остро-злободневной пьесы, как **«Фронт» А. Корнейчука,** в которой Сережа Горлов, гвардіи лейтенант, отказывается выпить за здоровье своего отца, командующаго фронтом, потому что он оказался бездарным руководителем, «недалеким человѣком». Всю пылкую потребность юности в

преклоненіи сосредоточивает Сережа на молодом генералѣ Огневѣ, который еще в ходѣ самой пьесы назначается на пост командующаго фронтом. Глубину чувств Сережи к Огневу улавливаешь не столько из пьесы, сколько из отзывов о постановкѣ «Фронта» на сценѣ Малаго Театра в Москвѣ. Роль Сережи играл дебютант — студент Театральнаго Училища К. Назаров. Впечатлѣніе от его игры по отзыву «Литературы и Искусства» было громадно: «Он создал образ покоряющаго обаянія. В нем есть нѣчто от романтической чистоты Петра Ростова. Он трогательно обожает Огнева. Его безпомощность и невольная откровенность в момент опьяненія полны юношеской непосредственности».

Не надо сюсюкать о Сережѣ: он и ему подобные больше не дѣти и не юноши. Встрѣча со страной в обстановкѣ войны их сразу сдѣлала взрослыми; у них свои суровыя наблюденія и мысли.

В этой связи интересно отмѣтить, что в сознаніи значительной части молодого поколѣнія Красной Арміи вопрос о союзниках, о «втором фрнтѣ» не имѣет, повидимому, того значенія, о котором пишут, кажется, всѣ корреспонденты, посѣтившіе Совѣтскій Союз. И это, может быть, понятно: молодое поколѣніе выросло в представленіи о Совѣтском Союзѣ, как о замкнутом мірѣ, как о мірѣ **«в себѣ»;** ему чужды, поэтому, традиціи «европеизма», в которых культурно росли предыдущія поколѣнія... Оно восприняло поэтому нынѣшнюю войну лишь как большую **народную** войну, в которой на их долю выпала обязанность отстоять свою страну, и они мало разсчитывают на «чужого дядю». Эти настроенія нашли свое **отраженіе в** новом романѣ **М. Шолохова** «Они сражались за родину» — в разсужденіях лейтенанта Лопахина.

Но это только одна из характерных психологических черточек, которая неизбѣжно стирается в водоворотѣ войны. И дѣйствительныя настроенія основной массы командиров отражены, повидимому, вѣрно в Новогодней статьѣ **полковника Е. Болтина** «На переломѣ» («Извѣстія», 31 декабря 1941 г.): «Можно быть увѣренным, что союз трех великих держав — СССР, Англіи и Соед. Штатов — будет крѣпнуть и развиваться. Нѣт сейчас на нашей землѣ ни одного человѣка, который не понимал бы, как важен этот союз для ускоренія побѣды, и не посылал бы мысленно лучших пожеланій к Новому Году дружественным народам Великобританіи и Америки»...

В. Александрова.

ОТРАЖЕНІЯ ВОЙНЫ

(В совѣтском тылу).

Проблемы тыла естественно стоят в центрѣ русской жизни. Без мобилизаціи усилій тылового населенія невозможно было бы понять патріотическое настроеніе страны и обнаруживаемую ею и властью способность к отпору германскому нашествію и к столь удачно развивающемуся переходу Россіи от обороны к наступленію. Даже органам офиціальной печати, часто «без души, без внутренняго горѣнія» («Правда», 5 мая 1943 г.) удается в извѣстной мѣрѣ отразить под'ем энергіи тыла. Наряду с этим отмѣчая в порядкѣ дозволенной самокритики трудности и отрицательныя явленія, к сожалѣнію очень обильныя, совѣтская печать подает их в таком видѣ, что они почти не попадают в поле зрѣнія читателя. Таким образом, от читателей ускользает общественное значеніе той критической работы, которая разрѣшена в СССР. Я полагаю поэтому, что иду навстрѣчу потребности в познаніи русской дѣйствительности, отбирая этот критическій матеріал, — разумѣется, никак не для того, чтобы отрицать наличіе «свѣта» или чтобы нагромождать «тѣни», а для того, чтобы правильнѣе распредѣлялись и свѣт, и тѣни.

1.

О политработѣ в тылу много пишут. Но каково содержаніе этой работы? Что вообще понимают на Руси в годы войны под политической работой? Как раз в теченіе лѣтних мѣсяцев 1943 года прошла сессія Обкомов (Областных Комитетов партіи), которые вѣдают этой политработой. Вопросы политической агитаціи стояли там в центрѣ вниманія. Несмотря на войну, на усиленныя мобилизаціи, на нехватку рабочих рук, — на агитацію, на политработу безостановочно направляются десятки тысяч людей, — притом, вѣроятно, людей активных, выносливых, может быть, молодых. Вот, напр., в Чкаловской области в зонѣ обслуживанія 80-ти МТС (машинно-тракторных станцій) числится 7172 агитатора («Правда», 7 мая 1943 г.). В Архангельскѣ имѣется 881 агитколлектив с болѣе чѣм 10.000

агитаторов («Правда», 1 авг. 1943 г.). Из Воронежской области пишут, что агитаторов — «энтузіастов своего дѣла» повсюду разсыпано немало («Правда», 28 іюля 1943). Политработа проводится не только в видѣ ударнаго заданія, вспышками и спеціальными кампаніями, — но систематически, повсемѣстно и настойчиво. Если гдѣ-нибудь наблюдаются перебои и политработа не ведется надлежащими темпами: «лекторіи» не функціонируют, «бесѣдчики» не ведут бесѣд, агитаторы не агитируют, руководящіе товарищи «самоустраняются», тогда в печати начинают пробирать нерадивых за отступничество, за нарушеніе «директив партіи» со всѣми вытекающими отсюда организаціонными и политвыводами. И как раз за послѣдніе мѣсяцы такія нареканія становятся буквально бытовым явленіем.

Но что такое, собственно, представляет собою эта загадочная политработа в СССР? Вот в Москвѣ на сессіи Обкома предсѣдатель Исполкома Моск. Совѣта Пронин, «говоря о политической работѣ», разсказывает о ходѣ соцсоревнованія в районѣ, о дровозаготовках и т. п. («Правда», 14 іюля 1943). По Чкаловской области жалуются, именно в связи с вопросом о политработѣ, на невыполненіе плана хлѣбозаготовок, отставшаго на 48%, и на скверную работу Политсектора Земельнаго отдѣла («Правда», 7 мая 1943). Порой может показаться, что под политической работой надо понимать все, — кромѣ политики. Всѣ острые вопросы хозяйственной жизни должны на себѣ сосредоточить усиліе тылового населенія, рабочих и крестьян в первую очередь, — и эти задачи покрываются понятіем политработы. Тысячи и десятки тысяч партійцев и комсомольцев, запряженных в машину политагитаціи, призваны подгонять и наблюдать за выполненіем населеніем деревень и городов их повинностей государству — левіафану.

Однако, с войной пришлось дать расширительное толкованіе политработѣ. Если хотите, можно сказать (не противорѣча предыдущему), что политика — это все. Вся русская жизнь как бы снова начинает всходить на дрожжах политики. Даже проблемы быта, устроенія тыловаго населенія, обзпеченія его элементарных нужд, как и нужд несчастнаго бѣженскаго населенія, — воспринимаются сейчас в плоскости общественно-политической. В первый період войны забвеніе острых бытовых нужд — откликается на эти настроенія передовая «Правды» от 18 іюня 1943 года, — об'яснялось тѣм, что всѣ были «заняты, будто бы, обезпеченіем нужд фронта». Но «подобныя ссылки на войну давно разоблачены, как несостоятельныя», — пишет

«Правда». И с каждым днем все становятся отчетливѣе требованія чисто-политическаго характера. Идет великая война. Россія несет в этой войнѣ тягчайшія жертвы. Россія связала свою судьбу в ней с великими демократіями мира. В этих условіях страной изжита атмосфера искусственной автаркіи, в которой ее выдерживали два десятилѣтія. Ею преодолѣна эпоха совѣтскаго изоляціонизма.

В печати то и дѣло раздаются жалобы, главным образом, из деревни, и всѣ в одном направленіи: «Уровень политработы остается низким. Во многих деревнях слабо поставлена политическая информація. Колхозники с большим опозданіем узнают о важнѣйших событіях на фронтѣ, о важнѣйших рѣшеніях партіи и правительства» («Правда», 31 іюля 1943 г.). «Политинформація сельскаго населенія поставлена неудовлетворительно» — пишут из Архангельска («Пр.» 1 авг. 1943 г.). Упадок политработы, разумѣется, сопровождается вообще оскудѣніем всякой культурно-просвѣтительной дѣятельности. В корреспонденціи из Челябинской области («Пр., 20 мая) газета приводит весьма выразительный діалог, имѣвшій мѣсто на совѣщаніи Обкома с представителем колхоза имени Ленина: «— Собранія колхозников у вас бывают? — Давно не было. — Бесѣды по вопросам международнаго положенія у вас провозятся? — Давно не было. — Лекціи в колхозѣ бывают? — Нѣт. — Вечера художественной самодѣятельности устраиваете? — Ни одного. — Учеба у вас проводится? — Нѣт». Тот же «поверхностный подход к дѣлу» (?) клеймит «Правда» и в отношеніи рабочих. «С рабочими по настоящему не бесѣдуют, не задѣвают их за живое», — отмѣчает газета (от 10 апр. 1943), прибавляя весьма существенную подробность: «сторонятся прямых, откровенных разговоров и коммунисты» (а вѣдь из их среды, конечно, рекрутируется многотысячная армія агитаторов), и это несмотря на войну, атмосферу роста патріотических и оборонческих настроеній.

Упадок коммунистическаго воздѣйствія отражается и в том фактѣ, что совѣтская печать просто не доходит до населенія, в лучшем случаѣ достигая только самаго верхняго слоя начальствующих лиц. Об отсутствіи такого «важнаго рычага массовой политической работы, как газета» пищут со всѣх сторон. В селѣ Горки, Куйбышевской обл., напр., получаются 2 экз. «Правды» и 1 — «Извѣстій»: «читает их очень узкій круг лиц» («Пр.» 13 авг. 1943). «Правленіе артели выписывает 1 экз. газеты — читаем мы в другом мѣстѣ. («Пр.», 28 іюля 1943). — Письмоносец вручает ее лично предсѣдателю колхоза. Тот

кладет ее в карман, а через час от газеты остается одно воспоминаніе: она пошла на самокрутки». Но вот в Воронежской обл. Райком имѣет больше газет, а именно: 75 экз. «Правды», 65 экз. «Извѣстій» и 200 экз. областной газеты «Коммунист». Однако в деревню не доходит почти ничего, — добавляет корреспондент («Правда», 28 іюля 1943). И «Правда» же в другом случаѣ, говоря о политработѣ в деревнѣ, вновь подчеркивает и обобщает этот факт: «До низовых агитаторов и до колхозников не доходят центральныя и даже областныя газеты» (31 іюля 1943). Почему же не читают газет во глубинѣ Россіи? Даже сейчас во время войны? Почему этот «важный рычаг политработы» не дѣйствует? «Правда» в спеціальной статьѣ справедливо бичует чрезвычайно низкій уровень совѣтской печати: сѣрый матеріал, который никого не волнует, не трогает, газетные штампы, трафарет, скуку и темы, неинтересныя для читателя (1 іюля 1943). «Правда» критикует мѣстныя провинціальныя изданія. Но, разумѣется, московской газетѣ не пришло и в голову «оборотиться на себя».

2.

Давно уже извѣстно, что связи партіи в деревнѣ не велики. Но, повидимому, теперь их стало еще меньше. На пленумѣ горьковскаго Обкома («Пр.» 30 іюля 1943) констатировали слабый наплыв, приток членов партіи. Хорош «наплыв»: Тоншаевскій райком зачислил 9 человѣк в партію. И потом: «совершенно не выросло за время войны число колхозных парторганизацій». В Уфѣ на пленумѣ Обкома тоже разсказывали о кризисѣ парторганизаціи. Оказывается, что из 60 с лишним районов только в 21-ом районѣ и то по одному разу в теченіе года состоялись собранія партактива («Пр.», 28 іюня 1943). Из Чкаловской области подводят итоги за год по росту партіи: 519 парторганизацій приняли в кандидаты партіи 637 человѣк, т. е. примѣрно 1 и одна треть члена партіи по каждой организаціи в среднем («Пр.», 7 мая 1943). Неудивительно, что партійцы-коммунисты постоянно одергиваются из центра. «Пр.» то и дѣло пишет то «о вопіющей распущенности коммунистов» (от 16 мая 1943), то о коммунистах, как о «людях, потерявших чувство отвѣтственности» (от 3 іюня 1943). Болѣе того, иногда от отдѣльных эпизодов «Правда» переходит к обобщеніям. Очень любопытно в этом смыслѣ привести характеристику атмосферы, царящей в партійной организаціи Сталинска. Там давно уже наблюдается развал: имѣло мѣсто уже вмѣшатель-

ство центра, выговоры и пр. Но секретарь попрежнему на посту, «критика не в почетѣ», — болѣе того, на собраніях «никто не посмѣл критиковать», — отмѣчает «Правда» (14 іюня 1943)...

Выйдем за предѣлы парторганизаціи и попытаемся понять, что происходит в быту и города и деревни.

Вот ряд тревожных сообщеній из деревни. Из Татарской АССР сообщают, что за время войны в 3884 колхозах смѣнились 3000 предсѣдателей правленій. Чехарда захватила также МТС, — там смѣнилось больше 80 директоров, и районные земельные отдѣлы, — там смѣнилось 65 завѣдующих. Как правило, никто не засиживается болѣе года («Пр.», 31 мая 1943). Такая же чехарда наблюдается и в Чкаловской области. Там за год в 1.128 колхозах смѣнилось 800 предсѣдателей («Пр.», 7 мая 1943). Можно себѣ представить, как эта лихорадка руководства отражается не только на хлѣбозаготовках, но и на всей работѣ колхозов. Из Болотинскаго района Новосибирской обл. сообщают о «безпризорных» комбайнах: «их много разбросано на полях еще с прошлаго года» («Пр.», 7 іюня 1943). О том же пишут из Куйбышевской области: на 1 іюня из нѣсколькиx тысяч комбайнов, подлежащих ремонту, был подготовлен всего 61 («Пр.», 10 іюня). Еще болѣе безнадежную картину рисует сообщеніе из Ульяновской области: «комбайны присланы 5 лѣт назад, в дѣло не пошли, брошенные, заростают лопухом, покрываются ржавчиной» («Пр.» 19 іюня). Это — непосредственныя послѣдствія предсѣдательской «чехарды». В чем, собственно, причина этой смѣны? Почему до сих пор еще не могли наладиться и осѣсть на мѣстах кадры мѣстных людей? Будет ли правильно отнести эти явленія исключительно за счет войны, мобилизацій и пр? Вѣроятно, дѣйствуют и другія обстоятельства, и не только «безхозяйственность и безрукость». В одном случаѣ «Правда» в передовой, посвященной колхозам, опредѣленно говорит, что «предсѣдатели колхозов, придерживающіе хлѣб, становятся на антигосударственный путь» (12 авг. 1943), — не здѣсь ли заключается об'ясненіе главной причины предсѣдательской чехарды? Если в прошлом году не раз обвиняли предсѣдателей в «антигосударственных» тенденціях за то, что они возбуждали вредные вопросы о сѣменной помощи крестьянам, и это вызывало их смѣну, — то сейчас не лежит ли причина в естественном стремленіи колхозов обезпечить какой нибудь минимум хлѣба на мѣстѣ, потребный для прокормленія крестьян? «Правда» щедро одѣляет предсѣдателей комплиментами: они и «универсалы», они — дошли «до уровня умственных работников» и

т. д., но стоит кому-нибудь проявить строптивость, обнаружить самостоятельность, — стоит заговорить о голодѣ, — как начинает работать машина репрессіи. Голод — это самая острая тема совѣтскаго тыла. Между тѣм «Правда» сама не раз протестовала против той лакировки дѣйствительности, которая так часто звучит в отчетах с мѣст. Перед нами дефилируют без конца коммунисты — «зазнаки», «вельможи, не терпящіе критики», бюрократы, «горе-руководители» и т. д. Вот, нѣсколько иллюстрацій к характеристикѣ быта.

Сообщеніе из Новосибирска, интересное еще потому, что из него мы кое-что узнаем о положеніи эвакуированных. В Нарымѣ построили для эвакуированных в Новосибирск 2300 4-х и 8-ми квартирных домов. Их надо было транспортировать по Оби. Половина домов, наконец была доставлена в Сибирь, но «ни один дом не был поставлен, многіе десятки тысяч метров готовой жилой площади были при разливѣ Оби унесены в океан, а часть домов растащена на дрова» («Пр.» 18 іюня 1943). Из Красноярска пишут о длинных очередях у хлѣбных магазинов, причем «качество хлѣба также оставляет желать много лучшаго». «В продажѣ нѣт ни зубного порошка, ни сапожнаго крема, ни уксуса, ни спичек, ни тяпок, ни лопат» («Пр.», 13 іюня): «нѣт ни одной коммунальной прачешной; сократилось число починочных мастерских: в городѣ невозможно починить одежду, отремонтировать обувь» («Пр.», 18 іюня). На текстильной фабрикѣ в Киргизской области («Пр.», 7 іюня 1943) существует столовая для рабочих. Питаніе скверное, «Директор говорит: — Что мы можем сдѣлать? Если бы в суп добавить немного молока и зеленаго лука, получилось бы превосходное блюдо. — В чем же дѣло? — Ничего этого у нас нѣт. Создать такое хозяйство, чтобы у нас было и молоко, и мясо, и лук мы не в силах...». И секретарь партбюро вторит директору: «мы не в силах разрѣшить бытовые вопросы, особенно вопросы, связанные с питаніем». Товарный голод сливается в тылу с голодом продовольственным». В условіях голода несет тыловое населеніе свою героическую долю в великой войнѣ с нѣмецким нашествіем.

Григорій Аронсон.

П. Н. МИЛЮКОВ КАК ИСТОРИК

Если бы не та огромная роль, которую П. Н. Милюков сыграл в общественно-политической жизни Россіи, я бы начал этот краткій очерк, посвященный Милюкову-историку, с сожалѣнія о том, что политика отняла его у исторической науки. Впрочем, я должен сразу же оговориться: «отняла» в данном случаѣ не совсѣм точное слово. Всѣ мы знаем, что на протяженіи всей своей жизни П. Н. не только сохранил интерес к проблемам русской исторіи, не только не переставал пристально слѣдить за исторической литературой, но и сам продолжал время от времени печатать работы на историческія темы. И все же едва ли можно оспаривать утвержденіе, что его основной вклад в русскую историческую науку был сдѣлан в болѣе ранніе годы его жизни, до революціи 1905 года, когда он только что начинал свою политическую дѣятельность. Именно тогда было сдѣлано Милюковым-историком то, что обезпечивает ему прочное и почетное мѣсто в русской исторіографіи: были написаны тѣ работы, на основаніи которых и приходится, в первую очередь, судить о нем как об историкѣ.

Достаточно привести простую библіографическую справку, чтобы устранить возможность каких-либо сомнѣній по этому поводу. Вот в каком порядкѣ появились в свѣт основныя историческія работы Милюкова:

1892 — «Государственное хозяйство Россіи и реформа Петра Великаго».
1892 — «Спорные вопросы финансовой исторіи Московскаго государства».
1896 — «Очерки по исторіи русской культуры», часть I-я.
1897 — «Главныя теченія русской исторической мысли».
1897 — II-я часть «Очерков».
1901 — III-ья часть «Очерков», выпуск I-й.
1902 — «Из исторіи русской интеллигенціи».
1903 — III-ья часть «Очерков», выпуск II-й.

На этом перечнѣ дат и названій стоит остановиться, так как он уже сам по себѣ проливает свѣт на нѣкоторыя основныя особенности Милюкова как историка. Поражает прежде всего необыкновенная насыщенность этого періода в литера-

турно-научной работѣ Милюкова. На протяженіи всего лишь одного десятилѣтія опубликован ряд капитальных работ, подготовка и написаніе которых могли бы занять цѣлую жизнь у иного историка. Это поистинѣ исключительный примѣр огромной творческой силы и трудоспособности. Поражает затѣм факт ранняго созрѣванія Милюкова как историка. В началѣ этого «замѣчательнаго десятилѣтія» Милюкову было всего 33 года. Всего каких-нибудь десять лѣт отдѣляли его от окончанія университета. И за этот короткій срок Милюкову удалось овладѣть своим предметом и стать одним из безспорных мастеров русской исторической науки. В десять лѣт им был накоплен огромный фактическій матеріал, была в совершенствѣ усвоена техника историческаго изслѣдованія, был выработан свой особый стиль историческаго письма, формулированы принципы общей исторической теоріи и продумана общая схема русскаго историческаго развитія. Я не думаю, чтобы в исторіи исторической науки можно было подыскать много примѣров столь же быстраго научнаго созрѣванія.

Милюков начал свою научную работу с монографических изслѣдованій строго документальнаго характера. Не только «Спорные вопросы финансовой исторіи Московскаго государства», по самому содержанію своему работа спеціальная и техническая, но и «Государственное хозяйство Россіи», посвященное одному из основных переломных моментов русской исторіи, написаны в духѣ суроваго самоограниченія, в духѣ своего рода научной «аскезы». Достаточно прочесть небольшое заключеніе к послѣдней из названных работ, чтобы увидѣть, с какой осторожностью и как скупо намѣчает Милюков свои общіе выводы о характерѣ Петровской реформы. О высоких научных достоинствах диссертаціи Милюкова и «Спорных вопросов» я здѣсь распространяться не буду. Они уже давно установлены компетентной критикой и являются общепризнанными. Для меня сейчас интереснѣе и значительнѣе другое — то, что от этих строго монографических изслѣдованій Милюков немедленно же перешел к работам обобщающаго характера. Здѣсь мы опять встрѣчаемся с явленіем рѣдким не только в русской, но и во всеобщей историографіи. Очень часто, в сущности в огромном большинствѣ случаев, этот переход от историческаго анализа к историческому синтезу не происходит вовсе: работы широко синтетическаго характера в исторической литературѣ наперечет. А когда этот переход и происходит, то бывает это обычно на болѣе поздних этапах научнаго пути. Милюков, с его так рано проявившейся тягой к историческому

синтезу, в этом смыслѣ представляет собою исключеніе из общаго правила.

Здѣсь сказался прежде всего соціологическій уклон его исторических интересов. Не забудем, что его научные взгляды слагались в концѣ 70-х и в 80-ые годы прошлаго столѣтія — во время повышеннаго интереса к соціологіи, наукѣ тогда еще молодой и открывавшей новые горизонты. Вспомним и то, что во введеніи к «Очеркам по исторіи русской культуры» Милюков сам называет Конта и Спенсера своими учителями. Думаю, что в развитіи научных интересов Милюкова сыграло свою роль и еще другое побужденіе: стремленіе связать исторію с современностью. В работѣ над «Очерками» Милюков перешел от безстрастнаго изученія технических проблем административной и финансовой исторіи 17-го и начала 18-го вѣков к политически осмысленному и политически устремленному истолкованію русскаго историческаго процесса в его цѣлом. В этом смыслѣ можно сказать, что в «Очерках» Милюков-историк, как мы видѣли, созрѣвшій с такой удивительной быстротой, подавал руку Милюкову-политику, созрѣвавшему как раз во время их написанія.

Об «Очерках» написано очень много, и боюсь, что ничего новаго и оригинальнаго об этой знаменитой книгѣ я сказать не могу. Мнѣ хочется толко подчеркнуть, что книга эта является работой синтетическаго характера не в одном, а в нѣскольких смыслах. Об одном из них я уже только что упомянул: это синтез научно-историческаго осмысленія прошлаго с культурно-политическим прогнозом. Историк дѣлает попытку связать прошлое с настоящим и создать нѣкоторую базу для предвидѣнія будущаго. Но, конечно, прежде всего синтетическій характер «Очерков» опредѣляется самим их содержаніем. По широтѣ охвата «Очерки» в русской исторической литературѣ явленіе единичное. Другой подобной работы, в которой об'единялись бы матеріальныя основы русской культуры (географія, демографія, экономическій, соціальный и государственный строй), культура в болѣе точном смыслѣ слова (религія, литература, искусство, школа) и рост общественнаго самосознанія, не существует. Нужно ли прибавлять, что трактовка этих отдѣльных сторон исторіи русской культуры связана у Милюкова единством подхода и руководящих идей?

И наконец та сторона Милюковскаго синтеза, которую он сам повидимому ставил себѣ в особую заслугу. Во введеніе к юбилейному изданію Милюков приписывает «жизнеспособность» «Очерков» именно синтетическому характеру его общей

интерпретаціи русскаго историческаго процесса. Главное свое достоинство Милюков видит в «извѣстной независимости от міровоззрѣній, поочередно господствовавших над умами русской интеллигенціи». В этой связи он упоминает о западничествѣ и славянофильствѣ, марксизмѣ и народничествѣ и, для болѣе близкаго к нам времени, об исторических теоріях Павлова-Сильванскаго и о евразійствѣ. По характеристикѣ Милюкова, через смѣну этих противоположных направленій проходит тенденція уклона в сторону одной из двух крайностей: либо теорія сходства между историческим развитіем Россіи и других стран Европы доводится до утвержденія полнаго их тождества, либо, наоборот, идея о своеобразіи русскаго историческаго процесса доводится до утвержденія о полной его исключительности и несравнимости. Между двумя этими уклонами, говорит Милюков, «автор занимал примирительное положеніе: он строил русскій историческій процесс на синтезѣ обѣих черт, сходства и своеобразія».

Я не оцѣниваю сейчас этой общей установки Милюкова ни с философской, ни с методологической точки зрѣнія. Я только отмѣчаю ее, как основную черту его историческаго подхода, как ключ к пониманію не только «Очерков», но и других его исторических работ. В оцѣнкѣ «Очерков» люди разнаго строя мыслей и разных поколѣній расходятся и будут расходиться, причем эта оцѣнка может быть различной в отношеніи к отдѣльным частям «Очерков». Такое расхожденіе совершенно естественно и законно, как это несомнѣнно признал бы в первую очередь и сам автор «Очерков», удѣливший так много вниманія смѣнѣ общественных идей и настроеній в исторіи Россіи. Никакой историческій синтез не может претендовать ни на абсолютную правоту ни на болѣе чѣм относительную долговѣчность. Люди моего поколѣнія, выросшіе в другом умственном и духовном «климатѣ» чѣм Милюков, основныя идеи котораго сложились и окрѣпли в 80-ые года прошлаго столѣтія (то есть, болѣе, чѣм полвѣка тому назад!), неизбѣжно воспринимают и понимают многое в прошлом Россіи иначе чѣм Милюков. Это не значит, конечно, что между ним и нами нѣт культурной преемственности и что мы хотим или можем отказаться от оставленнаго им богатаго научно-литературнаго наслѣдства. Многому, очень многому можем мы от него научиться — даже и в тѣх случаях, когда наша оцѣнка трактуемых им явленій существенно отличается от его собственной.

Извѣстно, что и сам автор «Очерков» не оставался на мѣстѣ, и что в частности для юбилейнаго изданія «Очерков»

он нашел нужным подвергнуть первую их часть коренной переработкѣ. Это была главная научная работа послѣдних лѣт его жизни, и первым ея результатом было появленіе в 1937 году перваго выпуска I-ой части «Очерков» в новой редакціи. В сущности, в данном случаѣ едва ли можно говорить о «переработкѣ» прежняго текста «Очерков»: это совершенно новая книга, основанная на привлеченіи огромнаго свѣжаго матеріала и на использованіи всей новѣйшей литературы предмета. Предшествовавшая ея написанію изслѣдовательная работа, продѣланная автором на восьмом десяткѣ жизни, показала, какой огромный запас творческих сил был еще в его распоряженіи и как мало отразился «преклонный возраст» на его феноменальной трудоспособности. Иначе как подвигом нельзя назвать и ту работу, которую он продѣлал в дальнѣйшем — частично уже в трагических условіях французской катастрофы. В послѣднем письмѣ, которое я получил от П. Н. (от 25-го апрѣля 1942 г.), он спрашивал меня о возможности изданія в Америкѣ второго выпуска I-ой части «Очерков». «Готовы теперь — писал он — двѣ трети первоначальнаго перваго тома, охватывающія тему «страна и населеніе»; не передѣланы экономическій, соціальный строй и учрежденія (гдѣ передѣлок будет меньше)... Вторая часть этих двух третей, которую я назвал «Россія — имперія», содержит исторію превращенія московскаго царства в россійское государство: колонизацію и завоеванія, безспорныя и спорныя — вплоть до нашего времени. Тут не мало актуальнаго, а в отдѣлѣ о первоначальном разселеніи я даю свою собственную конструкцію».

Вскорѣ послѣ полученія этого письма сношенія мои с П. Н. были прерваны, и я так и не знаю, какая судьба постигла эту драгоцѣнную рукопись. Нужно ли говорить о том, какое значеніе для русской исторической науки имѣло бы ея опубликованіе?

Если по замыслу автора первая часть «Очерков» для юбилейнаго изданія должна была быть сдѣлана заново, то вторая часть, напротив, была издана без существенных измѣненій. Главное отличіе новой редакціи от старой заключается в том, что изложеніе доведено до нашего времени, то-есть прибавлены главы, покрывающія совѣтскій період. В остальном автор ограничился небольшими частичными поправками. Со свойственной ему научной добросовѣстностью Милюков ввел в свое изложеніе вновь-открытыя фактическія данныя и освѣжил свою библіографію. Но он оставил без измѣненія и общую свою конструкцію и всѣ свои принципіальныя установки.

В данном случаѣ он оказался «консерватором», и значеніе этого научнаго «консерватизма» усугубляется еще тѣм, что из всѣх трех частей «Очерков» именно вторая является самой «міровоззрѣнческой» и уже по своему содержанію дает наибольшій простор для суб'ективных оцѣнок философскаго, религіознаго и эстетическаго характера. Этим и об'ясняется, почему именно вторая часть «Очерков» носит на себѣ наиболѣе явную печать той эпохи, в которой слагались общіе теоретическіе взгляды самого Милюкова, и почему людям, выросшим в иную эпоху и под иными вліяніями, она может казаться мѣстами устарѣвшей. Для многих из нас, по крайней мѣрѣ, отдѣльныя установки Милюкова уже не кажутся вполнѣ пріемлемыми. Не встрѣтит общаго признанія, напримѣр, его суровая оцѣнка культурнаго уровня древней и Московской Руси. Многіе из нас будут склонны разсматривать и древне-русскую иконопись и русскій ампир как болѣе оригинальныя проявленія національнаго генія, чѣм это готов был допустить Милюков. Одни разойдутся с ним в оцѣнкѣ роли православія в духовной жизни Россіи в новое время, для других иначе встанет вопрос о взаимоотношеніи между двумя фазами в развитіи русской литературы 19-го вѣка, — до и послѣ культурно-психологическаго перелома 50-х — 60-х годов; иначе представится и общее значеніе періода символизма. Я привожу только нѣкоторые примѣры, число которых легко могло бы быть умножено.

Третья часть «Очерков» так и осталась незаконченной: и в юбилейном изданіи исторія общественнаго самосознанія доведена только до конца 18-го вѣка. Но даже и в этом незаконченном видѣ она, на мой взгляд, принадлежит к числу самых блестящих достиженій Милюкова-историка. В ней, как и в «Главных теченіях русской исторической мысли» (другая его работа также оставшаяся незаконченной), Милюков показал себя первоклассным историком общественно-политических и историко-философских идей, мастером историческаго изслѣдованія в области чрезвычайно трудной и до сих пор еще — в особенности в примѣненіи к Россіи — мало разработанной. Не рѣшусь сказать, чтобы это была его любимая тема. Вѣдь он так и не исполнил того своего долга перед русской исторической наукой, о котором ему когда-то напомнил В. А. Мякотин: закончить и третью часть «Очерков» и «Главныя теченія русской исторической мысли». Вмѣсто этого Милюков посвятил послѣдніе годы своей жизни работѣ над вопросами русской пред-исторіи, ушел в археологію, которой, как это недавно подчеркнул Б. И. Николаевскій, П. Н. постоянно интересовался.

В этой направленности научнаго интереса Милюкова, в позднѣйшій період его жизни, к «первоосновам» русскаго историческаго процесса была, конечно, своя внутренняя логика. И все же нельзя не пожалѣть, что «исторія идей» не была доведена им до болѣе близкаго к нам времени. Повторяю, эта тема представляется мнѣ как наиболѣе ему «конгеніальная». «Главныя теченія» появились в свѣт (отдѣльным изданіем) без малаго полвѣка тому назад, третья часть «Очерков» всего нѣсколько лѣт позже. А между тѣм не только с тѣх пор не было написано ничего, что могло бы замѣнить или хотя бы существенно дополнить эти двѣ давнія работы Милюкова, но и над ними самими время пока оказалось безвластным: в этой части Милюковскаго историческаго полотна краски сохранили всю свою первоначальную свѣжесть. Как же не пожалѣть, что по волѣ судьбы нам не придется читать «интеллектуальную исторію» Россіи девятнадцатаго вѣка в Милюковском изложеніи? Какое бы это было увлекательное и поучительное чтеніе!

М. Карпович.

П. Н. МИЛЮКОВ В ИЗГНАНІИ.

В мартѣ 1939 года был отпразднован 80-лѣтній юбилей П. Н. Милюкова — родившагося, как извѣстно, в январѣ. Празднованіе было отложено вслѣдствіе болѣзни. За нѣсколько дней до торжества И. П. Демидов, редактировавшій юбилейный номер «Послѣдних Новостей», сказал П. Н. — «Хочу писать передовую о Радищевѣ, Новиковѣ и всей плеядѣ, послѣдній представитель которой — вы!» Милюкова это так взволновало, что он поднялся, обошел вокруг стола и поцѣловал И. П. в обѣ щеки: «если вы, правда, так считаете, то мнѣ это очень пріятно». Он признался, что задумал книгу о плеядѣ: «Строители русской культуры», и дал И. П. Демидову для ознакомленія папку с уже подобранными матерьялами.

— В моей душѣ, — сказал он, — им отведено больше мѣста, чѣм в моих сочиненіях. Я давно хочу восполнить этот пробѣл.

Вернувшись в редакцію, Демидов, сам взволнованный, разсказал об этой сценѣ. Нас тогда это нѣсколько поразило. О душѣ П. Н. рѣдко говорил. Он как бы запрещал себѣ душевныя движенія. С безстрастіем «свидѣтеля исторіи» он относился не только к внѣшним событіям, но и к драмам личной жизни: гибели сына в рядах Бѣлой Арміи; смерти жены, Анны Сергѣевны — полувѣкового спутника жизни; бѣгству единственной внучки в лагерь ненавистников, откуда в него стрѣляли однажды и продолжали поносить. Спокойно, с полудѣтской улыбкой, он как то боком проходил мимо всего личнаго, что волнует человѣка.

Милюков без злобы относился к врагам и без сожалѣнія расходился с друзьями, когда того требовали политическій анализ и новая тактика. На бурном собраніи в парижской квартирѣ М. М. Винавера, в дни кадетскаго раскола, Ф. И. Родичев не выдержал и, обратившись к нему, воскликнул:

— Что с вами подѣлаешь? Вѣдь, не душа у вас, а стекло: ясное, прозрачное, глубокое, как хрусталь, а вот... ни руками, ни слезами его не согрѣешь: стекло!

Смущенно улыбнувшись — эту полудѣтскую улыбку он сохранил до старости — П. Н. не отвѣтил на выходку стараго друга, но ясно и спокойно повторил, почему необходима «новая

тактика» и, если раскол кадетской партіи неизбѣжен, он предпочитает раскол политической ошибкѣ.

Взволнованный Родичев, не допускавшій примиренія и тѣм болѣе сотрудничества с соціалистами («мыло у вас хорошее, Павел Николаевич, но негра вы им не отмоете!»), шумно ушел. Вмѣстѣ с ним ушла из личной жизни П. Н. цѣлая эпоха: Набоков, Гессен, Кизеветтер, Новгородцев, князья Долгорукіе, Карташов, Юренев, Пасманик, и др.... П. Н. пережил потерю невозмутимо. При самом пристальном наблюденіи нельзя было замѣтить ни признаков злобы, ни слѣдов огорченія. С небольшой кучкой единомышленников он продолжал свой путь той же неторопливой, твердой походкой.

О нем вообще нельзя сказать, что он с кѣм нибудь сходился или расходился. Он стоял, как крѣпкій низкорослый дуб; от него отпадали, к нему приходили, а корня, на котором он стоял, никто подрубить не мог.

***

Но неправда, будто в его груди был кусок стекла. Сражаясь с бывшими друзьями и соратниками, больно раня их, он сохранял добрую память о многих и даже нѣжную любовь к нѣкоторым из них. Он сражался не с ними, а с их убѣжденіями. Своих чувств он как бы стыдился, считал слабостью, и подавлял их со свойственной ему силой рѣшимости. Он не любил говорить о себѣ и о близких. Если вспоминал о личном, то лишь как о характерном для эпохи. Имена бывших сотрудников, как будто, всплывали в его памяти лишь тогда, когда того требовала газетная полемика.

Но когда возникал общественный повод, он без колебаній давал волю и чувству. Душевной статьей он откликнулся на юбилей І. В. Гессена, хотя вел жестокую войну с «Рулем». Рѣзко отвергая политическую позицію Д. С. Мережковскаго и допуская сотрудничество З. Н. Гиппіус в «Послѣдних Новостях» — случайное и никогда не бывшее счастливым — лишь «на строгих условіях и ограниченіи», он отвѣчал им на стихотворное привѣтствіе по случаю юбилея, стихами такого же качества:

«Служитель слова», «кой какой поэт»*)
Прозаика почтили поздравленьем.

---

*) Так Д. С. Мережковскій и З. Н. Гиппіус сами характеризовали себя в поздравительных стихах (напечатанных в Посл. Новостях»). Отвѣт П. Н. Милюкова не был опубликован.

Прозаик тронут их благословеньем
И слугам «духа» шлет «души» привѣт.

Не всегда слово «душа» стояло у него в кавычках. В теченіе долгих лѣт, послѣ кадетскаго раскола и нанесенных ему обид, он передавал через Н. К. Волкова ежемѣсячно то, что мог, на помощь Ф. И. Родичеву, в тяжкой нуждѣ доживавшему жизнь в Швейцаріи. И можно было бы назвать десяток имен, которым он оказывал анонимную поддержку, несмотря на внѣшнюю отчужденность от них и политическую враждебность. Об этом он не говорил и, конечно, не придавал этому никакого значенія.

Интересы политическіе, научные, общественные поглощали его и для личнаго не оставалось времени. С 6 часов утра, когда всѣ в домѣ спали, он садился за рабочій стол. Приходившая в девятом часу прислуга не всегда вспоминала подать кофе. Тогда он безропотно досиживал до дневного завтрака. Отдохнув час послѣ завтрака, вновь садился за работу, вечером ѣхал в редакцію, из редакціи на собраніе или лекцію и послѣ полуночи ложился спать.

— Плохо спит, — жаловалась жена, Нина Васильевна, — как будто заснет, а потом поднимется тихо и — к столу; запишет что то и назад в кровать. Так иногда по два-три раза в ночь!

Негодовавшей женѣ он полушутливо об'яснял: «днем я собираю мысли, а во снѣ связываю их»... Он не курил, не пил вина и не имѣл никакого уваженія к ѣдѣ; ѣл он, кажется, вообще раз в день. На вечерних бесѣдах, у себя ли дома или у друзей, выпивал стакан жидкаго чая или бѣлаго кофе с сухарем, и вот так — уже под 80 — просиживал до разсвѣта на традиціонной встрѣчѣ русскаго Новаго Года Союза писателей и журналистов, безсмѣнным предсѣдателем котораго он был.

— Когда же вы отдыхаете, Павел Николаевич? — говорили заботливо старику. — Вы должны беречь себя!

— Ну, я отдыхаю достаточно, — говорил он спокойно и мѣнял разговор.

Вернувшись под утро домой, он шел не в постель, а — к письменному столу. Сознавая близкій конец, и относясь к этому так же спокойно, как ко всему, он торопился сдѣлать то, что намѣтил, и не покидал кабинета.

**
*

В правых кругах эмиграціи Милюкова ненавидѣли больше, чѣм Сталина, и нѣсколько раз разоблачались попытки насилія над ним, вплоть до убійства (выстрѣл Шабельскаго-Борка). В лѣвых не было личной ненависти, но напряженность борьбы была не меньшая, литературныя схватки доходили до пароксизма. П. Н. относился к обоим с равным спокойствіем.

Пародируя «Полтаву», Дон-Аминадо написал о нем в день 10-лѣтняго юбилея «Послѣдних Новостей»:

«... не свыше вдохновенный,
На то он слишком атеист,
А точный, ясный, неизмѣнный,
И как всегда позитивист,
Одной и той же предан думѣ,
И не витая в небесах,
Все в том же сѣреньком костюмѣ,
Давно потертом на локтях,
«Идет. Ему коня подводят...»
Но таково его нутро —
Он лошадь роскошью находит
И опускается в метро!
И путь вторым продѣлав классом,
Слегка смущенный, весь в пыли,
К верхам, к низам, к эрдекам, к массам,
Выходит вновь из под земли.

В интимном кадетском кругу и в кругу газетных сотрудников его за глаза называли «папой». Слѣва и справа его обвиняли в непослѣдовательности, политических ошибках, злостных поворотах, сѣявших смуту и раскол, в «безстактности». Так поверхностно судить о нем могли только современники.

Исторія несомнѣнно, признает единство его политики и отмѣтит, что «безтактность» была не слабостью, а необыкновенной силой, прямым и безстрашным выраженіем той «одной думы», которой он был предан всю жизнь.

**
*

П. Н. Милюков был воплощеніем либеральной морали в неменьшей мѣрѣ, чѣм воплощеніем либеральных идей. При исключительном мужествѣ и прямотѣ, при необыкновенной

твердости убѣжденій, он был сторонником компромисса. Среднее направленіе подсказывалось ему мудростью историка. В либерализмѣ он не был доктринером. Догматизм был противен его натурѣ, складу ума, духовной традиціи. Мысль о свободной Россіи — не отвлеченный идеал свободы — была категорическим императивом. Тактика — подсказывалась обстановкой, реальным учетом сил. И когда дѣло шло об этом, он шел безстрашно напролом, не оглядываясь назад, не обращая вниманія на отставших. Не всякій мог поспѣть. В эмиграціи ни один политическій лидер, кажется, не имѣл такого малаго числа постоянных сторонников, как Милюков. Созданное им Республиканско-Демократическое Об'единеніе (РДО) едва насчитывало нѣсколько десятков членов и ежегодно раскалывалось на части, не поспѣвая за вождем, не попадая в ногу.

Прямой смѣны П. Н. себѣ не оставил. Да и может ли что скоро вырасти на мѣстѣ поваленнаго дуба? От республиканской группы партіи Народной Свободы осталось нѣсколько десятков человѣк, разбредшихся по свѣту. Но сам он послѣ смерти еще долго будет оставаться для нас тѣм, чѣм был при жизни. Его духовное вліяніе на эмиграцію было велико. Его идеи, вызывавшія возмущеніе, негодованіе, ненависть, усваивались невольно и часто безсознательно по мѣрѣ того, как страсти потухали, а чувства уступали разуму.

Милюков начал поворачивать эмиграцію «лицом к Россіи» тогда, когда это еще считалось преступленіем. Его обвиняли в соглашательствѣ. Он не искал и не мог искать соглашенія с властью. Его отношеніе к власти оставалось революціонным. Но он не боялся выступать в защиту совѣтской внѣшней политики, когда считал, что эта политика, по тѣм или иным мотивам, совпадала с интересами Россіи.

Впервые это разграниченіе в революціонном отношеніи к власти было намѣчено им в 1922 году. Тогда, вернувшись из тайной поѣздки по порученію «Центра Дѣйствія» в Россію, я в теченіе года редактировал журнал «Новь», печатавшійся в Парижѣ на тонкой бумагѣ и нелегально переправлявшійся в Россію. Изрѣдка получались рукописи из Россіи, но главный матерьял поставлялся группой «Центра Дѣйствія».Милюков не принимал участія в этой организаціи, но дал статью, в которой одобрял нѣкоторыя дѣйствія Чичерина (сейчас уж точно не помню, что именно). Это вызвало нѣкоторыя возраженія в группѣ, но ее рѣшили печатать. Я вспомнил об этом потому, что мнѣ тогда открылась новая сторона личности Павла Николаевича. Статья мнѣ, молодому редактору, не понравилась

построеніем. Сгоряча я перекроил ее ножницами, перенес конец в начало, начало в середину, перемѣстил абзацы, что то сократил и показал И. П. Демидову. Тот покачал головой: «Надо спросить П. Н. Иначе, даже без подписи, печатать неудобно». Считая дѣло безнадежным, я все же поѣхал к Милюкову, котораго тогда еще знал очень мало лично. Он выслушал дерзкаго молодого человѣка с любопытством, внимательно прочел искромсанную статью, потеребил пальцами губы и простодушно сказал: «хорошо, печатайте, если считаете, что так лучше». Тогда это меня очень поразило. Если я считаю лучше! Но позже я узнал, что с мальчишкой-студентом он разговаривал так же долго и серьезно, как с сѣдым академиком, и что в его собственном творчествѣ форма не имѣла значенія, был бы корень ясен.

Ограничив до крайности свое право питать личныя чувства к людям, он установил такое же отношеніе к самому себѣ.

***

Гибель Чехословакіи потрясла его. Он очень тяжело переживал эту трагедію, и впервые, казалось, душевное равновѣсіе было нарушено. На то были причины. К памяти Масарика он относился почти с поклоненіем. Чехословацкая демократія была не только символом, но в какой то мѣрѣ и живым осуществленіем его собственной мечты. Біограф Милюкова, несомнѣнно, посвятит этим отношеніям особую главу. В душѣ П. Н., будто, что-то надорвалось. Внѣшне он был спокоен и ровен, но друзья с тревогой замѣчали перемѣну. Он как то вдруг стал мягче, добрѣе, душевнѣе к чужим мелочам, как бывает с людьми, переживающими глубокое горе.

Война в его сознаніи стала неизбѣжной, непредотвратимой. Не всѣм послѣ Мюнхенскаго соглашенія это было ясно. Да и Милюков не представлял себѣ этого так, как оно потом в дѣйствительности вышло. Он не сомнѣвался в военной мощи демократій. С. Н. Прокопович, поспорившій с ним, проиграл ему плитку шоколада в день, когда Англія и Франція об'явили войну. Это он предвидѣл. Он не мог предвидѣть того, что потом произошло.

Жена и врач заставили его покинуть Париж. Первое время Милюковы жили на дачѣ под Фонтенбло без газа, без лавок, без электричества, как австралійскіе дикари: глухой участок лѣса, вдали от дорог. Они голодали, потому что ничего в этом поселкѣ осенью нельзя было достать, а с сосѣдних огородов

нельзя луковицы получить, так как все запродано на парижскій рынок. Когда сотрудник «Посл. Новостей» Ю. Доріомедов поѣхал туда отвезти провизіи и свѣчи, он застал старика Милюкова... за чисткой картошки! Сам же он и варил ее — весь обѣд — потому что больная жена не вставала с постели. Наконец, удалось перевезти обоих в Виши.

Связь между Виши и редакціей наладилась. Милюкову посылались по почтѣ отвѣтственныя статьи на просмотр, он сам писал и горько жаловался на то, что он «дезертир», однако вернуться в Париж не мог — из за жены и невозможности получить пропуск. Редакція тѣм временем, отражая настроенія эмиграціи, раскололась на два лагеря в отношеніи к Россіи. И. П. Демидов с трудом старался намѣтить общую линію. Милюков в письмах бранил газету («информація хороша, публицистика ниже всякаго уровня!») и завидовал «бѣлым мѣстам» в младоросской «Бодрости»: — «они не боятся говорить то, что я сам хотѣл высказать, но не смѣю, пугаемый Вами относительно цензурных условій...».

До него доходили жалобы на то, что в «Посл. Новостях» ведутся «двѣ политическія линіи, одна другую исключающія». На это П. Н. отвѣчал, что лучше «двѣ линіи, чѣм никакой», а замѣняющему его в Парижѣ И. П. Демидову писал печально: — «сейчас это не газета Милюкова, а газета с М и л ю к о в ы м». Столкновеніе «двух линій» стало особенно рѣзким в дни финской войны. Считаясь с этим, Милюков расчленил свою позицію на сентиментальную (сочувствіе финнам) и политическую (интересы Россіи). Члены РДО приходили к И. П. Демидову и жаловались на недостаток патріотизма и «пораженческій тон» газеты. Демидов переслал жалобу в Виши. Милюков написал: «Они правы, но если вы ничего не можете подѣлать, то я отсюда и подавно» и свое отношеніе к русско-финской войнѣ формулировал в том-же письмѣ:

— Мнѣ жаль финнов, но я — за Выборгскую губернію.

***

Отношеніе Милюкова к совѣтской власти оставалось непримиримым. Одобряя и поддерживая отдѣльныя дѣйствія власти, он продолжал с непоколебимым убѣжденіем считать, что она влечет страну к катастрофѣ. Свою позицію он опредѣлял, как «революціонную».

Но П. Н. не был революціонером ни по складу характера, ни по складу ума. Историк сдерживал политика. С позиціей

«революціи» плохо вязалась теорія «эволюціи», которая вела начало с 1920 года, когда он отмѣтил правильность нѣкоторых мыслей Н. В. Устрялова, осудив одновременно «устряловщину», как преждевременный и опасный вывод из правильнаго прогноза. Он был прав. Устрялов и рожденные им «смѣновѣховцы» погибли, не успѣв ничего свершить. С интересом и сочувствіем отнесся он также к первоначальному евразійству, пока крайнее теченіе в лицѣ Л. П. Карсавина не одержало верх и заставило его вступить в войну с «ересью» В. дни борьбы Сталина с Троцким он — выбирая из двух зол — привѣтствовал побѣду перваго, и затѣм вскорѣ теорія «эволюціи» стала руководящей в газетѣ. Он тщательно отмѣчал всѣ «уступки власти», побѣды жизни над доктриной, и не сомнѣвался в конечном торжествѣ.

Противники указывали, что его позиція логически ведет к «соглашательству». П. Н. ограничивался отвѣтом, что «пока событія не требуют от нас логических выводов, оборонческая позиція может соединяться с революціонной». О том, насколько эта послѣдняя становилась для него самого пустой формулой, свидѣтельствует случай, произшедшій в началѣ февраля 1940 года. Тогда это было записано мной в дневник, и сейчас привожу это по записям.

В концѣ января, в младоросском журналѣ «Бодрость» появилась большая статья на тему: революція или реформа? Автор отдавал преимущество реформѣ и доказывал, что Россія по этому пути сейчас и идет. У нас статья прошла незамѣченной, но П. Н. тотчас написал И. П. Демидову из Виши (текстуально): «Прочтите разумную статью какого то Лагутина в «Бодрости»: под тѣм, что он там говорит, я почти подо всѣм мог бы подписаться». Демидов прочел, высказал свое мнѣніе, и 13 февраля П. Н. отвѣтил ему из Виши (текстуально): «Вы ставите законный вопрос: с чѣм же именно я несогласен в статьѣ Лагутина? Чтобы добросовѣстно отвѣтить, я вновь перечитал статью. Она очень ловко и осторожно написана. Но, напримѣр, в «Посл. Новостях» без оговорок ее трудно было бы напечатать. Я думаю, мои оговорки относились бы к излишнему оптимизму автора относительно возможности «реформы» в тѣх размѣрах, в которых она была бы дѣйствительной. Если бы я вѣрил, что статья идет о т т у д а, я придал бы ей гораздо больше значенія. Но я этому не вѣрю. Как ни замаскировано в ней отношеніе к теченіям эмиграціи, оно все же проглядывает. Сила сопротивленія в н у т р и (компартіи. — Н. В.) — больше, чѣм он представляет себѣ издали. Преувеличена и степень пониманія тупика, в котором сидит совѣтская власть —

и боится из него вылѣзти. Страх перед снятіем «вывѣски» значительно больше, как показывает то, что теперь дѣлается. При всем том — статья умная, полезная и — смѣлая. Мы бы всего этого сказать не рѣшились. Я сказал только часть, — а как на меня ополчились!».

Он опасался, что внѣшняя катастрофа наступит раньше, чѣм закончится «эволюція» режима, и власть не сумѣет защитить страну. Не только не сумѣет, полагал он, а, может быть, сознательно предаст ее, чтобы спасти самое себя. В неминуемости конфликта между Германіей и Россіей он не сомнѣвался, несмотря на августовскій пакт 1939 года. Вопрос заключался в том, какую форму примет пораженіе. Виновниками пораженія будут перед исторіей — коммунизм и Сталин.

***

Когда послѣ разгрома французской арміи я выбрался из Парижа на велосипедѣ и на пятыя сутки добрался до Виши, меня встрѣтил в заваленной книгами комнатѣ отеля тот же спокойный, невозмутимый, благодушный Милюков, но ставшій совершенно бѣлым за десять мѣсяцев войны.

Я разсказал ему, между прочим, о том, что перед паденіем Парижа пронесся слух, будто Россія вступила в войну на сторонѣ демократій, и многіе «бѣлогвардейцы», в том числѣ нѣкоторые члены РДО, ринулись в совѣтское посольство, предлагая сражаться за отечество. Он без колебаній сказал: «Что ж, нѣт вопроса о том, гдѣ мы должны быть, когда так будет, хотя дѣла этим, очевидно, не спасешь»*). Когда свершилось то, что он предвидѣл — нѣмцы напали на Россію — он писал:

— Гигантскій эксперимент закончился гигантской катастрофой.

Его единственной связью с внѣшним міром было маленькое старое радіо, перевезенное с книгами из Монпелье в Экс-ле-Бэн, по которому он каждый вечер ловил передачу из Лондона. Сводки германскаго командованія о стремительном движеніи

---

*) Вслѣд за нападеніем Германіи на Россію, группа бывших членов партіи Народной Свободы, во главѣ с А. И. Коноваловым, собралась в Нью-Іоркѣ и вынесла извѣстную резолюцію о необходимости для русской эмиграціи «воздерживаться от выступленій, способных увеличить недовѣріе союзников к существующей власти и тѣм ослабить оказываемую Россіи военную и экономическую помощь» (28 октября 1941).

на востокъ не оставляли надежды. Потрясенный совершившимся, «свидѣтель исторіи» переживал мучительные дни, стараясь вглядѣться в будущее — из глухого одиночества в савойских горах, откуда вообще ничего не было видно.

Пессимист в отношеніи Россіи, он оставлся непоколебимым оптимистом в отношеніи Европы:

— Паденіе Парижа не конец Франціи, — писал он, — а 1940 годы не конец европейской исторіи.

Он не сомнѣвался в разгромѣ Германіи демократіями и в нетерпѣніи ставил короткіе сроки, нас поражавшіе. Весной писал — все окончится к осени; осенью — все кончится весной. Событія опрокинули его душевный мир. Убѣжденіе смѣнилось вѣрой — горячей, слѣпой. Он сознавал, что силы угасали, и страстно хотѣл дожить. А потому развязка должна была ускорить ход. Если ему возражали, он горячился, краснѣл, рѣзко прекращал разговор. Таким раньше его никто не видал.

Тот, кто понимал трагедію замѣчательнаго старца, не спорил. В изгнаніи, в савойском одиночествѣ, Павел Николаевич выгородил для себя особый мір, отверг очевидность. Он исхудал до неузнаваемости, потеряв треть обычнаго вѣса: воротник висѣл на нем хомутом, а платье мѣшками. Но так же, как прежде, он садился с утра за работу, писал письма друзьям, торопился окончить то, что намѣтил — не взирая на стужу, голод, болѣзнь. Самыми важными часами дня были тѣ, когда он, прильнув ухом к настольному радіо, ловил шепот швейцарских и лондонских передач. Душевный мір был нарушен, но воля оставалась прежней. Высадка союзников в Африкѣ отступленіе нѣмцев с Волги были, вѣроятно, его послѣдней радостью. Вѣра давала силы. Могла ли она дать ему мирную кончину?

Н. Вакар.

Бостон.

И. Н. АЛЬТШУЛЛЕР.

Все истинно героическое и созидающее о себѣ не только не кричит, но забывает и не успѣвает говорить. Нѣт мѣста словам там, гдѣ вся энергія сосредоточена на дѣйствіи. Вѣроятно, именно это свойство скромных общественных строителей прошлой Россіи и является причиной того, что о цѣлой области русской общественной жизни конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія так поразительно мало написано. Это область русской земской медицины.

А между тѣм, это одна из самых замѣчательных страниц не только исторіи медицины, но и исторіи русской культуры. Это, к тому же, безцѣнный документ человѣческаго героизма и безкорыстнаго, самозабвеннаго служенія ближнему, обществу и родинѣ.

Думаю, что исторія эта теперь уже никогда не будет написана так, как она бы этого заслуживала, т. е. рукой человѣка, который сам был участником этого строительства и сам горѣл его священным огнем. Думаю я это потому, что в лицѣ д-ра Исаака Наумовича Альтшулера, скончавшагося 27 іюня в Нью Іоркѣ, мы потеряли послѣдняго из русских земских врачей, не только дожившаго до нашего времени, но воплощавшаго в себѣ тѣ традиціи, которыми когда-то жила земская Россія.

Родился И. Н. в 1870 году, в Тамбовской губерніи, в городѣ Липецкѣ. Гимназію он окончил с таким выдающимся аттестатом, что в Округѣ ему было дано понять, что перед ним откроется блестящая карьера если... он перемѣнит вѣру и примет православіе. Он отказался, и поступил на медицинскій факультет Московскаго Университета. Окончил он его в началѣ 90-х годов прошлаго столѣтія и был одного выпуска с А. И. Шингаревым, будущим извѣстным членом Государственной Думы. Перед обоими открывалась блестящая научная карьера, Альтшуллера оставляли при университетѣ. Оба молодые врача отказались от личной карьеры и матерьяльной обезпеченности и пошли на скромную земскую службу, в глухіе медвѣжьи углы крестьянской Россіи. Шингарев уѣхал в Тамбовскую губернію, Альтшуллер получил мѣсто земскаго врача в городѣ Торжкѣ, Тверской губерніи. Тут впервые встрѣтилась и я с ним.

Свой земскій опыт И. Н. начал однако еще на студенческой скамьѣ, когда поѣхал в командировку на холерную эпидемію. В тѣ годы такая поѣздка означала двойной и смертельный риск: от болѣзни и от темноты народа, который полагал, что холеру «распускают доктора» и что поэтому их слѣдует убивать.

Помню блестящій состав земских врачей при Новоторжской земской больницѣ того времени. Ему мог бы позавидовать любой столичный госпиталь. Не только выдающіеся врачи, но и лучшіе люди среди них шли тогда на земскую службу. При уѣздной земской управѣ был образован спеціальный врачебный совѣт, вѣдавшій не только лечебным, но и санитарным дѣлом всего уѣзда. Работа кипѣла, довѣріе крестьянства к больницам быстро завоевывалось, росло и принимало подчас трогательныя формы. Разсказы И. Н-ча об этих первых годах его работы были неисчерпаемы. Помню, что он между прочим пріобрѣл совсѣм особое довѣріе игуменьи Новоторжскаго женскаго монастыря, женщины умной и строгой, сдѣлавшей его врачем, состоявшим при монастырѣ. Она служила торжественные молебны о здравіи раба Божія Исаака, когда послѣдній тяжко заболѣл и должен был покинуть Торжок.

Бурно открывшійся туберкулезный процесс помѣшал И. Н-чу продолжать свою земскую работу на сѣверѣ Россіи и ему пришлось поселиться в Крыму, в Ялтѣ. Но пять лѣт участія в общественной земской работѣ наложили на него несмываемую печать и он на всю жизнь остался «земским врачем». И никогда не мог он забыть рѣки Тверцы, окаймленной живописными монастырями города Торжка, и осталась она для него, вмѣстѣ с Москвой, дорогим образом той утраченной родины-Россіи, по которой так тосковала его душа в изгнаніи.

Кто из побывавших на южном берегу Крыма в первые двадцать лѣт нынѣшняго столѣтія не слышал имени доктора Альтшуллера и не встрѣчал его лично? Думаю, что почти никто, настолько была велика его врачебная репутація и настолько велико его участіе в земской, городской и общественной работѣ. Дворцовая, аристократическая и бюрократическая знать, группировавшаяся около царской резиденціи «Ливадіи», писатели, художники, артисты, земскій «третій элемент», бѣдствовавшіе и погибавшіе от туберкулеза студенты, работницы на табачных плантаціях, полудикія татарскія женщины, которых приходилось приручать и пріучать к больницам и к обращенію за необходимой врачебной помощью — вся эта громадная шкала человѣческих жизней, страданій, скрытых трагедій и нужды, наконец смерти, заполняла жизнь и душу врача.

Человѣк неутомимой энергіи и воли, И. Н. всегда что-то создавал, организовывал. Лошади никогда не выпрягались из его коляски (автомобили появились гораздо позднѣе) и он не знал покоя ни днем, ни ночью. Его трудами создавалась санаторія для врачей имени Императора Александра III, но его самым любимым дѣтищем в Ялтѣ была больница «Яузлар». В ней находили пристанище и заботливый уход пріѣзжіе неимущіе туберкулезные больные, для которых именныя койки оплачивались организаціями, земствами и отдѣльными лицами-жертвователями. И. Н. неутомимо собирал для этого средства. Он же первый устроил в Ялтѣ сбор «Бѣлой ромашки», цвѣток который был, в международном масштабѣ, эмблемой борьбы с туберкулезом. Он был одним из основателей Русской Секціи Международной Лиги для борьбы с туберкулезом, в центральном комитетѣ которой он представлял Россію, вмѣстѣ с лейб-медиком Л. Б. Бертенсоном и профѐссором В. В. Воробьевым. В знак признанія его заслуг на этом поприщѣ, ему на Всероссійской Гигіенической Выставкѣ 1913 года был присужден почетный диплом «За 20 лѣт полезной дѣятельности по борьбѣ с туберкулезом».

Живя в Крыму, южное побережье котораго было так оторвано от быта и жизни центральной Россіи, И. Н. продолжал принимать живѣйшее участіе в развитіи земской и общественной медицины не только в мѣстном, но и во всероссійском масштабѣ. Был постоянным участником с'ѣздов, как Пироговскаго Медицинскаго Общества, так и земских, санитарных, курортных, спеціально туберкулезных, а также и международных. Свой ежегодный мѣсячный отпуск он употреблял на научную работу в заграничных клиниках и лабораторіях, пополняя и совершенствуя свои знанія.

Естественно было поэтому для д-ра Альтшуллера оказаться в самом фокусѣ врачебной организаціонной дѣятельности в Крыму, когда грянула война 1914 года. Довѣріе к нему как врачу, как безкорыстнѣйшему человѣку, как умѣлому администратору, об'единило вокруг него и Земскаго Союза, который он представлял, всѣ отдѣльныя, часто состязавшіяся между собой вѣдомства помощи больным и раненым. Он к этому времени совершенно покорил и бурнаго генерала Думбадзе, главноначальствовавшаго на южном берегу Крыма, выславшаго когда то Альтшуллера из Ялты во имя «чистки» Крыма от «нежелательных элементов».

Теперь Думбадзе довѣрял ему абсолютно, произносил тосты за Земскій Союз и гордился «достиженіями» об'еди-

ненного врачебнаго фронта в Крыму. В руках Альтшуллера было сосредоточено управленіе всѣх развернувшихся во время войны на Крымском побережьѣ госпиталей и санаторій для офицеров и солдат нашей арміи. Он завѣдывал и личным госпиталем Императрицы в Ялтѣ, в котором помѣщались раненные офицеры, присылаемые государыней из Царскосельскаго госпиталя. Евреям было в тѣ времена запрещено, без особаго в каждом случаѣ разрѣшенія, пребываніе в той части южнаго берега Крыма, которая считалась «царской резиденціей». Ялта была в центрѣ этого заповѣдника. Случилось так, что во время войны в Алупкинскій военный госпиталь, в числѣ других нижних чинов, было прислано нѣсколько солдат-евреев. Усердствовавшее полицейское начальство тотчас же распорядилось их оттуда убрать. Извѣщенный об этом, И. Н. заявил, что немедленно подаст в отставку, если этих солдат тронут с мѣста и если не будут принимать в больницы евреев на одинаковых правах с другими военными чинами. Справедливость требует признать, что генерал Думбадзе всецѣло поддержал требованіе д-ра Альтшуллера.

Исторія взаимоотношеній самовластнаго генерала и д-ра Альтшуллера являет собой прелюбопытную психологическую картину двух противоположных начал, нашедших какую то базу для взаимнаго довѣрія и сотрудничества, базу основанную на взаимной честности отношеній. И когда, послѣ большевистскаго переворота, вдова Думбадзе, преслѣдуемая и всѣми брошенная, ютилась, скрываясь, в какой то нищенской трущобѣ, тот же д-р Альтшуллер навѣстил ее и помог ей. Характерно для И. Н-ча еще и то, что когда уже здѣсь, в Америкѣ, друзья просили его записать эту страницу исторіи, его отвѣтом было: «Слишком много придется о себѣ говорить».

Нечего и говорить о том, что всѣ занимавшіяся Альтшуллером должности и вся его общественная работа никѣм и никогда не оплачивались. Жил И. Н. со своей многочисленной семьей на средства своей частной практики, но отнюдь не за счет производимой общественной и государственной работы. Его щепетильность в этом отношеніи даже превосходила тѣ высокіе принципы врачебной и общественной этики, которыми руководствовались в тѣ времена русская интеллигенція и земская Россія. Он никогда не пользовался автомобилем Земскаго Союза для своих огромных раз'ѣздов, а ѣздил на собственной машинѣ, всегда оплачивая тот газолин, который с готовностью предлагался ему безвозмездно Земским Союзом. Всегда за свой

собственный счет ѣздил в Москву на дѣловыя совѣщанія, вызывая этим недоумѣніе своих коллег.

Когда наступила революція, И. Н-чу пришлось пережить в Ялтѣ два большевистских переворота, власть нѣмецкую и управленіе Добровольческой Арміи. Он был арестован большевиками и спасен от разстрѣла заступничеством большевика же, своего бывшаго паціента, который, памятуя прошлое добро, не дал его в обиду. В конфликтах с новыми владыками, так же как и с прежними, побѣждал тот «человѣк», та личность, которую являл собой Исаак Наумович.

Лѣтом 1920 года И. Н. с семьей выѣхал в Константинополь и больше ему в Россію вернуться не пришлось. За рубежом своей страны он продолжал не только свою личную медицинскую практику, но и безплатную помощь русской бѣдствовавшей эмиграціи, и одному Богу извѣстно, сколько жизней он спас и сколько горя облегчил. Отказа в помощи у И. Н-ча никогда не было. Константинополь, Берлин, Прага и наконец Америка — вот этапы скитанія этого русскаго человѣка, выброшеннаго из своей родины.

Земскій гуманист дополнялся в И. Н-чѣ умом широким, об'ективным, всепонимающим и жаждавшим знанія. Образованіе его было велико и разносторонне. Кромѣ медицины и ея исторіи, его особенно интересовала исторія вообще. Он превосходно знал русскую исторію и русскую литературу. Знал нѣсколько языков и литературы других народов. С любовью собирал он всю свою жизнь книги и его огромная библіотека тѣсно срослась с ним, составляя как бы часть его существа. Политически он примыкал в Россіи к партіи Народной Свободы.

Отсюда, из далекой Америки, Исаак Наумович со страстью слѣдил за борьбой Россіи с Германіей, жалѣя о том, что его старческія силы не позволяют ему вернуться на поле битвы и отдать свою жизнь за пламенно любимую им родную страну. Но нам, его современникам, со стороны виднѣе, и мы знаем, что он был одним из тѣх вѣрных сынов Россіи, которыми в прошлом она строилась и держалась и которые не смертью своей, а жизнью и дѣлами запечатлѣли свою любовь и преданность ея народу.

С. Панина.

1943
Нью Хэйвен

Н. А. ТЕФФИ

До нас доходили только скудныя вѣсти о жизни оставшихся в Парижѣ русских писателей. Мы знали, что Надежда Александровна Теффи не сотрудничала с оккупаціонными властями и, значит, жила в голодѣ и холодѣ. Русской независимой прессы болѣе не существовало, дочь ея, служившая в польском министерствѣ иностранных дѣл, была в Лондонѣ и не могла ее поддержать. Между тѣм, здоровье Надежды Александровны не возстановилось послѣ тяжкой болѣзни (воспаленіе нервов кожи), которою она страдала еще до войны. Не дошло до нас никаких подробностей о ея смерти.

Расцвѣт литературной дѣятельности и извѣстности Н. А. Теффи относится к дооктябрьским дням. Он связан с пышным расцвѣтом русской журналистики и, особенно, с газетой «Русское Слово», созданной одаренным самородком Сытиным. Газета с милліонным тиражем была явленіем еще небывалым в Россіи, причем этот успѣх не покупался цѣной сниженія газеты, приспособленія к вкусам толпы. Газета велась очень умѣло и, кромѣ богатѣйшей информаціи, привлекала читательскую массу блестящими фельетонами. Во главѣ ея стоял «король» русских фельетонистов — Влас Дорошевич. Но едва ли уступала ему в остроуміи, превосходя его в качествѣ этого остроумія, покойная Теффи. Извѣстность ея поддерживалась также работой в области театра, десятками скетчей, комедій, шаржей, принадлежавших ея перу. Она хорошо знала и чувствовала сцену. Ея тогдашнюю извѣстность можно без преувеличенія назвать славою: в тѣ годы существовали духи «Теффи», конфекты «Теффи». Кто не знал и не повторял ея словечек? Кто не помнит, как во время первой войны, когда не хватало мяса и ѣли конину, кухарка в ея фельетонѣ анонсировала обѣд словами: «барыня, лошади поданы!».

В эмиграціи Теффи продолжала свою литературную и театральную дѣятельность. И тут опять, начиная с недоумѣннаго вопроса ея стараго генерала на парижской площади: «Ке фэр? фэр то ке?» разсыпала она безчисленныя блестки своего остроумія. Жизнь эмиграціи без ея еженедѣльных фельетонов была бы бѣднѣе и скучнѣе. Она смѣялась и над эмиграціей и порой ея шутки были злы. Она не щадила человѣческой пошлости и глупости, гдѣ бы она ее ни находила. Но, разумѣется, сдѣлать из нея «антиэмигрантскую писательницу» никак

нельзя. Эмиграція ее любила и на ея шутки нисколько не обижалась.

Теффи написала десятки и сотни разсказов полу-лирическихъ, полуюмористическихъ, в которых в какой то ей одной свойственной пропорціи смѣшаны смѣх и слезы. Она была мѣтко, безпощадно и очень по женски наблюдательна. Талант ея напоминал талант нѣсколькихъ другихъ выдающихся женщин писательниц, в особенности, француженку Колет. Она хорошо знала и любила дѣтей, ей необыкновенно удавались дѣвочки подростки. Удавались Теффи и старые люди, она чувствовала и умѣла передавать трагедію старости. Ея слова «в молодости думают — кто первый разлюбит? в старости — кто первый умрет?» полны горькой правды.

Кромѣ этих разсказов было у Теффи немало разсказов чисто юмористическихъ, безпримѣсно веселых и заражающих своим весельем. Писала она и неюмористическіе, так сказать «серьезные», разсказы и повѣсти. Она вложила в них много наблюдательности и литературнаго умѣнія. Но в них она неожиданно проявила себя писательницей «линіи Достоевскаго», что всегда связано с опасностью преувеличенія и подчеркиванія трагичности (чѣм прославил себя когда то Леонид Андреев). Лучшее у Теффи, то, что было бы достойно войти в антологію русскаго разсказа — надо искать не в чисто юмористическихъ и не в трагически-серьезных ея разсказах, а именно в «смѣшанных», непретенціозных, коротких очерках.

Увы, самое замѣчательное качество покойной Теффи — ея блестящее, несравненное остроуміе принадлежит к качествам, наиболѣе легко забываемым в литературѣ, становящимся непонятными внѣ своего времени и среды. Быть может, о Теффи будет жить легенда, как об одной из остроумнѣйших женщин нашего времени, тогда, когда забудутся ея словечки, очерки и фельетоны.

Очень часто писатель отдает все лучшее литературѣ. Тогда его произведенія кажутся болѣе значительными, чѣм его живая личность. У Теффи было обратное. Она, как человѣк, была крупнѣе, значительнѣе того, что она писала. Каждаго, кто ее знал, поражал ея ясный, трезвый, обнажающій все пошлое, свѣтлый ум. Поражала и ея «эрудиція». Теффи выросла в очень культурной семьѣ: ея отец был извѣстным юристом и дѣятелем судебной реформы при Александрѣ II. Ея сестра, рано умершая поэтесса Мирра Лохвицкая, была одной из предтеч символизма. Брат был извѣстным военным, командовавшим экспедиціонным корпусом во Франціи в прошлую войну. Ея

образованность, вѣроятно, об'яснялась вліяніем семьи. Но Н. А. любила невинно подчеркнуть, что она «очень образованная женщина».

Были у покойной Н. А. и тѣ как будто обыкновенныя человѣческія качества, которыя встрѣчаются гораздо рѣже, чѣм это кажется: умѣніе любить, привязываться, быть вѣрным другом своих друзей и, когда надо, проявлять самоотверженіе, готовность помочь. Она была настоящим «джентльменом» в юбкѣ, что совсѣм не так часто встрѣчается в столь женственных и по женски одаренных натурах, как покойная Надежда Александровна Теффи.

М. Цетлин.

ПАМЯТИ I. В. ГЕССЕНА

На долю Іосифа Владиміровича Гессена выпало быть свидѣтелем видимаго крушенія дѣла его жизни — сначала в русском, а потом и в обще-европейском масштабѣ. Но как и другіе крупные люди его поколѣнія, как П. Н. Милюков, ушедшій из жизни почти одновременно с ним, Іосиф Владимірович не утратил до конца своих дней ни убѣжденности в основной правотѣ того дѣла, которому он служил, ни вѣры в конечное его торжество. Уже на порогѣ европейской катастрофы, в предисловіи к первому тому своих воспоминаній, І. В. отказывался жаловаться на свою судьбу, а благословлял ее за то, что она сблизила его с «орденом русской интеллигенціи». К пережитым испытаніям и пораженіям он чувствовал себя способным отнестись с спокойствіем умудреннаго житейским опытом лѣтописца. «Страстной остается только одна мечта и жгучим только одно желаніе — перед смертью еще раз увидѣть родину и там умереть». Даже и этому скромному желанію не суждено было осуществиться: І. В. умер далеко от родины, в чужой и новой для него странѣ, к которой, за время своего краткаго в ней пребыванія, он присматривался с характерным для него живым, почти юношеским, интересом, и к которой он относился с чувством теплой признательности. Судьба, не баловавшая его за послѣдніе годы жизни, напослѣдок послала ему одно утѣшеніе: подышать перед смертью воздухом свободы.

Имя І. В. Гессена остается навсегда связанным с исторіей русскаго либерализма и притом в эпоху его расцвѣта и наи-

болѣе блестящих достиженій. Превращеніе русскаго либерализма из теченія общественной мысли в организованную политическую силу произошло, как извѣстно, в результатѣ сліянія двух элементов: земско-дворянскаго либерализма, с одной стороны, и радикализма разночинной (несоціалистической) интеллигенціи, с другой. І. В. не принадлежал ни к той, ни к другой группѣ. Путь, которым он пришел в кадетскую партію, был нѣсколько иным. Послѣ кратковременнаго и не очень активнаго участія в революціонном движеніи, приведшаго его в ссылку, но оставшагося в сущности случайным эпизодом в его жизни, І. В. отдался тому дѣлу, к которому он чувствовал подлинное призваніе: изученію права. Только чисто внѣшнія препятствія помѣшали ему посвятить себя академической дѣятельности. Так поневолѣ І. В. перешел от изученія права к практическому служенію праву — сначала в судебном вѣдомствѣ, потом в адвокатурѣ. Основной стимул в обоих случаях оставался один и тот же: потребность борьбы за законность. Идея законности сама по себѣ еще не вела ни к политическому либерализму, ни к конституціонному демократизму. Когда-то паладином законности в Россіи был Сперанскій, не бывшій, как извѣстно, ни либералом ни демократом. По свидѣтельству І. В., политических задач первоначально не ставил себѣ и основатель «Права», участіе в созданіи котораго было первым крупным общественным дѣлом его жизни. «Сползаніе» «Права» в сторону политики (я употребляю выраженіе самого І. В.) произошло под давленіем неумолимаго хода событій. Почти незамѣтно для редакторов журнала «лозунг законности стал знаменем борьбы с самодержавіем». И тот же ход событій привел и самого І. В. сначала к участію в Союзѣ Освобожденія, а затѣм — в центральный комитет кадетской партіи, в редакцію «Рѣчи» и в Государственную Думу. Так родился Гессен — политическій дѣятель и публицист. Но характерно, что для самого І. В. эпоха созданія «Права» «навсегда осталась самой одухотворенной, самой насыщенной и самой счастливой полосой жизни». И столь же характерно, что в оцѣнкѣ І. В. самым крупным его дѣлом в Государственной Думѣ была работа над проэктом судебной реформы.

Мнѣ не довелось знать І. В. в Россіи, видѣть его в эпоху «апогея его славы», как он сам, с шутливой оговоркой, назвал в своих воспоминаніях думскій період своей дѣятельности. Приходилось слышать разсказы о будто бы проявлявшейся им подчас властности, рѣзкости, нетерпимости. Таким я его не знал. Я встрѣтился с ним впервые в эмиграціи, в 1932 году, и

из общенія с ним в послѣдніе десять лѣт его жизни у меня останутся в памяти совсѣм другія черты: мягкость и благожелательность; живой и острый ум; добродушный юмор, с подтруниваніем над самим собой; огромный интерес ко всѣм явленіям жизни и, в частности, к новым талантам в литературѣ и искусствѣ — все черты не вяжущіяся ни с догматизмом, ни с нетерпимостью. В личных разсказах І. В. и в напечатанных его воспоминаніях поражает меня также широкій діапазон его жизненнаго опыта и его духовных интересов. Кого только он не знал в своей жизни, и из каких разнообразных кругов! И развѣ не неожиданно, что политик и публицист Гессен был спеціалистом по «Гамлету» и мог проливать слезы, слушая «Мейстерзингеров»? Такой же широтой отличалась и вся его дѣятельность в эмиграціи. «Руль» был не только политическим, но и литературным органом, и наряду с этим памятником культурной дѣятельности І. В. Гессена останутся двадцать два тома «Архива Русской Революціи» и изданные им, драгоцѣнные для историка, мемуары Витте.

Уже в послѣдніе дни своей жизни, больной и усталый, но словно все такой же живой и бодрый, І. В. все еще носился с мыслью о написаніи большой работы о кризисѣ современнаго правосознаніия. Из того, что он говорил мнѣ об этой работѣ, для меня нѣт сомнѣнія, что рѣчь шла все о той же темѣ, мысль о которой, по собственному его признанію, не покидала его с студенческих времен: «об извѣчной неразрѣшимой коллизіи между индивидуализмом и коллективизмом». В послѣднее наше свиданіе он снова вернулся к этой своей работѣ, говорил о том, что понемногу собирает для нея матеріалы, и просил меня прислать ему из нашей университетской библіотеки нужную ему книгу Зиммеля, которую он не мог достать в Нью Іоркѣ. Мы разстались на том, что я исполню его просьбу при первой же возможности... Через недѣлю его не стало.

М. Карпович.

М. С. КЕФАЛИ

6-го октября, в Нью-Іоркѣ, на 63 году жизни, скончался Марк Самойлович Кефали, директор типографіи, в которой печатается со дня своего созданія «Новый Журнал».

Партійные товарищи М. С., соціал-демократы-меньшевики, сообщили о нем на страницах «Соціалистическаго Вѣстника»

подробныя біографическія данныя. Мы не будем их повторять. Думаем, что они были неизвѣстны не только большинству читателей, но и многим людям, безпрестанно встрѣчавшимся с М. С. Кефали: он никогда не говорил о том положеніи, которое занимал в партіи, и о своем довольно бурном политическом прошлом. По своей скромности, он вообще о себѣ говорил мало. Между тѣм его роль в партійных дѣлах была значительной, а в 1917 году он был одним из виднѣйших дѣятелей русскаго профессіональнаго движенія и состоял товарищем предсѣдателя Всероссійскаго союза печатников. В рабочих кругах он был тогда, кажется, столь же извѣстен, как и иные его противники-большевики, имена которых впослѣдствіи, в теченіе многих лѣт, не сходили со страниц русских и иностранных газет. Сам М. С. с гордостью говорил только о том, что он вышел из рабочаго класса и навсегда ему остался вѣрен.

Он был искренним другом «Новаго Журнала», и отношенія у нас с ним были не дѣловыя, а именно дружескія. В общей работѣ с М. С. мы узнали и оцѣнили его рѣдкія качества, необыкновенную добросовѣстность, энергію, дѣловитость, безкорыстіе, вниманіе к людям и к их труду, совершенное джентльменство. По самому характеру своей работы, он неизмѣнно бывал п е р в ы м читателем всего, что у нас печаталось, и, по нашей просьбѣ, обо всем высказывал свое искреннее мнѣніе, с которым мы очень считались и которое высоко цѣнили. Кончина этого прекраснаго человѣка — огромная потеря для «Новаго Журнала», как и для друзей М. С-ча.

Ред.

ИРИНА КНОРРИНГ

Недавно дошло до нас из Франціи — вѣроятно, запоздалое — извѣстіе о смерти поэтессы Ирины Николаевны Кнорринг-Софіевой. Покойная была дочерью историка-педагога Н. Н. Кнорринг и женою поэта Юрія Софіева. Необычайно тяжелая судьба отмѣтила ее, даже и по настоящему жестокому времени. Изгнаніе, нищета, безпросвѣтная борьба за существованіе — общій удѣл рядовой эмиграціи , —всего этого было для нея недостаточно. С юных лѣт она страдала тяжким, неумолимым недугом, знала о его неизлѣчимости, и жила, ежедневно задерживая смерть, постоянными вспрыскиваньями инсулина. Опыт

близкой смерти изолировал ее от міра живых и прожигал горечью безнадежности. Таковы и ея стихи — с первой книги «Стихи о себѣ» (Париж 1931). Она не была лишена таланта и отличалась безпощадной правдивостью: писала только о том, что пережила лично, и не пыталась уходить от отчаянья в мір мечты.

Легко представить себѣ, что в голодном Парижѣ под нѣмецкой оккупаціей, когда исчезли и необходимые для продленія ея жизни медикаменты, она была обречена. Не знаем, что стало с ея мужем и сыном. В печатаемом выше стихотвореніи Юрія Софіева проходит образ Ирины Николаевны в один из свѣтлых моментов ея мученической жизни.

Г. П. Федотов.

ЗАМѢТКИ

РУССКІЕ УСПѢХИ НА ФРОНТѢ ИСКУССТВА

Успѣхи Россіи на военном фронтѣ вызвали среди американцев интерес ко всему русскому. Три выставки русскаго искусства, устроенныя истекшим лѣтом в Нью-Іоркѣ, прошли с громадным успѣхом.

Галлерея Голда устроила большую выставку: «500 лѣт русскаго искусства». К сожалѣнію, она была организована слишком поспѣшно, было много досадных пропусков и упущеній, в силу чего общее впечатлѣніе от нея получилось недостаточно цѣльное. Тѣм не менѣе это была импозантная демонстрація русской живописи.

Около 50 икон Московской, Новгородской и Строгановской школ, с 14 по 19 вѣк, были представлены Харвардским Фогт-Музеем и частными коллекціонерами. Среди них особенно выдѣлялись двѣ Новгородскія иконы 15 вѣка, со стойко унаслѣдованными великолѣпными традиціями Византіи, «таинственным образом удержавшія в вѣках классическую правду, вѣру в ритм и симметрію», как писал о них однажды Муратов. Эти иконы «Святого Георгія, убивающаго дракона, писаны в так называемом «живописном стилѣ», сильной и яркой кистью, с характерной трактовкой скал, при которой пластическая форма превращается в плоскостную абстракцію. Интересен своими свѣтотѣнями «Спас на тронѣ», являющійся центральной фигурой Деисуса с неизвѣстнаго иконостаса. Прекрасны 4 иконы конца XIV вѣка византійскаго мастера Феофана Гречина, перваго из извѣстных нам учителей русских живописцев, написанныя в так называемом «живописном развитом стилѣ». В «Воскрешеніи Лазаря», в особенности в трактовкѣ пейзажа, замѣтна склонность мастера к архитектоническим мотивам и видно вліяніе Запада.

Приблизительно к тому же времени относится икона «Спасителя» одухотворенной кисти Андрея Рублева, от которой вѣет исключительным умиленіем и большой умиротворенностью. Как всегда, и в этой иконѣ геніальнаго чернеца поражает и привлекает ея богатый колорит.

Среди двадцати двух манускриптов характерной русско-византійской раскраски выдѣлялись копія с «Архангельскаго Евангелія» (1092 г.), оригинал котораго находится в Московском Румянцевском Музеѣ, и «Цвѣтная Тріодь» (пасхальная богослужебная книга), пи-

санная на пергаментѣ в концѣ XI вѣка и украшенная плетеными орнаментами, отчасти напоминающая Остромирово Евангеліе. Большой интерес представляли и другія рукописи — Четьи-Минеи XV в., астрологическія книги, псалтыри.

Скачек от икон и рукописей переносил посѣтителя выставки во вторую половину 19 вѣка. Получился большой и существенный пробѣл. Не говоря уже о том, что не были показаны ни зодчество, ни ваяніе, обычно представляемыя на такого рода ретроспективных выставках фотографіями, не была к сожалѣнію представлена и живопись XVIII вѣка. А именно в 18 вѣкѣ и произошел в нашем искусствѣ разрыв с народной русской почвой. Творчество портретистов Рокотова, Левицкаго, Боровиковскаго, удалившихся от русских истоков и подражавших англійским и французским мастерам, очень знаменательно, как образец новых вѣяній в Россіи того времени. Нѣкоторые музеи в Америкѣ и частныя лица хранят весьма интересныя коллекціи картин той эпохи, и хочется вѣрить, что их удастся как-нибудь показать всѣ вмѣстѣ.

Не было также ничего, относящагося к первой половинѣ XIX вѣка, отмѣченной появленіем перваго русскаго романтика Брюллова, как и не было ни жанровой, ни обличительной русской живописи.

Послѣдняя треть XIX вѣка была представлена большим числом хороших картин, распредѣленных, правда, без всякой системы. Выдѣлялись два чудесных лирических полотна Левитана: «Русское лѣто» (1891 г.) и «Снопы», насыщенных любовью к природѣ родной земли... Какой русскій человѣк не вздохнет, глядя на эти картины! Сѣренькій лѣтній день, свѣт солнца, пробивающагося сквозь тучи на деревья и на откос, покрытый травой и бѣлыми ромашками. Ярко золотые снопы, полегшіе на сжатом полѣ, словно утомленные своим блеском и богатством!... Когда изучаешь эти картины, чувствуешь обиду, что имя Левитана не вышло за предѣлы родины, ибо по своей мощи художник этот достоин интернаціональной славы и ничѣм не уступает французам той же эпохи, которых знает весь мір.

Еще менѣе извѣстен за предѣлами Россіи Куинджи, чрезвычайно интересный художник, один из первых ушедшій в своих пейзажах от традиціонных академических пріемов. Вспоминается, что кто-то пустил слух про его залитую солнцем «Березовую рощу» (1879 г.), что она освѣщается сзади, как транспарант. Двѣ картины Куинджи, бывшія на выставкѣ, поражают яркостью своей палитры. «Облако над золотым полем:. удивительная картина: яркое синее небо с огромным бѣлым облаком, занимающим почти все полотно, низкій горизонт, поле ржи, мельница. Весь замысел этой картины, соотно-шеніе неба и земли, освѣщеніе — произведеніе большого таланта, предугадавшаго будущія модернистическія формулы. Так же инте-

ресна другая его картина, бывшая на выставкѣ: «Заход солнца в лѣсу».

Влюбленный в морскую стихію Айвазовскій был представлен 5-ью полотнами, из которых лучшее — «Послѣднее пристанище».

Передвижники — поборники идейнаго реализма — были представлены на выставкѣ всего лишь Вл. Маковским. Его небольшой «Автопортрет» (1896 г.), среди кустов цвѣтущих роз, весьма выразителен, но очень уж напоминает творчество французских импрессіонистов.

Художественный реализм представлен одним Рѣпиным. Это портрет его сына из коллекціи Харитонова, писанный в Неаполѣ, в 1894 году; к сожалѣнію, он не дает истиннаго понятія о мощи многограннаго таланта этого геніальнаго русскаго мастера.

Школа «Искателей національнаго в живописи» была представлена художниками Васнецовым, Нестеровым и Суриковым. Небольшой эскиз Васнецова, данный им в свое время Комитету по постройкѣ Владимірскаго Собора в Кіевѣ, недостаточно характерен для его творчества. «Сѣверная Двина» (1929 г.) Нестерова, гдѣ юная послушница замечталась у уходящей вдаль полноводной рѣки, по сюжету очень характерна для художника, но нарисована довольно небрежно, в блекло-сѣрых тонах, и похожа скорѣе на копію с собственной картины. «Дѣвушка с шарфом» Сурикова — не совсѣм обычный сюжет для этого художника, но по своему колориту и атмосферѣ достойна своего автора — одного из самых крупных и вдохновенных русских мастеров.

Русскій импрессіонизм, Врубель, «Мір Искусства», всѣ лѣвыя теченія — Лучизм, Бубновый Валет и др. — совершенно отсутствовали на выставкѣ. Было еще нѣсколько хороших вещей: «Бабушка Русской Революціи», Бориса Григорьева, написанная своеобразным кубистическим сдвигом; сангвин безвременно погибшаго Александра Яковлева, мистическая акварель Рериха, большой, во всю стѣну портрет Шаляпина (1930 г.) кисти Харитонова, одного из учеников Рѣпина; небольшой эскиз Судейкина к «Свадебкѣ» и, наконец, огромных размѣров когда-то нашумѣвшая картина Константина Маковскаго: «Свадебный пир».

Несмотря на всѣ свои пробѣлы, эта выставка все же дала представленіе о богатствѣ русскаго искусства и неожиданным количеством русских произведеній, находящихся в Америкѣ.

В Центральной Публичной библіотекѣ Нью-Іорка этим лѣтом была показана коллекція присланных из Россіи рисунков русских школьников. Смотря на них, невѣроятным казалось, что прошли годы

революціи, смѣна поколѣній, грандіозные сдвиги — до того дѣти неизмѣнны в своих произведеніях. Тут были и «Морозко» с падчерицей, и «царь Салтан» с бѣлкой, грызущей золотые орѣшки, и «остров Буян», и салазки, и снѣг.

Нѣсколько слов еще о выставкѣ русских плакатов, устроенной Американско-Британским центром в Нью-Іоркѣ. Сотрудник Дэйвиса, лейтенант Стамм, вывез из своей поѣздки в Россію сорок афиш, посвященных анти-нацистской и военной попагандѣ, извѣстных под названіем афиш Тасса. Еще раз пришлось убѣдиться, что рисовать афишу умѣли только во Франціи, и совѣтскіе плакаты не являются исключеніем из этого правила. Они недостаточно продуманы, не отдѣланы; краски бѣдны и часто аляповаты. Их тематика также большею частью весьма бѣдная. Интересны их тексты, написанные мастерами лапидарнаго стихотворнаго искусства, С. Маршаком и Демьяном Бѣдным.

Среди других пять афиш из серіи «Наша Азбука» — подражаніе азбукѣ Саши Чернаго, со стихами С. Маршака.

Буква Б: Бульдог Бандито Муссолини
Болонкой служит он в Берлинѣ.

Буква В: Виши — вода и мѣстожительство
Весьма продажнаго правительства.

Оригинальнѣе других афиша «О», представляющая огромнаго осла и маленькаго вопящаго Геббельса:

Ослы на Геббельса похожи
Они орут одно и то же.

Много маленьких набросков афиш. Один из них, на котором изображен нѣмец — обезьяна, терзающій женщину, иллюстрирует волнующіе стихи популярнаго поэта К. Симонова:

«Если ты не хочешь отдать
Нѣмцу с черным его ружьем
Дом, гдѣ жил ты, жену и мать,
Все что родиной мы зовем, —
Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь.

Выставка произведеній нашей соотечественницы Александры Авксентьевой-Прегель удачно открыла осенній русскій сезон в Нью-Іоркѣ.

Работы этой художницы знакомы нам по довоенному Парижу: с тѣх пор она сдѣлала большіе успѣхи. Кисть ея болѣе увѣрена, композиція серьезно продумана, интерес к проблемам цвѣта и красок привел к особенно удачным достиженіям в монохромных картинах «Натюр-морт в бѣлом» и «Книги». За эти годы развились и окрѣпли в ней и новыя устремленія, появились картины на соціальныя темы. которыя художницѣ и удаются больше всего. Лучшая из них, названная ею «Вѣчное», — картина сильная по своему содержанію, по строгой композиціи и по простотѣ пріемов, которыми выражена большая трагедія сюжета. Мать, оплакивающая своего сына, — вѣчная тема, всегда полная глубокаго мистическаго и жизненнаго содержанія. В этой картинѣ столько искренняго пафоса, и в то же время столько скромности, что ее могла нарисовать только русская женщина, истоки вдохновенія которой идут от религіозной живописи, проникновенной и одухотворенной. В том же настроеніи написана картина «Современное», гдѣ изможденная семья бѣженцев отдыхает на фонѣ разрушеннаго русскаго города. Именно потому, что в этих двух вещах столько глубинно-національнаго, невольно отодвигаются на второй план прекрасно написанные пейзажи и натюрморты, в которых чувствуются западныя вліянія. Красный платочек и полузакрытые глаза женщины из «Вѣчнаго» всегда будут нам ближе чужеземных «Гранатов», как бы сочны и хороши они ни были.

Вѣра Коварская.

МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦІЯ

Настоящая книга «Новаго Журнала» была уже в печати, когда было опубликовано офиціальное сообщеніе о результатѣ Московской Конференціи. Всестороннюю оцѣнку этого событія нам придется отложить до слѣдующей книги. Но уже сейчас необходимо подчеркнуть огромное положительное значеніе того факта, что в Москвѣ было достигнуто соглашеніе между Россіей и ея демократическими союзниками.

Важно не только то, что соглашеніе состоялось, но еще и то, что состоялось оно на основѣ демократических принципов международной политики. В опубликованных документах нѣт ни слова ни о предоставленіи кому-либо из участников соглашенія «свободы дѣйствій» в той или иной области, ни о раздѣлѣ между ними «сфер сліянія», ни о признаніи за кѣм-либо из них каких-либо «спеціальных интересов». Напротив, рѣчь идет об «об'единенных дѣйствіях» не

только во время войны, но и в період послѣ-военнаго переустройства; о созданіи при первой же возможности «всеобщей международной организаціи, основанной на приципѣ суверенаго равенства всѣх миролюбивых государств, больших и малых одинаково», и о взаимном самоограниченіи руководящих держав союзной коалиціи, обязующихся дѣйствовать совмѣстно и в общих интересах Об'единенных Націй.

Мы отдаем себѣ отчет в том, что дипломатическія соглашенія сами по себѣ еще не обезпечивают удовлетворительнаго рѣшенія всѣх тѣх проблем, которых они касаются. Было бы наивным ожидать, чтобы с подписаніем Московскаго соглашенія автоматически отпали всѣ трудности в области междусоюзных отношеній. Но нельзя не привѣтствовать того, что в соглашеніи указан путь к рѣшенію спорных вопросов и что путь этот идет в направленіи, в свое время намѣченном в Атлантической Хартіи вождями англо-саксонских демократій.

Ред.

СОДЕРЖАНІЕ ВЫШЕДШИХ ПЯТИ КНИГ

«НОВАГО ЖУРНАЛА»

ПЕРВАЯ КНИГА

От Редакціонной Группы. И. А. Бунин.—Русь. В Парижѣ. А. Л. Толстая.—Предразсвѣтный туман. В. В. Набоков-Сирин.—Ultima Thule. М. А. Осоргин.—Времена. М. О. Цетлин.—Балакирев. М. А. Алданов.—Фельдмаршал. Грета и Танк.

СТИХИ — Т. О. Остроумовой, С. Ю. Прегель, М. А. Толстой, К. П. Франкфурт, М. О. Цетлина.

Н. В. Кодрянская.—Земля русская.

РОССІЯ В ВОЙНѢ: А. Ф. Керенскій.—Передышка. Н. Д. Авксентьев.—Россія в войнѣ. Г. Я. Аронсон.—Отраженія войны. В. Ф. Мансвѣтов.—О совѣтской художественной прозѣ.

ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА: Б. И. Николаевскій.—Внѣшняя политика Москвы. Д. Ю. Далин.—Коминтерн в войнѣ. М. В. Вишняк.—Россія, Европа и мір послѣ войны.

ВОПРОСЫ ДНЯ: Г. П. Федотов.—Новое на старую тему (к современной постановкѣ еврейскаго вопроса). С. Л. Поляков-Литовцев.—Дѣйствительность и перспективы (отвѣт Г. П. Федотову). Ст. Иванович.—Кризис соціалистическаго сознанія. С. М. Соловейчик.—О сепаратистах.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ: В. М. Зензинов.—Трифоно-Печенгскій Монастырь. М. А. Алданов.—Убійство Троцкаго. Ред.—Памяти ушедших.

БИБЛІОГРАФІЯ И ЗАМѢТКИ.

ВТОРАЯ КНИГА

И. А. Бунин.—Натали. А. Л. Толстая.—Предразсвѣтный туман. М. А. Осоргин.—Времена. Н. Ф. Федорова.—Семья. М. О. Цетлин.—Юный Мусоргскій. О. П. Христіанович.—Там. М. А. Алданов.—Командировка Тамарина. В. В. Набоков-Сирин.—Русалка.

СТИХИ —М. К. Желѣзнова, Леонида Опалова, Софіи Прегель, Киры Славиной, Маріи Толстой.

РОССІЯ И ВОЙНА: Н. С. Тимашев.—Сила и слабость Россіи. М. В. Вишняк.—Правда анти-большевизма.

ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА: Б. И. Николаевскій.—Смѣщеніе фельдмаршала фон-Браухича. М. Е. Вейнбаум.—Японія и Соединенные Штаты. А. В. Гальперин.—Мір послѣ войны.

ВОПРОСЫ ДНЯ: В. М. Чернов.—Русскій и нѣмецкій антисемитизм. Ю. П. Денике.—Можно ли спасти Европу?

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: М. А. Чехов.—Мысли об искусстве актера. В. А. Ледницкій.—«Польская поэма» Блока. В. А. Александрова.—Проблема свободы в совѣтской литературѣ.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ: И. Н. Альтшулер.—Воспоминанія о Толстом. Е. А. Извольская.—Послѣ катастрофы. М. А.—Д. С. Мережковскій. Г. Д. Гурвич.—Памяти А. М. Кулишера.

РЕЦЕНЗІИ И ЗАМѢТКИ: М. А. Толстой, М. М. Карпович, Н., С. М. Соловейчика, А., В. И. Коварской, М. В. Вишняка.

ТРЕТЬЯ КНИГА

(только "Second hand")

И. А. Бунин.—Генрих. А. Л. Толстая.—Предразсвѣтный туман. М. А. Осоргин.—Времена. Л. М. Камышников.—Два портрета. М. О. Цетлин.—В зенитѣ («Борис Годунов»). М. А. Алданов.—Реквіем. В. В. Набоков-Сирин.—Слава.

СТИХИ — Ильи Британа, Т. Остроумовой, М. О. Цетлина.

РОССІЯ И ВОЙНА: Ю. П. Денике.—Гитлеровская война.

ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА: Б. И. Николаевскій.—Внѣшняя политика Москвы. С. М. Соловейчик.—Пангерманизм.

ВОПРОСЫ ДНЯ: Г. К. Гинс.—Мір перестраивается. Н. П. Вакар.—Христіанская революція?

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: В. А. Ледницкій.—«Польская поэма» Блока. В. М. Зензинов.—И. А. Бунин.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ: В. Н. Ипатьев.—Воспоминаніе о М. Горьком. М. В. Добужинскій.—«Мір Искусства». А. Т. Гречанинов.—С. И. Танѣев. А. Г. Бармин.—Академія Генеральнаго Штаба. М. А.—В. Н. Фигнер.

РЕЦЕНЗІИ И ЗАМѢТКИ: В. М. Зензинова, Ю. П. Денике, М. Ц., Д. Н. Шуба, проф. М. Лазерсона, Н. П. Вакара, М. К., Я. А. Бромберга, А., Z., В. И. Коварской.

ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА

М. А. Осоргин.—Времена. И. А. Бунин.—Таня. Г. Д. Гребенщиков.—В просторах Америки. М. О. Цетлин.—Конец Мусоргскаго. М. А. Алданов.—Истоки.

СТИХИ — Федора Сологуба, А. Биска, Леонида Опалова, Софіи Прегель, Юрія Терапіано, Маріи Толстой, Ксеніи Успенской.

ВОПРОСЫ ДНЯ: Г. П. Федотов.—Новое отечество. Ст. Иванович.—За что кровь проливаем. Я. Д. Робинзон.—Судьба европейских евреев.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: В. М. Чернов.—Стихія скитальчества у корифеев русской литературы. С. Л. Поляков-Литовцев. — З. Шнеур. Артур Лурье.—О Шостаковичѣ.

РОССІЯ И ВОЙНА: В. А. Александрова.—Первая военная зима в Россіи. Д. Ю. Далин.—Красная Армія. Г. Я. Аронсон.—Отраженіе войны.

ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА: Б. И. Николаевскій.—Внѣшняя политика Москвы.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ: И. Н. Альтшулер.—Еще о Чеховѣ. Проф. А. Васильев.—Г. Л. Лозинскій. В. М. Зензинов.—В. Л. Бурцев.

РЕЦЕНЗІИ И ЗАМѢТКИ: Проф. М. М. Карпович.—Книга С. и Б. Уэббов. Д. Н. Шуб.—Германскій вопрос и нѣмецкіе соціалисты. Ю. П. Денике.—Книги Д. Далина и Джона Скотта. Z.—Юбилей В. Н. Ипатьева. А.—Три мѣсяца. Ц.—За желѣзным занавѣсом. В. И. Коварская.—Выставки в Нью-Іоркѣ.

ПЯТАЯ КНИГА

М. А. Осоргин.—Времена. М. В. Добужинскій.—О Художественном Театрѣ. Нина Феодрова.—Талант. Г. Д. Гребенщиков.—В просторах Америки. Н. В. Кодрянская.—Марія Безрадостная. Андрей Сѣдых.—«Гидра», Керчь. Е. Рубисова.—Мѣрка масштаба. Мих. Цетлин.—Стасов и Могучая Кучка. «Замерзаніе» Балакирева.

СТИХИ — Л. Гребнева, М. Желѣзнова, Е. Крыленко, Т. Остроумовой, Ю. Терапіано.

ВОПРОСЫ ДНЯ: Ю. П. Денике.—Размышленія о власти. Г. П. Федотов.—Загадка Россіи.

РОССІЯ И ВОЙНА: Н. С. Тимашев.—Война и религія в Совѣтской Россіи.

ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА: Б. И. Николаевскій.—Совѣтско-японское соглашеніе 1925 года. М. В. Вишняк.—На Родинѣ. На Чужбинѣ.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО: В. М. Чернов.—Два полюса духовнаго скитальчества. І. С. Яссер.—Мысли об искусствѣ. Ю. Л. Сазонова.—Письма Райнер Марія Рильке.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ: В. Н. Ипатьев.—Наука в современной Россіи. А. Т. Гречанинов.—Добрыня Никитич. І. В. Гессен.—Из воспоминаній. А. Ф. Керенскій.—П. Н. Милюков. М. А. Алданов.—Памяти П. Н. Милюкова. М. М. Карпович.—Памяти Н. Д. Авксентьева. В. М. Чернов.—Н. Д. Авксентьев в молодости. М. А. Алданов.—С. В. Рахманинов. М. О. Цетлин.—К. Д. Бальмонт.

БИБЛІОГРАФІЯ И ЗАМѢТКИ: Б. Н-скаго, Д. Шуба, Е. Изволь ской, Д. Д., Х. Кротковой, Ц., В. Александровой, В. Коварской.

В каждой книгѣ 400 страниц.

КНИГА М. О. ЦЕТЛИНА.

Заканчивается печатаньем книга М. О. Цетлина, выходящая в изданіи «Новаго Журнала», «Пятеро и другіе» (Могучая Кучка), посвященная жизни великих русских композиторов. Только нѣсколько отдѣльных глав книги были напечатаны в журналѣ.

Цѣна книги по предварительной подпискѣ 2.00 долл. в переплетѣ. В отдѣльной продажѣ 2.50 долл. В книгѣ около 400 страниц.

50 экземпляров на особой бумагѣ нумерованы и парафированы автором. Цѣна в переплетѣ 5 долл.

Деньги (чеком или моней ордер) просят направлять по адресу редакціи «Новаго Журнала»: Mrs. M. Zetlin, 112 W. 72nd Street, New York, N. Y.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Литературно-политическое изданіе, выходящее раз в три мѣсяца.

●

Цѣна книги по предварительной подпискѣ — 1 долл. 50 сентов; цѣна трех книг — 4 доллара. В розничной продажѣ книга стоит 2 доллара.

●

Адрес редакціи:

Mrs. M. Zetlin, 112 W. 72nd Street, New York, N. Y.

Tel: ENdicott 2-9893

Там же принимается подписка.